малоизвестный

ДОВЛАТОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошли неизвестные широкому читателю произведения Сергея Довлатова, его письма к друзьям, воспоминания о нем приятелей, фотографии.

- Малоизвестный Довлатов. Сборник
  - НЕИЗДАННАЯ КНИГА
    - Марш одиноких
  - СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
    - Ослик должен быть худым
    - Иная жизнь
  - ИЗ РАННЕЙ ПРОЗЫ
    - Солдаты на Невском
    - Роль
    - Дорога в новую квартиру
  - ИЗ РАССКАЗОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
    - Третий поворот налево
    - На улице и дома
    - Мы и гинеколог Буданицкий
    - Старый петух, запеченный в глине
  - НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ
    - Мы начинали в эпоху застоя
    - Литература продолжается
    - Переводные картинки
    - Рыжий
    - Соглядатай
    - Верхом на улитке
    - Последний чудак
    - Трудное слово
    - Это непереводимое слово — «хамство»
  - ПИСЬМА
    - Письма на моем столе
    - Письма к Людмиле Штерн
    - Письмо к Юлии Губаревой
    - Письма к Науму Сагаловскому
    - Письма к Андрею Арьеву
  - ПРИЯТЕЛИ О СЕРГЕЕ ДОВЛАТОВЕ
    - Игорь Смирнов[176]
    - Виктор Кривулин[178]
    - Людмила Штерн[179]
    - Евгений Рейн[180]
    - Анатолий Найман[181]

        - Сергей Вольф[182]
        - Борис Рохлин[183]
        - Игорь Смирнов-Охтин[184]
        - Виктор Соснора[185]
        - Владимир Уфлянд[186]
        - Валерий Попов[187]
        - Игорь Ефимов[188]
        - Петр Вайль[189]
        - Александр Генис[190]
        - Елена Скульская[191]
        - Нина Аловерт[197]
    - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
    - ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ И РИСУНКАМ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30

- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74

- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118

- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162

- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197

- comments
  - 1

Малоизвестный Довлатов. Сборник

НЕИЗДАННАЯ КНИГА

Марш одиноких
Возвышение и гибель «Нового американца»

(Вместо предисловия)

Эти заметки напоминают речь у собственного гроба. Вы только представьте себе — ясный зимний день, разверстая могила. В изголовье — белые цветы. Кругом скорбные лица друзей и родственников. В бледном декабрьском небе тают звуки похоронного марша…

И тут — поднимаетесь вы, смертельно бледный, нарядный, красивый, усыпанный лепестками гладиолусов.

Заглушая испуганные крики толпы, вы произносите:

— Одну минуточку, не расходитесь! Сейчас я поименно назову людей, которые вогнали меня в гроб!..

Велико искушение произнести обличительную речь у собственной могилы. Вот почему я решил издать этот маленький сборник.

Этот сборник — для тех, кто знал и любил «Новый американец» в период его расцвета. Кто скорбит о былом его великолепии. В ком живет ощущение потери.

Парадокс заключается в том, что «Новый американец» — жив. Он жив, как марксистско-ленинское учение. При всех очевидных чертах его деградации и упадка.

Умер-то, собственно, я. «Новый американец» всего лишь переродился.

Хотя в нем по-прежнему работают талантливые люди. Сохраняются привлекательные черты институтского капустника. И газета по-прежнему оформлена со вкусом.

Но главное — исчезло. То, ради чего и создавался «Новый американец». Что принесло ему какую-то известность.

«Новый американец» утратил черты демократической альтернативной газеты. Он перестал быть свободной дискуссионной трибуной.

Умирание «Нового американца» — пышно и безвозвратно. Так уходит под воду большой океанский корабль. Но мачты — видны…

Историей «Нового американца» займутся другие. Для этого я чересчур субъективен. Тем более, что многие помнят, как это все начиналось.

Кто-то помнит хорошее. Кто-то — плохое. Наша память

избирательна, как урна…

Поэтому я лишь бегло коснусь исторических вех. Оставаясь в рамках скромной гражданской панихиды…

Как я теперь сознаю, газета появилась в исключительно благоприятный момент. Эмиграция достигла пика. С авторами не было проблем. (Как нет и теперь. Грамотеев хватает. Из одних докторов наук можно сколотить приличную футбольную команду.) Потребность в новой газете казалась очевидной. Существующая русская пресса не удовлетворяла читателя. «Новое русское слово» пользовалось языком, которым объяснялись лакеи у Эртеля и Златовратского…

В общем, дело пошло. Мы получили банковскую ссуду — 12 тысяч долларов. Что явилось причиной немыслимых слухов. Относительно того, что нас субсидирует КГБ.

А мы все радовались. Мы говорили:

— Это хорошо, что нас считают агентами КГБ. Это укрепляет нашу финансовую репутацию. Пусть думают, что мы богачи…

Газета стала реальностью. Ощущение чуда сменилось повседневными заботами. Мы углубились в джунгли американского бизнеса.

Идеи у нас возникали поминутно. И любая открывала дорогу к богатству.

Когда идей накопилось достаточно, мы обратились к знакомому американцу Гольдбергу. Гольдберг ознакомился с идеями. Затем сурово произнес:

— За эту идею вы получите год тюрьмы. За эту — два. За эту — четыре с конфискацией имущества. А за эту вас просто-напросто депортируют…

Пришлось начинать все сначала.

Одновременно вырабатывалась творческая позиция газеты. Мы провозгласили:

«Новый американец» является демократической свободной трибуной. Он выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам…

Мы называли себя еврейской газетой. Честно говоря, я был против такой формулировки. Я считал «Новый американец» «газетой третьей эмиграции». Без ударения на еврействе.

Начались разговоры в общественных кругах. Нас обвиняли в пренебрежении к России. В местечковом шовинизме. В корыстных попытках добиться расположения богатых еврейских организаций.

Старый друг позвонил мне из Франции. Он сказал:

— Говорят, ты записался в правоверные евреи. И даже сделал обрезание…

Я ответил:

— Володя! Я не стал правоверным евреем. И обрезания не делал. Я могу это доказать. Я не могу протянуть тебе свое доказательство через океан. Зато я могу предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу…

Параллельно с еврейским шовинизмом нас обвиняли в юдофобии. Называли антисемитами, погромщиками и черносотенцами. Поминая в этой связи Арафата, Риббентропа, Гоголя.

Один простодушный читатель мне так и написал:

— Вы самого Гоголя превзошли!

Я ему ответил:

— Твоими бы устами…

В нашей газете публиковались дискуссионные материалы о Солженицыне. Боже, какой это вызвало шум. Нас обвиняли в пособничестве советскому режиму. В прокоммунистических настроениях. Чуть ли не в терроризме.

Распространилась легенда, что я, будучи тюремным надзирателем, физически бил Солженицына. Хотя, когда Солженицына посадили, мне было три года. В охрану же я попал через двадцать лет. Когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию…

И все-таки дела шли неплохо. О нас писали все крупные американские газеты и журналы. Я получал вырезки из Франции, Швеции, Западной Германии. Был приглашен как редактор на три международных симпозиума. Вещал по радио. Пестрел на телевизионных экранах.

У нас были подписчики даже в Южной Корее…

Я мог бы привести здесь сотни документов. От писем мэра Коча до анонимки на латышском языке. Но это — лишнее. Кто читал газету, тот знает…

Годовой юбилей мы отмечали в ресторане «Сокол». По территории он равен Ватикану. В огромном зале собралось человек девятьсот. Многие специально приехали из Филадельфии, Коннектикута и даже Техаса.

Видимо, это был лучший день моей жизни…

Дальнейшие события излагаю бегло, пунктиром.

Ощущение сенсационности и триумфа не пропадало. Хотя проблем было достаточно. Во-первых, не хватало денег. Что расхолаживало при всем нашем энтузиазме.

Нужен был хороший бизнес-менеджер. Попросту говоря, администратор. Деловой человек. Да еще в какой-то степени — идеалист.

Уверен, что такие существуют. Уверен, что деньги не могут

быть самоцелью. Особенно здесь, в Америке.

Сколько требуется человеку для полного благополучия? Сто, двести тысяч в год? А люди здесь ворочают миллиардами.

Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Ферментом и витамином американского прогресса.

Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак.

Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному и гармоническому тождеству усилий и результата. Самым убедительным показателем которого является цифра.

Короче, нужен был администратор. Я считал, что все несчастья из-за этого.

К тому же монопольная пресса давила нещадно. Обрабатывала наших рекламодателей. Терроризировала авторов. Распускала о нас чудовищные слухи.

Со временем мне надоело оправдываться. Пускай люди думают, что именно я отравил госпожу Бовари…

Когда-нибудь Седых окажется в раю. И скажут ему апостолы:

— Всем ты хорош, дядя Яша! А вот Серегу Довлатова не оценил…

Шло время. Обстановка в редакции была замечательная. С легкой поправкой на общее безумие.

Помню, Наталья Шарымова собиралась в типографию. Дело было вечером. Район довольно гнусный.

Я сказал бородатым мужчинам Вайлю и Генису:

— Нехорошо, если Шарымова поедет в типографию одна.

На что красивый плотный Генис мне ответил:

— Но мы-то с Петькой ездим…

Обстановка была веселая и праздничная. Хотя давно колебалась земля у меня под ногами.

Я проработал в «Новом американце» два года. Был, пышно выражаясь, одним из его создателей. И — наемным редактором. Правда, без зарплаты. Совладельцем не был. Акций не имел.

Парадокс заключался в следующем. У газеты было три хозяина. И с десяток наемных работников. Хозяева работали бесплатно. Как и положено владельцам нового бизнеса. В расчете на грядущие барыши.

Наемные работники зарплату получали. Хорошую, но маленькую. Вернее, маленькую, но хорошую.

Итак, хозяева получали моральное удовлетворение.

Наемники — скромную зарплату.

Я же был личностью парадоксальной. Психологически — хозяином. Юридически — наемником. Хозяином без собственности.

Наемником без заработной платы.

Держался соответствующим образом. Требовал у хозяев отчетности. Давал советы руководству. Изнурял Бориса Меттера соображениями дисциплины.

И меня уволили. Без всяких затруднений. Поскольку я был в юридическом смысле — никто.

Я ушел. Ко мне присоединился творческий состав. Мы уговорили господина Дескала из «Руссика» финансировать «Новый свет». Газета просуществовала месяца два.

Затем господин Дескал купил «Новый американец». Предложил нам вернуться. Обещал творческую свободу. И я вернулся.

Вы скажете:

— Хорош! Его обидели, а он вернулся. Где же твое чувство собственного достоинства?

Я отвечу:

— «Новый американец» был моим любимым детищем. Предметом всех моих надежд. Пышно выражаясь — делом жизни. Известен ли вам предел, где должен остановиться человек, цепляющийся за свою жизнь?!..

Дальше все было очень просто. Творческая свобода оказалась мифом. Все остальное не имело значения.

Зарплату наконец платили. Из песни слова не выкинешь.

Повторяю, для меня это значения не имело. К этому времени я уже что-то зарабатывал литературой.

И я ушел, на этот раз по доброй воле.

Господина Дескала я не виню. Он бизнесмен. Плевать ему на мировую культуру. На русскую — тем более. Он зарабатывает деньги. Это его право.

Он мне даже чем-то симпатичен. Такой откровенный деляга. Глупо было надеяться, что средний американец — Воннегут.

Мы предъявили Дескалу ультиматум. Свобода — или уходим.

И я ушел. Это все…

Газета стала этнической, национальной. Через месяц сотрудникам запретили упоминать свинину. Даже в статьях на экономические темы. Мягко рекомендовали заменить ее фаршированной щукой…

Лишь Вайль и Генис по-прежнему работают талантливо. Не хуже Зикмунда с Ганзелкой. Литература для них — Африка. И все кругом — сплошная Африка. От ярких впечатлений лопаются кровеносные сосуды… Но пишут талантливо. Из песни… Впрочем, я это уже говорил…

С газетой покончено. Это была моя последняя авантюра. Последняя вспышка затянувшейся молодости. Отныне я — благоразумный и нетребовательный литератор средней руки.

(«Средняя рука» — подходящее название для мужского клуба…)

Два года я писал свои «Колонки редактора». Мне кажется, в них отразилась история третьей эмиграции. Если не история эмиграции, то история газеты. Если не история газеты, то история моей взыскующей души.

Переписывать их я не решился. Ведь наши глупости, срывы, ошибки — это тоже история. Так что печатаю все как есть.

О некоторых высказываниях я сожалею. Иные готов вытатуировать у себя на груди…

Я назвал свою книжку — «Марш одиноких». К сожалению, мы были одиноки даже в нашу лучшую пору. Одиноки мы и сейчас. Только каждый в отдельности…

Предисловие мое затянулось. Скоро утро. Как сказал бы Моргулис:

«Дымчато-серым фаллосом мулата встает под окнами заря…»

Отпирает свою лавочку торгующий газетами индус. Даже он, представьте себе, знает, что я — бывший редактор «Нового американца».

МЕСЯЦА ТРИ НАЗАД…

Месяца три назад я посещал ювелирные курсы. Там же занимался и английским языком. Преподавательница Кэтрин любила задавать неожиданные вопросы. Помню, она спросила:

— Как ты думаешь, будет война?

Я ответил:

— Война уже идет. Только американцы этого не знают.

— То есть как?

— Очень просто. В Тегеране захватили американское посольство. А это юридически — территория США. Кроме того, имеются 50 военнопленных.

— Что же нам остается делать? — спросила Кэтрин…

Я не дипломат, не политик и не генерал. И даже не американец. Я пытаюсь взглянуть на это дело с житейской точки зрения.

Поведение человека и поведение государства — сопоставимы. Самозащита и обороноспособность — понятия идентичные, разница в масштабах, а не в качестве.

Мои представления о самозащите формировались в лагерях. Там я понял раз и навсегда:

Готовность к драке означает способность ее начать. Если к

этому вынуждают обстоятельства.

Можно и воздержаться. Уйти с побитой физиономией. То есть — капитулировать…

Увы, поражение в драке не означает ее конца. Тебя будут избивать систематически. И наконец уничтожат в тебе человека.

То же происходит и с государством.

Готовность к войне означает способность ее начать. Если к этому вынуждают обстоятельства.

Тито говорил:

— Мы будем сражаться до последнего!

Его не тронули. Прожил жизнь уважаемым человеком.

Нечто подобное выкрикнул и Чаушеску. Или намекнул. Его не трогают…

Я слышу разумные трезвые доводы:

— А если — война?! Это значит — конец?! Что может быть ужасней смерти?!

Ужасней смерти — трусость, малодушие и неминуемое вслед за этим — рабство.

Да и не рано ли говорить о смерти? Вон евреи освободили своих заложников, и ничего. Живы-здоровы.

Уметь надо…

НАМ ЧАСТО ЗАДАЮТ ВОПРОС…

Нам часто задают вопрос:

— Какой национальности ваша газета? Русской, американской или еврейской?

Вопрос довольно сложный. Хотя когда-то, в Союзе, он решался элементарно.

У каждого был паспорт. В нем — пятая графа. И в этой графе недвусмысленно указывалось: русский, еврей или, скажем, — татарин.

Я, допустим, был армянином — по матери. Мой друг, Арий Хаймович Лернер, — в русские пробился. Даже не знаю, как ему это удалось. Говорят, теща русская была.

Мой приятель художник Шер говорил:

— Я наполовину русский, наполовину — украинец, наполовину — поляк и наполовину — еврей…

Вот какой был уникальный человек! Из четырех половин состоял…

В общем, устраивались как могли. Кто в греки шел, кто в турки подавался…

Затем началась эмиграция. И повалил народ обратно, в евреи.

Замелькали какие-то бабушки из города Шклова. Какие-то дедушки из Бердянска. Мой знакомый Пономарев специально в Гомель ездил, тетку нанимать… Еврейские женихи и невесты резко подскочили в цене…

Начинающего эмигранта Кунина спросили:

— Ты хоть Жаботинского читал?

— Да вы путаете, — удивился Кунин, — это Юрий Власов книгу написал, а Жаботинский, говорят, и читает с трудом…

И наконец — мы здесь. И кончился весь этот дурацкий балаган.

Да будь ты кем хочешь! Кем себя ощущаешь! Русским, евреем, таджиком!..

Теперь о газете.

Мы говорим и пишем на русском языке. Наше духовное отечество — многострадальная русская культура.

И потому мы — РУССКАЯ ГАЗЕТА.

Мы живем в Америке. Благодарны этой стране. Чтим ее законы. И, если понадобится, будем воевать за американскую демократию.

И потому мы — АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА.

Мы — третья эмиграция. И читает нас третья эмиграция. Нам близки ее проблемы. Понятны ее настроения. Доступны ее интересы.

И потому мы — ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА.

Вот так обстоят дела.

Кто-то недоволен?

Переживем.

Ведь свободу, кажется, еще не отменили!

МЫ ЧАСТО ЗАДАЕМ СЕБЕ ВОПРОС…

Мы часто задаем себе вопрос:

— Каков наш гипотетический идеальный читатель? Кто он? Чем занимается? Насколько высок его культурный уровень?

Одни доброжелатели рекомендуют:

— Газета ваша слишком умная. Культура да политика… Пишите больше о спорте… О фудстемпах… О том, где кого зарезали…

Другие, наоборот, советуют:

— Зачем нам спорт? Зачем эти кулинарные рецепты и голливудские сплетни? Пишите больше о духовном, о возвышенном…

Положение наше довольно сложное. И вот почему.

В моем родном Ленинграде издавалось около двухсот газет. Была, например, газета — «За культуру торговли». Или, допустим, — «Мясной гигант». (Орган ленинградского мясокомбината.) Выходила газета «Моряк Балтики». (В которой одно время работал наш президент Борис Меттер.) «Строительный рабочий». (Где начинал Алексей Орлов.) Или — «За кадры верфям». (Где начинал я сам.)

Имелся даже такой печатный орган — «Голос бумажника». (Газета писчебумажного комбината.)

В общем, много было газет. На любой вкус. Все, что угодно, можно было там прочесть. Все, кроме правды…

Здесь — положение иное. Круг читателей довольно узок. Аудитория сравнительно небольшая.

Вот и получается, одна газета должна удовлетворять многим требованиям.

Когда-то, я уверен, здесь будут выходить десятки изданий. Но сейчас об этом рано говорить…

А следовательно, наша газета должна быть разнообразной, многосторонней, универсальной.

Таким же мы представляем и нашего гипотетического читателя.

Это человек любого вероисповедания, ненавидящий тиранию, демагогию и глупость.

Обладающий широким кругозором в сфере политики, науки, искусства.

Отдающий должное как высокой литературе, так и развлекательному чтению.

Чуждый снобизма, интересующийся шахматами и футболом, голливудской хроникой и астрологическими прогнозами.

Это человек, озабоченный судьбами заложников, но готовый увлечься и кроссвордом.

Это человек, уяснивший главное — мир спасут отвага, доброта и благородство.

Короче, это — обыкновенный человек, простой и сложный, грустный и веселый, рассудительный и беспечный…

Надеюсь, ты узнаешь себя, читатель?

С ДЕТСТВА НАМ ТВЕРДИЛИ…

С детства нам твердили:

— Бога нет… Материя первична… Человек произошел от гориллы…

Атеистическая пропаганда достигала своей цели. Ее

доктрины воспринимались как нечто бесспорное.

Да и сама жизнь отчасти к этому подталкивала. Взглянешь на иного соотечественника — действительно, от гориллы. Причем недавно…

Атеистическая пропаганда достигала также и обратной цели. Значительная часть интеллектуалов пришла к религии. И в этом не только оппозиция государственному материализму. В этом — тоска по утраченной духовности, жажда непосредственных чувств…

И вот мы здесь, на свободе. Утихла борьба за коммунистические идеалы. Спали оковы материалистических доктрин. Отринуты насильственные догмы. Забыты принудительные верования.

Мы сыты, одеты, здоровы. Мы почти так же элегантны, как наши автомобили. Почти так же содержательны, как наши холодильники.

Может, обойдемся вообще без идеалов? Заменим государственный материализм — бытовым, ежесекундным, обыденным? Разрушим ложные идеи, и да здравствует безыдейность?!..

Трудна дорога от правды к истине. Альтернатива правды — ложь. Альтернатива истины — другая истина, более глубокая, более жизнеспособная.

Философский материализм принадлежит к числу глубочайших истин.

Веками противостоит ему истина религии, истина Бога.

Мы, я думаю, находимся где-то посередине…

Среди моих друзей немало обращенных христиан. Есть также обращенные иудаисты. Увы, я не заметил, чтобы они были милосерднее, сострадательнее, а главное — терпимее других людей.

Видимо, такое приходит не сразу.

При этом, я знаю, в лагерях так называемые «религиозники» держались с исключительным мужеством. В тягчайшие минуты они проявляли бодрость духа и готовность к самопожертвованию. Было заметно, что вера дает им силу противостоять невыносимому гнету.

Заключенные, да и надзиратели, относились к верующим с большим уважением.

Помню, в бараке разоблачили одного стукача. Некто Бусыгин, потомственный скокарь, человек, далекий от религии, воскликнул:

— Может, Бога и нет! Но Иуда — перед вами!..

Сам я, увы, человек нерелигиозный. И даже — неверующий.

Разве что суеверный, как все неврастеники.

И все-таки часто задумываюсь. Я ведь уже далеко не юноша. Придет когда-то смерть и вычеркнет меня.

И что же в результате — лопух на могиле? Неужели это — все, предел, итог?!

Или наши души бессмертны? Но тогда мы обязаны дорожить каждой минутой.

ЭТО ПРОИЗОШЛО В ЛАГЕРЕ…

Это произошло в лагере особого режима. Зэка Чичеванов, грабитель и убийца, досиживал последние сутки. Наутро его должны были освободить. За плечами оставалось двадцать лет срока.

Ночью Чичеванов бежал. Шесть часов спустя его задержали в поселке Иоссер. Чичеванов успел взломать продуктовый ларь и дико напиться. За побег и кражу ему добавили четыре года…

Эта история, буквально потрясла меня. Случившееся казалось невероятным, противоестественным. Но капитан УВД Прищепа мне все объяснил. Он сказал:

— Чичеванов отсидел двадцать лет. Он привык. На воле он задохнулся бы, как рыба. Вот и рванул, чтобы срок намотали…

Нечто подобное испытываем мы, эмигранты. Десять, тридцать, пятьдесят лет неволи, и вдруг — свобода. Рыбы не рыбы — а дыхание захватывает…

Восемь эмигрантов из десяти мотивируют свой отъезд нравственными причинами. Мы выбрали — свободу.

А получили — свободу выбора.

Как это непривычно — уважать чужое мнение! Как это странно — дать высказаться оппоненту! Как это соблазнительно — быть единственным конфидентом истины!

Казалось бы, свобода мнений — великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений! С легкой оговоркой — для тех, чье мнение я разделяю.

А как быть с теми, чье мнение я не разделяю? Их-то куда? В тюрьму? На сто первый километр? Может, просто заткнуть им глотку? Не печатать, не издавать, не экспонировать?..

Появляется в газете спорный материал. На следующий день звонки:

— Вы посягнули на авторитеты! Вы осквернили святыни! Нарушили, затронули, коснулись…

Еще раз говорю — нет святых при жизни! Нет объектов вне критики! Нет партийных указаний! Нет методических разработок!

Нет обкомовских директив!

Читатель делает выводы — сам. И другого пути — нет. Вернее — есть. Через советское посольство и кассы «Аэрофлота».

Дальнейшее прошу напечатать жирным шрифтом:

Газета является независимой и свободной трибуной.

Эта трибуна предоставляется носителям разных, а зачастую и диаметральных мнений.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и несет ответственность лишь за уровень дискуссии…

В остальном — дело за читателем!..

Нелегкое это благо — свобода выбора. Помню, зашел я с матерью в кондитерскую лавку на Бродвее. Что-то ей не понравилось. Она и говорит:

— Хорошо бы в жалобную книгу написать. Или позвонить куда-нибудь…

— А может, — говорю, — просто зайти в другую лавку?..

«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ» — МОЛОДОЕ ИЗДАНИЕ…

«Новый американец» — сравнительно молодое издание. У нас есть масса проблем: финансовых, творческих, организационных…

Что нас поддерживает? Уверенность в правоте начатого дела. Любовь к газетной работе. Доверие и энтузиазм читателей. И разумеется — благородная помощь коллег-журналистов.

Нас поддержали — «Континент», «Эхо», «Третья волна», «Русская мысль». Я мог бы назвать десятки славных имен…

В этой связи несколько обескураживает позиция, занятая руководством «НРС». Казалось бы, уважаемый печатный орган с многолетней высокой репутацией. Самая популярная русская газета в Америке. Процветающее коммерческое учреждение с миллионными оборотами…

Так логично и естественно было бы поддержать молодое издание. Или, как минимум, не препятствовать его свободному развитию.

Ведь читательские души — не картошка. А газета — не овощная лавка. Рассуждения вроде: «Это мои покупатели! Уходите из моего квартала!» — здесь неуместны…

Сначала руководство «НРС» отказалось дать условия нашей подписки. (Что, кстати сказать, незаконно.) После этого всем авторам «НРС» было объявлено:

«Тем, кто содействует новой газете, печататься в «НРС» запрещается!»

В общем: либо — либо! Кто не с нами, тот против нас! Долой

инакомыслящих, к стенке, на рею!..

Тут хочется вспомнить момент из прошлого. В 76 году меня напечатал «Континент». Затем — «Время и мы». Радио «Свобода» неделю транслировало мою повесть… Я тогда жил в Ленинграде. Исполнял мелкую безымянную халтуру для крупнейшего партийного журнала. Редактор (негодяй высшей марки) знал, что я печатаюсь в «Континенте». Он сказал:

— Пока нет указания из Смольного — работай!

И я еще в течение года продолжал халтурить. Печатался одновременно в СССР и на Западе. Будучи выгнан из Союза журналистов. Будучи лишен всех иных заработков…

Вспоминается еще один эпизод. Когда-то я работал в партийной газете. Каждую неделю в редакцию приходил человек из обкома. Вынимал из портфеля список. Это был список тех, кого нельзя печатать. И кого нежелательно упоминать. «Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Гумилев…»

Я не знаю фамилии этого человека из обкома. А имя Мандельштам будет жить, пока жив русский язык!..

И последнее. Когда-то я писал заявку на документальный фильм о Бунине. В числе других исходных материалов упоминались записки Андрея Седых[1]. Сценарий был запрещен. Редактор «Леннаучфильма» заявил:

— Вы бы еще Милюкова упомянули!..

Мне кажется, тут есть над чем подумать. Не правда ли?

Эх, Бунина нет. Вот бы ему пожаловаться…

НАШИ ДЕТИ ТАК БЫСТРО РАСТУТ…

Наши дети так быстро растут.

Я вспоминаю детские ясли на улице Рубинштейна. Белую скамью. Подвернувшийся задник крошечного ботинка…

Мы идем домой. Вспоминается ощущение подвижной маленькой ладони. Даже сквозь рукавицу чувствуется, какая она горячая…

Меня поражала в дочке ее беспомощность. Ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру… Ее зависимость от моих решений, действий, слов…

Дочка росла. Ее уже было видно из-за стула. Помню, она вернулась из детского сада. Не раздеваясь, спросила:

— Ты любишь Брежнева?

Я сказал:

— Любить можно тех, кого хорошо знаешь. Например, маму, бабушку. На худой конец — меня. Брежнева мы не знаем. Хотя

часто видим его портреты. Возможно, он хороший человек. А может быть, и нет…

— Наши воспитатели его любят, — сказала дочка.

— Вероятно, они хорошо его знают.

— Нет, — сказала дочка, — просто они воспитатели. А ты — всего лишь папа…

Наши дети так быстро меняются. Английский язык им дается легко. Они такие уверенные, независимые, практичные…

Мы были другими. Мы были застенчивее и печальнее. Больше читали. Охотнее предавались мечтам.

Мы носили черные ботинки, а яблоко считали лакомством…

Я рад, что нашим детям хорошо живется. Что они едят бананы и халву. Что рваные джинсы у них — крик моды.

Для того мы и ехали.

Только я не знаю, как это связано — витамины и принципы, джинсы и чувства… Какая тут пропорция, зависимость? Хорошо, если прямая. А если, не дай Бог — обратная?

Надеюсь, все будет хорошо.

Отношения у меня с дочкой прежние. Я, как и раньше, лишен всего того, что может ее покорить.

Вряд ли я стану американским певцом. Или киноактером. Вряд ли разбогатею настолько, чтобы избавить ее от забот. Кроме того, я по-прежнему не умею водить автомобиль. Совершенно равнодушен к частной жизни знаменитой актрисы Лорен Бокал. (Такая фамилия подошла бы неопохмелившемуся флотскому офицеру.) И главное — плохо знаю английский. Что делает меня иногда совершенно беспомощным…

Недавно она сказала… Вернее, произнесла… В общем, я услышал такую фразу:

— Тебя наконец печатают. А что изменилось?

Короче, у нас все по-прежнему. И я всего лишь — папа…

ЕСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ…

Есть в советской пропаганде замечательная черта. Напористая, громогласная, вездесущая и беспрерывная — советская пропаганда вызывает обратную реакцию.

Критикуют фильм — значит, надо его посмотреть. Ругают книгу — значит, стоит ее прочитать. На кого-то персонально обрушились — значит, достойный человек…

Один знакомый лектор (из прогрессивных) жаловался мне: «На тысячу вопросов готов ответить. Есть два, которые меня смущают. Хоть с работы увольняйся!.. Первый вопрос. Отчего в

дружественном Египте нет коммунистической партии? А во вражеском Израиле есть? И притом целых две… И второй. Насчет Сахарова. Правда ли, что он — герой социалистического труда? Да еще трижды?..»

Десятки раз я слышал:

«Вот напишу академику Сахарову! Поеду в Москву к академику Сахарову!»

И адреса-то человек не знает. Да, может, и знал бы — не поехал. Русский человек и в жалобную-то книгу не пишет. Душу отведет, востребует книгу, а писать не станет…

Тут важно другое. Появилось ощущение новой инстанции. Раньше было что? Партком? Где сидят знакомые лодыри и демагоги? Местком? Где те же лодыри и демагоги бегают шестерками перед начальством? Милиция, прокуратура? Да разве они защитят? От них самих защита требуется…

Вот и раздается повсюду:

«Напишу академику Сахарову!»

Тут мне хочется вспомнить один случай. Был я в командировке. Рано утром оказался на Псковском автовокзале. В прибежище местных алкашей. Разговорился с одним. Лицо сизое, опухшее, руки трясутся. Сунул я ему два рубля. Алкаш выпил портвейна, немного отошел. Каким-то чудом распознал во мне интеллигента. Видимо, захотел мне угодить. И рассказал такую историю:

«Был я, понимаешь, на кабельных работах. Натурально, каждый вечер поддача. Белое, красное, одеколон… Рано утром встаю — колотун меня бьет. И похмелиться нечем. Еле иду. Мотор на ходу вырубается. Вдруг навстречу — мужик. С тебя ростом, но шире в плечах. Останавливает меня и говорит:

— Худо тебе?

— Худо, — отвечаю.

— На, — говорит, — червонец. Похмелися. И запомни — я академик Сахаров…»

…Я понимаю, что это — наивная выдумка опустившегося человека. И все-таки… Если оставить в стороне убогую фантазию этого забулдыги… Да это же сказка о благородном волшебнике! Ведь именно так создается фольклор! В наши дни. Вокруг конкретного живого человека…

Пусть наивно, смешно. Но ведь это прямая трансформация мечты о справедливости…

Сахаров выслан. Живет в Горьком. Вокруг него — люди. Инстанция существует!

НАЦИОНАЛЬНУЮ ГОРДОСТЬ ПРОБУДИЛА ВО МНЕ…

Национальную гордость пробудила во мне эмиграция. Раньше я этого чувства не испытывал.

Ну, полетел Гагарин в космос. Ну, поднял Власов тяжеленную штангу. Ну, построили атомный ледокол. А что толку?..

Меня удручала сталинская система приоритетов. Радио изобрел Попов. Электричество — Яблочков. Паровоз — братья Черепановы. Крузенштерн был назначен русским путешественником. Ландау — русским ученым. Барклай де Толли — русским полководцем. Один Дантес был французом. В силу низких моральных качеств.

Теперь все изменилось. Нахамкин дом купил. И Никсон дом купил. К Никсону я равнодушен. За Нахамкина — рад.

Бродскому дали «премию гениев». К Солженицыну прислушивается весь мир.

Портреты Барышникова я обнаруживаю в самых неожиданных местах. Например, в здании суда. О Ростроповиче и говорить нечего…

В Нью-Йорке обосновались три бывших московских саксофониста. Сермакашев, Пономарев и Герасимов. Нелепо брать в Тулу — самовар. А в Нью-Йорк — саксофон. Однако Сермакашев играл у Мела Льюиса. Пономарев — у Арта Блейки. Герасимов записал пластинку с Эллингтоном.

Мы гордимся Зворыкиным и Сикорским. Аплодируем Годунову и Макаровой. Мы узнаем поразительные вещи. Оказывается, Керк Дуглас — наш. Юл Бриннер — наш. Приятель Фолкнера, кинорежиссер Миллстоун оказывается Мильштейном с Украины.

Говорят, Радзиевский стал миллионером. Чем мы хуже господина Рокфеллера!

Недавно я беседовал с фотографом Львом Поляковым. Его работами заинтересовался крупнейший в мире аукцион — «Сотби Парк Вернет». Давно пора. Я ими восхищаюсь двадцать лет.

Честно говоря, я даже за Наврозова обрадовался. Шутка сказать, первый американский журналист из наших…

Происходит что-то неожиданное в сознании. Допустим, я не восхищаюсь прозой Аркадия Львова. Вдруг показывают мне его французскую книгу. Громадный том страниц на восемьсот. И рецензии, говорят, превосходные. Поневоле обрадуешься…

Лимонова проклинаем с утра до ночи. А между тем в ФРГ по Лимонову кино снимают. И заработает ужасный Лимонов большие деньги. Чему я буду искренне рад.

Потому что это — наши. Хорошие или плохие — разберемся. А пока — удачи вам, родные, любимые, ненавистные, замечательные соотечественники. Вы — моя национальная

гордость!

С КАЖДЫМ ГОДОМ…

С каждым годом она все больше похожа на человека. (Не в пример большинству знакомых журналистов.)

Принес я ее домой на ладони. Было это двенадцать лет назад. Месячный щенок-фокстерьер по имени Глаша. Морда кирпичиком. Хвост морковкой. Короче, Глаша была неотразима…

Воспитывали мы ее довольно невнимательно. Кормили чем попало. Зато подолгу с ней беседовали. И я, и мама, и жена. А потом и дочка, когда сама научилась разговаривать…

Глаша росла толковой и мужественной. К трем годам она совершила несколько подвигов. Во-первых, спасла щенка, который тонул. Вытащила его за хвост из лужи. Кроме того, побывала с моим братом на охоте. Первая отыскала след медведя-шатуна.

Очередной подвиг Глаша совершила в Таллине. Я уехал в командировку. Отдал Глашу знакомой машинистке из ЦК. Машинистка затопила печь. Раньше времени закрыла трубу. И уснула.

В квартире запахло угарным газом. Все спали. Но проснулась Глаша и действовала разумно. Подошла к хозяйскому ложу и стащила одеяло. А потом громко залаяла…

Днем ей принесли из буфета ЦК четыреста граммов шейной вырезки. Случай уникальный. Может быть, впервые партийные льготы коснулись достойного объекта.

Глаша не интересовалась политикой. Однако лаяла на милиционеров, когда они являлись без приглашения.

Консервы «Завтрак туриста» вызывали у нее аллергию. Как и у меня…

Наконец, мы собрались уезжать. За Глашу пришлось уплатить небольшой выкуп. По три рубля за килограмм. Глашу оценили чуть дешевле нототении. И чуть дороже постной свинины…

В Америке Глаше нравится. Она помолодела и готова выйти замуж. (Скоро дадим объявление в «НРС»…)

Говорят, все эмигранты перессорились. Это не так. Глаша одинаково симпатизирует Вагину и Янову, Бернштаму и Эткинду. Рафальскому и Парамонову…

Глаша часто спит у моих ног. Иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится родина. Например, мелкий частик в томате. Или сквер в Щербаковском переулке…

Не печалься, Глаша, все будет хорошо.

И прости, что у меня нет хвоста. (В Союзе был, и не один.)

Прости, что у меня есть ботинки и сигареты. И еще — работа по специальности.

В остальном мы похожи. И судьба наша — общая.

ВСЕ МЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ДАВАТЬ СОВЕТЫ…

Все мы очень любим давать советы. Такое уж государство нас воспитало — советское.

Мы даем советы, потому что всё знаем. Мы знаем, как управлять страной. Как бороться с преступностью. Как вести международную политику. В общем, знаем, как жить.

Хотя сами живем отвратительно. Хуже всех на свете. Хуже китайцев. Те хоть судили вдову председателя Мао. А наш товарищ Молотов, выродок и убийца, разгуливает по Садовому кольцу…

Наконец, мы приехали. В чужую непонятную страну. Научились пользоваться туалетной бумагой. Перестали в ужасе шарахаться от кондиционера. Запомнили пятнадцать английских слов от «чека» до «кеша» — включительно. Стираные бюстгальтеры на пожарную лестницу уже не вывешиваем. Короче — осмотрелись.

Америку мы сдержанно похваливаем. Снабжение, мол, хорошее, дубленки, растворимый кофе…

Хотя имеются, конечно же, отдельные недостатки.

Бензин дорожает. От чернокожих житья не стало. А главное — демократия под угрозой. Совсем ослабла. Того и гляди — пошатнется да рухнет. Что делать? А вот что!

Цены на бензин понизить. Велфейр у пуэрториканцев отобрать. Чернокожих — по лагерям и тюрьмам!.. Что, нету лагерей? Значит, надо это дело в стахановском порядке организовать. Кубу — оккупировать немедленно! По Тегерану водородной бомбой — раз!

Иначе — демократии конец!..

Дорогие мои земляки! Советчики и реформаторы! Энтузиасты и преобразователи!

Ради Бога, успокойтесь! Американской демократии двести лет. И все эти годы американская демократия слабеет. Все эти годы ей предсказывают скорейшую гибель. Все эти годы дорожает жизнь. Все эти годы чернокожие пугают нас до смерти.

А магазины по-прежнему ломятся от жратвы. А миллионы книг по-прежнему распродаются. И по-прежнему звучит гениальная музыка. И тысячи картинных галерей ежедневно

распахивают двери. И мчатся потоком роскошные автомобили. И по-прежнему количество беженцев со всего мира — растет.

И жить по-прежнему можно только здесь. И не только жить. Но еще и учить американцев — демократии!

Я ЗНАЮ, ЧТО ВСЕ НАРОДЫ РАВНЫ…

Я знаю, что все народы равны. Знаю, что все они достойны счастья и благоденствия. Да и вообще, какие тут могут быть сомнения?..

Разумом все понимаю. А в сердце живут какие-то необъяснимые пристрастия. И что гораздо хуже — неприятные мне самому антипатии.

Мне трудно избавиться от предубеждения к немцам. Может быть, фашизм тому виной. Хотя фашизм вообще-то итальянское блюдо. А предубеждения к итальянцам — нет. Вот и разберись…

Видимо, есть такое понятие — лицо народа, облик народа. А лица бывают разные. Бывают обаятельные лица, бывают — так себе.

Что же такое — обаяние? Откуда эта способность — без всяких усилий привлекать человеческие души?..

Поляки мне нравились с детства. Даже не знаю — почему. Возможно, благодаря Мицкевичу, Галчинскому, Тувиму…

Что еще вспомнить? Мазурки Шопена? фильмы с Цыбульским? Смешные карикатуры в журналах? Не знаю. Очевидно — все разом. Обаяние нации…

Рассказывали мне такую историю. Приехал в Лодзь советский министр Громыко. Организовали ему пышную встречу. Пригласили видную местную интеллигенцию. В том числе знаменитого писателя Ежи Ружевича.

Шел грандиозный банкет под открытым небом. Произносились верноподданнические здравицы и тосты. Громыко выпил польской сливовицы. Раскраснелся. Наклонился к случайно подвернувшемуся Ружевичу и говорит:

— Где бы тут, извиняюсь, по-маленькому?

— Вам? — переспросил Ружевич.

Затем он поднялся, раскинул ладони и громко воскликнул:

— Вам?! Везде!..

Есть у поэта Бориса Слуцкого такая метафора:

Для тех, кто на сравненья лаком,
Я истины не знаю большей,
Чем русский стих сравнить с поляком,

Поэзию родную — с Польшей!

Так до поры не отзвенело,
Не отшумело наше дело,
Оно, как Польска, не сгинело,
Хоть выдержала три раздела…

Действительно, есть что-то общее в этих трагических судьбах. Уж как душили русскую поэзию! Как только ее не увечили! Дуэли, войны, лагеря, цензура… Казалось бы, уже и нет ее. И вдруг рождается Бродский!

Так и с Польшей. Делили ее, калечили, топтали. Казалось, сломлен польский дух. Все безнадежно, серо и мертво.

И вдруг такое дело…

КОЛОНКИ РЕДАКТОРА ВЫЗЫВАЮТ…

Колонки редактора вызывают у моих знакомых самые неожиданные чувства. От безумного восторга до заметного испуга. То и дело я выслушиваю наставления, советы, рекомендации.

Например:

— Пиши о чем-нибудь серьезном. О налоговой системе. О ливанском кризисе. О преследовании христиан-баптистов… Зачем ты написал про дочку? И тем более — про собаку? Может, завтра и про таракана напишешь?..

Люди всю жизнь читали передовые статьи. Они привыкли. Им хочется получать ценные руководящие указания. Им без этого неуютно.

Что же делать?

Политикой у нас занимается Гальперин. Нравственными вопросами — Рыскин. Руководящие указания дает Борис Меттер. Да и то неохотно…

Что же это за колонки такие? Во имя чего существуют?

Колонки редактора появились не от хорошей жизни. Необходимо было что-то доказывать уважаемой публике. О чем-то просить. Освещать какие-то подробности редакционного быта. Короче — быть посредником между читателями и газетой.

Постепенно отношения с читателями наладились. А колонки, тем не менее, сохранились. Речь в них шла о чем угодно. В том числе и о моей собаке. Точнее, о ее самочувствии в эмиграции. Разве это не интересно?..

В старой русской журналистике бытовало понятие — фельетон. Причем отнюдь не в теперешнем его значении.

Нынешний фельетон — это сатирическая корреспонденция. По идее — смешная, бичующая всевозможные недостатки.

Старинный фельетон был иным. Это было короткое сочинение на вольную тему. Иногда веселое, иногда печальное. Как говорится — взгляд и нечто… Речь без повода… Случайный разговор на остановке…

Встречаются утром два человека:

— Как поживаешь?

— Да ничего. А ты?

— А у меня, брат, произошла такая история…

Поговорили и разошлись. Впереди наполненный событиями день. Содержательные разговоры, деловые встречи, ответственные заседания…

Потом неожиданно задумываешься:

«А вдруг самое главное было произнесено утром? В этом случайном разговоре на троллейбусной остановке? В грохоте нью-йоркского метро?..»

Возможно, чересчур серьезные люди будут разочарованы. Им я могу рекомендовать для чтения «Большую советскую энциклопедию»…

А нормальным людям мне хочется сказать:

— Здравствуйте. Как поживаете?.. У меня произошла такая история…

И следующую колонку я принципиально напишу о тараканах в эмиграции!

В АМЕРИКЕ НАС ПОРАЗИЛО МНОГОЕ…

В Америке нас поразило многое. Супермаркеты, негры, копировальные машины, улыбающиеся почтовые работники… Чему-то радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем инфляцию, нью-йоркский климат, грязь в метро, чернокожих подростков с транзисторами…

И, конечно же, достается от нас тараканам. Эти усатые насекомые занимают среди язв капитализма весьма достойное место.

Вообразите себе шкалу негативных эмоций. На этой шкале тараканы располагаются, я думаю, между преступностью и бумажными спичками. Чуть пониже безработицы. И чуть повыше марихуаны…

Кто скажет, что мы выросли неженками? Дома было всякое.

Дома было хамство и лицемерие. Консервы «Завтрак туриста» и ботинки «Скороход». КГБ и цензура. Коммунальные жилища и очереди за мылом.

А вот тараканов не было. Я их что-то не припомню. Хотя жить приходилось в самых разных условиях.

Однажды я снял комнату во Пскове. Ко мне через щели в полу заходили бездомные собаки. А тараканов, повторяю, не было.

Может, я их просто не замечал? Может, их заслоняли более крупные хищники? Не знаю…

Короче, приехали мы, осмотрелись. И поднялся ужасный крик:

— Нет спасения от тараканов! Так и лезут из всех щелей! Ох, уж эта Америка! А еще — цивилизованная страна!

Начались бои с применением химического оружия. Заливаем комнаты всякой ядовитой дрянью.

Вроде бы и зверя нет страшнее таракана! Совсем разочаровал нас проклятый капитализм!

А между тем — кто видел здесь хотя бы одно червивое яблоко? Хотя бы одну подгнившую картофелину? Не говоря уже о старых большевиках…

И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же…

Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля.

Таракан не в пример комару — молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос?

Таракан знает свое место и редко покидает кухню.

Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилища гнусным запахом химикатов…

Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить — это уже слишком. Но примириться, я думаю, можно!

Я, например, мирюсь.

И, как говорится, — надеюсь, что это взаимно!

УГРОЖАЕТ ЛИ НАМ ТЕРМОЯДЕРНАЯ ВОЙНА…

Угрожает ли нам термоядерная война? Эта тема живо интересует любого психически вменяемого человека.

В «Новом русском слове» опубликована (29 августа) заметка Юрия Мейера. Она называется «Люди, способные вызвать

апокалипсис».

Мейер исследует документы советской прессы. В частности, статью маршала Огаркова. (Июньский номер журнала «Коммунист».)

Статья Огаркова действительно производит жуткое впечатление. Маршал говорит, что большевики способны нанести Америке превентивный термоядерный удар.

По его мнению, такая война не означает гибели человечества. Огарков думает, что в этой войне можно победить.

Далее Мейер успокаивает читателя. Говорит, что Огарков не всесилен. Что у него есть влиятельный, оппонент. А именно — министр обороны Устинов. На заявление Огаркова министр реагировал в «Правде». Написал, что термоядерная война повлечет за собой колоссальные жертвы. Что контролировать ее ход — невозможно. Что победителей не будет…

Короче, выказал некоторую долю здравого смысла.

Сопоставляя эти документы, Мейер делает выводы о кремлевском разброде. О разногласиях между коммунистическими лидерами.

Выводы эти смешны и наивны.

Юрий Мейер, как говорится, попался на удочку. Устинов и Огарков разыграли совершенно банальный трюк. Использовали прием, давно разработанный госбезопасностью.

Допустим, вы находитесь у следователя КГБ. Следователь кричит и топает ногами. Называет вас агентом ФБР. Угрожает вам тюрьмой и мордобоем.

Вдруг отворяется дверь. В помещение заходит еще один работник КГБ. Как правило, более высокого ранга. Заходит и тихо говорит первому следователю:

— Нехорошо, товарищ Сидоров! Времена Ежова прошли. Зачем же вы топаете ногами?! Товарищ Довлатов уже готов чистосердечно все рассказать…

По идее, слушая это, вы должны рассуждать так:

— Первый следователь — негодяй. А второй — либерал. Надо держаться поближе ко второму. А то ведь и по физиономии схлопотать недолго…

На эту удочку попадаются только дураки. Оба работника КГБ действуют согласованно. В расчете на твою пугливость, глупость, доверчивость.

Советские лидеры единодушны, как волки, преследующие жертву. Их мнимые разногласия — дешевый спектакль. «Коммунист» и «Правда» топчутся возле одной лохани. Получают указания в одном и том же месте. Ловко жонглируют для виду кнутами и пряниками…

Нам бы, гражданам свободного мира, хоть каплю этого единодушия!

ИНТЕЛЛИГЕНТАМИ СЕБЯ НАЗЫВАЮТ ВСЕ…

Интеллигентами себя называют все. Человек порой готов сознаться в тягчайших грехах. Он готов признать себя неаккуратным, злым, ленивым, черствым и жестоким. Он даже готов признать себя неумным.

Но где вы слышали, чтобы кто-то заявил:

— Я — человек неинтеллигентный!

В лагере особого режима карманник Чалый повторял:

— Я — интеллигентный вор. Мокрыми делами не занимаюсь…

В Канавине, где я снимал жилье на лето, хозяин дома уважительно твердил:

— Серега у нас — интеллигент. Политуры и одеколона не употребляет. А только — белое, красное и пиво…

Следователь эстонского КГБ товарищ Зверев говорил мне:

— Вы должны нам помочь. Вы же интеллигентный человек. Вот карандаш и бумага…

Короче, все интеллигенты. И царит в этом деле невероятная путаница.

Интеллигентность путают с культурой. С эрудицией. С высшим образованием или хорошими манерами. Даже с еврейским происхождением:

— Скажите, вы — еврей?

— Нет, просто у меня интеллигентное лицо…

В эмиграции дело запутывается еще больше.

Интеллигенты вынуждены менять свои профессии. Музыковеды становятся бухгалтерами. Кинорежиссеры — агентами по недвижимости. Художники — лифтерами и охранниками.

Многие интеллигенты работают в такси. Некоторые занимаются физическим трудом.

Интеллигентные люди открывают магазины, рестораны, прачечные.

Так кто же интеллигент?

Интеллигентен ли бизнесмен, обманывающий своего партнера?

Интеллигентен лабух, называющий себя звездой международной эстрады?

Вот и разберись! Если человек сел за руль, то продолжает ли

он быть интеллигентом? Не абсурдно ли такое выражение — бывший интеллигент? Не звучит ли оно так же глупо, как бывший еврей? Бывший отец? Или — бывший автор «Капитанской дочки»?

Интеллигент за баранкой остается интеллигентом.

Хам остается хамом.

Но все-таки — кто же интеллигент?

Спорное, но выразительное определение интеллигентности дал Борис Меттер:

— Интеллигент — это тот, кто выписывает газету «Новый американец»!

ТАК КТО ЖЕ МЫ НАКОНЕЦ…

Так кто же мы наконец? Евреи или не евреи?

В Союзе нам жилось легко и просто. Еврейство было чем-то нехорошим, второсортным. В лучшем случае — простительным. Так бессознательно рассуждали даже приличные люди.

Мой школьный учитель, добродушный, тихий человек, говорил про озорного еврейского юношу:

— Еврей, а хулиганит…

Усматривая здесь двойное преступление…

В лагере я спросил оперуполномоченного:

— Почему среди евреев нет осведомителей?

Тот ответил:

— Сам посуди. Еврей, и к тому же — стукач! Это слишком…

Знакомый деревенский паренек рассказывал:

— К нам в МТС прислали одного. Все говорили — еврей, еврей… А оказался пьющим человеком…

Еврей — знай свое место! В школе добивайся золотой медали. В институте будь первым. На службе довольствуйся второстепенной ролью.

А не еврей — докажи! Предъяви документы. Объясни, почему ты брюнет? Почему нос горбатый? Почему «эр» не выговариваешь? Почему ты Наумович? Или даже Борисович? Про Абрамовичей я уж и не говорю…

Бывало, что люди утаивали свое еврейство. Можно ли их осуждать? По-моему — нет.

Нормальные люди действовали разумно. Не орали без повода — я еврей! Хоть и не скрывали этого.

И вот мы приехали. Евреи, русские, грузины, украинцы… Русские дамы с еврейскими мужьями. Еврейские мужчины с грузинскими женами. Дети-полукровки…

И выяснилось, что евреем быть не каждому дано. Что еврей —

это как почетное звание.

И вновь мы слышим — докажи! Предъяви документы. Объясни, почему ты блондин? Почему без затруднения выговариваешь «эр»? Почему ты Иванович? Или даже Борисович?..

Между прочим, это и есть расизм. Ненавидеть человека за его происхождение — расизм. И любить человека за его происхождение — расизм.

Будь евреем. Будь русским. Будь грузином. Будь тем, кем себя ощущаешь. Но будь же и еще чем-то, помимо этого…

Например, порядочным, добрым, работящим человеком. Любой национальности…

Спорное, но выразительное определение еврейства дал Борис Меттер:

— Еврей — это тот, кто выписывает газету «Новый американец»!

ИНОГДА МЫ ПОДОЛГУ СПОРИМ В РЕДАКЦИИ…

Иногда мы подолгу спорим в редакции — кто же наши читатели? Эти споры не утихают полтора года… Одни говорят:

— Нас читает и поддерживает Брайтон. Там живут энергичные, предприимчивые люди. Их не волнуют отвлеченные, литературно-философские проблемы. Им нужны практические сведения, реклама, хроника, бизнес. Ну и конечно — спорт. И больше ничего… А мы им предлагаем какие-то дискуссии…

Другие утверждают:

— Нас любит рафинированная интеллигенция. То есть сравнительно небольшой процент эмигрантов. Те, кого волнуют проблемы искусства, философии, религии… А всяческие кроссворды и бейсболы им не требуются…

Третьи подчеркивают:

— Нас читают евреи. И газета наша — еврейская. Поэтому надо увеличить количество еврейских материалов. Больше писать о еврейской истории. Подробнее рассказывать о жизни в Израиле. А мы зачем-то печатаем христианина Солженицына. Боремся за чистоту русского языка…

Четвертые просят слова:

— Наши подписчики — бывшие советские граждане. Им хочется знать, что происходит на родине. Как обстоят дела с экономикой? Что нового в правозащитном движении? Возможны ли какие-то демократические перемены? А мы им подсовываем эмигрантскую тематику…

Пятые высказываются следующим образом:

— Что значит — «Новый американец»? Кто придумал такое узкое наименование? У нас сотни подписчиков вне Америки. Кроме того, нас читают американские слависты. Нас читают старые американцы русского происхождения. И уж, конечно, представители трех эмигрантских волн…

Разобраться в этих спорах очень трудно.

Допустим, нас читают «простые люди». Тогда почему интеллектуальная дискуссия о еврействе вызвала столь бурную читательскую реакцию?

Предположим, нас читает только рафинированная интеллигенция. Чем же тогда объясняется шумный успех спортивных материалов?

Оказывается, все не так просто.

Оказывается, евреи любят русские стихи. Православных волнует судьба Израиля. Бывшие советские граждане живо интересуются западным кинематографом. А у трех эмигрантских волн — масса общих проблем. И сходства между ними больше, чем различий…

И все-таки, кого считать новым американцем? Может быть, необходим кандидатский стаж — год, два, три? Или соответствующая прописка? Непонятно…

И опять — спорная, но выразительная формулировка принадлежит Борису Меттеру:

— Новый американец — это тот, кто выписывает газету «Новый американец»!

ЭТО ПИСЬМО ДОШЛО ЧУДОМ…

Это письмо дошло чудом. Его вывезла из Союза одна поразительная француженка. Дай ей Бог удачи!..

Из Союза француженка нелегально вывозит рукописи. Туда доставляет готовые книги. Иногда по двадцать, тридцать штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана….

А мы еще ругаем западную интеллигенцию…

Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев, личного характера. И дальше:

> «…Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично — живая, яркая, талантливая. Есть в ней щегольство, конечно, — юмор и так далее. В общем, много есть хорошего.
>
> Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-

моему, решительно не хватает.

Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности…

Твоя эмиграция — не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно — где, в Америке, в Японии, в Ростове.

Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко и несущественно. Все остальное лишь унижает достоинство писателя! Хотя растут, возможно, шансы на успех.

Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем. Ты ехал — рассказать. Так помни же о нас…

Говорят, вы стали американцами. Говорят, решаете серьезные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина.

Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так, игра, притворство. Да какие вы американцы?! Кто? Бродский, о котором мы только и говорим?

Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от Разъезжей до Чайковского и от Старо-Невского до Штаба? Смешнее этого трудно что-нибудь придумать…

Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы… Тебя окружает прошлое. То есть — мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зэки.

Еще раз говорю — помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живем и пишем стихи.

В этом кошмаре, в этом аду мы узнаём друг друга не по именам. Как — это наше дело!..»

ВООБЩЕ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО…

Вообще это неправильно, что я болею за Корчного. Болеть положено за того, кто лучше играет.

Либо положено болеть за своих. За команду своего родного города. Своего государства. Своего пионерского или концентрационного лагеря. За борца или штангиста, который живет в соседнем доме. И так далее.

Но я болею по-другому. И всегда болел неправильно. С детства мне очень нравилась команда «Зенит». Не потому, что это

была ленинградская команда. А потому, что в ней играл футболист Левин-Коган. Мне нравилось, что еврей хорошо играет в футбол.

В шестидесятом году Мохаммед Али нокаутировал Петшиковского. Чуть раньше — Шаткова. Мне это не понравилось. И я не стал болеть за Мохаммеда Али. Он был чересчур здоровый, самоуверенный и победоносный. Потом у него выиграл Джо Фрезер. С тех пор все изменилось. Я болел за Али до конца. И болею сейчас…

Левин-Коган часто играл головой. Мне и это нравилось. Хотя еврейской голове можно было найти и лучшее применение…

Мне говорили, что у Корчного плохой характер. Что он бывает агрессивным, резким и даже грубым. Что он недопустимо выругал Карпова. Публично назвал его гаденышем.

На месте Корчного я бы поступил совсем иначе. Я бы схватил шахматную доску и треснул Карпова по голове. Хотя я знаю, что это не спортивно. И даже наказуемо в уголовном порядке. Но я бы поступил именно так.

Я бы ударил Карпова по голове за то, что он молод. За то, что он прекрасный шахматист. За то, что у него все хорошо. За то, что его окружают десятки советников и гувернеров.

Вот почему я болею за Корчного. Не потому, что он живет на Западе. Не потому, что играет лучше. И разумеется, не потому, что он — еврей.

Я болею за Корчного потому, что он в разлуке с женой и сыном. Потому, что ему за сорок. (Или даже, кажется, за пятьдесят.) И еще потому, что он не решился стукнуть Карпова шахматной доской. Полагаю, он этого желал не менее, чем я. А я желаю этого — безмерно…

Конечно, я плохой болельщик. Не разбираюсь в спорте и застенчиво предпочитаю Достоевского — баскетболисту Алачачяну.

Но за Корчного я болею тяжело и сильно.

Только чудо может спасти Корчного от поражения. И я, неверующий, циничный журналист, молю о чуде…

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ…

На английском языке вышла замечательная книга Солженицына — «Бодался теленок с дубом».

Произведение это — документальное, автобиографическое. Перед нами — хроника духовной и литературной борьбы с тоталитаризмом, цензурой, госбезопасностью и функционерами

ССП.

Мы узнаем, чего достигает великий писатель, единственное оружие которого — слово. Единственное преимущество — вера. Единственное достояние — мужество. Единственная ставка — жизнь…

Вот уже шесть лет Солженицын на Западе. На множестве языков изданы его книги. Широко обнародована его нравственная программа.

Исключительный художественный талант Солженицына не вызывает разногласий. Идеи Солженицына, его духовные, нравственные, политические установки вызывают разноречивую обоснованную критику.

Что может быть естественнее и разумнее? Ведь предмет дискуссии — будущее нашей многострадальной родины.

Солженицын не одинок. У него имеются значительные, талантливые, влиятельные единомышленники. Его позициям во многом следует лучший русский журнал «Континент».

Голос Солженицына звучит на весь мир. А значит, голоса его критиков и оппонентов тоже должны быть услышаны. Этому принципу следует наша газета…

Всякое большое явление обрастает суетой и мелочной накипью. То и дело раздается бездумный писк бездумных и угодливых клевретов Солженицына:

— Кто посмел замахнуться на пророка?! Его особа священна! Его идеи вне критики!..

Эти люди привыкли молиться очередным богам. (Неизменно расшибая при этом свои узкие лбы.) И менять убеждения, прочитав свежий номер газеты.

Десятилетиями они молились Ленину. А теперь готовы крушить его монументы, ими самими воздвигнутые.

Мы устроены по-другому. Слишком горек наш опыт, чтобы бездумно разделять любые идеи. Принимать на веру самые убедительные доктрины. Поспешно обожествлять самые яркие авторитеты.

Мы прозрели и обрели слух. Переиначивая буквари, нам хочется сказать:

МЫ — НЕ РЫБЫ! РЫБЫ — НЕМЫ!

А у нас есть право голоса. Право на критику. Право на собственное мнение.

Мы восхищаемся Солженицыным и потому будем критически

осмысливать его работы.

Слишком ответственна функция политического реформатора. Слишком дорого нам будущее России!

ЭТО ПИСЬМО Я ОТПРАВЛЯЮ В ЛЕНИНГРАД…

Это письмо я отправляю в Ленинград. Повезет его все та же благословенная француженка.

Дорогие мои!

Извините, что пишу так коротко и сумбурно. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Беллетристику давно забросил, что, возможно, и к лучшему…

На свободе жить очень трудно. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному и к хорошему. Разделить же дурное и хорошее не удается без помощи харакири. В каждом из нас хватает того и другого. И все перемешано…

Об Америке писать невозможно. Все, что напишешь, покажется тусклым и убогим. Мы живем здесь почти три года и все еще удивляемся.

Можно долго перечислять ее замечательные и ужасающие черты. Затем написать — «и так далее». То есть главное все равно останется за чертой. Америка всегда — и так далее. Ее не перечислить.

Кубизм зародился во Франции, и это — неправильно. Место ему — на Бродвее. Чувствуешь себя здесь как в магазине детских игрушек. Многие из которых неожиданно стреляют…

Я рад, что вам нравится газета. Жаль, что получаете лишь разрозненные номера. Если читать пунктиром, впечатление искажается.

Передайте Севостьянову, Чирскову, Долиняку, Губину, Лурье — мы нуждаемся в рукописях. Поговорите с Шефом и Ридом Грачевым, если это возможно. Попробуйте что-то объяснить Горбовскому. Дайте знать Валерию Попову.

За каждый хороший рассказ полагаются джинсы.

Я уже писал, что работать нам трудно. Рынок узкий,

публика инертная. Колбаса идет лучше Набокова.

Да и подонков хватает. В процентном отношении их здесь не меньше, чем дома. Только одеты получше. И то не всегда…

Стоит ли говорить, что я вас не забыл и постоянно думаю о Ленинграде. Хотите, перечислю вывески от «Баррикады» до «Титана»? Хотите, выведу проходными дворами от Разъезжей к Марата?

Я знаю, кто мы и откуда. Я знаю — откуда, но туманно представляю себе — куда. И вы, я думаю, не представляете. А может быть, представить себе этого и не дано… И слава Богу!

Мы живы, и одно это уже — показатель качественный.

И помните, не каждый соотечественник — друг. И далеко не каждый говорящий на русском языке понятен. Иногда, как писал Марамзин, говорит человек, а слушать нечего…

Зовут меня все так же. Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы.

БОЖЕ, В КАКОЙ УЖАСНОЙ СТРАНЕ МЫ ЖИВЕМ…

Боже, в какой ужасной стране мы живем!

Можно охватить сознанием акт политического террора. Признать хоть какую-то логику в безумных действиях шантажиста, мстителя, фанатика религиозной секты. С пониманием обсудить мотивы убийства из ревности. Взвесить любой человеческий импульс…

В основе политического террора лежит значительная идея. Допустим, идея национального самоопределения. Идея социального равенства. Идея всеобщего благоденствия.

Сами идеи — достойны, подчас — благородны. Вызывают безусловный протест лишь чудовищные формы реализации этих идей.

В политическом террористе мы готовы увидеть человека. Фанатичного, жестокого, абсолютно чуждого нам… Но — человека.

Мы готовы критиковать его программу. Оспаривать его идеи. Пытаться спасти в нем живую, хоть и заблудшую душу.

Любое злодеяние мы стараемся объяснить несовершенством человеческой природы…

То, что происходит в Америке, находится за объяснимой

гранью добра и зла.

Во имя чего решился на преступление Джон Хинкли?

Мотивы, рассматриваемые следствием, неправдоподобно убоги.

Нам известно заключение психиатрической экспертизы. Джон Хинкли оказался вменяемым, то есть — нормальным человеком.

Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя внимание незнакомой женщины! Беда угрожает стране, где такое становится нормой.

Кроме всего прочего, Рэйген старый человек. Кроме всего прочего, отец большого семейства. Кроме всего прочего, случившееся — акт хладнокровной, небывалой, а главное — бессмысленной жестокости.

Что-то главное нарушено в американской жизни…

Человек может стать звездой экрана или выдающимся писателем. Знаменитым спортсменом или видным ученым. Крупным бизнесменом или политическим деятелем. Все это требует ума, способностей, долготерпения.

А можно действовать иначе. Можно раздобыть пистолет и нажать спусковой крючок.

И все! Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет. О тебе будет говорить весь мир. Правда, недолго. До следующего кровавого злодеяния.

И я, человек неверующий, повторяю:

Боже, вразуми Америку! Дай ей обрести разум, минуя наш кошмарный опыт. Дай ей обрести мудрость, не пережив трагедии социализма! Внуши ей инстинкт самосохранения! Заставь покончить с гибельной беспечностью!

Не дай разувериться, отчаяться, забыть — в какой прекрасной стране мы живем!

КНЕССЕТ ПРИНЯЛ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ…

Кнессет принял важное решение об аннексии Голанских высот.

Решение кнессета вызвало единодушное осуждение большинства мировых правительств. В том числе и правительства США.

Все это порождает довольно грустные мысли. Я уже говорил, поведение государства и поведение человека — сопоставимы. Самозащита и обороноспособность — понятия адекватные. Разница в масштабах, а не в качестве.

Попробуем взглянуть на это дело с житейской точки зрения.

Я учился в послевоенной школе. К тому же — в довольно бандитском районе.

Времена были жестокие. Окружающие то и дело пускали в ход кулаки.

Меня это не касалось. Я был на удивление здоровым переростком.

А теперь вообразите хилого мальчишку, наделенного чувством собственного достоинства. К тому же — еврея в очках. Да еще — по фамилии Лурье.

Лурье приходилось очень туго. Местная шпана буквально не давала ему прохода.

Раза три Лурье уходил домой с побитой физиономией. На четвертый раз взял кирпич и ударил по голове хулигана Мурашку. Лурье выбил ему шесть зубов «от клыка до клыка включительно». (Так было сказано в милицейском протоколе.)

Я знаю, что драться кирпичом — нехорошо. Что это не по-джентльменски. С точки зрения БУКВЫ Лурье достоин осуждения. Но В СУЩНОСТИ Лурье был прав.

От Израиля ждут джентльменского поведения. Израилю навязывают БУКВУ международного права…

Я вспоминаю семьдесят третий год. Мы служили тогда в журнале «Костер». Однажды Лосев (нынешний дартмутский профессор) раздобыл карту Ближнего Востока. И повесил ее в холле комсомольской редакции.

Я взглянул и ужаснулся. Микроскопическая синяя точка. Слово «Израиль» не умещается. Конец — на территории Иордании. Начало — в Египте. А кругом внушительные пятна — розовые, желтые, зеленые.

Есть такая расплывчатая юридическая формулировка — предел необходимой самообороны. Где лежит этот злополучный предел? Нужно ли дожидаться, пока тебя изувечит шайка бандитов? Или стоит заранее лягнуть одного ногой в мошонку?

Казалось бы, так просто. Тем не менее прогрессивное человечество с дурацким единодушием осуждает Израиль. Прогрессивное человечество требует от Израиля благородного самоубийства.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НЕ БЕЗ ТРУДА…

Итальянская полиция не без труда освободила генерала Дозьера.

Америка ликует… Нам вернули боевого генерала…

Что происходит?! В Иране студенты хватают заложников,

держат в тюрьме, подвергая немыслимым унижениям. Американское правительство вырабатывает какие-то непонятные санкции. Проводит боевую операцию.

Операция с треском проваливается. Самолеты не желают взлетать. Связь нарушена. Карта местности составлена небрежно…

Ведется унизительный торг. Наконец измученных заложников почти выкупают. Американцы устраивают им потрясающую встречу. Ликованию нет конца. Шампанское льется рекой…

До чего же низко упал престиж Америки! Дипломаты радуются, что их не перестреляли как уток. Генерал Дозьер сообщает жене:

— Я чувствую себя прекрасно. Риали вандерфул!..

А я в эту минуту чувствовал себя ужасно. Горе той стране, у которой воруют полководцев. Генерал — не пудель. Генералов надо охранять…

Видит Бог, мы покорены Америкой. Ее щедростью и динамизмом. Благородством и радушием. И все-таки…

Что-то неладное происходит в этой стране.

Ехали мы в сабвее, приятель и я. Рядом стояла молодая женщина. Вдруг она побелела. Ей стало плохо. Ее начало тошнить.

Платка у женщины не оказалось. Я протянул ей свежую газету. Все расступились. Сидящие пассажиры отвели глаза.

— Уступите место женщине, — сказал приятель.

Никакой реакции.

Мой друг почти кричит в лицо широкоплечему бородатому янки:

— Эй ты, животное, встань!

Тот нехотя встает, улыбается…

Что-то неладное происходит в этой стране…

Женщина тонет в реке Потомак. Некий отважный господин бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, молодец, честь ему и хвала!

Дальше начинается безудержное чествование героя. Газеты, телевидение поют ему дифирамбы. Миссис Буш уступает ему свое кресло возле Первой леди. Говорят, скоро будет фильм и мюзикл на эту тему…

Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за собой такие же деяния.

Так что же происходит в Америке? Равнодушие становится нормой? Нормальный жест воспринимается как подвиг?

А может, я сгущаю краски?..

Я ВСЕГДА ГОРДИЛСЯ…

Я всегда гордился своей аккуратностью. Хотя гордиться тут особенно нечем. Известно, что повышенная аккуратность — свойство заурядных натур.

И все-таки я гордился. Гордился тем, что своевременно возвращаю долги. Тем, что редко опаздываю. Тем, что, как правило, выполняю свои обещания.

Это готова подтвердить даже моя собака. Уже десять лет я гуляю с ней в одни и те же часы…

Короче — педант, аккуратист, бескрылая личность… Чем и горжусь.

И больше всего горжусь тем, что сразу отвечаю на письма. Вернее — так было раньше. А теперь — все иначе…

Ежедневно мы распечатываем сотни писем. Значительная часть приходится на мою долю. Письма — самые разные. Деловые и личные. Восторженные и негодующие. Есть и анонимные письма. Это нормально. Это даже приятно. Поскольку можно не отвечать…

Когда газета начала выходить, писем было мало. Три-четыре в день. Через несколько месяцев они хлынули бурным потоком. Затем обрели мощь Ниагарского водопада.

Возникла довольно серьезная проблема. Как быть? Секретарша и без того завалена работой. Объем газеты увеличивается. Нагрузка у каждого сотрудника редакции огромная. Времени совершенно не хватает.

А письма все идут. Приблизительно их можно классифицировать следующим образом:

1. Деловые. 2. Творческие. 3. Личные.

На деловые письма мы отвечаем сразу. Конструктивные предложения обсуждаем на собраниях. Критические замечания стараемся учитывать.

Резкость формы при этом нас мало смущает. Лишь бы критика обусловливалась доброжелательным чувством.

Шипение злобствующих неудачников — игнорируем. Ведь зависть способствует любому успешному начинанию.

С творческими письмами хлопот гораздо больше. Нам шлют стихи и прозу. Фотографии и рисунки. Статьи и корреспонденции. Документы и вырезки. Мемуары и анекдоты.

Лучшие вещи мы печатаем. Неудачные произведения — отвергаем. Обсуждать и рецензировать — не считаем целесообразным.

Возвращать отвергнутые рукописи — не принято. (Снять копию здесь — не проблема.)

Все это — обычные редакционные правила. Принятые как в Союзе, так и на Западе…

А вот с личными письмами — катастрофа. Они загромождают мой письменный стол. И за каждым безответным письмом — обида, горечь, требовательное недовольство. Что мне делать — не знаю…

Друзья мои! Вообразите лист бумаги размером с озеро Мичиган. И авторучку с корабельную мачту. Этой громадной воображаемой авторучкой на этом громадном воображаемом листе бумаги я пишу:

— БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, МОИ ДОРОГИЕ, В НАСТУПАЮЩЕМ НОВОМ ГОДУ! СПАСИБО ЗА ВСЕ. И ПРОСТИТЕ МЕНЯ…

ЖИЗНЬ АКАДЕМИКА САХАРОВА…

Жизнь академика Сахарова — в опасности. Это значит, в опасности — сама идея цивилизации. Значит, советские власти готовы перешагнуть рубеж нравственного одичания.

Репутация Сахарова — уникальна. Он внушает любовь даже своим идейным противникам. Более того, своим заклятым врагам.

В эмиграции много замечательных людей. Огромным уважением пользуются Солженицын и Григоренко, Максимов и Буковский, Чалидзе и Турчин, Зиновьев и Копелев. Между ними глубокие, сложные, иногда довольно неприязненные отношения.

Но Сахарова любят все. Мрачноватые русские патриоты и запальчивые сионисты. Убежденные демократы и приверженцы сильной власти. Глашатаи плюрализма и сторонники авторитарных форм…

Говорят, академика Сахарова уважает даже Павел Леонидов.

Уважение к Сахарову — может быть, единственное, что объединяет всех русских эмигрантов…

В Ленинграде есть такой журнал — «Аврора». В шестьдесят седьмом году его редактировала Нина Косырева. Косырева была обыкновенной партийной чиновницей. И делала все, что положено делать номенклатурному советскому редактору. Отклоняла талантливые рукописи, печатала всякую халтуру, горячо и лицемерно выступала на юбилейных и партийных собраниях.

Неожиданно в «Авроре» появился материал, где упоминали крамольного Сахарова. Упоминали как ученого, в положительном смысле.

Это был страшный, недопустимый идейный промах.

Косыреву потащили в обком. Начали прорабатывать. Нина

Сергеевна упрямо твердила:

— Не знаю, не знаю, я смотрела в энциклопедии…

Что-то с ней произошло. Видимо, на Сахарове кончилось ее терпение.

Косыреву сняли…

Мне кажется, главное в академике Сахарове — доброта. Его отношение к миру поражает снисходительностью и беззлобием. Надо же было так изощриться властям, чтобы принудить Сахарова объявить голодовку. Толкнуть его на эту крайнюю меру, на этот последний шаг.

Мне кажется, его должны спасти. Иначе просто быть не может. Иначе жить на этой планете будет совершенно отвратительно.

Если убьют Сахарова, то не пощадят и вас!

Когда номер был готов, пришло известие, что требование академика Сахарова — удовлетворено.

МЫ ЖИВЕМ СРЕДИ ЦИФР…

Мы живем среди цифр. Память хранит их в необозримом количестве. В цифрах можно изобразить любую, самую причудливую биографию. От фиолетовых каракулей на бирке родильного дома. До скупой информации на могильной плите.

Можно написать роман в цифрах. И эта штука будет посильней, чем «Фауст» Гете.

Все даты жизни одного моего партийного родственника — 1917–1938. По-моему, это законченный трагический роман…

Мы любуемся первым снегом… Обретаем второе дыхание… Называемся третьей волной… Подлежим четвертому измерению… Тяготимся пятой графой… Испытываем шестое чувство… Оказываемся на седьмом небе…

Мы помним номера телефонов и даты рождений. Размеры наших брюк и шапок, Бесчисленные адреса и цены на товары широкого потребления.

Мы переводим доллары в рубли. Меняем Цельсия на Фаренгейта.

Мы любим подсчитывать чужие доходы. Мы хорошо считаем, когда надо…

Перед вами сотый номер газеты. Сто недель пролетело. А ведь еще вчера мы совещались у «Натана». (Угол 53-й и Бродвея.)

За эти сто недель мы двадцать раз горели. Пятнадцать раз закрывали лавочку. Четырежды умирали и возрождались. Мы, как Польша, выдержали три раздела.

Когда-то мы были великолепной семеркой. Затем приходили все новые и новые люди. (Не превратиться бы в черную сотню!)

И все-таки каждая неделя завершается праздником. Выходит «Новый американец». А ведь это — двести машинописных страниц. Объем «Капитанской дочки». Пятьдесят две «Капитанских дочки» в год!..

Я не хочу сказать, что мы всегда работали замечательно. Всякое бывало. Но мы работали честно. И если делали глупости, то не со зла. А потому, что не хватало опыта. Потому что не боги горшки обжигают. Боги только советы дают и критику наводят.

И еще потому, что лишь серость застрахована от неудач…

Рано утром позвонил Вайль:

— Ты помнишь, что мы выпускаем сотый номер?

Конечно, помню. Я только обиды забываю. Я думаю, это профессиональное качество.

Да ради такого звонка я готов помириться с шестьюдесятью Наврозовыми. Я забыл больше, чем вы когда-нибудь сможете узнать…

Сотый номер почти готов. Читайте, критикуйте, — это ваша газета.

Вроде бы мы затеяли нужное дело. Увидите. Поговорим через сто лет.

В НАШЕМ ДОМЕ…

В нашем доме протекает крыша. С потолка каплет. На стенах мерзкие разводы.

Помимо этого — не топят. Вернее, топят, но редко. Короче, температура низкая. Градусов шестнадцать по Цельсию.

И еще — всякие мелочи. Выключатель не действует. Рамы прогнили и так далее.

Все хорошо. Район хороший. Квартира большая. Но довольно паршивая.

Наш супер Габриэль живет и работает по-коммунистически. Вид у него бодрый. Глаза поблескивают. Работать не хочет. Топить как следует не хочет. Крышу чинить не хочет. Но здоровается — вежливо. Это у него, видимо, пережиток капитализма.

Прямо не знаем, что делать.

В Ленинграде я годами боролся с домоуправлением. Чего-то добивался, просил, скандалил, угрожал.

Как-то раз пришел сантехник. Пришел и все испортил. Отвинтил краны. Перекрыл газ. Вывел из строя уборную. Затем

попросил шесть рублей и ушел. Ушел и, естественно, запил. А мы остались без воды и без удобств.

Я терпел четыре дня. Затем разыскал пьяного водопроводчика. Втащил его на пятый этаж. Достал охотничье ружье. Сел на табуретку и говорю:

— Шаг в сторону — побег! Стреляю без предупреждения!

Два часа трудился водопроводчик. Кран починил. Газ починил. Потом говорит:

— Пусти в уборную, начальник!

— Починишь — сходишь.

Так он все и починил. И только в самом конце задумчиво произнес:

— Надо было тебя сразу же монтировкой перетянуть!

— Верно, — говорю, — но поздно…

Так было в Союзе. Один раз добился справедливости. С оружием в руках.

А что делать здесь? Видимо, существуют какие-то нормы. Какие-то легальные методы борьбы.

Говорят, есть специальная комиссия по отоплению. Еще, говорят, можно депонировать квартплату. И так далее. В общем, есть пути.

Может, кто-то из читателей поделится опытом? Расскажет, как действовал? Чего добился? Мы бы постоянную рубрику открыли для таких советов…

Ведь Габриэль не один. Ударников коммунистического труда везде хватает. Так что пишите.

Ждем!

ШЕФА ПОЛИЦИИ ОХВАТИЛО…

Шефа лос-анджелесской полиции охватило неожиданное служебное рвение. Он заявил, что русский Брайтон — это филиал КГБ. Что с Брайтона тянутся нити заговора против Олимпийских игр. Что Москва под видом беженцев засылает сюда шпионов и террористов.

Калифорнийский шерлок холме перестарался. Его безответственное заявление говорит о профессиональной некомпетентности. О явном непонимании природы третьей эмиграции. Об элементарном незнании людей.

Именно такие заявления вызывают расовую отчужденность. А в сумасшедшем Нью-Йорке они чреваты и более тяжелыми последствиями.

Тем обиднее сознавать хотя бы едва уловимую долю правоты

в измышлениях калифорнийского шефа. Тем досаднее сознавать, хотя бы частично, справедливость выдвинутых им обвинений.

Филиал КГБ — это слишком. Мафия — это слишком. Но мошенники среди нас попадаются. Есть и примитивное ворье…

Канает местная дама в провинциальный супермаркет. Туда заходит в бросовом пальто. А появляется — в дубленке. Чистая Золушка!..

Есть хулиганы. Есть вымогатели. Есть фиктивные холостяки и липовые вдовы. Все у нас есть.

Я не говорю о случаях банального мордобоя. О неутихающей карточной игре. Об импортном советском пьянстве…

Есть, говорят, на Брайтоне тайный публичный дом. По мне, так уж лучше — явный. Меньше риска, больше гигиены. Здесь это разрешается. Правда, лицензия дорогая…

Партнеров обманываем. Документы подделываем. Контрабандными сигаретами торгуем.

Одному рижанину на Брайтоне машину продали. Машина замечательная — фары, например. Запасная покрышка. Насос. Тормоза…

Правда, ездит медленно. И только лишь под гору. А в гору без кардана — никак…

Я знаю, что основное население Брайтона — предприимчивые, толковые и весьма достойные люди. Честные труженики, законопослушные граждане, отцы семейств. Есть здесь и своя интеллигенция. Есть инженеры, рабочие, программисты. Есть в том числе и сотрудники «Нового американца». Но и погани хватает. Она-то и бросается в глаза.

Жалуюсь тут одному брайтонцу на калифорнийского шефа полиции. А он и говорит:

— Пусть заглянет в наш ресторан. Мы его живо переубедим. Мы ему, гаду, рожу начистим…

Что ж, милый способ понравиться должностному лицу…

К НИЩИМ Я ВСЕГДА ОТНОСИЛСЯ С ПОЧТЕНИЕМ…

К нищим я всегда относился с почтением. Или, как минимум, с любопытством. Еще бы, ведь это люди совершенно не такие, как мы. Они игнорируют всяческие приличия. Ходят в рубище. Не служат. На общественное мнение — плюют.

Раньше я не всегда подавал им милостыню. Иной раз быстро проходил мимо. Одно дело — старый человек, инвалид. Однако чаще попадаются здоровые, нахальные и без малейших следов увечья. Говорят, они тайно строят дачи. И вообще неплохо

зарабатывают своим ремеслом.

Раньше я не всегда им подавал. А теперь подаю. Всем без исключения.

На меня очень сильно подействовал рассказ Тараса Шевченко, записанный в его дневнике. Рассказ такой:

> «Шел я в декабре по набережной. Навстречу босяк. Дай, говорит, алтын. Я поленился расстегивать свитку. Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, слышу — плеск воды. Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой в проруби утопился. Люди собрались, пристава зовут… С того дня, — заканчивает Шевченко, — я всегда подаю любому нищему. А вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жестокости…»

Я не случайно вспомнил эту историю. Сегодня иду по Манхэттену. Навстречу оборванец. На плечах женская кофта. На голове — абажур. Подходит и говорит:

— Дай мне квотер!

Не то чтобы он потребовал квотер. Хотя и не скажу, что попросил. Он сдержанно предложил мне дать ему квотер.

Я дал. Я дал, но морально осудил этого человека. После чего хотел было идти своей дорогой.

Но тут произошло чудо. Босяк отбежал в сторону. Он стал как будто выше ростом. Затем вдруг изобразил мою походку. Надо сказать — очень похоже и талантливо. В общем, он честно заработал свой квотер…

Значит, он был артистом. И я решил не осуждать его. У меня своя дорога, у него — своя.

И я в хорошем настроении пошел своей дорогой… А он — своей…

Говорят, экономическая политика Рэйгена затрагивает интересы беднейших слоев населения. Дай Бог, чтобы она пощадила моего нового знакомого…

КОГДА-ТО НАМ ВНУШАЛИ…

Когда-то нам внушали:

— Советское — значит, отличное! И все у нас замечательно! А вот у них — кошмар и дикость! С голоду дохнут, негров линчуют, морально разлагаются… И прочее, и прочее…

Приехали, осмотрелись. Не голодаем. Мораль на прежнем уровне. И негры целы (даже слишком)…

Короче, обманывала нас советская пропаганда. Мы ей больше не верим. Мы теперь рассуждаем по-другому.

— Запад — это прекрасно! И все у нас замечательно! А вот у них — действительно — кошмар! С голоду дохнут, евреев линчуют… И так далее… И тому подобное…

Я не спорю. Советское государство — не лучшее место на земле. И много там было ужасного. Однако было и такое, чего мы вовек не забудем.

Режьте меня, четвертуйте, но спички были лучше здешних. Это мелочь, для начала.

Продолжим. Милиция в Ленинграде действовала оперативней.

Я не говорю про диссидентов. Про зловещие акции КГБ. Я говорю о рядовых нормальных милиционерах. И о рядовых нормальных хулиганах…

Если крикнуть на московской улице «Помогите!» — толпа сбежится. А тут — проходят мимо.

Там в автобусе места старикам уступали. А здесь — никогда. Ни при каких обстоятельствах, И надо сказать, мы к этому быстро привыкли.

В общем, много было хорошего. Помогали друг другу как-то охотнее. И в драку лезли, не боясь последствий. И с последней десяткой расставались без мучительных колебаний.

Не мне ругать Америку. Я и уцелел-то лишь благодаря эмиграции. И все больше люблю эту страну. Что не мешает, я думаю, любить покинутую родину…

Спички — мелочь. Важнее другое. Есть такое понятие — общественное мнение. В Москве оно было реальной силой. Человек стыдился лгать. Стыдился заискивать перед властями. Стыдился быть корыстным, хитрым, злым.

Перед ним захлопывались двери. Он становился посмешищем, изгоем. И это было страшнее тюрьмы.

А здесь? Перелистайте русские газеты и журналы. Сколько ненависти и злобы! Сколько зависти, гонора, убожества и

притворства!..

Молчим. Привыкли…

Глупо делить людей на советских и антисоветских. Глупо и по́шло.

Люди делятся на умных и глупых. Добрых и злых. Талантливых и бездарных.

Так было в Союзе. И так будет в Америке. Так было раньше. И так, я уверен, будет всегда.

К СОЖАЛЕНИЮ, Я НЕ ЗНАЮ…

К сожалению, я не знаю их фамилий. Лишь немногих знаю по именам. Но здороваюсь почти со всеми. И почти все они здороваются со мной.

Они — это наши старики из Форест Хиллса.

Вспомните раздражительных советских пенсионеров. Вспомните их усталые, хмурые лица. Их дешевые папиросы. Их черные пальто и бесформенные скороходовские туфли. Их возбужденные, недовольные голоса:

— Я, мамаша, Перекоп брал! А ты мне чекушку без очереди не даешь…

А теперь пожалуйте к нам в Форест Хиллс.

Вы только посмотрите, как одеты наши старики! Как они моложавы и элегантны! Как доброжелательны и бодры!

Среди молодежи еще попадаются наглецы и грубияны. Старики же неизменно вежливы и корректны.

Люди нашего возраста порой ругают Америку. Пожилые люди оценивают ситуацию гораздо трезвее. Хотя перестройка им стоит куда больших усилий. Язык дается с большим трудом. И пережитое напоминает о себе более властно…

Старики веселее, оптимистичнее нас. Среди молодежи больше распространено уныние. (Которое лишь издалека напоминает величие духа.) Пожилые люди знают:

Уныние страшнее горя. Ибо горе есть разновидность созерцательного душевного опыта. Уныние же — сон души.

Старики не меркантильны. Они звонят мне в редакцию:

— Материально я вполне обеспечен. У меня есть все и даже больше. Но знаете, хочется чего-то еще… Вот и написал о том, что пережил…

Так попала к нам глава из повести Лейзера…

От пожилого человека не услышишь:

— А что я с этого буду иметь?..

Старикам важнее давать, а не брать.

И еще одно соображение. Именно старики — наиболее требовательные, дотошные и взыскательные читатели газеты. Именно старики нам пишут чаще других. Чаще других звонят в редакцию.

Старики поддержали нас в трудные месяцы. Старики нас ругают за промахи и ошибки…

Вчера я спешил на работу. Спустился в метро. Заметил отходящий поезд. И поленился ускорить шаги.

— Ну вот, — подумал я, — старею…

Подумал и обрадовался.

Куплю себе розовые брюки. Куплю рубашку с попугаями. Выпишу газету «Новый американец». Буду умным, веселым, добродушным стариком из Форест Хиллса.

ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ…

Человек умирает не в постели, не в больнице. Не в огне сражений и не под гранатами террористов.

Человек умирает в истории.

Пусть ему дана всего лишь минута. Порой этой минутой завершается час. А этим часом — год. А годом — столетие, эпоха.

Такая минута соединяет века.

Господин Садат — убит и похоронен в истории.

Он был сильным, разумным и миролюбивым человеком. Мир на Востоке — его личное достижение.

Мы говорим о роли личности в истории. Полагаем, что историю делают народные массы. То есть — все и никто. Я думаю, это говорится, чтобы избежать ответственности.

«Илиаду» написал Гомер. Паровую машину изобрел Джеймс Уатт. Крылья дали человечеству — братья Райт. А Ватерлоо проиграл Наполеон.

Русскую литературу создал Пушкин. Выволакивают ее из провинциальной трясины Бродский с Набоковым. А роман «Я шел на связь…» — произведение господина Любина. И массы тут ни при чем…

Часто пишут: «Музыка и слова народные». Затем выясняется, что народные слова принадлежат Алешковскому. Да и музыка — ему же…

Впервые евреи оплакивают смерть араба. Это не случайно.

Президент Садат добился консолидации власти. Остановил напор фанатиков ислама. Слегка приструнил Каддафи. Выдворил советских шпионов, да еще отобрал у них любимую Асуанскую плотину.

Вспоминается такая песня:

Жар пустыни мне очи щипет (?!),
И глаза застилает пот…
Напиши мне, мама, в Египет,
Как там Волга моя течет.

Эта песня — вершина экспансионистского нахальства. (Где уж там Киплингу с его африканскими маршами!) Садату она не понравилась…

У него было много врагов. Как у всякого миролюбивого человека. Потому что мир требует жесткой и целенаправленной воли.

Садат добился мира на Востоке. Мира, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей. И который может рухнуть с гибелью одного-единственного человека.

Потому что мир — неустойчив. Люди злы. И нет конца человеческому безумию.

Садат творил добро неумолимо и жестко. Очевидно, не знал, не увидел другого пути.

Сердце такого человека открыто пулям.

БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА…

Бывают ситуации, когда все правы. И те, кто за. И те, кто против.

Израиль решил не оказывать помощи тем эмигрантам, которые едут в Америку. Решение это продиктовано отнюдь не жестокостью израильских властей.

Израиль — маленькое, воюющее государство Ему необходимы военные и профессиональные кадры. Ему дорога идея объединения, монолитности своего народа. Значит, Сохнут будет помогать лишь тем, кто намерен жить в Израиле.

Решение, конечно, волевое, но психологически объяснимое. Сохнут руководствуется государственными интересами.

Хотя вряд ли это решение достигнет цели. Много ли проку от беженцев, которых заполучили насильственно?.. Нелегко будет превратить этих людей в героев даже капиталистического труда. И тем более — в доблестных солдат…

Однако решение принято. Американский госдепартамент высказался на эту тему критически. ХИАС заявил, что будет и дальше оказывать помощь тем, кто намерен ехать в Америку, Затем поползли тревожные слухи. Якобы господин Шафир взял

свое заявление обратно. Видимо, не без давления Сохнута…

Все это довольно грустно. Грустно потому, что компрометирует саму идею демократии.

Безграничного уважения достоин тот, кто едет созидать молодое израильское государство. Но лишь в том случае, если он проделывает это — добровольно.

История на этот счет богата разнообразными примерами. Остановимся на самых крайних.

Русского человека Солдатова посадили как борца за независимую Эстонию. Причем оккупированную его соотечественниками. А продал его на суде эстонец Варату. Националистам тут есть о чем задуматься…

Лорд Байрон погиб, сражаясь за независимость Греции. А Фаддей Булгарин сражался в частях Наполеона против русских. Байрон — замечательный человек. Булгарин — негодяй. Но оба были свободными людьми, и это важно.

Свобода, как известно, неделима. Она нужна хорошим и плохим. И уж тем более — нормальным людям. Вроде нас…

Нельзя предоставить свободу одним лишь героям. Как нельзя предоставить возможность жениться одному Барту Рейнольдсу…

Куда ехать?.. Для меня такой проблемы не существовало. Мой выбор был предрешен семейными и творческими обстоятельствами. И я осуществил его. И такое же право для каждого — неоспоримо!

Хочется верить, что Соединенные Штаты найдут возможность помогать беженцам и дальше. Потому что Америка — страна классической демократии.

Не зря мы приехали именно сюда…

НЕДАВНО МОЙ ДРУГ…

Недавно мой друг Соломон Шапиро побывал в Испании. Видел чертову корриду. Объездил средневековые испанские города.

В конце, говорит, домой потянуло.

Домой — это значит в Нью-Йорк. Точнее — в Форест Хиллс. Где по утрам неутомимый Моня раскладывает свой товар. Где на площадке у «Вальдбаумса» до самой темноты хлопочут автолюбители. А в магазине «Брукс» торгует девушка необычайной красоты…

Как быстро это случилось! Как быстро мы привыкли считать фантастическую Америку — домом…

Я давно уже замечаю в себе крикливые черты патриотизма.

Злюсь, когда ругают Нью-Йорк. Начинаю спорить. Я говорю, что преступность здесь не так уж велика. Что газеты умышленно раздувают эту тему. Что шанс быть ограбленным — ничтожен.

Я лгу, что каждый день бываю в Гарлеме и тем не менее — жив…

Допустим, кто-то утверждает, что в Нью-Йорке грязно.

— Грязь?! — кричу я. — Что значит — грязь! Это вовсе не грязь! Это — неорганизованная материя…

За этой нелепой формулировкой скрывается простое ощущение. Мне грустно, что Нью-Йорк захламлен и посторонние это видят…

Помню, Некрасов поинтересовался:

— Сколько вы платите за квартиру?

И я почему-то сказал — двести восемьдесят. Хотя мы платим значительно больше. Просто мне хотелось, чтобы Нью-Йорк выглядел как-то доступнее…

В разговоре с приезжими я тороплюсь изложить главное:

Здесь ты не ощущаешь себя чужим. Здесь половина населения говорит с чудовищным акцентом…

Таковы явные симптомы патриотизма. Нью-Йорк ужасен, и все же это — мой город. И люди здесь живут, в основном, симпатичные. Хотя и с легкими чертами безумия. От последнего Моргулиса до Эдварда Коча.

В Ленинграде я жутко гордился Эрмитажем. Хотя не был там лет двадцать пять. А здесь горжусь Музеем современного искусства, Даже издали его не видел, а горжусь!

Видимо, это и есть патриотизм — гордиться неизвестно чем…

И меня глубоко волнует сознание того, что русские живут по всей Америке. Что Ефимов не собирается покидать Мичиган. Что Лосеву нравится Гановер. А Роме Левину — отсутствующий на карте Холиок…

Рано утром я выхожу за газетой. С кем-то здороваюсь. Покупаю горячие бублики к завтраку.

Начинается день. И я к нему готов. А потом неожиданно вспоминаю:

«В Пушкинских Горах закончился сезон. В Ленинграде дожди…»

ВЫБИРАЯ МЕЖДУ ДУРАКОМ И НЕГОДЯЕМ…

Выбирая между дураком и негодяем, поневоле задумаешься. Задумаешься и предпочтешь негодяя.

В поступках негодяя есть своеобразный эгоистический резон.

Есть корыстная и низменная логика. Наличествует здравый смысл.

Его деяния предсказуемы. То есть с негодяем можно и нужно бороться…

С дураком все иначе. Его действия непредсказуемы, сумбурны, алогичны.

Дураки обитают в туманном, клубящемся хаосе. Они не подлежат законам гравитации. У них своя биология, своя арифметика. Им все нипочем. Они бессмертны…

Наша газета существует четырнадцать месяцев. Я не говорю, что все идет замечательно. До сих пор нет хорошего экономиста. Нет странички для женщин. О юном поколении совсем забыли…

Мы все это знаем. Что-то делаем, пробуем, ищем.

И мешают газете вовсе не агенты КГБ. Не палестинские террористы. Не американские либералы. А мешают ей старые знакомые, жизнерадостные и непобедимые — дураки.

Возникла у нас дискуссия о смертной казни. Вопрос освещался по-разному. С юридической позиции (Лейкин), с этической (Шрагин), с общедуховной (Рыскин).

Умные люди поделились своими раздумьями. Высказали печальные истины. Попытались выдвинуть конструктивные идеи.

Тут же взял слово дурак:

— Чего это вы пишете?! Зачем вы нас расстраиваете?! Какая еще преступность?! Я четыре года в Америке, и меня до сих пор не ограбили! А вы говорите…

Появилась у нас статья о местном антисемитизме. С фотографиями, цифрами, документами.

И снова дурак выступает:

— Какой там антисемитизм?! У нас все хорошо!..

Что дураку ответить? Вот разрисуют тебе свастикой физиономию, тогда узнаешь…

То и дело появляются у нас критические статьи. Иногда довольно резкие.

И снова дурак недоволен:

— Зачем вы критикуете бездарных писателей?! Вы лучше критикуйте талантливых, чтобы не зазнавались.

Состоялся в газете разговор на тему: «Что это значит — быть евреем?»

И снова дурак карабкается на трибуну:

— Какая разница, евреи мы или не евреи? Грин-карта есть, машина есть, сосисок хватает… Какие могут быть дискуссии?!.

Что с дураком поделаешь? Дурак вездесущ и активен. Через ОВИР прорвался. Через океан перелетел. И давит почище Андропова.

Поневоле задумаешься, выбирая между дураком и негодяем. Задумаешься и все-таки предпочтешь негодяя.

Но самое ужасное, когда он еще и дурак в придачу…

НА РОДИНЕ…

На родине государством управляли мистические существа. Ну, что мы знали о Сталине? Что он курил трубку и был лучше всех. Что мы знали о Ленине? Что он носил кепку и тоже был лучше всех. О Брежневе мы даже этого не знаем. Известно только, что у него есть брови…

Вспоминается, как я был изумлен, узнав, что Ленину нравилось холодное пиво. В этом заурядном факте проглядывало нечто человеческое…

И еще одна важная деталь. У Ленина был незначительный дефект речи. У Сталина — рыночный акцент торговца гладиолусами. У Брежнева во рту происходит что-то загадочное. Советские лингвисты особый термин придумали для этого безобразия — «фрикативное Г». Все это не случайно: и «F», и «Р», и цветочно-фруктовый акцент. Ведь у инопланетян должны быть какие-то этнические особенности. Иначе на людей будут похожи. А это — нельзя.

Вспомните день 1-го Мая. На трибуне мавзолея вереница серых глиняных изваяний. Брежнева и Косыгина еще можно узнать. Пельше и Суслов однотипны и взаимозаменяемы. Остальные неотличимы, как солдатское белье.

Здесь государством управляют живые люди. Мы знаем, что Картер набожен, честен и благороден. Мы знаем, что Рэйген тверд, принципиален и бережлив.

Дома мне было абсолютно все равно, за кого голосовать. Я раза четыре вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений. А из ненависти к бессмысленным действиям.

Здесь, повторяю, все иначе. Здесь мы гораздо ближе к политике. Пусть мы еще не американские граждане. Пускай голосовать будут другие — не важно. Результаты президентских выборов близко касаются и нас. Ведь за ними стоит реальный жизненный и государственный курс.

Я убежден в том, что личность государственного деятеля есть продукт эпохи. Что время, исторический момент, определяет тип главы правительства. Сталин, Гитлер и Трумэн были очень разные люди. Но было в этих фигурах и что-то общее. Может быть, жесткость… Такая эпоха…

Хрущев, де Голль и Кеннеди тоже отнюдь не близнецы. Но

что-то общее сквозило и в этих деятелях. Может быть, артистизм… Дань времени…

Затем наступила довольно серая и безликая эпоха разрядки. Она же породила довольно серых и безликих вождей. Мир был в относительном покое.

Сейчас этому затишью приходит конец. Афганская трагедия знаменует новый исторический этап. Увы, американскому народу приходится выбирать между твердостью и катастрофой.

Я не политический обозреватель. И не буду взвешивать шансы кандидатов. Но я уверен, что президентом будет Рэйген. Мне кажется, именно такого президента требует эпоха.

Возможно, я ошибаюсь. На то и колонка редактора, чтобы помечтать.

ЛЮДЬМИ НАУКИ УСТАНОВЛЕНО…

Людьми науки установлено, что время имеет форму, цвет, объем…

Год нашей жизни был окрашен в самые разнообразные тона. Анилиновое зарево надежды то и дело сменялось пыльным колером уныния. Над зелеными побегами творчества сгущались черные облака догматизма. Кумачовый мираж вседозволенности уводил нас с благородного пути.

Шло время.

Серебристый ручеек инициативы орошал бесцветные пространства человеческой косности.

Мы чувствовали себя все более уверенно…

Год нашей жизни позади. Год жизни — это так много! Это — 52 бурных редакционных совещания. Это 47 196 часов совместного напряженного труда. Это 2 831 760 минут дерзости и бесстрашия…

Год жизни — это так мало. Это — первые робкие шаги в нескончаемых лабиринтах американского бизнеса. Это — невнятный лепет освобожденной младенческой речи. Это — слабые, едва уловимые толчки независимого сознания.

Мы не заблуждаемся относительно своих достижений. Мы только заявили о себе. Обозначили свое присутствие в этом безумном мире.

Волею обстоятельств нам была предопределена сложнейшая миссия. Мы создали первую либерально-демократическую газету на русском языке.

Нас часто спрашивают:

Какова ваша идеологическая платформа? Каковы ваши

принципы? С кем вы? И против кого?..

Наши принципы ясны и однозначны:

Газета является независимой свободной трибуной.

Эта трибуна предоставляется выразителям самых разных, зачастую диаметральных мнений.

Редакция отнюдь не выдает себя за единственного конфидента истины. Редакторское кресло, повторяем, не есть вершина человеческой мудрости. Читатель, получая широкую объективную информацию, делает выводы — сам.

Едва достигнув годовалого возраста, редакция не осмеливается считать читателей беспечными младенцами. Газета доверяет своим читателям. Мало того, она доверяет им больше, чем себе…

Нас часто спрашивают:

— Чьи интересы выражает газета? Кто стоит за вами?..

Мы выражаем интересы шестидесяти тысяч беженцев из Союза. Наиболее жизнестойкой части советского еврейства. Всех тех, кого благородно приютила загадочная и непонятная Америка.

За нами стоят десятилетия уникального горького опыта. Общие с читателями трудности и проблемы. Общие слабости и грехи.

Ведь читатели — та единственная инстанция, от которой мы добровольно и безоговорочно зависим.

В ЭМИГРАЦИИ НА КАЖДОМ ШАГУ…

В эмиграции на каждом шагу дают о себе знать черты матриархата. Я знаю десятки семей, в которых именно женщине принадлежит главенствующая роль.

Женщины более добросовестны и непритязательны. У них в большей степени развито чувство ответственности. Они даже физически выносливее.

Поэтому женщины быстрее и легче адаптируются. Успешнее преодолевают языковой барьер. Лучше приспосабливаются к новым условиям.

Вполне обычной представляется такая картина. Женщина работает по восемь часов. Три часа проводит в сабвее. (Где час считается за три, как на войне.) Вечером — дети, прачечная, супермаркет. И так далее…

А мужчина тем временем размышляет о судьбах планеты. О будущем России. О путях демократии. Об издержках и преимуществах свободы.

Мужчина вещает и пророчествует. Сеет разумное, доброе, вечное…

Мужчина сеет, а женщина — пашет. На фабриках и в пиццериях. За три пятьдесят в час…

Лично я пролежал на диване ровно год. Моя жена работала с утра до ночи. За ужином она дремала под мои рассуждения на тему свободы и автократии.

Мне вспоминаются дни перед отъездом. И мои решительные заявления:

— Главное — обрести свободу. Остальное не имеет значения… Буду мыть посуду в ресторане. Или таскать мешки…

Ленинградцы всхлипывали, слушая мои предотъездные речи.

Однако выяснилось, что мыть посуду в ресторане — тяжело и неприятно (я и дома-то мою ее без энтузиазма)…

Короче, обрел я свободу и лег на диван. А жена работает. Так прошел год…

Наконец мы решили издавать газету. Моя жена сказала:

— Ничего, я привыкла. Ты и в Союзе был нестандартной личностью.

Прошел год. «Новый американец» крепнет и обретает стабильность. В Форест Хиллсе я стал не менее популярен, чем Консон.

Хотя на доходах все это отражается слабо…

Тем не менее я хочу сказать:

— Ирина, Галя, Таня, Рая, Лена! Еще немного, и мы заживем по-человечески! Простите нас! И пожелайте нам удачи!

ЭМИГРАЦИЯ ИЗ СОЮЗА…

Эмиграция из Союза продолжается. Хоть и в замедленном темпе. Приезжают друзья и знакомые. Мы, разумеется, спрашиваем:

— Ну, как?

В ответ раздается:

— Хорошего мяса в Ленинграде не купить. За фруктами — очередь. Недавно мыло исчезло, зубная паста…

И так далее.

Смешанное чувство охватывает нас. Приятно сознавать, что тоталитарная машина дает перебои. Горько от мысли, что твоя страна голодает…

Западные государства объявили Союзу частичное хлебное эмбарго. Выражаясь человеческим языком — сократили продажу зерна. К этому их настоятельно призывали видные русские

диссиденты: Солженицын, Марченко, Буковский.

Некоторым казалось, что это слишком жесткая мера. И рассуждали они примерно так:

— В политике можно и нужно использовать силу. Можно и нужно диктовать Советам жесткие условия. Тем более, что они признают лишь силу и жесткость. Однако сокращать продажу хлеба — неблагородно. И призывать к этому — грешно. Разве можно, чтобы народ голодал?..

Наивные люди!

Они думают, что американский хлеб попадет на стол русского человека! Аргентинское мясо зашипит на его сковороде!

Какая глупость!

Народ голодает по вине собственного руководства. Экономика и сельское хозяйство безобразно запущены. Колоссальные средства расходуются на военные цели… Коммунистическая экспансия обходится Советам в миллиарды рублей.

Наряду с этим партийные функционеры живут отлично. Разъезжают в заграничных автомобилях. Возводят роскошные дачи. Нежатся под солнцем южных курортов.

Через распределители их снабжают всем необходимым.

Западный экспорт хлеба и мяса лишь укрепляет тоталитарную систему. Обогащает партийную верхушку. Освобождает новые средства для подготовки к войне.

Печально, что советские руководители и крупные американские торговцы временами действуют заодно.

Обидно, что призывы русских диссидентов заглушаются голосами сторонников разрядки.

Лишь перед единством демократии Союз будет вынужден отступить!

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НАЗАД…

Месяца четыре назад в редакции произошло знаменательное событие. Я бы даже назвал его — историческим. А именно — у нас восторжествовали принципы коммунистического труда.

Вот как это было.

Мы переживали очередные финансовые затруднения. Мучительно выискивали пути дальнейшей экономии. Урезали расходы по всем без исключения статьям.

Наконец были исчерпаны все мыслимые средства. Меттер стал изысканно любезным, что выражает у него крайнюю степень подавленности.

Цифры упорно не желали сходиться. Каждый номер газеты обходился в четыре тысячи. А выручали мы за него — три с половиной. Орлов засыпал и просыпался с калькулятором в руке.

А дефицит неумолимо возрастал. В голосах кредиторов звучали металлические нотки.

Мы решили назначить экстренное совещание. Долго молчали с вытянутыми физиономиями.

И вдруг прозвучало грозное, загадочное слово — мораторий.

Я забыл, кто его произнес. Наверное — Вайль. Он у нас самый решительный.

Что означает это слово, я тогда не знал. Да и сейчас плохо знаю. Но общий смысл — доступен. Мораторий — это когда тебя лишают заработной платы. Частично или полностью.

— Необходим мораторий! — твердо произнес Вайль.

И тут началось самое поразительное.

Сотрудники «Нового американца» поднимались один за другим. Коротко обрисовывали свое материальное положение. Честно раскрывали дополнительные источники существования. Затем назначали себе прожиточный минимум. Или совсем отказывались получать зарплату.

Выявилась такая картина. Кое-кто подрабатывает на радио «Либерти». У кого-то жена имеет нормальную человеческую профессию. (О женах я еще напишу в ближайшей колонке редактора.) У кого-то — стипендия. Батчан, например, — вегетарианец. Люба Федорова — на диете. И так далее.

Соответственно были понижены оклады. В следующих жестких пределах: от нуля до категорического минимума.

Честно признаюсь, в ту минуту я испытал огромное душевное волнение.

Газета в очередной раз была спасена…

Это было четыре месяца назад. Прошли времена финансовых катастроф. Положение необратимо стабилизируется. А мне не дает покоя курьезное соображение:

Так ведь можно невзначай и коммунизм построить!. Назло советским товарищам…

К СПОРТУ Я АБСОЛЮТНО РАВНОДУШЕН…

К спорту я абсолютно равнодушен. Припоминается единственное в моей жизни спортивное достижение. Случилось это на чемпионате вузов по боксу. Минут сорок пролежал я тогда в глубоком обмороке. И долго еще меня преследовал запах нашатырного спирта…

Короче, не мое это дело.

А вот начала Московской олимпиады — ждал. И следил за ходом подготовки. Оно и понятно. Все прогрессивное человечество обсуждало идею бойкота.

В результате кто-то едет, кто-то не едет. Не будет японских гимнастов. Не будет американских метателей. Не будет кого-то из ФРГ…

Вот так прогрессивное человечество реагировало на захват Афганистана. Плюс — частичное зерновое эмбарго. Да еще какой-то научный симпозиум отменили. Или перенесли. Какой-то шведский джаз (саксофон, рояль, ударные) в Москву не едет…

Короче, дали отповедь захватчикам. Рубанули сплеча. Ответили ударом на удар. Прихлопнули бандитов моральным остракизмом.

У писателя Зощенко есть такая сцена. Идет по улице милиционер с цветком. Навстречу ему преступник.

— Сейчас я тебя накажу, — говорит милиционер, — не дам цветка!..

Вот так и мы сидим, гадаем, как они там без нашего цветка?..

Да советские вожди плевать хотели на моральный остракизм!

Советские вожди догадываются, что их называют бандитами. Они привыкли. Они даже чуточку этим гордятся. Им кажется, лучше быть сильным, чем добрым. Сильного уважают и боятся. А добрый — кому он нужен, спрашивается?

Тем более, что слабость издали неотличима от доброты…

Советские начальники знали, во что им обойдется Афганистан. Уверен, что заранее подсчитали цену этой акции. И знают теперь, во что им обойдется следующая. Их устраивает такая цена.

Хапнут завтра Советы какую-нибудь Полинезию. А мы в припадке благородного негодования отменим симпозиум. Какой-нибудь биологический форум по изучению ящериц. Да что там — экспорт устриц приостановим. В общем, не дадим цветка! Пусть мучаются…

С унынием гляжу я на прогрессивное человечество. Паршивую олимпиаду бойкотировать — и то не могли как следует договориться. А если война?

ЗИМА К НЬЮ-ЙОРКУ ПОДСТУПАЕТ…

Зима к Нью-Йорку подступает осторожно. Еще вчера было душно на остановке сабвея. Позавчера я спускался за газетами в шлепанцах. Три дня назад оставил в ресторане свитер…

А сегодня утром задаю вопрос ближайшим родственникам:

— Где моя вязаная шапка?..

Дома было все иначе. Сначала — дожди. Потом неделя сухих холодных ветров. И вдруг рано утром — пелена белого снега. И снежные шапки на тумбах ограды. И белый узор на чугунных воротах. И улица, напоминающая черно-белый фотоснимок.

Нелегко было шагнуть с крыльца в первый зимний день. Я хорошо запомнил ощущение решимости, которое требовалось, чтобы ступить на это белое полотно…

А помните, друзья, кальсоны? Трикотажные импортные кальсоны румынской фирмы «Партизан»? И ощущение неловкости при ходьбе. И стянутые манжетами щиколотки. И загадочные белые пуговицы, которые внезапно таяли от стирки…

Куда это все подевалось?

Того и гляди, заговорю как охваченный ностальгией патриот:

— А на Тамбовщине сейчас, поди, июнь… Малиновки поют… Выйдешь, бывало, на дальний плес…

Нет Тамбовщины. Нет дальнего плеса. Нет малиновок. Июня тоже нет. И не было…

Зима в Нью-Йорке лишена сенсационности. Она — не фокус и не бремя. Она — естественное продолжение сыроватого, теплого бабьего лета. Те же куртки и джинсы. Те же фрукты под открытым небом…

Так чего же мне не хватает? Сырости? Горечи? Опилок на кафельном полу Соловьевского гастронома? Нелепых скороходовских башмаков? Телогреек и ватников?

Как это сказано у Блока:

> …Но и такой, моя Россия,
> ты всех краев дороже мне…

Тяжело заканчивать разговор этой печальной нотой. Правильно написал Григорий Рыскин:

«У нас была судьба. Не биография, а судьба. И мы не сдались…»

Конечно, Рыскин — не Блок. Так ведь и мы — не прекрасные дамы…

ИЗ РОССИИ ДОЛЕТАЮТ…

Из России долетают тревожные, мрачные вести. Одному кандидатскую не утвердили. Другого с работы уволили. Третий отказ получил… Очереди за колбасой… Зимней обуви не

купить… И так далее.

В общем, нечему радоваться. Тоска, уныние и горечь.

И все-таки сквозь этот мрак доносится порой живая, язвительная, неистребимая шутка.

Вообразите себе приемную какого-нибудь Львовского ОВИРа. Табличка с фамилией инспектора. Публика терпеливо ждет своей очереди.

Распахивается дверь. Выходит очередной посетитель. На лице его скорбь и разочарование. В зале — полная тишина.

И вдруг какой-нибудь Фима, Боря или Лазарь Самуилович тихонько произносит:

— ДАН ОТКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД…

Раздался первый неуверенный смешок. Через минуту смеются все. Включая дежурного милиционера.

А значит, жизнь продолжается.

Значит, есть силы для борьбы.

Вообразите провинциальный город. Воронеж, Тулу, Сестрорецк…

Утро в продовольственном магазине. На витрине — мелкий частик, завтрак туриста… Одиноко желтеет прямоугольник голландского сыра.

Возле кассы очередь. Лица — неприветливы и суровы. Неожиданно кто-то вполголоса декламирует:

— В ВОРОНЕЖ ГДЕ-ТО БОГ ПОСЛАЛ КУСОЧЕК СЫРА…

И вновь раздается смех. И жизнь кажется не такой уж безнадежной…

Вспомним недавнее прошлое. Наши танки движутся к афганской границе. Солдаты удручены и подавлены. В грохоте машин тишина становится еще заметнее.

И вдруг происходит чудо. Кто-то саркастически роняет:

— НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД ЛЕТИ! В КАБУЛЕ ОСТАНОВКА…

Значит, чувство справедливости еще не потеряно. Значит, эти люди еще способны возродиться.

Юмор — украшение нации. В самые дикие, самые беспросветные годы не умирала язвительная и горькая,

простодушная и затейливая российская шутка.

И хочется думать — пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом!

ПИСАТЬ О КОСМОСЕ ТРУДНО…

Писать о космосе трудно. Вообразить его себе — невозможно. Поскольку космос есть — отсутствие, ничто…

Я хорошо помню день гагаринского триумфа.

Мы, студенты Ленинградского университета, шагаем по Невскому. Размахиваем самодельными транспарантами. Что-то возбужденно кричим.

И только мой друг, знаменитый фарцовщик Белуга, язвительно повторяет:

— Ликуйте, жлобы! Динамо в космосе!..

«Динамо» по-блатному означает — жульническая махинация. Причем с оттенком дешевого шика.

Видимо, Белуга раньше других ощутил наступление грандиозной пропагандистской кампании. Увидел первые гримасы советского космического блефа…

У Гагарина было на редкость симпатичное лицо. Его наградили, увенчали и возвеличили. Превратили в одушевленный символ. В улыбающуюся политическую идею.

Временами Гагарин становился человеком. И тогда он сильно запивал. Видно, ему не хотелось быть идеей. И он пил все больше.

Сначала разбился в машине. На лице его, которое продолжало быть общественным достоянием, возник глубокий шрам.

Затем Гагарин угнал самолет и разбился окончательно…

Космическая эра продолжалась. Летающих идей становилось все больше. Для их бесчисленных портретов уже не хватало кремлевской стены.

Число космонавтов росло и росло. У них возникла своя футбольная команда.

Затем произошла трагедия. Несколько космонавтов погибло. (Не помню — трое или четверо.) Это был печальный, траурный день. Моя дочка спросила:

— Отчего ты не плачешь?

Я ответил:

— Плачут те, кто их знал. Для меня они были летающими идеями. Я не могу рыдать о погибших идеях.

Прошло много лет. В космос по очереди слетали народные демократы. Вьетнамец, болгарин, поляк.

Честно говоря, я перестал интересоваться этими делами. Я давно уже не интересуюсь пропагандой. Давно уже пытаюсь руководствоваться не чужими, а собственными идеями…

И вот мы узнали про космический челнок. (Можно назвать его космическим автобусом. Космическим маршрутным такси.)

Машина вернулась на Землю. Вернулись затраченные миллионы. Вернулись потрясающие механизмы. Вернулись люди.

Читая газетные сообщения, мы думаем не об идеях, летающих в космосе. Мы думаем о космических заводах. О космическом туризме. То есть — о космической перспективе.

Мы убеждаемся — человечеству есть куда идти, куда лететь, куда стремиться. Более того:

Если Запад полностью уступит Советам, будет куда эмигрировать дальше…

ВСЕ МЫ ГОТОВИЛИСЬ…

Все мы готовились к отъезду на Запад. Каждый по-своему.

Самые дальновидные занимались английским. Самые практичные обзаводились кораллами и Хохломой.

Кто-то учился водить автомобиль. Кто-то фотографировал свои рукописи…

Мой сосед Григорович вывез два ратиновых отреза на пальто. (В результате, говорят, сшил из них чехол для микроавтобуса…)

Лично я собирал информацию. Мне хотелось трезво и объективно представлять себе будущую жизнь.

Я знал, что литература в Америке источником существования не является. Что тиражи русских книг — ничтожны. Что людям моего склада очень трудно найти работу. Что американская преступность достигла устрашающих размеров…

Мне хотелось знать правду. Я желал навсегда покончить с иллюзиями.

Многое из того, что я узнавал, внушало ощущение страха. Я боялся одиночества и немоты. Меня ужасала перспектива второго рождения. Пугала неизбежная языковая изоляция.

Я не был уверен, что смогу писать. А тогда все остальное не имело бы значения.

Кроме того, я опасался ностальгии. Я так много слышал об этом. Я читал письма Бунина, Цветаевой, Куприна. Я не мог сомневаться в искренности этих писем…

Конечно, мне и раньше случалось надолго покидать Ленинград. Но тогда я знал, что могу вернуться. И все равно умирал от тоски…

В армии у нас было такое печальное развлечение. Собирались бывшие ленинградцы и начинали вспоминать… дома. По улице Ракова, скажем. Один за другим. Какого цвета, сколько этажей?.. Что там было внизу — закусочная, ателье проката?..

Заканчивалось это дело мрачной попойкой, слезами, бессонницей…

И вот мы приехали. Испытали соответствующий шок. И многие наши страхи подтвердились.

Действительно, грабят. Действительно, работу найти трудно. Действительно, тиражи ничтожные.

А вот ностальгия отсутствует.

Есть рестораны для собак. Брачные агентства для попугаев. Резиновые барышни для любовных утех. Съедобные дамские штанишки. Все есть. Только ностальгия отсутствует. Единственный фрукт, который здесь не растет…

Лишь иногда, среди ночи… В самую неподходящую минуту… Без причины… Ты вдруг задыхаешься от любви и горя. Боже, за что мне такое наказание?!

Но это так, иногда… И говорить не стоит… Да и газета наша — принципиально оптимистическая…

С ДЕТСТВА НАС УБЕЖДАЛИ…

С детства нас убеждали, что мы — лучше всех. Внушали нам ощущение полного и безграничного совершенства.

Советское — значит, отличное! Наше учение — самое верное! Наши луга — самые заливные! Наши морозы — самые трескучие! Наша колбаса — самая отдельная! И так далее…

Самовлюбленный человек производит жалкое впечатление. «Я — умный, добрый и хороший!» — звучит неприлично.

Коллективное самолюбование выглядит не менее глупо, чем персональное. «Мы — умные, добрые и хорошие!» — тоже не звучит.

Видимо, многие думают иначе. Кричать о себе: «Я — хороший!» — не решаются. А вот утверждать: «Мы — хорошие!» — считается нормальным…

Народ — есть совокупность человеческих личностей. История народа — совокупность человеческих биографий. Культура, религия — необозримая совокупность человеческих деяний и помыслов.

Повышенное расположение к себе — есть нескромность. Повышенное расположение к своему народу — шовинизм.

Заниматься самовосхвалением — непристойно. Восхвалять

свой народ, принижая другие, — так же глупо и стыдно.

Прославить человека могут лишь его дела. Так и слава народа — в его деяниях. В его истории, религии, культуре…

Мы создали первую в Америке еврейскую газету на русском языке. Не потому, что мы — лучше. И не потому, что мы — хуже. А потому, что мы — есть. И будем…

В Ленинграде у меня был знакомый — Гриша Певзнер. При слове «еврей» — лез драться. Гриша считал, что «еврей» — оскорбление.

Например, его спрашивали:

— Вы — еврей?

И Гриша становился в позицию. На его лице вспыхивали багровые пятна. На скулах появлялись желваки.

Он говорил:

— Что ты хочешь этим сказать?!.

Гриша был уверен, что защищает свое национальное достоинство. Расписываясь при этом в своей неполноценности.

У мировых знаменитостей Гриша выискивал наличие еврейской крови. Считал евреями Пушкина и Блока. Но при этом утверждал, что марксизм выдумал Энгельс — гой и забулдыга…

Гришу можно понять. Гриша настрадался от антисемитизма.

Но ведь мы-то уехали. (Кстати, Гриша тоже.) Так давайте чуточку расслабимся. Давайте при слове «еврей» не размахивать кулаками.

Любовь к своему народу — естественное чувство. Да и любовь к себе — естественна. Люби на здоровье. Люби, но помалкивай…

Чтобы не получилось — «Еврейское — значит, отличное!»…

Я ДУМАЮ, РЭЙГЕН…

Я думаю, Рэйген очень популярен среди новых эмигрантов. Я не имею специальных данных, просто мне так кажется.

Мы знаем, что на коммунистических лидеров оказывает воздействие только сила. Что любые мирные переговоры они используют в корыстных и неблаговидных целях. Что любое соглашение может быть нарушено в удобной для большевиков позиции.

Кремлевские правители уважают только силу. Рэйген производит впечатление сильного человека. Недаром ему так хорошо удавались роли ковбоев.

Рэйген тверд и практичен. Он последовательно внедряет свои идеи. Уверенно навязывает свою волю конгрессу. На международном уровне высказывается твердо и жестко.

И вдруг — неожиданная отмена зернового эмбарго. Признаюсь, меня несколько озадачило это решение.

Рэйген мотивирует его следующим образом:

«Эмбарго затрагивает интересы американских фермеров. Желая наказать большевиков, мы наказываем себя, И наконец, коммунисты покупают зерно в других странах. То есть эмбарго не достигает своей цели».

Мне кажется, в этом случае здравомыслие Рэйгена граничит с цинизмом.

Да, американские фермеры заинтересованы в том, чтобы продавать излишки своего хлеба. Эмбарго действительно причиняет им некоторый материальный ущерб.

Но ведь существует и этическая сторона дела. Существует понятие гражданского и нравственного долга.

Американское зерно в данном случае — понятие условное. Это вовсе не блины и пампушки для советских людей.

Обеспечив себя зерном, большевики увеличат военные расходы. Высвободят средства для осуществления новых милитаристских планов.

Зачем же укреплять позиции врага, не скрывающего своих глобальных экспансионистских целей.

Возможно, Рэйген считает эмбарго не принципиальной мерой. Рассматривает его как побочный и несколько женственный дипломатический ход в манере господина Картера. Собирается противопоставить ему какие-то более жесткие и недвусмысленные методы давления. Компенсировать отмену зернового эмбарго более действенными политическими акциями.

Возможно, это так. Будем надеяться, что это так.

И все-таки остается чувство досады. Этика и мораль начинаются с готовности жертвовать личными интересами ради достойной цели. А государственные принципы требуют определенных и неизменных критериев.

Не всякое дело может быть предметом компромисса.

В СОЮЗЕ НАМ КАЗАЛОСЬ…

В Союзе нам казалось, что мы — демократы. Еще бы! Ведь здоровались с уборщицами. Пили с электромонтерами. И как положено — тихо ненавидели руководство…

Тоталитарный строй нам претил. Мы ощущали себя демократами.

И наконец сделали окончательный выбор. Подали документы на выезд.

Приехали. Осмотрелись.

И оказалось, что выбрать демократию — недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию.

Профессией надо овладеть. То есть — учиться. Осваивать навыки. Постигать законы мастерства.

Мы учимся демократии подобно тому, как учились ходить. Робко и неуверенно делаем первые шаги. Естественно, не обходится без падений и ушибов…

Скоро мы будем отмечать юбилей «Нового американца». За это время газета изменилась самым радикальным образом.

Я говорю не о количестве страниц. Не о принципах верстки. И даже не о качестве публикуемых материалов.

Произошло нечто более важное. Изменились мы сами.

Чего только не происходило за эти месяцы в редакции! То делались попытки установить непререкаемое единовластие. То, наоборот — увести газету в дебри анархии и безответственности.

Часы напряженных дискуссий сменялись периодами расслабленного умиротворения. Турниры уязвленных амбиций чередовались с припадками взаимного обожания.

Шаг за шагом мы избавлялись от пережитков тоталитаризма. И процесс этот далеко не завершен. Но уже сейчас можно говорить о торжестве демократических принципов.

Есть обязанности у президента корпорации. И есть обязанности у наборщицы. Спорные вопросы обсуждаются на редакционных летучках. Если не удается прийти к общему мнению — голосуем. Последняя статья Глезера обсуждалась четыре раза. И все-таки была отвергнута. Большинство голосовало против. За — только двое. Президент и главный редактор…

Разумеется, количественный принцип — не идеален. Истина далеко не всегда принадлежит большинству. Но меньшинству она принадлежит еще реже…

Любое учреждение представляет собой крошечную модель государства. У тоталитарной модели есть свои преимущества — оперативность, дисциплина, безоговорочная исполнительность. Но во имя этого приходится жертвовать главным — человеческим достоинством.

И потому мы — убежденные демократы…

Конечно, мы — не только сослуживцы. Не только — единомышленники. Есть у меня в редакции близкие друзья. Люди, которыми я восхищаюсь. Мнением которых чрезвычайно дорожу.

Стоит ли выделять их фамилии? Пожалуй — нет. Ведь это будет не демократично…

ЕЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ…

Еще в Ленинграде мне часто приходилось слышать:

«Все русские на Западе жестоко перессорились! Евреи с православными. Монархисты с демократами. Либералы с почвенниками. Первая эмиграция с третьей. И так далее…»

Наконец я приехал и убедился: действительно, ругани хватает. И в прессе, и на частном уровне…

Поводов бесчисленное множество. Эстетические, политические, философские, религиозные… Цель одна — скомпрометировать идейного противника как личность. Повторяю: не убедить, не опровергнуть, а именно — скомпрометировать…

В какой-то степени нас можно понять. За спиной — десятилетия вынужденной немоты. Печать на устах. Кляп во рту. Амбарный замок на губе.

Десятилетия мы безмолвствовали. Раскланивались с негодяями. Улыбались стукачам. Мирились с любыми гнусностями.

И вот мы здесь. Кругом свобода, демократия и плюрализм!

Нам скомандовали — можно! Можно все. Можно думать, читать, говорить!

Какое это счастье — говорить что думаешь!

Какая это мука — думать что говоришь!

Говорить умеет всякий. (На Четырнадцатой улице есть попугай в зоомагазине. Говорит по-английски втрое лучше меня.)

А думать — не каждый умеет. Слушать — и то разучились.

Казалось бы — свобода мнений! Очень хорошо. Да здравствует свобода мнений! Для тех, чьи мнения я разделяю.

А как быть с теми, чье мнение я не разделяю?!

Заткнуть им рот! Заставить их молчать! Скомпрометировать как личность!..

Дома бытовало всеобъемлющее ругательство «еврей». Что не так — евреи виноваты.

Здесь — «агенты КГБ». Все плохое — дело рук госбезопасности. Происки товарища Андропова.

Пожар случился — КГБ тому виной. Издательство рукопись вернуло — под нажимом КГБ. Жена сбежала — не иначе как Андропов ее ублудил. Холода наступили — знаем, откуда ветер дует!

Слов нет, КГБ — зловещая организация. Но и мы порой бываем хороши. И если мы ленивы, глупы и бездарны, то Андропов ни при чем.

У него своих грехов достаточно.

Так давайте же взглянем на себя критически и беспристрастно. Будем учиться выслушивать своих противников. Терпимо относиться к чужому мнению. Соблюдать элементарные приличия.

Давайте учиться жить по-человечески!

И учтите, если кто-то возражает, я буду считать этого человека агентом КГБ…

Я ЧАСТО ВСПОМИНАЮ…

Я часто вспоминаю лагерную зону под Иоссером. Перекур на лесоповале. Потомственный скокарь Мурашка рассуждает у тлеющего костра:

— Хорошо, начальник, в лагере! Можно не думать. За нас опер думает…

А теперь мне хочется задать читателям вопрос:

— Не уподобляемся ли мы этому тюремному философу? Живем мы или тянем срок?

И вообще, кто мы такие? Безответственные малолетки или взрослые люди? Способны ориентироваться в мире идей? Или нужен милиционер-регулировщик? Желаем думать самостоятельно? Или пусть думает начальство?..

Мы объявили газету независимой и свободной трибуной. Стараемся выражать различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Доверяем читателю. Предоставляем ему возможность думать и рассуждать.

В ответ то и дело раздается:

— Не хотим! Не желаем свободных дискуссий! Не интересуемся различными точками зрения! Хотим единственно верное учение! Единственную правильную дорогу! Хотим нести единственный, идеологически выдержанный транспарант!

Зачем нам яркие, праздничные одежды самостоятельной мысли? Хотим быть серыми и одинаковыми, как новобранцы…

Зачем нам колебаться, меняться и перестраиваться?! Хотим быть твердыми, как шанкр!

Хотим, чтобы все было просто.

Были коммунистами, стали антикоммунистами. Сменили ворота, как на футбольном поле.

А если мир сложнее таблицы умножения? Если кроме «дважды два — четыре» существуют логарифмы?

Нет! Не желаем споров! Не хотим разногласий! Отказываемся выражать собственное мнение! За нас думает академик Сахаров.

Не желаем спорить и возражать. Пусть все будет чинно и

спокойно. Как в морге…

Видел я раз случайно пекинскую кинохронику. Торжественный митинг, центральная площадь. Полмиллиона китайцев в одинаковых синих робах. Главный что-то пискнул, и китайцы дружно пискнули в ответ. И одновременно протянули вверх сжатые кулаки.

Тут я, честно говоря, перепугался. Вот это машина! Полмиллиона шурупов и винтиков! И все заодно. Да это пострашнее водородной бомбы!..

Настанет ли конец бараньему единодушию?! Проснется ли в нас думающий, колеблющийся, свободный человек?!

ПРОТИВ МОЕГО ДОМА…

Против моего дома есть небольшой супермаркет. Вы заходите, накладываете продукты. Затем рассчитываетесь у прилавка.

Миловидная девица укладывает содержимое тележки в коричневый бумажный пакет.

Вы слышите приветливое:

— Thank you! Have a nice day!

Там же имеются в продаже целлофановые мешки. Стоят — десять центов.

Вы покупаете этот мешок. Платите десять центов. Однако в целлофановый мешок девица содержимое тележки не укладывает. Протягивает этот самый мешок, и все. А положить в мешок товар не удосуживается. И уже не говорит вам приятных слов.

Потому что это — лишняя работа. Лишнее движение. Не предусмотренное стандартами здешнего обслуживания.

Меня это, честно говоря, поразило. Казалось бы, так естественно оказывать пустяковую дополнительную услугу. Так — нет.

В бумажный мешок — пожалуйста! А в целлофановый — ни за что!

Ну что ты скажешь?! Может, действительно — хваленая американская вежливость формальна. И дружелюбие — формально. И благородство. И любовь к свободе…

Еду в метро, охваченный грустными размышлениями. Обращаюсь к прилично одетому господину. Спрашиваю нужную остановку.

— А куда вы направляетесь? — интересуется господин.

Я объяснил.

Так он, представьте себе, вылез из метро раньше, чем ему

было нужно. Отправился меня провожать. Всю дорогу звал мое семейство пожить у него. Прощаясь, сунул мне визитную карточку.

— Я, — говорит — адвокат. Понадобится консультация — звоните…

Ну что ты будешь делать с этой Америкой?! Любить ее или ненавидеть?!

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД…

Четыре года назад японский журналист задал академику Сахарову вопрос:

— Может ли измениться советский режим? Реально ли это в обозримом будущем?

— Боюсь, что нет, — ответил Сахаров.

Тогда журналист спросил:

— Значит, все безнадежно? Ради чего же вы занимаетесь правозащитной деятельностью? Зачем рискуете собой?

Сахаров ответил:

— Тогда вообще не стоило бы жить. Без надежды жизнь лишается смысла. Я не верю… И все-таки надеюсь.

Это соображение может показаться наивным. Однако — лишь на первый взгляд. Правда существует во имя правды. Не преследуя каких-либо иных, материальных целей.

Надежда существует во имя надежды.

Пусть все ужасно. Газету утром раскрывать боимся. Военная угроза, Польша, терроризм…

Казалось бы, семь ангелов, имеющие семь труб, уже приготовились… И впереди — конь бледный… И всадник, которому имя — смерть…

И все-таки мы говорим друг другу:

— Счастливого Нового года!

Все было. Всякое бывало. Но дружба уцелела. Хоть и сокращается порою круг друзей. Но телефон звонит. И почтальонам есть работа. И вечно рядом какие-то симпатичные люди…

— Надейтесь, друзья!

Врагам мы тоже говорим:

— Счастливого Нового года!

Чем бы их таким порадовать, врагов? Может, окочуриться им на радость?

Что ж, со временем, как говорится, — не исключено.

Надейтесь, враги!

Я все еще надеюсь. Не от слепоты. Не от бессилия. Во имя самой надежды. Без каких-либо иных материальных целей.

Сама надежда является целью. Она же является средством.

БЫЛ У МЕНЯ В ЛЕНИНГРАДЕ…

Был у меня в Ленинграде знакомый фарцовщик. Громадными партиями скупал у иностранцев всяческое барахло. Занимался также валютой и антиквариатом…

Позавчера встречаю его на Квинс-бульваре. Обнялись, разговорились.

— Ну как, — спрашиваю, — чем занимаешься?

— Кручу баранку, — отвечает, — вкалываю с утра до ночи.

Я удивился:

— Ты же был деловой, предприимчивый?!

Мой друг усмехнулся:

— Америка показала, кто деловой, а кто не очень.

Действительно, Америка многое заставила пересмотреть в себе и в жизни.

Здесь все по-другому. Здесь понятия «бизнесмен» и «мошенник» не совпадают. Говоря проще, здесь надо работать.

Вот мой знакомый и превратился в честного труженика…

Мне возразят:

«Ну, хорошо — ремесленники, инженеры, ученые. А как быть с музыкантами и литераторами?»

Хорошие музыканты играют. Я не говорю о Ростроповиче. Пономарев играет. Сермакашев играет. Батицкий играет. (Причем речь идет только о моих личных знакомых.)

Литераторов поддерживает государство. У Поповского — стипендия. У Парамонова — стипендия. У Соловьева, Клепиковой — такая же история. Даже Алешковский грант получил…

Мне возразят:

«А как же быть с писателями на велфейре? С музыкантами за баранкой? С кинорежиссерами, переквалифицировавшимися в управдомы?»

А вы присмотритесь. Может, они большего и не стоили. Может, это их настоящее призвание?!

Короче, либо это временно, либо справедливо…

Америка — не рай. И не распределитель ЦК. Америка не только вознаграждает одаренных и работящих. Америка жестоко отрезвляет самонадеянных и заблуждающихся.

Причем выигрывают и те, и другие. Одаренным и работящим воздается по заслугам. Самонадеянные и заблуждающиеся

утрачивают вредные иллюзии. И то, и другое — благо.

Мои товарищи Вайль и Генис сменили десятки профессий. Насколько я знаю, вершина их советской биографии — пожарная команда. А теперь — уважаемые люди. Критики. Попробуй тронь!

Меттер заведовал поломанной радиостанцией и сочинял телепередачи о животноводах. А теперь, что ни говори, — президент корпорации.

И так далее.

Лично я стал тем, кем был, наверное, и раньше. (Просто окружающие этого не знали.) То есть — литератором и журналистом. Увы, далеко не первым. И, к счастью, далеко не последним.

КАК-ТО БЕСЕДОВАЛ Я…

Как-то беседовал я с приятелем. Приятель выпил, закусил и говорит:

«С американцами дружить невозможно. Это холодные, черствые, меркантильные люди. Главное для них — практический расчёт…

Помнишь, как было в Союзе? Звонит тебе друг среди ночи:

«Толик! У меня — депрессия! С Алкой полаялся!»

Ты хватаешь пузырь — и к нему. И потом до утра керосините… Он для тебя последнюю рубаху снимет… И ты для него… Вот это дружба! Навзрыд! До упора!..»

Все это мой приятель говорил абсолютно серьезно. И я задумался…

Есть в Ленинграде писатель. Общительный, способный, добродушный человек. Как выяснилось — давний осведомитель ГБ. Взял и посадил своего друга Михаила Хейфеца. А ведь дружили. И до утра беседовали. И последними рубахами торжественно обменивались…

Есть в Союзе такой романист — Пикуль… Размашистый, широкий человек. И водку пить мастак, и драться лезет, если что… Взял и посадил своего (и моего) друга Кирилла Успенского…

И так далее.

Есть в российском надрыве опасное свойство. Униженные, пуганые, глухонемые — ищем мы забвения в случайной дружбе. Выпьем, закусим, и начинается:

«Вася! Друг любезный! Режь последний огурец!..»

Дружба — это, конечно, хорошо. Да и в пьянстве я большого греха не вижу. Меня интересует другое. Я хочу спросить:

— А кто в Союзе за 60 лет написал 15 миллионов доносов?! Друзья или враги?

Да, американцы сдержаннее нас.

В душу не лезут. Здесь это не принято.

Если разводятся с женой, идут к юристу. (А не к Толику — водку жрать.)

О болезнях рассказывают врачу.

Сновидения излагают психоаналитику.

Идейного противника стараются убедить. А не бегут жаловаться в первый отдел…

Да и так ли уж они практичны?

Часть моих рукописей вывез из Ленинграда американец Данкер. Кстати, интеллигентный негр. Совершенно бескорыстно. Более того, с риском для карьеры. Поскольку работает в американо-советской торговле.

Издал мою книгу американец Проффер. И тоже — совершенно бескорыстно. Более того, претерпевая убытки на многих русских изданиях.

Переводят мои сочинения две американки. И обе работают бесплатно. В сомнительном расчете на грядущие барыши.

В одном мой друг прав. Последней рубашкой здесь со мной не делились. И слава Богу! Зачем мне последняя рубашка? У меня своих хватает.

Я уж не говорю про огурцы…

В ДЕТСТВЕ Я БЫЛ…

В детстве я был невероятным оптимистом. В дневнике и на обложках школьных тетрадей я рисовал портреты Сталина. И других вождей мирового пролетариата. Особенно хорошо получался Карл Маркс. Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже…

Маршируя в пионерских рядах, я не щадил голосовых связок.

Я рос оптимистом. Мне говорили:

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»

Я верил.

Вспоминается такой задорный марш:

Мы будем петь и смеяться, как дети,
Среди всеобщей борьбы и труда…

Эти слова я выкрикивал десятки раз. Выкрикивал, выкрикивал, а потом задумался. Что же это получается? Все

кругом работают, а мы поем и хохочем, как слабоумные…

В общем, стал мой оптимизм таять. Все шло — одно к одному. Деда расстреляли. Отца выгнали с работы. Потом меня — из комсомола. Потом — из университета. Потом — из Союза журналистов. И так далее. Потом оказалось, что далее — некуда… И пессимизм мой все крепчал.

Окружение мое тоже состояло из людей печальных. Весельчаков я что-то не припомню. Весельчаков мои друзья остерегались — не стукач ли?..

Наконец мы эмигрировали. Живем в Америке. Присматриваемся к окружающей действительности. Спросишь у любого американца:

— Как дела?

— Фаин! — отвечает.

Вроде бы — не дурак. И уж, как минимум, — не стукач.

Может, у него и в самом деле — файн? Почему бы и нет? Говорит, что думает. Живет, как считает нужным. Молится, кому хочет. Сыт, одет, обут… Каждому, что называется, по труду…

Так наметился у меня поворот к оптимизму. Теперь уже на мрачных людей смотрю подозрительно. Чего это они такие мрачные? Как бы галоши не украли? А может, КГБ их сюда засылает для увеличения напряженности?..

И коллеги у меня подобрались соответствующие. То и дело — улыбаются. Порой смеются. Изредка даже хохочут.

И газету делают — принципиально оптимистическую!

Конечно, бывают и у нас огорчения. То анонимное письмецо от какого-нибудь уязвленного дурака. То из Союза придут дурные вести. Или дочь презрением обдаст за то, что не умеешь водить автомобиль…

Но главная проблема решена. Будущее наших детей — прекрасно. То есть — наше будущее.

Поэтому наша газета взывает к мужеству и оптимизму.

А истинное мужество в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду!

ОДНАЖДЫ МЫ ЕХАЛИ В САБВЕЕ…

Однажды мы ехали в сабвее. Я был с женой и дочкой. Сижу, читаю газету.

На остановке ворвались молодые люди. А может, перешли из другого вагона. Человек пять. Один с гитарой, у другого — транзистор… Куртки, сникерсы…

Это были нехорошие, дурно воспитанные молодые люди. Они

шумели, толкались, вероятно — сквернословили. Они, как говорится, нарушали…

Публика вела себя не лучшим образом.

Один газету читает. Другой в окошко загляделся. (Благо за окном сплошная тьма.) И так далее.

В Союзе я бы знал, как поступить. Я бы подошел к этим молодым людям и сказал:

— Заткнитесь!

И добавил бы:

— Вон отсюда!

А если надо, треснул бы кого-то по затылку…

А тут я испугался. Языка толком не знаю. Порядков не знаю. Скажут что-то — не пойму. То ли извиняются, то ли дальше оскорбляют. А вдруг — стрелять начнут? Может, у каждого — по нагану? Или — бритвой по физиономии…

Советский хулиган — он родной и понятный. Он если бьет, то монтировкой. Или трубой. Или доской от забора. Или пивной кружкой. Или вилкой, на худой конец. То есть — знакомыми, полезными вещами.

А у этого что на уме?..

Короче, сижу, читаю газету. А молодые люди продолжают нарушать. Старуху толкнули. Из горлышка выпили. Транзистор завели на полную мощность. В общем — ничего хорошего…

Читаю газету.

Вдруг поднялся мужчина средних лет. Американец. Худой такой. И ниже меня ростом. Подошел к хулиганам и говорит:

— Заткнитесь!

И затем:

— Вон отсюда.

Чувствовалось, если надо, он может кого-то и по затылку треснуть.

И молодые люди заткнулись. И на остановке — вышли.

А мужчина сел и задремал.

К чему я все это рассказываю? А вот к чему. Я знал все английские слова, которые он произнес. И сам все это мог произнести без акцента.

Однако — не произнес. Я газету читал.

Как вы сейчас…

КОГДА-ТО Я РАБОТАЛ НА ЗАВОДЕ…

Когда-то я работал на заводе. Точнее — в заводской многотиражке.

На этом заводе произошел удивительный случай. Один мой знакомый инженер хотел поехать в Англию. Купил себе туристскую путевку. Начал оформлять документы. Все шло хорошо. И вдруг — отказ. Партком отказался выдать моему знакомому необходимые рекомендации.

Я спросил парторга:

— В чем дело? Ведь мой знакомый — не еврей?

— Еще бы! — сказал парторг.

— Кроме того, он член партии.

— Естественно! — сказал парторг.

— Так в чем же дело? Чего вы его не отпускаете?

Парторг нахмурился и говорит:

— Ваш знакомый слишком часто улыбается. И даже смеется. В том числе и на партийных собраниях. Есть свидетели…

— А, — говорю, — тогда понятно…

Улыбающийся человек неугоден тоталитаризму. Смеющийся — опасен. Хохочущий — опасен втройне.

Дома нас окружала тотальная безвыходная серьезность. Вспомните лица парторгов, милиционеров и заведующих отделами. Вспомните лица домоуправов, торговых работников и служащих почты. Вспомните лица членов Политбюро ЦК. Вспомните, например, лицо Косыгина. Беременным женщинам нельзя показывать такие вещи…

Сейчас мы в Америке. Строим новую жизнь. Реализуем изначальные демократические права. Право на собственное мнение. Право на материальный достаток. Право на творчество… И так далее.

И еще. Мы осуществляем великое человеческое право на смех и улыбку.

Смеемся над велеречивой тупостью и змеиным ханжеством. Над лжепророками и псевдомучениками. Над президентами и рыцарями велфейра…

Шесть месяцев выходит наша газета. Шесть месяцев я то и дело слышу…

— И чего вы смеетесь? Над чем потешаетесь? Такие несерьезные… В Камбодже — террор. В Афганистане — трагедия. Академик Сахаров томится в Горьком… И вообще, мир на грани катастрофы!..

Да, мир на грани катастрофы. И привели его к этой грани — угрюмые люди. Угрюмые люди держат в плену заложников. Угрюмые люди бесчинствуют в Камбодже. И гордость России, академика Сахарова, мучают тоже угрюмые люди.

И потому — мы будем смеяться. Над русофобами и антисемитами. Над воинственными атеистами и религиозными

кликушами. Над мягкотелыми «голубями» и твердолобыми «ястребами»…

И главное — тут я прошу вас быть абсолютно внимательными — над собой!

ЭТО БЫЛО…

Это было в минувшую пятницу. Я познакомился с живым американским «левым». Я был уверен, что их не существует. Что господин Максимов сгущает краски.

И вот я познакомился с Эрни Данэлом. Он не коммунист, не заговорщик. Он даже не красный. Он — розовый, левый.

Эрни рассказывает о себе:

— Я родился в очень чопорном, богатом и гнусном семействе. Достаточно сказать, что моим крестным отцом был Рокфеллер. Поэтому я стал мятежником. Я возненавидел эстаблишмент и, главным образом, — моего папашу…

Я стал употреблять наркотики и заниматься контрабандой. Был членом довольно могущественной шайки. Знал черный рынок и все непотребные места.

Мы ненавидели богачей, капиталистов, продажных священников. Мы ненавидели это развращенное, безжалостное общество.

Несколько раз я был арестован. Но папаша брал хороших адвокатов, и меня выпускали…

Я продолжал бороться. Мы вели политическую борьбу, разрушая устои капитализма. Ночью мы вскрывали багажники автомашин. Били стекла…

— Сколько тебе было лет?

— Шестнадцать. Но я был сложившимся революционером. Я курил марихуану назло папаше и эстаблишменту.

— А сейчас?

— И сейчас я придерживаюсь оппозиционных взглядов. По-моему, Рэйген слишком груб. Политика Киссинджера была мягкой. И это предотвратило войну. Политика же Рэйгена чревата войнами.

— Но война уже идет, — сказал я. — Войны были при Киссинджере. Войны идут постоянно. Америка уже проиграла несколько войн.

— Америка не воюет. Это главное. Я думаю о своем народе.

— Рано или поздно советские танки будут здесь. Если их не остановить сейчас.

— Это будет не скоро. Ведь Россия так далеко…

— Боже, как ты глуп! — хотелось выкрикнуть мне. — Как ты завидно и спасительно глуп…

Но я сдержался. От этого человека в какой-то степени зависело мое будущее.

Познакомились мы не случайно. Эрни Данэл — преуспевающий литературный агент. Работает в солидной конторе. Обслуживает ненавистный эстаблишмент.

Может, заработаю с ним большие деньги. Капитализм, вопреки своей исторической обреченности, дает человеку такую надежду…

ПРИНЯТО ДУМАТЬ…

Принято думать, что советская армия могущественна и непобедима. И потому весь цивилизованный мир дрожит от страха.

По-моему — зря. Я три года был советским военнослужащим. Более того, пассивным участником некоторых военных действий. В ходе которых меня постигло разочарование относительно боевой готовности советской армии. С тех пор лично я не дрожу.

Дело было так. Наша рота лагерной охраны стояла под Иоссером. В роте было девять отделений. Четвертым отделением командовал ефрейтор Головня.

Внезапно Головня помешался. В роте был смотр, и его отделение заняло пятое место. Головня рассвирепел, залез на чердак и открыл стрельбу. Ему хотелось перестрелять конкурентов. И он, действительно, ранил из автомата троих военнослужащих.

Нас было сто человек. Когда началась стрельба, все разбежались. Некоторые бежали до самого винного магазина. Очень разумно действовала повариха Шура. Услышав стрельбу, Шура залезла в борщевой котел.

Начальство объявило тревогу. За казармой собралось человек двадцать. Командир роты спросил:

— Есть добровольцы? Выходи!

Добровольцев не оказалось. Кому охота рисковать жизнью в мирные дни?

Тогда начальство вызвало подкрепление. Мы ожидали его больше суток. Наконец прибыли два бронетранспортера и отряд сверхсрочников. Один бронетранспортер сломался возле переезда. Другой потерял управление и мягко съехал в карьер. Буксуя, он страшно рычал и не двигался. Сверхсрочники занялись починкой.

Два часа спустя они захотели есть. Продуктов им не доставили. В результате они съели наше довольствие. А нам командование выдало по рублю. Чтобы мы шли в поселок за булкой. Часть наших солдат еще раньше ушла за «Агдамом». Теперь ушли все остальные.

Головня, воспользовавшись замешательством, покинул чердак. Он сильно толкнул в грудь капитана Прищепу и убежал на лесобиржу. Там он напился этилового спирта, заснул и был арестован милицией.

Когда его допрашивал замполит Бертельсон, Головня напевал:

— Я люблю тебя, жид, что само по себе и не ново…

Боюсь, что Головню расстреляли. Или посадили в сумасшедший дом. Мы же продолжали службу в нашей доблестной армии…

ТО, О ЧЕМ Я СОБИРАЮСЬ РАССКАЗАТЬ…

То, о чем я собираюсь рассказать, — невероятно. И произошло это на конференции в Лос-Анджелесе.

Еще в самолете меня представили знаменитому ученому Джорджу Гибиану из Корнуэлла. Мы разговорились (Джордж превосходно владеет русским языком).

Но поразило меня другое. Меня поразил его галстук. На вишневом фоне, пониже безукоризненного узла, золотилась отчетливая монограмма — «С. Д.».

Это были мои инициалы. Я порозовел от гордости. Я и не думал, что моя популярность так велика.

Всю дорогу я ласково подмигивал Гибиану…

Началась конференция. Нас познакомили с ее организатором — госпожой Матич. Это была красивая молодая Женщина с чудесной улыбкой.

Но поразило меня другое. Ее элегантные кожаные туфли были украшены моими инициалами — «С. Д.».

Я был крайне взволнован. Моя популярность достигла небывалых размеров. Я даже чуть изменил походку.

Далее в ходе конференции меня подстерегали бесчисленные сюрпризы.

Свои инициалы я обнаружил на портфеле выдающегося журналиста Роберта Кайзера. На авторучке, принадлежащей драматургу Эдварду Олби. На золоченой пудренице Веры Данхэм. На зажигалке Эллендеи Проффер…

Мое сердце бешено колотилось. Глаза сверкали. Щеки

покрылись малиновым румянцем.

Я говорил себе:

— Не возбуждайся! Все идет нормально. Семинары, заседания, художественные чтения, банкеты, разговоры в кулуарах… Литература третьей волны заявила о себе громогласно и убедительно.

Окончился последний, заключительный семинар. Нас повезли в Беверли Хиллс. Там в особняке Дохини Грейстоун состоялся прощальный банкет. На одной из веранд под звуки флейты я разговаривал с Аксеновым.

Кумир моей юности был, как обычно, сдержан и приветлив. Слава не превратила его в оракула и монстра.

«Я буду таким же, — мелькнуло в сознании, — простым и доступным…»

Но поразило меня другое. Голубые носки Василия Аксенова были украшены моими инициалами — «С. Д.». И тогда я не выдержал.

— Вася, — сказал я притворно, — что означают эти буквы? Что означают эти непонятные буквы — «С. Д.»?

— Кристиан Диор, — ответил Вася, — CHRISTIAN DIOR. Самая модная парижская фирма. Производит одежду, духи, украшения…

Наступила мучительная пауза. Голос флейты звучал уныло и равнодушно.

Я вздохнул и подумал:

«Триумф откладывается!..»

ТРИ ГОРОДА…

Три города прошли через мою жизнь.

Первый из них — Ленинград.

Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную, помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.

Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько уязвленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином.

Такие города имеются в любой приличной стране. (В Италии — Милан. В Соединенных Штатах — Бостон.)

Ленинград называют столицей русской провинции. Я думаю, это наименее советский город России…

Следующим был Таллин. Многие считают его искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллина естественно быть немного искусственным.

Жители Таллина — медлительны и неподвижны. Я думаю, это неподвижность противотанковой мины.

Таллин — город вертикальный, интровертный. Разглядываешь высокие башни, а думаешь о себе.

Это наименее советский город Прибалтики. Штрафная пересылка между Востоком и Западом.

Жизнь моя долгие годы катилась с Востока на Запад. И третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк…

Нью-Йорк — хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляюще добродушен и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп.

Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она ужасна настолько, что достигает своеобразной гармонии.

Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы эвклидовой геометрии. Издевается над земным притяжением. Освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов.

Нью-Йорк реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда и развлечений.

Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое и будущее тянутся в одной упряжке.

Здесь нет ощущения старожила или чужестранца. Есть ощущение грандиозного корабля, набитого двадцатью миллионами пассажиров. И все равны по чину.

Этот город разнообразен настолько, что понимаешь — здесь есть место и для тебя.

Я думаю, Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город.

Отсюда можно эмигрировать только на Луну.

В РЕДАКЦИЮ ЗАШЕЛ ЖУРНАЛИСТ…

В редакцию зашел журналист. Предложил свои услуги:

— Хочу осветить серьезное мероприятие — выставку цветов. И разумеется — с антикоммунистических позиций.

Мы немного растерялись. Цветы и политика — как-то не вяжется…

Мне представился заголовок:

«Георгин — великое завоевание демократии!»

И еще я вспомнил один разговор. Уважаемый человек из первых эмигрантов настаивал:

— Скажите прямо, вы антикоммунисты или нет?

И снова мы растерялись. Кто же мы, в самом-то деле? То, что не коммунисты, — это ясно. Но — анти?..

О научном коммунизме представления имеем самые расплывчатые. Даже что такое «базис» — нетвердо помним. (Похоже на фамилию завмага). Бороться с научным коммунизмом должны ученые, философы, экономисты…

О реальном коммунизме знаем еще меньше. Ведь то, что происходит на родине, — от коммунизма чрезвычайно далеко. Это свинство даже вожди перестали коммунизмом называть.

В общем, нет коммунизма. И не предвидится…

Антикоммунисты ли мы? Можно ли быть против того, чего не существует?..

Как-то раз я беседовал с атеистом.

— Я атеист, — сказал атеист, — мой долг противостоять религии. И противостоять Богу!

— Так ведь Бога нет, — говорю. — Как можно противостоять тому, чего нет? Тому, что сам же и отрицаешь?..

Удивительно похоже рассуждают фанатики. Будь то рассуждения за или анти…

— Ладно, — сказал уважаемый человек из первых эмигрантов. — А если произойдет интервенция? Если появится возможность захватить Москву? Вы примете участие?

— Это значит — стрелять?

— Разумеется.

— В кого? В девятнадцатилетних одураченных мальчишек? В наших братьев и сыновей?..

Как ужасна сама мысль об этом! И как благородно на этом фоне звучит мирный призыв Солженицына: «Живите не по лжи!»

Это значит — человек должен победить себя. Преодолеть в себе раба и циника, ханжу и карьериста…

Иначе — новое море крови. И может быть — реальный конец вселенной…

Мы сказали журналисту:

— Напишите о выставке цветов. Напишите без всяких позиций.

— Без всяких позиций? — удивился журналист. Затем подумал и говорит:

— Надо попробовать…

ПОНАДОБИЛИСЬ МНЕ…

Понадобились мне новые ключи. Захожу в мастерскую. У прилавка — мужчина лет шестидесяти.

— Я — Кеннет Бауэрс, — представился он и включил станок.

Над его головой я увидел портрет длинноволосого старика.

— Ты знаешь — кто это? — спросил мистер Бауэрс. — Мой дедушка — Альберт Эйнштейн!

Я выразил изумление.

— Вы — еврей? — говорю.

Надо же было что-то сказать.

— Я — американец, — ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы.

Затем указал на старинную фотографию. Пожилой мужчина в очках склонился над книгой.

— Ты знаешь, кто это? — спросил мистер Бауэрс. — Великий ирландский писатель Джойс… Мой дядя!

— Значит, вы — ирландец? — сказал я.

Надо же было что-то сказать.

— Я — американец, — ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы, — теперь взгляни сюда.

Он показал мне цветной фотоснимок. Чернокожий боксер облокотился на канаты ринга.

— Узнаешь? Это великий боксер Мохаммед Али. Мой племянник…

Признаться, я несколько оробел. Кеннет Бауэрс выглядел совершенно здоровым. Взгляд его был насмешлив и проницателен.

— Значит, вы — мусульманин? — сказал я.

Надо же было что-то сказать.

— Я — американец. — ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы.

— Эти люди — ваши родственники?

— Да, — сказал он.

— Все эти люди — родственники?

— Безусловно, — сказал он.

— Люди всего мира? Всех национальностей? Всех эпох?

— Ты абсолютно прав, — сказал мистер Бауэрс, — ты умнее, чем я думал.

Он закончил работу и протянул мне ключи.

Я поблагодарил и расплатился.

Мистер Бауэрс с достоинством кивнул.

Уходя, я еще раз спросил:

— Все люди мира — родственники? Братья?

— Вне малейшего сомнения, — ответил Бауэрс и добавил: — Будешь в нашем районе, занеси мне свою фотографию…

МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ…

Мы и не заметили, как превратились в старых американцев. Мы уже не замираем около витрин. Не разрешаем себе покупать четырехдолларовые ботинки. Не уступаем женщинам места в сабвее…

Привыкли, осмотрелись, чувствуем себя как дома. Даже лучше.

Мы беседуем с вновь прибывшими. Снисходительно выслушиваем их наивные темпераментные монологи:

— Продавцы такие вежливые! Полицейские такие обаятельные. Квартиры такие просторные…

Мы-то убедились — всякое бывает. И продавцы, бывает, обсчитывают. И полицейские грубят. И в просторной квартире неисправностей хватает…

В учреждениях бюрократии полно. Среди чиновников взяточники попадаются. Бывает, что и в очереди постоишь… Как дома…

Мои взаимоотношения с Америкой делятся на три этапа.

Сначала все было прекрасно. Свобода, изобилие, доброжелательность. Продуктов сколько хочешь. Издательств сколько хочешь. Газет и журналов более чем достаточно.

Затем все было ужасно. Куриные пупки надоели. Джинсы надоели. Издательства публикуют всякую чушь. И денег авторам не платят.

Да еще — преступность. Да еще — инфляция. Да еще эти нескончаемые биллы, инвойсы, счета, платежи…

А потом все стало нормально. Жизнь полна огорчений и радостей. Есть в ней смешное и грустное, хорошее и плохое.

А продавцы (что совершенно естественно) бывают разные. И преступники есть, как везде. И на одного, допустим, Бродского приходится сорок графоманов. Что тоже совершенно естественно…

И главные катаклизмы, естественно, происходят внутри, а не снаружи. И дуракам по-прежнему везет. И счастья по-прежнему не купишь за деньги.

Окружающий мир — нормален. Не к этому ли мы стремились?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА…

В Союзе я диссидентом не был. (Пьянство не считается.)

Я всего лишь писал идейно чуждые рассказы. И мне пришлось

уехать.

Диссидентом я стал в Америке.

Я убедился, что Америка — не филиал земного рая. И это — мое главное открытие на Западе…

Как умел, выступал я против монополии «Нового русского слова». Потому что монополия навязывает читателям ложные ценности.

Как умел, восставал против национального самолюбования. Потому что химера еврейской исключительности для меня сродни антисемитизму.

Как умел, противоречил благоговейным и туповатым адептам великого Солженицына. Потому что нет для меня авторитетов вне критики…

Я помню, откуда мы родом. Я люблю Америку, благодарен Америке, но родина моя далеко.

И меня смущает кипучий антикоммунизм, завладевший умами недавних партийных товарищей. Где же вы раньше-то были, не знающие страха публицисты? Где вы таили свои обличительные концепции? В тюрьму шли Синявский и Гинзбург. А где были вы?

Критиковать Андропова из Бруклина — легко. Вы покритикуйте Андрея Седых! Он вам покажет, где раки зимуют…

Потому что тоталитаризм — это вы. Тоталитаризм — это цензура, отсутствие гласности, монополизация рынка, шпиономания, консервативный язык, замалчивание истинного дара. Тоталитаризм — это директива, резолюция, окрик. Тоталитаризм — это чинопочитание, верноподданничество и приниженность.

Тоталитаризм — это вы. Вы и ваши клевреты, шестерки, опричники, неисчислимые Моргулисы, чья бездарность с лихвой уравновешивается послушанием.

И эта шваль для меня — пострашнее любого Андропова. Ибо ее вредоносная ординарность несокрушима под маской безграничного антикоммунизма.

Серые начинают и выигрывают не только дома. Серые выигрывают повсюду. Вот уже сколько лет я наблюдаю…

Я пытался участвовать в создании демократической газеты. Мой опыт был неудачным, преждевременным. И определили неудачу три равноценных фактора.

На треть виноваты мы сами. Наши попытки хитрить и лавировать были глупыми, обреченными. Деловые срывы — непростительными.

На треть виноваты объективные причины. Сокращение эмиграции, узость и перегруженность рынка, отсутствие значительного начального капитала.

И еще треть вины ложится на русское общество. На его

прагматизм, бескультурье и косность. На его равнодушие к демократическим формам жизни.

«Новый американец» был преждевременной, ранней, обреченной попыткой. Надеюсь, придут другие люди, более умные, честные, сильные и талантливые. И я без удовольствия, но с любовью передаю им мой горький опыт.

Я всегда говорил то, что думал. Ведь единственной целью моей эмиграции была свобода. А тот, кто любит свободу, рано или поздно будет достоин ее.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Ослик должен быть худым
Сентиментальный детектив

События, изложенные в этой грустной повести, основаны на реальных фактах. Автор лишь изменил координаты мощного советского ракетодрома, а также — отчество директора химчистки, появляющегося в заключительных главах.

Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам ЦРУ, майору Гарри Зонту и лейтенанту Билли Ярду, предоставивших в его распоряжение секретные документы огромной государственной важности.

И наконец, автор приносит извинения за те симпатии, которые он питает к центральному герою, и более того — корит себя за это, но увы, глупо было бы думать, что наши страсти рвутся в бой лишь по приказу добродетели!

Утро Джона Смита состояло из ледяного душа, вялой перебранки с массажистом, чашки кофе и крепчайшей сигареты «Голуаз».

Джон выглянул в окно. В бледном уличном свете растворялись огни реклам. Последние назойливые отблески мерцали на крышке радиолы.

Джон Смит лег на диван и разорвал бандероль с американским военным журналом.

Раздался звонок. Джон Смит, тихо выругавшись, поднял трубку.

— Да, сэр, — произнес он, — отлично, сэр, как вам будет угодно, сэр. О'кей!

Джон Смит оделся и после тщетных попыток вызвать лифт спустился вниз. На уровне второго этажа его догнала ярко освещенная кабина. Там целовались.

Джон Смит с раздражением отвернулся и тотчас подумал: «Я стар».

У подъезда его ожидал маленький служебный «Бугатти». Шофер кивнул, не поворачивая головы. Джон сел в машину и профессионально откинулся на апельсинового цвета сиденье, чтобы его нельзя было видеть с улицы.

Через несколько минут автомобиль затормозил у кирпичного здания с широкими викторианскими окнами.

Джон Смит кинул в узкую щель свой жетон и, миновав турникет, поднялся на четвертый этаж.

Майор Кайли встретил его на пороге. Это был высокий

офицер с мужественными чертами лица. Даже лысина не делала его смешным.

Секретарша принесла бутылку виски, лед и два бокала. Приветливо улыбнувшись Джону Смиту, она незаметно шевельнула плечами, поправляя белье.

— Я обеспокоен вашим состоянием, Джонни, — начал майор, — вы теряете форму. Недавно один из сотрудников видел вас в музее классического искусства. Вы разглядывали картины старых мастеров. Если разведчик подолгу задерживается около старинных полотен, это не к добру. Вы помните случай с майором Барлоу? Он пошел на концерт органной музыки, а через неделю выбросился из небоскреба. На месте его гибели обнаружили лишь служебный жетон. В общем, майора Барлоу хоронили в коробке из-под сигарет…

— Какой ужас, — произнес Джон Смит.

— Я рад, что сотрудник заметил вас в музее и предупредил меня.

— Позвольте узнать, сэр, что делал в музее ваш сотрудник?

— Так, пустяки, — ответил майор, — брал дактилоскопические оттиски у конголезского генерала Могабчи. Накануне генерал Могабча знакомился с экспозицией, и отпечатки его пальцев сохранились на бедрах мраморной Венеры.

— Я знаю эту копию, сэр, — произнес Джон Смит, — эклектическая вещь, бесформенная, грубая.

— Генерал придерживался иного мнения. Впрочем, мы отвлеклись.

— Слушаю вас, сэр.

Майор разлил виски. Кусочек льда звякнул о стенку бокала.

— Мне бы не хотелось потерять вас, Джонни. Я не намерен лишать себя ваших услуг. Мы вас ценим. В прошлом вы отличный работник и честный американец. Честный американец это тот, кто продается один раз в жизни. Он назначает себе цену, получает деньги и затем становится неподкупным. В последние месяцы с вами что-то стряслось. У меня такое ощущение, как будто все железные детали в вас заменили полиэтиленовыми. Вы не взглянули на мою секретаршу, вы не допили виски, короче, вы не в форме.

— Видно, я старею, сэр.

— Чепуха! Возьмите себя в руки. Мы решили помочь вам, Джонни. Необходимо, чтобы вы вновь поверили в себя. Два года простоя отразились на вашем состоянии. Вам надо жить нормальной жизнью.

Джон Смит прикрыл глаза. Он тотчас увидел пологий берег Адриатического моря, стук мяча неподалеку, сборник Джойса,

темные очки…

— Мы решили послать вас в Москву, Джон Смит. Вы чем-то недовольны?

— Я офицер и не обсуждаю приказы начальства, — сказал Джон Смит.

Майор Кайли с удовольствием хлопнул его по плечу, шагнул к стене и, откинув муаровую занавеску, указал на карту мира.

— Нас интересуют стратегические объекты русских в квадрате У-15. Так вот, вы оказываетесь в России, поступаете на работу, заводите друзей, а через год к вам является коллега, и вы начинаете совместные акции. Все ясно?

— Да, сэр.

— Полагаю, вы не утратили навыки оперативной работы. Мне стоило большого труда отстоять вашу кандидатуру перед генералом Ричардсоном. Вы должны оправдать мои надежды, Смит.

— Не сомневайтесь в этом, господин майор.

— Вас ожидает цепь злоключений. Мало ли что встретится на вашем пути. Вам придется рисковать. От вас потребуется физическая сила и выносливость. Например, вы сможете переплыть реку?

— Да, сэр.

— Главное — плыть не вдоль, а поперек.

Джон Смит кивнул, давая понять, что считает это замечание ценным.

— Вам нужно подготовиться, усовершенствоваться в языке. Как по-русски «гуд бай»?

— До свидания, пока, счастливо оставаться, будь здоров.

— В СССР надо работать осторожно. Не вздумайте предлагать русским деньги. Вы рискуете получить в морду. Русских надо просить. Просите, и вам дадут. Например, вы знакомитесь в ресторане с директором военного завода. Не дай бог совать ему взятку. Вы обнимаете директора за плечи и после третьей рюмки говорите тихо и задушевно: «Вова, не в службу, а в дружбу, набросай мне на салфетке план твоего учреждения».

— Я учту ваши советы, мистер Кайли.

— Вы должны будете принимать во внимание известную строгость русских нравов. Гомосексуализм, например, у них в полнейшем упадке. В России за это судят.

— А за геморрой у них не судят? — ворчливо поинтересовался Джон Смит.

Майор подошел к столу, выдвинул ящик, достал оттуда брикет сливочного мороженого и разломил его.

— Мороженое заменит вам пароль, — сказал он, — одна

половинка будет у вас, другая — у человека, который явится год спустя. Вы соединитесь и начнете действовать вместе. Ну, кажется, все. Можете идти. В девятом отделе получите легенду и необходимое снаряжение. Дайте-ка я пожму вашу руку.

Джон Смит вышел на крыльцо особняка. Посреди зеленого газона вращался шланг с блестящим наконечником. Был полдень. Возле государственных учреждений скапливались автомобили.

Джон Смит шел вдоль ограды. Остановился, достал сигарету. Из кулака его узким белым лезвием выскользнуло пламя газовой зажигалки. Огонек на солнце был почти невидим.

Разведчик свернул за угол… «Бугатти» медленно ехал за ним, прижимаясь к тротуару. Затем он наклонился к шоферу, который выслушал его, не поворачивая головы.

— Вы бы ехали домой, Роджер, мне надо побыть одному.

Машина рванулась вперед, тотчас затерявшись в уличном потоке.

В этот День Смит пришел домой позже обычного. Галстук торчал у него из кармана. Он одолел три лестничных пролета, словно забрался по вантам в девятибалльный шторм. Дверь кокетничала с ним, водила за нос, наконец в замочной скважине со стуком утвердился ключ. Джон Смит, качаясь, пересек свои апартаменты, чмокнул боксерскую грушу и уснул на диване, не снимая континентальных стетсоновских полуботинок.

Темной мартовской ночью американский военный «Спитфайр» пересек западную границу Советского Союза.

Джон сидел рядом с пилотом. В кабине было тесно. Летчик, передвигая рычаги, задевал колени Джона Смита.

Сквозь иллюминатор виднелось усыпанное звездами небо. Внизу редко и беспорядочно мерцали огни.

— Мы приближаемся, сэр, — заметил летчик, взглянув на фосфоресцирующий пульт.

— Желаю удачи, — добавил он после того, как разведчик откинул крышку люка.

— Благодарю, — сказал Джон Смит и шагнул в черную бездну.

«Спитфайр» промчался мимо.

Минута. Вторая. Третья. Земля, быстро увеличиваясь, летела навстречу. Стали видны очертания деревьев.

— Ах, черт, едва не забыл! — воскликнул Джон Смит и рванул дюралевое кольцо.

В ту же секунду из ранца, который болтался у него за спиной, со свистом выскользнуло шелковое белое пламя парашюта,

последовал сильный толчок, стропы натянулись, и над головой Джона Смита утвердился широкий, слегка вибрирующий купол.

Еще через минуту разведчик, согнув колени, опустился в податливый мартовский снег.

Парашют лежал рядом, медленно опадая.

Джон Смит огляделся. Темный лес окружал небольшую поляну. Из-за деревьев выглядывали звезды.

«Для начала неплохо», — подумал Джон Смит.

Он встал, скинул ранец, притянул за ремни белую ткань, скомкал ее и поджег.

В правом кармане лежали фальшивые документы, в левом — браунинг, ампула с ядом оттягивала воротничок сорочки.

«Омниа меа мекум порто, — невесело усмехнулся Джон Смит, — все мое ношу с собой!»

Он достал консервы и поел. Затем подбросил сучья в костер, расстелил брезентовый плащ и задремал.

Снились ему далекие годы. Залитый солнцем стадион политехнического колледжа. Футбольное поле. Зеленая трава. Полосы мокрой известки. За барьером толпы зрителей с программками в руках. Музыканты в белых куртках исполняют национальный гимн. Гуськом выходят футболисты. Вторым идет он, Джонни Смит, молодой, загорелый. На нем бутсы с шипами, полосатая фуфайка и гетры. В согнутой руке он держит шлем…

Джон Смит ощутил на себе чей-то пристальный взгляд.

Он выхватил пистолет из кармана.

Перед ним стоял тамбовский волк и дружески улыбался.

— Привет, — сказал тамбовский волк.

— Хеллоу! — произнес разведчик, смущенно пряча браунинг в карман.

— Не разбудил?

— Мне как раз пора вставать.

— Озябли?

— Есть маленько.

— Вы, собственно, что тут делаете?

— Да так… грибы собираю.

— А парашют сожгли?

— Естественно. Садись, погрейся.

— Благодарю. Дела.

— Как знаешь.

— Пойду.

— До свидания, дружище.

— Чао, — произнес тамбовский волк и растворился во мраке.

Рано утром Джон Смит вышел из лесу и по горбатой дороге зашагал к темнеющим на фоне снега домам рабочего поселка.

Маленькие ветхие лачуги были вынесены на окраину прибоем шиферных и черепичных крыш, а в самом центре попадались двухэтажные каменные строения с яркими вывесками и заманчивыми витринами.

Навстречу шли мужчины в ватниках и женщины в темных платках. Их лица были по-утреннему хмуры.

Джон Смит замедлил шаги у дверей сельмага.

Со стуком бился на ветру газетный лист.

У обочины, наклонившись, стояла грузовая машина.

Разведчик зашел в магазин, купил велосипед «ХВЗ», сел на него и поехал в Москву.

Солнце без усилий катилось рядом. Его невесомые мартовские лучи падали на обода и спицы. По бокам от дороги лежала белая гладь, штопанная заячьими следами. Колеса вязли в жидком снегу. Лес издали казался глухим и мрачным.

Джон Смит крутил педали и насвистывал песенку, которую слышал от одного лейтенанта в оперативном центре:

Каждый вечер бьют кремлевские куранты
И сияет над бульварами закат,
Вся Москва давно уснула, но не дремлют диверсанты,
До утра у передатчиков сидят.

Если Бог не наградил тебя талантом,
Не печалься, в этом нет твоей вины,
Кто-то вырос коммерсантом, кто-то вырос диверсантом,
Ведь на свете все профессии нужны?

В эту секунду черная тень метнулась под колеса. Посреди дороги стоял тамбовский волк.

— Я передумал, — сказал он, — возьми меня с собой. Вместе будем хулиганить. Тошно, брат, в лесу. Ни друзей, ни близких. Опротивела мне вся эта некоммуникабельность.

— Проблема номер один, — кивнул Джон Смит.

— Знаешь, как шутят у нас в тамбовских лесах? «Волк волку — человек». Сразиться не с кем. Одни зайцы. Мечтаю о настоящем деле. Короче, возьми меня с собой — денщиком, ординарцем, комиссаром…

Разведчик поглядел на него с сомнением.

— Вести себя умеешь?

— Еще бы. И вообще, я могу сойти за крашеного пса.

Джон Смит задумался. Велосипед лежал у его ног. Переднее колесо вращалось, и спицы мерцали в лучах небогатого зимнего солнца.

— Ладно, — сказал наконец разведчик, — беру. Только учти, главное в нашем деле — дисциплина. Понял?

— Да, сэр, — просто ответил волк.

— И чтоб на людей не кидался.

— Это я-то? — обиделся серый. — Да мое основное качество — человеколюбие.

Разведчик сел на велосипед, и они помчались дальше.

Волк делал огромные скачки, напевая:

В разгар беспокойного века,
В борьбе всевозможных идей,
Люблю человека, люблю человека,
Ведь я гуманист по природе своей!

Люблю человека в томате,
А также люблю в сухарях,
И в супе люблю, и в столичном салате,
Люблю человека и славлю в веках!

Москва встретила наших героев сиянием церковных куполов, бесконечным людским потоком, комьями грязного снега из-под шин проносившихся мимо автомобилей.

Разведчик пообедал в буфете самообслуживания, а новому другу, которого оставил на улице, привязав к велосипедной раме, вынес два бутерброда с ветчиной, завернутые в салфетку.

Затем они направились к рынку. Вдоль стен темнели и поблескивали лужи, капало с крыш. Теплый мартовский ветер налетал из-за угла.

Друзья, не торгуясь, сняли у грустной вдовы комнату с панорамой на Химкинское водохранилище.

— А пес по ночам не будет лаять? — спросила хозяйка.

Серый от унижения чуть не выругался. Джон Смит вовремя наступил ему на лапу.

— Не будет, — заверил разведчик, — он воспитанный.

— Умные глаза у вашей собачки, — произнесла вдова, — как будто хочет что-то сказать, но не может.

Комната была светлой и просторной. Над столом висела пожелтевшая фотография мужчины в солдатской гимнастерке и в очках. Хозяйка унесла ее с собой.

Джон Смит сунул браунинг под подушку, расстелил в углу для волка старое пальто.

— Вот мы и устроились, — сказал он.

— А когда идем на дело? — поинтересовался тамбовский волк.

— Главная наша задача — освоиться в Москве. Дальнейшие указания поступят вскоре.

— Может, покусать кого из членов правительства?

— Категорически запрещаю! — Джон Смит хлопнул по столу ладонью. — Ты провалишь нас обоих. Никакой спешки. Терпение и мужество — вот основные добродетели разведчика.

— Тогда хоть слово какое нацарапаем на заборе?

— Я сказал — нет.

— Может, намусорим где? — не унимался волк.

— Ни в коем случае, — сказал разведчик, принимая официальный тон, — вы поняли меня, капрал?!

— Да.

— Вы хотели сказать: «Да, сэр».

— Да, сэр, — пробормотал тамбовский волк и негромко добавил: — «Анархия — мать порядка!»

Каждое утро Джон Смит гулял со своим другом на пустыре, огибая напластования бетонных секций, полусгнившие доски, ржавые фрагменты арматуры, шагая среди битых стекол, окаменевших и непарных башмаков, консервных банок, мерцавших из-подо льда, как рыбы, потом он отводил тамбовского волка домой, сбегал по лестнице вниз, хлопала дверь за его спиной, и оказывался на тронутых неуверенными мартовскими лучами улицах древней столицы.

Он заходил в булочные и пивные, часами сидел без нужды в приемной исполкома, томился в очереди за говяжьими сардельками, оглашал пронзительными криками своды зала в Лужниках, присматривался к незнакомой державе. Он покупал лотерейные билеты, ездил в метро, смотрел, как работают водолазы, переводил старушек через улицу, листал «Неделю», замирал перед картинами в Третьяковской галерее, разнимал мальчишек в городском саду, кормил воробьев и, распахнув пальто, глядел на солнце.

Наступил апрель. Сверкающая ледяная бахрома увенчала карнизы, роскошью напоминая орган протестантского собора в Манхэттене.

Как-то раз Джон Смит заметил объявление, листок из школьной тетрадки, приклеенный к водосточной трубе. На нем расплывшимися буквами было написано:

«Химчистке № 7 требуется механик».

Это мне подходит, решил Джон Смит, именно то, что мне надо. Скромный маленький труженик химчистки ни у кого не вызовет подозрений.

Через пять минут он сидел в кабинете заведующего. Над столом висел портрет Дмитрия Ивановича Менделеева. Рядом белели графики и прейскуранты. На дверях болталась табличка — «Не курить!». Трусливая рука перечеркнула «НЕ» дрожащей линией.

«Оппозиция не дремлет», — подметил Джон Смит.

— Я прочитал ваше объявление, — сказал разведчик.

— Механик вот так необходим, — сказал заведующий, — был у нас отличный механик, сгорел на работе. В буквальном смысле. Пошел он к тестю на именины. Семь дней потом на работу не выходил. На восьмой день явился, заказал в буфете горячий шницель, только откусил и сразу вспыхнул, как бенгальская свеча…

— Я хотел предложить свои услуги, — молвил Смит.

— Документы позвольте взглянуть.

Разведчик вынул из кармана фальшивые новенькие дивные бумаги.

— Оформляйтесь, — произнес заведующий.

С тех пор каждое утро разведчик сворачивал в задохнувшийся среди каменных глыб переулок, надолго исчезал в машинном отделении химчистки, где вибрировала центрифуга, краска летела с потолка и нестерпимо пахло вареными ботами.

Джон Смит зачищал клапана, следил за уровнем воды в баллонах, менял индикаторные трубки, чутко вслушиваясь в неровный пульс машин.

Как-то раз он задержался, меняя изоляцию, а когда вышел из-за прилавка, направляясь к дверям, то увидел Надю, которая стояла перед зеркалом и нахмурившись себя разглядывала.

Они пошли рядом, окунулись в солнечный и мокрый день апреля, а у них за спиной ночная вахтерша тетя Люба тотчас же с грохотом перегородила дверь железной балкой и навесила замки.

— Ну и ветер, — произнес Джон Смит, — как бы вас не унесло. В такую погоду надо обязательно взять под руку толстяка вроде меня.

— Вы не толстый, — сказала Надя, — вы самостоятельный.

— Можно, я вас провожу? — сказал разведчик и добавил: — По-товарищески.

— Я далеко живу, — сказала Надя.

— Вот и хорошо, — обрадовался Джон Смит, наступая в лужу, — вот и прекрасно.

Приемщица Надя не считала себя красавицей, но она была милая, с голубыми глазами и мальчишеской фигурой, а когда сидела за барьером, положив локти на отполированный до блеска стол, клиенты в брюках пытались разговаривать с ней и шутить,

но девушка лишь постукивала карандашом, и в голосе ее рождались особые, неприятные, судебно-исполнительские нотки:

«Распишитесь, гражданин!»

Джон Смит взял Надю под руку, им стало тесно, а через двадцать минут разведчик и девушка уже сидели в ресторане ВДНХ под фикусом.

Официант подал меню, измятый листок бумаги в гладком коленкоровом переплете, отступил на шаг и замер.

Джон Смит повернулся к Наде.

— Виски, джин? — спросил он.

Надя рассмеялась в ответ и говорит:

— Мне водки капельку, а то я ноги промочила.

Смит продиктовал заказ. Надя в ужасе пыталась его остановить.

Официант чиркнул в невидимом блокноте и удалился, ловко огибая столы.

На эстраду вышли музыканты. Пиджаки их висели на стульях. Музыканты о чем-то беседовали, смеясь. Потом они все нахмурились и разошлись по своим местам.

— Давайте потанцуем, — сказал Джон Смит.

— Не могу, — ответила Надя, — я туфли сняла.

Девушка приподняла скатерть, и оттуда выглянул кончик ступни.

У шпиона замерло сердце.

«Не знаю, как выглядит счастье, — подумал он, — мне сорок лет, и я не уверен, что почувствую, если хотя бы частица его встретится на моем пути».

Музыканты играли дружно и отрешенно. Они куда-то шли под звон бокалов, и глаза их были полузакрыты.

Вечером Джон Смит прощался с Надей в подъезде возле батареи отопления. Из-за шахты лифта торчали ручки детских колясок.

— Иди ко мне, — сказал шпион.

— Перестаньте.

Девушка вырвала руку, и на секунду он увидел перед собой приемщицу химчистки в шелковом черном халате и с негодующими вибрациями в голосе: «Распишитесь, гражданин!»

— Ладно, — сказал Джон Смит, — не буду. Простите.

— Если вы меня в ресторан пригласили, то еще не значит, что можно руки распускать!

— Как вам не стыдно, — покачал головой Джон Смит, — ай-ай-ай!

Он повернулся и шагнул к дверям, но Надя догнала его и тронула за хлястик.

— Подождите, — сказала она, — ох, какой же вы громадный. Мне придется встать на цыпочки.

Джон Смит вернулся поздно, снял ботинки и хотел уже выключить свет, но в это время его окликнул тамбовский волк.

— Шеф, я не сплю. Мне нужно с вами поговорить.

— В чем дело, капрал? — спросил Джон Смит, вновь зажигая люстру.

— Я вынужден сделать признание. Оно облегчит мне душу.

— Слушаю вас.

— Шеф, мне трудно говорить.

— Будьте мужчиной, капрал.

— Шеф, я сошелся с легавой. Да, да, я, волк и сын волка, связал свою жизнь с охотничьей собакой. Это случилось на пустыре, когда вы читали газету.

Джон Смит вынул папиросу и задумался, не прикурив.

Ночь лежала за потемневшими стеклами. Мир дремал у порога. Вся мера глубины и разнообразия жизни ясно предстала в этот час на грани тьмы и света.

— Сердцу не прикажешь, — едва слышно выговорил шпион.

— Это верно, — кивнул тамбовский волк.

— Ну, а как она вообще? — спросил разведчик.

— Красивая сука, — откровенно произнес капрал.

Джон Смит взволнованно шагал по комнате. Видны были холостяцкие дыры на носках.

— Не надо прятаться от счастья, — говорил он, — ведь жизнь коротка. Позади океан рождения, впереди океан смерти, а наша жизнь лишь узкая полоска суши между ними.

— Истинная правда, — молвил серый…

— В конце концов мы даже не нарушаем инструкций, — задумчиво сказал шпион, — ведь сам майор Кайли приказал мне обзавестись друзьями в СССР.

Они проговорили до утра, а когда взглянули на часы, луч солнца заглядывал в комнату вместе с первыми гудками речных катеров.

С тех пор каждый вечер Джон Смит покидал ателье вместе с Надей. Девушка прятала в стол пачку голубоватых квитанций, переодевалась, вешала на гвоздик черный шелковый халат, и они, держась за руки и огибая лужи, шли в какой-нибудь музей. В просторных залах было тихо, кружевные занавески покачивались на окнах, экспонаты соперничали с лепными украшениями на потолке и замысловатой мозаикой пола.

— Когда я стою перед шедевром, — говорил Джон Смит, — то ощущаю, что картина вглядывается в меня, проникает в

сокровенные глубины моей души. Мне делается стыдно за те пороки, которыми я наделен. Я дрожу, как на суде.

— Мне знакомы эти ощущения, — кивала Надя.

— Искусство читает наши сокровенные мысли. Под его взором хочется быть великодушным, честным и добрым.

Девушка на секунду прижималась к его плечу, а потом они шли дальше, и служащие музея в темной форменной одежде провожали их глазами.

А ровно через месяц на последние деньги, которыми снабдил его разведывательный центр, Джон Смит арендовал помещение диетического буфета, чтобы отпраздновать свадьбу.

Гостей было много. Пришли сотрудники ателье и кое-кто из постоянных клиентов. Заведующий произнес речь.

— Я пью за новобрачных, — сказал он, — которые вместе со всем личным составом химчистки борются за то, чтобы не было грязных пятен на брюках советского человека, труженика и творца. И если на карте мира еще имеются кое-где белые пятна, то в недалеком будущем мы эти пятна, товарищи, выведем. Более того, даже пятна на солнце не вечны. Штурмуя космические пространства, мы сумеем устранить и эти загрязнения. Жизнь, друзья, обгоняет мечту!

Тут все начали поздравлять молодоженов, чокаться и пить за их здоровье. Бутылки маршировали по столу, как рекруты. Закуски отливали всеми цветами радуги. Шум стоял невообразимый.

Тамбовский волк лежал под столом, грыз рафинад и время от времени орал: «Горько!»

Молодые поселились у Нади в комнате с окном на бульвар. Волку постелили в коридоре.

Теперь Джон Смит и Надя каждое утро ехали вместе на работу в полупустом девятом трамвае. Джон вынимал из чемоданчика инструменты и уходил в машинное отделение, а Надя раскладывала на столе чистые бланки и копировальную бумагу. С заказчиками теперь она вела себя приветливее.

Однажды шпион постучался в кабинет заведующего.

— Понимаете, какая штука, — сказал он, — я тут перелистывал техническую литературу и подумал: а что, если карданную ось соединить под углом с одним из валиков и одновременно снизить обороты передаточного диска? Таким образом можно коэффициент изнашиваемости ткани в процессе обработки практически свести к нулю. Вот посмотрите.

Джон порылся в карманах спецовки, достал лист бумаги и моментально начертил схему.

— Интересная мысль, — сказал заведующий, — вы мне

оставьте эту бумажку, я на досуге подумаю.

Джон Смит вышел из кабинета, насвистывая «Лалабай оф бердленд», а директор в это время с интересом разглядывал схему, которую шпион рассеянно начертил на обратной стороне миниатюрной географической карты, где птичкой был отмечен советский ракетодром в квадрате У-15.

На следующий день заведующий вызвал Джона Смита к себе.

— Входи, Петр Иванович, присаживайся. Что это ты всегда такой нерешительный и робкий? Посмелее надо быть. Я бы даже сказал, понахальнее. Ну-ка, брат, хлопни меня по шее! Да не бойся ты, хлопни! Здорово, мол, Кузьма Петрович! Размахнись и хлопни, кому говорю.

Джон Смит покорно размахнулся, но тотчас же замедлил движение и осторожно убрал пылинку с директорского пиджака.

— Э-э… — сказал директор, — ну да ладно. Садись, Петр Иванович, располагайся. Обдумал я твое изобретение, вник, как говорится. Здорово, ей-богу, здорово ты это придумал. Оригинально. Тысячи рублей экономии может дать твое изобретение. Решили к майским праздникам тебя премировать, а портрет — на Доску почета! Молодец, Петр Иванович, орел! Кулибин!

Директор с чувством пожал шпиону руку.

— Как у тебя с жилплощадью? — спросил он.

— Тесновато, конечно, — сказал Джон Смит, — но в общем ничего, жить можно.

— Дадим квартиру, — сказал заведующий, — первым будешь на очереди. Мы эту самую рационализацию очень поощряем, стимулируем, как говорится. Сам знаешь, какое значение приобрела химчистка в наши дни. Он, — директор указал на портрет Менделеева, — все это гениально предвидел. Наши задачи состоят в том, чтобы воплотить в жизнь его мечты и планы. В первую очередь для этого нужно освоить методы родственных предприятий у нас и за рубежом. В общем, мы хотим послать тебя в командировку. Есть два пункта — Нью-Йорк и Сыктывкар. На выбор. Что тебе больше по вкусу?

— Сыктывкар, — ответил Джон Смит, не задумываясь.

Директор слегка удивился.

— То есть, я понимаю, идейно тебе, конечно, ближе Сыктывкар, — сказал он, — но ведь, с другой стороны, — Америка, пальмы, попугаи…

— Чего я там не видел, — сказал разведчик, — поеду в Сыктывкар.

— Ну, как хочешь. Может, ты и прав. Во-первых, ты, брат, лысоватый и потому не можешь вполне достойно представлять

наш народ за границей. Еще, чего доброго, подумают, что в СССР все лысые. К тому же языков, поди, не знаешь. А ведь они там, как сбесивши, все не по-русски шпарят. Так что, может, ты и прав. И вообще, ты для Запада больно уж тихий. Столько времени знакомы, а я голоса твоего не слыхал. Ну-ка, спой что-нибудь. Спой, не стесняйся. Хочешь, вместе споем: «Раскинулось море широко…»

Через неделю Джон Смит обнял жену, сел в поезд и уехал в Сыктывкар. Долгое время на поворотах ему был виден темный от дождя перрон, далеко выступающий вдоль железнодорожных рельсов, и две застывшие фигурки на нем: Надина в широком дождевике, а возле ее ног маленькая и взъерошенная — тамбовского волка.

В Сыктывкаре шпион провел четыре дня. Он обошел все родственные предприятия, побывал в библиотеке и картинной галерее, а также посетил местный краеведческий музей, где осмотрел хребет вымершего доисторического животного — семги.

На четвертый день шпион заметил, что скучает. Он долго бродил под фонарями городского парка, выпил рюмку водки в ресторане «Пингвин», но мысли его были далеко, в Москве.

Разведчик пересек центральную площадь, обогнул гранитный монумент и вдоль забора, над которым видны были освещенные окна больницы, бездумно зашагал к горизонту.

На пути ему встретилась фанерная крашеная будка под вывеской «Пневматический тир». Джон Смит зарядил ружье, облокотился на барьер и выстрелил в пузатого Дядю Сэма, который со стуком опрокинулся, а на его месте вырос негр в комбинезоне.

— Меткий выстрел, — похвалил хозяин тира.

От этих слов Джон Смит, как и любой другой мужчина на его месте, слегка повеселел.

Подняв воротник плаща, разведчик под конвоем собственной тени брел через картофельное поле туда, где мерцали над землей огни аэропорта.

— Который на Москву? — спросил он у заспанного диспетчера.

— Кажись, вот тот, — ответил диспетчер и указал на серебристый лайнер ТУ-104.

Джон Смит поднялся в салон, неслышно прошел по ковровой дорожке вдоль кресел и сел у окна.

Когда из мрака выступили огни русской столицы, бесчисленные светящиеся трассы, Джон Смит закурил, чтобы скрыть волнение.

— Застегните ремни, — приказала стюардесса.

Через час разведчик был у своего порога. Надя осторожно приоткрыла дверь. На ней был пестрый фланелевый халатик.

— Это ты? — спросила Надя.

— Я, — ответил шпион, — ты рада?

— Я не рада, — сказала Надя, — я ни капельки не рада. Я счастлива.

В этот миг кто-то лизнул ему руку. В дверях стоял тамбовский волк, по-собачьи виляя хвостом.

В химчистке Джона Смита встретили приветливо.

— Это ты, — сказал директор, — вернулся?

Разведчик кивком головы подтвердил эту гипотезу.

— Материалы привез?

— Да. Вот они.

— А мы тебя заочно в местком избрали. Оказали доверие. Человек ты справедливый, идейно закаленный. В общем, проголосовали единодушно.

— Кузьма Петрович, разве я достоин?

— Народу, брат, видней.

Джон Смит вышел в коридор, прочитал очередной номер стенной газеты «Брак мой — враг мой!», а когда он направился в машинное отделение, то увидел на Доске почета, на малиновом бархатном фоне свой портрет.

Шпион невольно расправил плечи.

Дни потянулись вереницей.

Однажды утром, когда Джон Смит перелистывал свежий номер «Московского комсомольца», Надя сказала ему:

— Знаешь, что ты произнес сегодня ночью? Ты сказал: «Гуд бай».

Джон Смит притворно рассмеялся.

— А, — сказал он, — это я готовил уроки. Я ведь, милая, на курсы записался, иностранных языков. Мечтаю «Сагу о Форсайтах» в подлиннике читать. Да и вообще без языка в наше время не обойтись.

В тот же день шпион был вынужден записаться на курсы иностранных языков.

— К сожалению, прием окончен, — сказала директриса.

— Я вас очень прошу, — настаивал Джон Смит.

— Заходите через год.

— Я не могу так долго ждать. Мне бы «Сагу о Форсайтах»…

— Так и быть, — сказала директриса, — сделаем исключение. Давайте проверим ваши способности. Повторяйте за мной: «Май

нэйм из Джон Смит». Ну, что ж вы растерялись? «Май нэйм из Джон Смит».

— Провал! — воскликнул Джон Смит и надкусил ампулу с ядом.

Стены отшатнулись, пол рванулся из-под ног, разведчик упал, и сознание оставило его, не прощаясь.

Директриса, проливая воду, старалась привести его в чувство, кто-то звонил через коммутатор в «Скорую помощь», через весь город под вой сирены летел малолитражный автобус с крестом на борту, люди в халатах тащили носилки по лестнице…

Шпион не подавал признаков жизни. Душа рассталась с ним без горечи и с облегчением, как женщина, уставшая от мук.

Разведчик лежал на гладком холодном столе, закинув подбородок. Полы его дождевика касались земли.

Наконец вошел профессор. Он склонился над Смитом, стиснул его запястье, как тренер по дзюдо в центральной оперативной школе, затем твердым и уверенным голосом поставил диагноз:

— Острый катар верхних дыхательных путей!

От изумления Джон Смит немедленно пришел в себя.

— Этого не может быть!

— Вы сомневаетесь в моей компетентности? — усмехнулся профессор. Затем он достал чистый бланк, поставил на нем какую-то закорючку в виде перевернутого китайского иероглифа и сказал:

— Вот рецепт. Вы будете принимать эти таблетки три раза в день. На ночь — горячее молоко с боржомом. До свидания.

Он уже двигался к следующему больному так стремительно, что расстегнутый белый халат за его спиной летел, как шлейф.

Джон Смит сунул рецепт в карман и, шатаясь, побрел домой.

Шло время. Солнечное лето, шурша и остывая, катилось к сентябрю.

Джон Смит и Надя обедали в молочном буфете.

Разведчик шел к столу с подносом в руках. Он молча смотрел на жену и улыбался.

Она сидела у окна, и предвечерние лучи касались легких ее волос.

— Неужели ты ничего не заметил? — вдруг спросила Надя.

«Наследил!» — подумал Джон Смит и огляделся, нет ли «хвоста».

— У нас будет ребенок, — сказала Надя.

Качнулись на подносе молочные бутылки, со стуком покатились крутые яйца, дрогнул студня брикет.

— Надья! — воскликнул разведчик. — Надья! Ит'з бьютифл, ит'з вандерфул! У меня нет слов! Ай кан't поверить! Аи вонт надеяться! Це дуже гарно! Но почему ты плачешь?

Надя достала из сумочки платочек, вытерла слезы и сказала:

— Я плачу от счастья. Какое счастье, что я тебя встретила. А представляешь, если бы мы жили в разных частях света?..

С тех пор Джон Смит не знал покоя. Он стал печальным и задумчивым настолько, что однажды, сидя в буфете и рассеянно орудуя вилкой и ножом, отрезал кончик собственного галстука.

Вечерами после работы Джон Смит уходил из дому и часами бродил в районе Лубянки, замедляя шаги возле гранитного фасада. Молодые сержанты, которые пили чай с плавленым сыром, сидя возле распахнутых окон, быстро привыкли к высокому сутулому гражданину в драповом пальто и жестами приглашали его зайти. Но шпион со вздохом уходил прочь, махнув рукой.

Как-то раз он дольше обычного простоял перед дубовой дверью, потом решительно взялся за ручку и вошел.

Младший лейтенант с лицом и манерами старшего лейтенанта проводил его к майору Зотову.

Майор, утомленный несовершенством этого мира, поднял глаза.

Джон Смит пересек кабинет и со стуком положил на стол перед майором бельгийский браунинг № 2.

— Ваши документы! — сказал майор.

— У меня фальшивые документы, — виновато произнес диверсант.

— Давайте, какие есть, — сказал майор, пряча оружие в ящик письменного стола.

Джон Смит вынул паспорт.

Майор внимательно перелистал его.

— Документы вроде бы в порядке, — сказал он, — а что вам, собственно, угодно?

— Да шпион я, шпион! — воскликнул Джон Смит.

— Из-за границы, что ли?

— Из-за границы. Из Калифорнии я.

— Так, — произнес майор Зотов, снимая трубку, — товарищ полковник?! Зотов рапортует. Тут ко мне шпион один явился. Нет, вроде бы тверезый… Что ему надо? Сейчас узнаю.

— Что вы, собственно, хотите?

— Дело том, что я изменил убеждения, — сказал Джон Смит, — точнее говоря, разочаровался в ценностях, под знаком которых проходила вся моя жизнь. В общем, кому бы тут сдаться?

— Товарищ полковник, он сдается. Сдается, говорю, раскаивается… Симпатичный такой. Зажигалку мне подарил в виде пистолета. Ага, понятно. Есть, все понял.

Он повесил трубку.

— Вы посидите, — сказал майор Джону Смиту, — нет, нет, не здесь, — остановил он диверсанта, который уселся в кресло под огромным портретом Дзержинского, — вы посидите в камере, а затем полковник Громобоев лично вас допросит.

— Меня будут пытать? — спросил Джон Смит.

Майор искренне расхохотался.

— Мы такими делами не занимаемся. Вы не в гестапо, а в советском учреждении.

Однако майор сказал неправду. Пытки начались сразу после того, как захлопнулся штырь на обитых железом дверях. Дело в том, что за стеной какой-то пьяный уголовник целый день фальшиво распевал:

А я иду, шагаю по Москве…

Это была страшная пытка. Измученный шпион хотел уснуть, но ежеминутно его будил звонкий тенор соседа-арестанта:

…И я пройти еще смогу
Далекий Тихий океан,
И тундру, и тайгу…

Джон Смит начал колотить в стену табуреткой, но в ответ раздавалось:

…И если я по дому загрущу…

День и ночь прошли в страшных мучениях.

Тем временем в Москву через Никитские ворота проник Боб Кларк, американский шпион, задачей которого было разыскать Джона Смита и объединиться с ним для совместных действий.

То и дело оглядываясь, Боб Кларк шел по улице. Костюм его был тщательно продуман. Мягкая, надвинутая на глаза шляпа, темные очки, поднятый воротник. В правой руке он держал кусок сливочного мороженого. Левый карман его заметно оттопыривался. Там лежала портативная рация.

Все с удивлением провожали его глазами, ибо там, где шел

Боб Кларк, на мягком асфальте оставались четкие следы в форме раздвоенного копыта.

— Видать, шпион, — сказал один прохожий, — у них всегда так, специальные чурки привяжет к галошам и коровой притворяется. Так и шастают через границу, так и шастают.

— Эвон, сколько развелось ихнего брата, шпиона, — произнес другой.

— Не говори, — поддакнул третий, — от этих приезжих коренному москвичу житья не стало…

Боб Кларк поднялся на второй этаж. Вышла молодая полная женщина и сказала:

— Петра Ивановича нет дома. Я жду его. Заходите, выпейте чаю. Он должен был вернуться час назад. Я уже начинаю волноваться. Заходите же.

— Нет, нет, не беспокойтесь, — сказал Боб Кларк, — я загляну попозже.

Несколько часов он бродил по городу, спускался в метро, пил газированную воду, читал газеты, смотрел, как плещется река, стоял перед витриной антикварной лавки, которая оказалась салоном модных шляп, затем вновь направился по адресу.

— Еще не приходил, — сказала Надя, — не знаю, что и думать.

— Вы только не нервничайте, — сказал Боб Кларк, — вам нельзя… Сидит он где-нибудь с друзьями за кружкой пива…

Надя вздохнула. Она знала больше, чем предполагал Джон Смит, а чего не знала, о том догадывалась. Итак, Надя вздохнула и запела высоким чистым контральто:

Эх, нет цветка милей пиона
За окошком на лугу,
Полюбила я шпиона,
С ним расстаться не могу.

Эх, у Прасковьи муж водитель,
У Натальи муж завмаг,
У Татьяны укротитель,
У меня — идейный враг.

Эх, прилетел он из Небраски
На советские луга,
Но зато какие глазки
У идейного врага.

Эх, не шуми под ветром, поле,

Не дрожи, кленовый лист,
Ох, ты, дроля, милый дроля,
Почему ж ты не марксист?..

До вечера Боб Кларк ждал у ворот на лавочке, но Джон Смит так и не появился.

Боб Кларк расстегнул пуговку на вороте, снял пиджак и задумался. Потом он рассеянно откусил кусок сливочного мороженого и внезапно съел его целиком.

— Что же делать, — опомнился шпион, — как же я теперь без мороженого? Один в незнакомом городе. Загляну-ка я в Третьяковскую галерею. Столько слышал от разных туристов, а побывать не довелось.

Так он и сделал.

Наутро Джона Смита вызвал к себе полковник Громобоев. Он шагал по кабинету, задорно напевая:

Я суровый контрразведчик,
Не боюсь глубоких речек,
Не боюсь высоких крыш,
А боюсь я только мышь!

Джон Смит вошел.

— Кто вы такой? — спросил полковник.

— Майор Джон Паркер Смит, сотрудник американской разведки.

— Люди делом занимаются, а ты?..

— Я больше шпионить не буду, — сказал Джон Смит.

— Почему это вдруг?

— Мне надоело.

— А много ль ты успел набедокурить? — спросил полковник.

— Да как вам сказать, порядочно. Месяц назад в ресторане стул опрокинул, шуму было. Потом как-то раз за автобусом бежал, толкнул старушку. Стукнула она меня кошелкой по спине, но ничего, отлежался. Вот, кажется, и все.

Полковник задумался. В кабинете тикали часы. По карнизу шумно прогуливался голубь.

— Ладно, — сказал наконец Громобоев, — можешь идти.

— То есть как? — не понял диверсант.

— Ты свободен. Коллектив благодари. Химчистка № 7 берет тебя на поруки.

Бывший шпион недоверчиво взглянул на офицера, но тот с

улыбкой кивнул ему и придвинул к себе бумаги, давая понять, что разговор окончен.

Джон Смит попрощался дрогнувшим голосом, направился к дверям, потом вернулся и сказал:

— Гражданин полковник, мне стыдно злоупотреблять вашим благородством, но один вопрос не дает мне покоя. Дело в том, что у меня есть домашнее животное.

— Какое именно? — спросил Громобоев.

— Да так, — ответил Джон Смит, — волчишка небольшой. Нельзя ли о нем позаботиться? Приобщить к созидательному труду?

— Ну, что ж, — сказал полковник, — будет какой-нибудь склад охранять.

— Вы понимаете, какая штука, — возразил недавний диверсант, — он у меня вообще-то работник кабинетного толка.

— А как по характеру?

— Тонкий лирик со склонностью к унынию.

— Минутку, — сказал полковник и набрал короткий местный номер. — Майор Кузьмин? Говорит полковник Громобоев. Как у нас с медперсоналом в детских учреждениях? Острая нехватка? Ясно. Ну вот, — обратился он к Джону Смиту, — пускай оформляется в детские ясли на улице Чкалова, 5.

Через минуту Джон Смит вышел на улицу и быстрой походкой зашагал домой.

Полковник Громобоев встал, подошел к окну и взглянул сверху вниз на нашу землю, которая крутится испокон века, таская на себе нелегкую поклажу — человечество!

Иная жизнь
Сентиментальная повесть

1. НАЧАЛО

Мой друг Красноперов ехал во Францию, чтобы поработать над архивами Бунина. Уже в Стокгольме он почувствовал, что находится за границей.

До вылета оставалось три часа. Летчики пили джин в баре аэровокзала. Стюардесса, лежа в шезлонге, читала «Муму». Пассажиры играли в карты, штопали и тихо напевали.

Мой друг вздохнул и направился к стадиону Улеви.

День был теплый и солнечный. Пахло горячим автомобилем, баскетбольными кедами и жильем, где спят, не раздеваясь.

Красноперов закурил. Огонек был едва заметен на солнце.

«Как странно, — думал он, — чужая жизнь, а я здесь только гость! Уеду — все исчезнет. Не будет здания ратуши. Не будет ярко выкрашенных газгольдеров. Не будет рекламы таблеток от кашля. Не будет шофера с усами, который ест землянику из пакета. Не будет цветного изображения Лоллобриджиды в кабине за его спиной… А может быть, что-то останется? Все останется, а меня как раз не будет? Останется мостовая, припадет к иным незнакомым ботинкам. Стекла забудут мое отражение. И в голубом красивом небе бесследно растает дымок сигареты «Памир»… Иная жизнь, чужие люди, тайна…»

2. ЧУЖИЕ ЛЮДИ

Впервые он познал чужую жизнь лет двадцать пять тому назад. Однажды в их квартиру пришли маляры. Они несли ведро, стремянку и кисть, большую, как подсолнух. Они были грязные и мрачные — эти неопохмелившиеся маляры. Они переговаривались между собой на иностранном языке.

Например, один сказал:

— Колотун меня бьет!

Другой ответил:

— Мотор на ходу вырубается…

Родители Красноперова засуетились. Папа тоже вдруг заговорил на иностранном языке.

— Сообразим, братва! — задорно крикнул непьющий папа.

И ринулся за водкой.

А мама осталась в комнате. Наблюдать, чтобы маляры не украли серебряные ложки.

Затем вернулся папа. Он чокнулся с малярами, воскликнув:

— Ах ты, гой еси…

Или что-то в этом роде.

Папа хотел угодить малярам и даже негромко выругался. Мама безуспешно предлагала им яблочный конфитюр. Юный Красноперов тоже протянул малярам руку дружбы и задал вопрос:

— Дядя, а кто был глупее, Маркс или Энгельс?

Однако маляры не захотели вникать и хмуро сказали:

— Не знаем…

Наконец маляры ушли, оставив в квартире след чужой и таинственной жизни. Папа и мама облегченно вздохнули. Серебряные ложки остались на месте. Исчезла только недопитая бутылка водки…

3. ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

Красноперов шел по набережной Меллер-странд. Из ближайшего кафе доносились звуки виброфона. Вспыхивали и гасли огни реклам.

Через висячий мостик проходила юная женщина с цветами. У нее были печальные глаза и розовая кожа. Она взглянула на Красноперова и пошла дальше, еще стройнее, чем была. Она достигла середины моста и бросилась в реку. Мелькнула голубая блузка и пропала. Цветы несло течением под мост.

Мимо ехал полицейский на велосипеде. Он резко затормозил. Потом зашнуровал ботинок и умчался.

По-прежнему гудели автомашины. Не торопясь шли монахини в деревянных сандалиях. Шагали бойскауты в джинсах. Чиновники без пиджаков.

Горело солнце. Лучи его вспыхивали то на ветровом стекле мотороллера, то на пуговицах бойскаутов. То на велосипедных спицах.

Был обеденный час. Сыры на витринах размякли от зноя. Бумажные этикетки пожелтели и свернулись в трубочки.

Красноперов ускорил шаги. На душе у филолога было смутно. Он перешел в тень. Слева тянулась изящная ограда Миллес-парка. За оградой в траве бродили голуби. Еще дальше филолог увидел качели. Несколько белеющих статуй. И двух лебедей на поверхности чистого озера.

Вдруг кто-то окликнул его по-шведски. За оградой стоял мужчина лет тридцати. Он был в твидовом пиджаке и сорочке «Мулен». Оксфордские запонки горели в лучах полуденного солнца.

Мужчина что-то сказал. Красноперов не понял.

Незнакомец досадливо махнул рукой. Затем он докурил сигарету, развязал галстук и умело повесился на ветке клена. Его новые стетсоновские ботинки почти касались густой и зеленой травы. Тень на асфальте слегка покачивалась.

Красноперов хотел закричать, вызвать полицию. Он свернул в ближайший переулок. На балконе третьего этажа загорал спортивного вида юноша.

— Молодой человек! — позвал Красноперов.

Тотчас же, отложив недочитанную книгу, юноша прыгнул с балкона вниз головой. От страшного удара безумец стал плоским, как географическая карта. Машины тесным потоком катились вперед, огибая несчастного.

4. РОДНОЙ, ЗНАКОМЫЙ, НЕПРИЯТНЫЙ

В сутолоке теней достиг наш герой проспекта Кунгестартен. Он был напуган и подавлен. На его глазах происходило что-то страшное.

Вдруг его потянули за рукав. Рядом стоял человек в цилиндре, галифе и белых парусиновых тапках. Мучительно родным показалось Краснoперову лицо его. Что-то было в нем от родимых, далеких, покинутых мест. Однообразие московских новостроек. Широкий размах волжской поймы. Надежная простота телег и колодцев.

— Красноперов, будь мужчиной! — произнес человек.

— Кто вы?

— Твоя партийная совесть.

— Объясните мне, что здесь происходит? На моих глазах три человека умышленно лишили себя жизни.

Незнакомец улыбнулся и голосом вокзального диктора произнес:

— Вопреки кажущемуся благополучию, на Западе растет число самоубийств.

И добавил:

— ЦО «Правда» от 6 декабря. Разве ты, Краснопёров, газет не читаешь?

— Я читаю… Значит, все это более или менее нормально?

— Абсолютно нормально. Скандинавия задыхается в тисках

идейного кризиса. «Московский комсомолец» от 12 июля.

— Мне, знаете ли, на аэродром пора.

— Прощай, Красноперов. Зря в баскетбол не играешь. Фактура у тебя подходящая.

— А я играю, — живо возразил Красноперов, — за честь института.

— Так я и думал, — сказал незнакомец, — всех благ!

— Будьте здоровы.

— А ты будь на уровне предначертаний минувшего съезда. «Известия» от 2 апреля. И помни, я — твоя совесть. Я всегда с тобой.

5. КАЖДОМУ ПО ЯБЛОКУ

Красноперов, человек умеренный и тихий, спорил редко. Он неизменно заходил в дверь последним. Независимые, дерзкие люди очень ему импонировали.

Десять лет назад его кумиром был Андрей Рябчук. Они познакомились в казарме стройбата. Красноперов был новобранцем, а Рябчук донашивал третью пару хлопчатобумажного обмундирования.

Произошло это зимой. Рябчук явился в заснеженный поселок с очередной гауптвахты. Он был худой и загорелый среди зимы, триумфатор по виду.

Рядом, опережая слухи, шла девушка. Она была такая легкая и воздушная на фоне пожарного стенда. Ее следы на заснеженном трапе казались чудом.

Новобранцы столпились возле гимнастических брусьев. Рябчук прикурил у дневального. Затем, сопровождаемый восхищенным безмолвием, достиг тридцатиместной палатки, которая чернела на отшибе.

Летом здесь размещалась батальонная футбольная команда. Осенью спортсмены разъехались, заколотив палатку досками.

Рябчук без натуги оторвал эти доски и проник. Нары были завалены матрасами, из которых торчало сено. В углу лежали сырые, грязные подушки.

Рябчук потрогал матрасы и сказал:

— Это не пух…

Затем коснулся наволочек и добавил:

— Это не батист…

Потом он забил вход изнутри. Поломал грубый стол, на котором была вырезана однообразная матерщина. Растопил им печь. И зажил до утра.

Всю ночь из трубы шел дым. Всю ночь желтели окна казармы. Солдаты не могли уснуть. Знали, что в двух шагах под холодным брезентом торжествуют отвага и удаль. Безграничная нежность южанина и упорство гвардейца…

Наутро Рябчук оторвал доски и вышел, шатаясь, бледный и слабый. В трех метрах от палатки был расположен финиш ежегодного лыжного кросса. Желтела тумбочка с медикаментами. Рядом толпились офицеры. В руках подполковника Гречнева сиял хронометр.

Андрей Рябчук вернулся, пятясь. Его обнаружили через неделю.

— Прощайся с шалавой и едем на гауптвахту! — кричал майор Анохин.

Марина не плакала. Она только махала Андрею рукой. Грубость ее не задела.

Рябчук направлялся к военной машине, без шапки, с поцарапанным лицом. Вид у него был счастливый и хамский. Даже конвоиры завидовали ему.

Рябчук прошел мимо, едва не задев Красноперова. Роняя на будущего филолога отблеск чужой, замечательной и таинственной жизни.

С тех пор они не виделись. Рябчука увезли на гауптвахту. А Красноперов через несколько дней был откомандирован в Ленинград. Его назначили завклубом при штабе.

6. СОВСЕМ, СОВСЕМ ЧЕРНЫЙ

Возле самолета белели окурки. На площадке трапа царила стюардесса. ТУ-124 был ей к лицу.

Через минуту она шла вдоль кресел, проверяя, застегнуты ли ремни. Слушаться ее было приятно.

У стюардессы были манеры кинозвезды. Голубое форменное платье казалось случайной обузой.

Красноперов заглянул в иллюминатор. Лопасти винта образовали мерцающий круг. Трава пригнулась к земле. Через минуту самолет поднялся. Мой друг увидел странно неподвижное крыло его.

Соседом оказался негр в замшевых туфлях и малиновом клубном пиджаке.

— Вы откуда? — спросил Красноперов.

— Из Южной Родезии, — ответил чернокожий, доставая портсигар.

Сигарета, как тонкая белая леди, поникла в его огромных

руках.

— О, Южная Родезия, — повторил Красноперов, — там неспокойно?

— Еще как, — ответил негр, — просто жуть! Однажды я ехал на мопеде к своей девчонке. А из джунглей как выскочит тигр! Да как бросится на меня!..

И снова достиг Красноперова отголосок чужой, непонятной, таинственной жизни. Он расслышал грохот накаленных солнцем барабанов. Увидел пробковые шлемы, блестящую от крокодилов воду Замбези. И полосатых тигров, грациозных, хищных, самоуверенных, как девушки на фестивале мод.

«Чужая жизнь, — подумал Красноперов, — тайна».

7. НИЩИЙ

Это было сразу после войны. В квартиру постучался нищий. Накануне праздновали мамин день рожденья. Все решили, что вернулся Мухолович доедать заливное.

Мама отворила дверь, растерялась. С тревогой оставила нищего в прихожей, где лежали меховые шапки. Дрожащими руками налила стакан «Алабашлы».

Нищий ждал. Он был в рваном плаще. Следов увечья не было заметно.

Нищий молчал, заполнив собой все пространство отдельной квартиры. Гнетущая тишина опустилась на плечи. Тишина давила, обжигала лицо. От этой тишины ныл крестец.

Мама вынесла стакан на чайном блюдце. Нищий, так же глядя в пол, сказал:

— Я не пью, мамаша. Дайте хлеба…

Потом Красноперов часто видел нищих. Как-то раз в пригородную электричку зашел человек. Он развернул бесстыжие меха гармошки и запел:

Вас пятнадцать копеек не устроят,
Мне же это — доход трудовой…

Это был фальшивый нищий, почти артист. А вот того парня, без следов увечья, Красноперов запомнил. И тишину в коридоре. И обмерших зажиточных родителей…

В этот момент пилот обернулся и спросил:

— Налево? Направо?

Мгновение был слышен четкий пульс компьютеров.

— Направо! — закричали те, кто уже летал по этому

маршруту.

8. КУДА ЕХАТЬ?

В Орли Красноперова поджидал собкор «Известий» Дебоширин. Его манерам соответствовал особый генеральский падеж, который Дебоширин использовал в разговоре.

— Как чувствуем себя? — поинтересовался он.

— Отлично, благодарю вас.

— А выглядим неважно.

— Все-таки дорога.

— Может быть, у вас просто интеллигентное лицо?

— Не исключено, — смущенно выговорил Красноперов.

Они пересекли залитую солнцем гладь аэродрома. На шоссе их поджидала машина.

— Куда ехать, мсье? — спросил шофер.

— В Париж, — ответил Дебоширин.

— А где это? — спросил шофер. — Налево? Направо?

— Ох, уж это мне французское легкомыслие, — проворчал Дебоширин. И вслух указал:

— Поезжайте на северо-запад.

— А где тут северо-запад? — удивился шофер. — Я в этих местах полгода не был.

— Идиот! — простонал Дебоширин.

— Тут все изменилось, — сказал шофер, — новый кегельбан открыли у дороги. Где теперь северо-запад, ума не приложу.

— А где он был раньше? — спросил Дебоширин.

— Там сейчас багажный конвейер, — ответил шофер.

— Вон Эйфелева башня, — закричал Красноперов, — я ее сразу узнал. Прекрасный ориентир!

— Какая еще Эйфелева башня, — возразил шофер, — да ничего подобного. Это станина для американской баллистической ракеты.

— Поезжайте, — сказал Дебоширин, — сориентируемся в дороге.

9. В ПАРИЖЕ

Они летели по узкому и ровному, как выстрел, шоссе мимо густых зарослей жимолости. Ветки с шуршанием задевали борта автомобиля. Белые, сияющие воды Уазы несли изысканный груз облаков. Иногда дорога сбрасывала гнет полосатой запутанной

тени кустарников. И тогда солнце отчаянно бросалось под колеса новенького «Рено».

У обочины косо стояла машина. Хозяин, нагнувшись, притирал клапана.

— Как ехать в Париж? — спросил Дебоширин.

Хозяин шевельнул губами и кончиком сигареты указал направление.

— Разворачивайся, — сказал шоферу Дебоширин.

Они развернулись и поехали дальше.

Вдоль шоссе стояли дома под красной черепицей. Белели окна, задернутые легкими марлевыми шторами.

— Шестнадцать лет живу в Париже, — сказал Дебоширин, — надоело! Легкомысленный народ! Все шуточки у них. Ни горя, ни печали. С утра до ночи веселятся. Однажды я не выдержал. Лягнул себя ногой в мошонку. Мука была адова. Две недели пролежал в больнице. Уколы, процедуры. Денег фуганул уйму. Зато душою отдохнул. Почувствовал себя, как дома. Пока болел, жена удрала с шофером иранского консульства графом Волконским. С горя запил. Все дела забросил. Партийный выговор схватил. Зато пожил, как человек. По-нашему! По-русски!..

Через несколько минут они достигли Парижа. Промчались вдоль решеток Люксембургского сада.

— Хватит, — говорил Дебоширин, — надоело! Балаган, а не держава. Вот, например, говорят — стриптиз, стриптиз! Да что особенного?! Видел я ихний стриптиз. То ли дело зори на Брянщине! Выйдешь, бывало, на дальний плес. Малиновки поют. Благодать. А что стриптиз?! Вырождается ихний стриптиз. В «Фанданго» подвизается мадемуазель Бубу. Раздетая девка, не больше. То ли дело мадемуазель Кики, оставившая сцену после замужества! Та была поистине обнаженной. И обе в подметки не годились мадемуазель Лили. Лили была совершенно голой!..

«Рено» затормозил у помпезных ворот отеля «Невеста моряка».

— Ну вот, — сказал Дебоширин, — приехали. Тут вам забронирован номер. Отдохните, примите ванну. К семи вас будет ожидать мсье Трюмо. Увидите его в пресс-баре. Трюмо — известный французский поэт, композитор, режиссер. Трюмо расскажет вам о бунинских архивах.

— Мерси, — сказал Красноперов, — вы очень любезны.

— Надеюсь, вам здесь понравится. Отличная кухня, просторные номера. Главное — обратите внимание на их хозяйку.

— Непременно, — сказал Красноперов, — мерси.

— Ну, до вечера…

10. СНОВИДЕНИЕ

Лифт, тихонько звякая, остановился на площадке шестого этажа, филолог отворил дверь. Принял душ. Заказал себе в номер омлет и бутылку кефира.

В дверь постучали.

— Как чувствует себя русский гость? — поинтересовалась хозяйка.

Хозяйка была стройная, высокая и легкая — тень кипариса. Она стояла на пороге. При этом мчалась ему навстречу. Одновременно пятилась назад. А глаза ее — два ялика, две шлюпки, две пироги — звали Красноперова в открытое море удачи.

Филолог *якобы* ринулся к ней. Сорвал одежду. Буйно кинул женщину в заросли папоротника. Могучими и нежными ладонями развел ее колени…

— Мерси, — сказал Красноперов, — я всем доволен.

— Не стесняйтесь, — произнесла хозяйка, — будьте как дома. Девиз нашего заведения — комфорт, уют и чуточку ласки.

Женщина ушла, и Красноперов застенчиво опустил бедноватые свои ресницы.

С улицы через распахнутые окна доносился шум толпы. Звенели крики мальчишек-газетчиков. Наводило грусть пение уличных артистов.

На паркете вздрагивал зеленоватый отблеск рекламы хвойного мыла.

Мой друг взволнованно шагал по комнате. Затем свернул ратиновое пальто. Сунул его под голову и заснул.

По бульвару Капуцинов шел уж. Он был в свитере и застиранных джинсах. Нарядные девицы, глядя ему вслед, кричали:

— Рожденный ползать летать не может!

— И не хочет, — реагировал уж.

Затем серьезно добавлял:

— «Песня о Соколе» — далеко не лучшее у Горького. Как минимум — в художественном отношении. Если разуметь под художественностью комплекс средств, усиливающих эмоциональное воздействие на читателя.

По этой единственной реплике можно было судить о высоком интеллекте ужа. Однако девчонки игнорировали его замечание. И шли себе дальше, заворачивая на ходу все гайки.

Уж грустно продолжал:

— Какая разница — где твое место? В небе или среди холодных камней! Главное, чтобы жизнь твоя была украшена

сиянием добрых побуждений. Благородные идеалы — единственное, что поднимает нас до заоблачных высот…

И он принялся насвистывать свою любимую мелодию в ритме ча-ча-ча:

Уж!
Небо осенью дышало,
ча-ча-ча!
Уж!
Реже солнышко блистало,
ча-ча-ча!..

Уж двигался по людной магистрали. Навстречу шли четверо полицейских. Между ними, прихрамывая, ковылял Сокол в наручниках. Полицейские вели его туда, где блестела красным лаком закрытая машина с решетками на окнах.

11. НЕЛЬЗЯ

Филолог проснулся, обрел сосредоточенность. Сунул ноги в остывшие шлепанцы. Подошел к окну.

День, замирая, тянулся к вечеру. Сумерки прятались в каменных нишах. Тени каштанов упали на мостовую.

Красноперов надел чистую сорочку и повязал галстук. Затем спустился в холл. Его внимание привлек газетный киоск. Среди пестрых журнальных обложек филолог заметил книги на русском языке.

Мелькнула знакомая фамилия — Живаго.

Он двинулся к прилавку. Кто-то сразу же взял его за руку.

Красноперов, соскучившись, обернулся — цилиндр, галифе, парусиновые тапки. Цинковые строгие глаза. Кожа цвета воды на столе президиума.

— Не покупай, — внятно шепнул человек, — категорически.

— Но почему? — спросил Красноперов.

— По известным причинам.

— А-а…

— Что угодно, только не это. Вот, например, порнографические журналы. Бери хоть целую дюжину. Эвон на обложке: птеродактиль живет с канарейкой. Покупай на здоровье. А этого «Доктора» — ни в коем случае.

— Но кто вы?

— Твоя совесть, Красноперов!

— Вы что, следите за мной?

— Без сна и покоя.

— Но почему, зачем?

— Работа, — с внезапной грустью произнес человек.

— И одеты вы как-то странно.

— Странно одет?

— Вы только не обижайтесь. Но галифе, цилиндр, тапки…

— Это еще что! Ты бы знал, как я питаюсь!

— А как вы питаетесь?

— Собака не будет есть того, чем я питаюсь. Платят сущие гроши. Денег почти нет.

— А у меня почти есть, — горделиво сказал Красноперов, — бросайте вы это занятие.

— Я и то думаю, — вздохнул человек, — может, политического убежища спросить? Только кому я нужен без диплома?!

— Я вам искренне сочувствую.

— Ладно, — сказал человек, — можешь идти. А книгу не покупай. Ничего особенного. От умного человека слышал. На допросе.

— Мне обидно за вас, — сказал Красноперов.

— Ерунда. Я заочно на сторожа учусь. Специальность освою и брошу это дело к чертовой матери!..

12. И ДЫМА НЕ ОСТАЛОСЬ

Человек в галифе, распахнув тяжелые двери, удалился.

Вечернее солнце припадало к окнам и бортам автомобилей. Вспыхивали и гасли разноцветные огни реклам. Часы на фронтоне королевской библиотеки пробили семь.

Человек в галифе остановился и сунул руку за пазуху. Там, в духоте, нащупал он стофранковую купюру, приколотую английской булавкой. Подержав купюру на ладони, он задумался. Потом решительно шагнул к сияющим витринам универсального магазина «Балансиага». Через десять минут он вышел оттуда, взволнованный и порозовевший. В руках у него была коробка, перевязанная голубою лентой. Оставалось еще двадцать франков и порыв. Мужчина перешел через дорогу и купил у рыбного лотка баночку сардин в томате. Сунув ее в карман галифе, мужчина зашагал домой. Он чувствовал бедром холодную тяжесть консервов. Ощущал сквозь картон прохладу нейлоновой рубашки.

Дома он швырнул цилиндр в угол. Разорвал зубами голубую ленту. Стащил через голову полинявшую бобочку. Затем, содрогаясь, облачился в нейлон.

Холодная ткань прикасалась на сгибах к бесталанной душе его.

Рубаха излучала приятный мерцающий свет. Ее великолепие казалось дерзостью на фоне убогих стен и закопченного потолка.

Встревоженно тикал будильник. На обоях шелестели сальные пятна.

Человек в нейлоновой рубахе подошел к столу. Вынул из кармана баночку сардин. Достал консервный нож. Затем решительным движением вспорол податливую жесть. После этого он вскрикнул, уронил руки и несколько минут сидел без движения. На груди его медленно расплывалось пятно томатного сока.

Он не заметил, как прошел час. Встал, принес из кухни эмалированный тазик. Налил туда бензина из канистры, принадлежащей соседу, водителю школьного автобуса. Затем осторожно снял рубаху и начал полоскать ее в тазу.

Сначала исчезло пятно. Вслед за этим начисто растворилась сорочка. И только пуговицы отвратительной белой горкой лежали на дне.

Полуодетый человек шел вдоль коридора. Вся жизнь, полная разочарований, мерзости и кошмара, толпилась, хохоча, у него за спиной.

Человек опрокинул бензин в унитаз. Пуговицы звякнули о кафель.

Он на мгновение задумался. Потом ослабил ремень и спустил галифе. Гладкой прохладой стульчак напоминал об утрате.

Человек достал папиросу, закурил и, чуть отстранившись вбок, уронил спичку.

Раздался взрыв. Пламя, как недорезанный гусь, вырвалось из унитаза. Полуодетый человек, стреноженный диагоналевыми галифе, рванулся и упал.

Через минуту все было кончено. Лишь в унитазе чернела горсточка пепла.

13. РАЗГОВОРЫ

В баре отеля Красноперова поджидал собкор Дебоширин. Рядом сидел мужчина в полотняном костюме. Завидев советского филолога, оба встали.

— Где вы пропадаете? — сказал Дебоширин. — Мы ждем. Разрешите представить вам мсье Трюмо. Он любезно согласился вас консультировать.

Бармен протянул Красноперову фужер с зеленоватым

напитком и два ореха.

В баре становилось тесно. Над головами шумел вентилятор.

— Как вы устроились? — спросил Дебоширин, — Надеюсь, прилично?

— Вполне, — ответил Красноперов, — благодарю. Вы рекомендовали мне присмотреться к хозяйке. В чем дело?

— Ха, у нее же люэс! — вскричал Дебоширин.

— Не понимаю.

— Ну, люэс, бытовичок, сифон…

«Господи! — подумал филолог, — Как хорошо, что я оробел! Какое счастье, что я противен женщинам!»

14. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Красноперов всегда их боялся. То есть он понимал, что когда-нибудь женится. Женитьба на базе обоюдной спокойной приязни. Вырастит сына. Приобретет в кредит телевизор. Изменит привычки. Но все-таки он их боялся.

Он рассуждал:

— Как же так?! Твоя единственная жизнь, столь ясная, понятная, родная, — будет принадлежать другому человеку? А непонятная, загадочная и, мало этого, подозрительная жизнь другого человека вдруг отчасти станет твоей? И уже трудно этого человека обидеть, не обидев заодно — себя. И даже подарок нельзя ему сделать беспечно. То есть вручил и, как говорится, — с плеч долой. Э, нет! Купишь что-то, вручишь и себя же неестественным образом порадуешь… Загадка…

Однажды Красноперов ужинал в знакомой профессорской семье. Старик-профессор расшалился, лаял, кукарекал. Его жена гостям подкладывала торт. Дочка меняла пластинки.

Засиделись, взглянули на часы — половина третьего. Автобусы не ходят. Такси не поймаешь — суббота.

Квартира большая — постелили филологу между роялем и стереоустановкой. Наутро поднялся Красноперов, выпил чаю, хотел уходить. И вдруг замечает — как-то странно дочурка поглядывает… Папаша косится… Мать, наоборот, опускает глаза… Короче, все не просто… И дочка в байковом халате, этак по-семейному… Как будто ждут чего-то… Может быть, совместных действий…

В общем, удрал Красноперов. И больше в этом доме не появлялся.

15. РАЗГОВОРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

— Во Франции очень распространены инфекционные болезни, — многозначительно подмигнул Дебоширин.

— В колчане Амура попадаются отравленные стрелы, — добавил Трюмо.

Затем спросил:

— А как с этим делом в России?

— Венерические болезни изжиты, — отчеканил Красноперов, — нравственность повышается ежегодно.

— Нашел чем хвастать, — проворчал Трюмо.

— Здравоохранение в нашей стране достигло…

— Пропаганда? — насторожился француз.

— Господа, — вмешался Дебоширин, — не будем касаться политики. Вернемся к литературе.

— Вы читали мои произведения? — спросил Трюмо.

— Читал ли я ваши произведения? — замешкался Красноперов.

— Напрасно, — вымолвил эссеист, — смею думать, они гениальны. В последние годы я занимаюсь фольклором… Фольклор, фольклор, как бы это перевести?

— Фольклор так и будет — фольклор, — сказал Дебоширин.

— В центре моей диссертации, — продолжил Трюмо, — лежит окулистический разбор сказки «Красная шапочка».

— Чуть подробнее? — заинтересовался наш герой.

— Не выпить ли? — сказал Дебоширин.

— Я выдвинул, — продолжал мсье Трюмо, — оригинальную идею. Я сумел доказать, что у внучки не могло быть красной шапочки. Известно, что красный цвет отпугивает волков. Недаром охотники пользуются заграждениями, увешанными красными флажками. Волк не решился бы съесть обладательницу красной шапочки. Отсюда — вывод. Либо там фигурирует не волк, а бык. Но это противоречит фабуле Перро. Либо волк был дальтоником.

— Меня чрезвычайно заинтересовало ваше открытие, — произнес Красноперов.

— В дальнейшем я намерен подвергнуть окулистическому разбору «Красное и черное» Стендаля. А потом и «Зеленые цепочки» Матвеева.

— За ваш успех! — произнес Красноперов.

Дебоширин позвал официанта и заказал три бифштекса.

Бармен, выдвинув антенну транзисторного приемника, слушал джаз. Парни в замшевых куртках столпились у телевизора. На экране сборная Дижона проигрывала тайм. Наиболее темпераментные болельщики кричали и жестикулировали.

Официант принес металлические тарелки с бифштексами.

Дебоширин ковырнул мясо вилкой и сказал:

— Из-за такой говядины вспыхнул мятеж на броненосце «Потемкин».

— Пропаганда? — насторожился эссеист.

— А мне нравится, — произнес Краснопёрое. — Вы давно из Союза?

— Пятнадцать лет на чужбине, — ответил Дебоширин.

— Тогда все ясно, — улыбнулся наш герой.

Сборная Дижона уверенно проиграла. Парни в замшевых куртках окружили электрический бильярд «Цин-цин».

Разговор между Красноперовым и Трюмо принял строго научный характер.

— Кафка! — восклицал Трюмо.

— Федин, — с улыбкой парировал Красноперов.

— Феллини! — не унимался эссеист.

— Эльдар Рязанов, — звучало в ответ.

— Сальвадор Дали!

— Налбандян!

— Иегуди Менухин!

— Пожлаков!

— Бунин! — выкрикнули они хором.

— Ах, да, — произнес Красноперов, — Бунин! Конечно же Бунин! Ведь меня, собственно, интересуют архивы Бунина.

16. РЕЧЬ О БУНИНЕ

— Бунин? — переспросил Трюмо. — Знавал я этого Бунина в Грассе. Все писал чего-то.

— Он самый.

— Бывало, пишет, пишет… И чего, думаю, пишет? Раз не удержался, заглянул через плечо, а там — «Жизнь Арсеньева».

— Если можно, чуть подробнее, — сказал Красноперов.

— Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас, поди, июнь. Малиновки поют, цветы благоухают…»

Красноперов прослезился. Дебоширин всхлипнул.

— Однажды, — продолжал Трюмо, — Ивану Алексеевичу было сновидение. Как будто Успенский собор покрасили целиком зеленой гуашью. Проснулся Бунин, ногами затопал, едва успокоили.

Красноперов записал все это. Потом сказал:

— Меня, собственно, интересуют архивы Бунина. Переписка с Муромцевой, черновики «Темных аллей», фотоснимки.

— Что может быть проще?! — сказал Трюмо. — Архивы находятся в Грассе. Там письма, черновики, фотографии, личные вещи, обувь… Завтра садимся в машину и едем.

— Чудесно, — сказал Красноперов, — замечательно. В своей диссертации я использую термин «духовная репатриация Бунина». Я хочу доказать, что нотки архаизма в творчестве Бунина заведомо обусловили судьбу эмигранта. Но, хотя физически Бунин скончался в Грассе, морально он принадлежит России.

— Пропаганда? — встрепенулся Трюмо. — Отказываюсь ехать!

— То есть?

— Не покажу дороги.

— Господа, — вмешался Дебоширин, — что я слышу? Опять политика? Давайте лучше выпьем и рванем к «Максиму». Там новое ревю.

— Я не поеду, — испуганно сказал Красноперов, — у меня дела.

— Какие?

— Баня, стирка.

— Вы не романтик, — сказал Дебоширин, — это грустно. Быть в Париже и не заглянуть к «Максиму»! Это все равно что посетить Союз и не увидеть мавзолея…

17. ПОЙДУ К «МАКСИМУ» Я…

Был ли Красноперов романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Красноперов разделся, снял носки. Затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили…

— Едем, — твердил Дебоширин, — реализуем гарантированное Конституцией право на отдых!

— Не могу, — отвечал Красноперов.

— Француз подумает, что мы не умеем культурно отдыхать. Только вкалываем целыми днями, голосуем и сдаем бутылки.

— Виноват, — сказал Красноперов, — не могу. Совесть не позволяет. У меня жесткий график. Вы должны понять. Приношу свои извинения, господа.

«Однако, — задумался филолог, — уеду я из Парижа навсегда. И едва ли когда-нибудь вернусь. Вдруг что-то самое главное проносится мимо: автомашины, женщины, иллюзии? Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице неоновых огней? В элегантной сутолоке

фраков и обнаженных плеч? Может быть, там настоящая жизнь? А все остальное — миф и химера?..

Ну, хорошо, съем я еще две тысячи голубцов. Выпью две тысячи бутылок кефира. Изношу пятнадцать темно-серых костюмов. А счастья так и не увижу… Сон, телевизор, работа, цветные фотографии в «Огоньке»… Казалось бы, во Францию случайно занесло. А что я видел? Да ничего хорошего. Может, поехать? Нет! Ни в коем случае! Нельзя! И не о чем тут говорить! Все, не еду! А может быть, рискнуть?»

18. ЧРЕВО ПАРИЖА

Стройный паренек в мундире отворил дверцу фисташкового «Рено». Красноперов и его спутники, подхваченные джазовым вихрем, шагнули на тротуар.

— Бонжур, месье, — приветливо сказал швейцар у входа.

— Здравствуй, товарищ, — ответил филолог.

И тут же подарил швейцару золотые часы с монограммой.

Француз улыбнулся и не без колебаний преподнес в ответ зеленый талончик метрополитена.

Красноперов прослезился.

Окунувшись в холодную пучину зеркал, друзья направились к широкой мраморной лестнице. Ковровая дорожка вывела их под своды центрального зала.

В полумраке белели столы. Тени прятались в изгибах лепных карнизов. Плечи женщин, манжеты кавалеров, глаза негритянских джазистов сверкали в темноте, утвердив ее и опровергнув. Кларнетист Ред Барни напряженно сверлил тишину. У контрабаса вибрировал Оден Рафф. Над барабанами парил Джо Морелло. Сам Чик Ланкастер падал на клавиши рояля. Инструмент был чем-то похож на хозяина.

Лакеи скользили по залу, огибая танцующих.

Друзья заняли столик под вечнозеленым растением из хлорвинила. Сразу же, как тайный помысел, возник гарсон.

Друзья заказали филе Россини, сыр Шарье и потроха а-ля Канн.

— Сейчас бы молока парного и харьковских галушек, — неуверенно выговорил Дебоширин.

Оркестр исполнял «Сентябрь в Париже». Песенку о любви, разлуке и умытых дождем тротуарах. О том, как двое полюбили. Только не знают — кого…

Друзья подняли фужеры. Коктейль-сюрприз напоминал об идеалах. Сенсационной вестью озарял глубины. Окрашивал

действительность в локальные и нежные тона.

— Кого только не встретишь у «Максима», — сказал Дебоширин, — любую знаменитость. Весь цвет Парижа. Как-то раз повстречал Владимира Максимова. Сидит, выпивает…

19. БОЛЬШИЕ ЛЮДИ

Красноперов избегал знаменитостей. Когда-то, еще будучи аспирантом филфака, он напечатал статью. Это была рецензия на книгу молодого талантливого писателя. Рецензия получилась восторженная. И вот раздается телефонный звонок.

— Да, — говорит Красноперов, — слушаю.

— Извините, вас автор беспокоит. Хочу поблагодарить от всей души. Тонко вы о моей последней книге написали. А я, признаться, и фамилии вашей раньше не слыхал. Рад познакомиться.

— И мне чрезвычайно приятно.

— Не согласитесь ли вместе поужинать? Запросто, без церемоний. Да бросьте, Красноперов, я ведь от чистого сердца. Конечно! Ну вот и прекрасно!

Потом они сидели в «Метрополе». Писатель разливал коньяк. Благодарил. Знакомил Красноперова с друзьями. Даже поцеловал украдкой. Но ближе к закрытию вдруг опьянел. Стал мрачнеть. Сунул очки в боковой карман. Взглянул на филолога побелевшими глазами и тихим шепотом молвил:

— Ты зачем это, сволочь, донос написал?

— Вы перепутали, — сказал Красноперов, — я наоборот…

— Убью! — замахиваясь, крикнул писатель.

Красноперов охнул. Ноги его царапнули скатерть. Огромная люстра косо рванулась вбок. Дюралевый стульчик выпорхнул, как гусь из-под телеги.

Через секунду появился милиционер. Филолог прижимал к губам салфетку. Писатель размахивал удостоверением члена союза. Посетители испуганно молчали.

Красноперов положил салфетку и вышел. Она разворачивалась, шурша и вздрагивая.

20. БОГИНЯ СЛЕВА

— Взгляните налево, — сказал Дебоширин.

Красноперов рассеянно огляделся.

Рядом, почти напротив, буквально в десяти шагах… (И как

это сразу он мог не заметить!..) Над скатертью и над хрустальным блеском… Над шорохом танцующих, над их дыханием, над последним, высоким, мучительным звуком рояля… Даже выше мечты и надежды — увидал Красноперов артистку Лорен!

Поблекли феи на сводах зала. Потускнели алебастровые кущи. Все посетители неожиданно оказались статистами. Китайские фаянсовые вазы по углам держались скромнее мусорных баков. Изысканная роспись стен превратилась в аляповатый фон. Отхлынуло великолепие салона, уступив место единственной и главной красоте.

«Что есть жизнь? — подумал Красноперов. — Что есть жизнь без любви?! Что стоят все мои обиды? Все былые муки и нечаянные радости? Все горькие прозрения, улыбки женщин, мятые трамвайные билеты? Все ливни и снега, которые тащил я на плечах? Вся эта жизнь — ничто! Есть лишь тропинка, вьющаяся между запыленных кустов и хижин. Есть лишь тропинка, устремленная в гору. А там, в конце пути, не монумент, не знамя и не орден. Там — мраморные плечи, диковатые глаза, невыносимый рот Софи…»

— Кто я такой? — вскричал филолог. — Захламленный пустырь? Обломок граммофонного диска? Ржавый велосипедный насос с помойки? Бутылочка из-под микстуры? Окаменевший башмак, который зиму пролежал во рву? Березовый лист, прилипший к ягодице инвалида? Инвентарный жетон на спинке кресла в партере Мариинского театра? Бывший в употреблении пластырь?.. Я — безработный крысовед. А кто она? Богиня!

Красноперов поднялся, едва не опрокинув фужеры. Вышел из-за стола, оставляя позади тревожный шепот Дебоширина. И далее — огромными шагами пересек безмолвный зал.

Софи держала косточку в руке. Жан Маре что-то, наклонившись, говорил ей. Бельмондо задумался, опустив палец в суп. Кардинале стригла ногти. Анук Эме катала хлебный шарик. Ив Монтан кормил под столом ангорского кота.

Софи подняла глаза. И в этих двух заброшенных колодцах увидел наш филолог многое. Далекие огни матриархата! Стыдливый зов! Покорное могущество! Короче говоря, все то, что преображает самого последнего лентяя и неряху. Ожиревшего смолоду чиновника. Жалкого лакея и медбрата собственной нездоровой печени. Чемпиона кроссвордов. Коллекционера изношенных шлепанцев. Сидячего витязя, порожденного телевизионным рабством. Делает его — воином, охотником, мужчиной!

Все посмотрели на Красноперова.

— Агм… чха… бп… тсс, — простонал Красноперов, — ртха…

сть… удств… лямб… нг…

— Красив, злодей, — шепнула Софи Лорен.

— Не робей, старик, — произнес Маре, — зови меня Жаном, усаживайся и глуши шампозу.

— Я хочу пойти с этим человеком на травку, — заявила Кардинале.

Красноперов присел с горящим лицом. Глаза Софи, два миномета, держали его на прицеле.

21. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Красноперов знал, что его не любят женщины. Он к этому привык. Когда-то, еще в школьные годы, он жил на даче с братом Левушкой. Родители сняли им комнату в запущенном поселке. Поселок лежал около безымянной горы, на вершине которой темнели руины старинного замка. Центр поселка был ознаменован новым трехэтажным зданием универмага. Живописные, бесформенные развалины и пена сирени над косыми заборами дружно оспаривали его убогое, модное величие.

Братья часто ходили в семью Мешкевицер, где три загорелые насмешливые дочки явно радовались их приходу. Дочки звали пить чай, купаться, играть в настольный теннис. До заката стучал по фанерному листу маленький, гулкий, неуловимый шарик.

Левушка нравился дочкам. Он становился в красивые позы. Много курил и разгуливал по берегу в синтетических трусиках. А Красноперова девицы почти не замечали. Потому что Лева был на три года старше.

Если начиналась гроза, дождь стучал по фанере, они бросали ракетки и мчались к веранде. Там они причесывали мокрые волосы. Играли в домино. И Красноперова опять не замечали дочки. Хотя играл он лучше всех. Ему везло. И он умел курить не хуже Левы. Более того — догадывался, что побеждает в жизни не самый ловкий, умный, храбрый. Скорее — наоборот. Кто выиграл, тот и ловок. Кто победил, тот и храбр…

Брат начал исчезать, возвращался поздно. А Красноперов тосковал и ездил по шоссе на велосипеде. А затем, примерно на год, возненавидел брата. Чего брат Лева даже не заметил…

22. СТИХИ И ПРОЗА

Красноперов встал, поднял чужой фужер и глухо заговорил.

КРАСНОПЕРОВ:

От всех невзгод мне остается имя,
От раны — вздох. И угли — от костра.
Софи Лорен! Позволь мне до утра
Бродить с дождем под окнами твоими.
А на заре, прелестная Софи…

ЛОРЕН *(перебивая Красноперова):*

Не искушай! Не мучай! Не зови!

Красноперов усаживается с нею рядом. Софи прыгает ему на колени.

КАРДИНАЛЕ *(в отчаянии):*

Я хочу пойти на травку!

КРАСНОПЕРОВ *(демонстративно поворачиваясь к ней спиной):*

Прочитай сначала Кафку!

Кардинале непритворно рыдает. Заметим, что искренние слезы не украшают актрису.

ЛОРЕН *(с глубоким волнением):*

Боюсь, я для тебя стара!

КАРДИНАЛЕ И АНУК ЭМЕ *(хором, вполголоса):*

Давно в утиль тебе пора!

КРАСНОПЕРОВ *(невозмутимо):*

Ты обольстительна, Софи!

КАРДИНАЛЕ И АНУК ЭМЕ *(хором, не тая своих чувств):*

Фи!

ЛОРЕН *(с грустью):*

Ах, сколько лет ты дал бы мне?

МОНТАН *(раздраженно встает):*

Кончайте, вы тут не одне!

КАРДИНАЛЕ *(указывая на Софи Лорен):*

Так сколько лет ей можно дать?

КРАСНОПЕРОВ *(твердо):*

Ну, тридцать шесть… От силы — двадцать пять.

Бельмондо и Маре, поскучнев, удаляются к стойке.
Монтан бросает на Красноперова ревнивые взгляды.
Оркестр заиграл «Памяти Джанго».
— Пойдем отсюда, — шепнула Софи.
— Куда? — спросил филолог.
— Куда угодно. Лишь бы вместе.
Она взглянула на Красноперова. Повернулась, добивая уже не глядя. Сошла по лестнице вниз. И если не ступени, так устои рушились под ее каблучками.
Красноперов, тихо напевая, полузакрыв глаза, отправился следом.

23. НОВЕНЬКИЙ

Неожиданно кто-то взял его за локоть.
Красноперов, застонав, обернулся. Рядом стоял человек в пожарном шлеме, тельняшке и гимнастических брюках.
— Ты Красноперов? — спросил он.
— Да, — с беспокойством кивнул наш герой.
— Шатен, росту малого, без особых примет?
— Допустим, — с легкой обидой произнес Краснопёров.
— А то я без очков не вижу.
— Вы, собственно, кто?
— А ты и не знаешь?
— Понятия не имею.

— Вот как?

— Представьте себе. К тому же я спешу.

— Я — твоя совесть, Красноперов.

— Позвольте, — сказал филолог, — это недоразумение. Вы что-то путаете. Насколько я знаю, меня курирует другой товарищ. Приятный обходительный товарищ в галифе.

Тут незнакомец снял пожарный шлем. Три секунды молча держал его в отведенной руке. Затем торжественно выговорил:

— Малафеева больше нет.

— Боже, а что с ним?

— Сгорел на работе.

Красноперов скорбно опустил голову. Незнакомец забубнил:

— Ушел верный друг, надежный товарищ, примерный семьянин, активный член месткома…

Затем он вдруг сказал:

— Ты за Малафеева не горюй. Ты за себя, Красноперов, горюй. Командировка твоя прерывается.

— То есть как?

— Элементарно. Не умеешь ты себя вести. Завтра утром жду тебя в аэропорту. А сейчас езжай в отель. Дома поговорим как следует. Чао!

Ошеломленный Красноперов медленно вышел на улицу. У входа стоял плоский «ягуар». Филолог увидел, как парафиновая нога Софи исчезает в машине. Захлопнулась дверца. Обдав Красноперова бензиновой гарью, «ягуар» растворился во мраке.

24. ПОМНИТЕ, У ЕСЕНИНА?..

Аэропорт напоминал пустырь, что возле Щербаковских бань.

Залитую солнцем асфальтовую дорожку, как шкуру леопарда, пересекали тени елок. На горизонте алели черепичные крыши. Вдалеке гудел невидимый катер.

Красноперов уныло стоял возле трапа. Затем, в последний раз оглядевшись, шагнул на ступеньку.

Тотчас же из-за отдаленного пакгауза выбежали двое. Один — в распахнутом драповом пальто. Другой — изящный, маленький, в плаще. Они бежали рядом, задыхаясь, перегоняя друг друга.

Бегущие приблизились. Красноперов узнал Дебоширина и Трюмо.

— Черт возьми, — прокричал Дебоширин, — едва не опоздали!

— Я кепи уронил, — сказал Трюмо, — но это пустяки.

Надеюсь, его поднимет хороший человек.

— Друзья мои! — начал Красноперов.

Волнение мешало ему говорить.

Прощание было недолгим. Трюмо подарил Красноперову ржавый гвоздь.

— Это необычный гвоздь, — сказал Трюмо, — это — личная вещь Бунина. Этим гвоздем Бунин нацарапал слово «жопа» под окнами Мережковского. Бунина рассердило, что Дмитрий Сергеевич прославляет Муссолини.

Дебоширин тоже сделал Красноперову подарок. Вручил ему последний номер газеты «Известия». Там была помещена заметка Дебоширина о росте в мире капитала цен на яхты.

У Красноперова сжалось горло. Он взбежал по трапу и махнул рукой. Затем, нагнувшись, исчез в дверях салона.

— Кланяйтесь русским березам, — выкрикнул Дебоширин, — помните, у Есенина?..

Но его последние слова растворились в грохоте мотора.

Крылатая тень, не оставив следа, пронеслась над землей.

25. ТРАНЗИТ

На следующий день Красноперов шел по Ленинграду. В мутной, как рассол, Фонтанке тесно плавали листья.

Красноперов шел по набережной с тяжелым чемоданом. Мимо проплывали газеты на фанерных стендах. Обесцвеченные дождями фасады. Унылые деревья в скверах. Зеленые скамейки. Головные уборы, ларьки, витрины. Ящики из-под картошки. Мечты, надежды, грустные воспоминания…

Красноперов шел и думал:

«Это все! Прощай, Франция! Прощайте, дома и легенды. Звон гитары и умытые ветром площади. Веселые устрицы и тихий шепот Софи… Прощай, иная жизнь! Меня ждут неприятности и заботы».

26. ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ

Заботы в жизни Красноперова принимали нередко фантастический, даже безумный характер. Однажды наш герой приобрел себе кальсоны. Заурядные румынские кальсоны фирмы «Партизан». Казалось бы, ну что особенного? Голубые кальсоны с белыми пуговками. И сначала все было хорошо. Но затем, в ходе стирки, пуговицы утратили форму. Филолог маникюрными

ножницами подровнял их края. Очередная стирка — новое разочарование. Пуговицы вновь стали неровными, как блины. Красноперов их снова постриг. Наконец пуговицы смылись окончательно. И тогда Красноперов был вынужден пришить себе новые, железные, от сохранившейся армейской гимнастерки. Что стоило ему немалых трудов.

27. ТРОТУАР И МОСТОВАЯ

Опустив голову, шел Красноперов, нес тяжелый чемодан. Вдруг дорогу ему преградила толпа. Теснились женщины в старой одежде. Шумно переговаривались мужчины в телогрейках. Дети ползали среди галош.

Красноперов, задевая людей чемоданом, не слыша ругательств, достиг прилавка.

— Что дают? — задыхаясь, спросил он.

— Читать умеете?

— Да, — растерянно ответил Красноперов, — на шести языках.

На листе картона было выведено зеленым фломастером:

«СВЕЖИЙ ЛЕЩЬ»

— А почему у вас «лещ» с мягким знаком? — не отставал Красноперов.

— Какой завезли, такой и продаем, — грубовато отвечала лоточница.

Руки ее были серебряными от чешуи.

Филолог свернул по направлению к дому. Переулок был украшен модернизированным стеклянным ларьком. Внутри алел сухорукий Миша, любимец публики и балагур. Два ефрейтора в гимнастерках, стянутых широкими ремнями, отошли под навес. В руках они держали кружки с пивом. Легкая пена опускалась на мостовую. Красноперову вдруг показалось, будто чокаются ефрейторы своими непутевыми головами.

Красноперов замедлил шаги у витрины фотоателье, разглядывая лица пасмурных мужчин и женщин. Потом, чуть выше, обнаружил транспарант:

Вдруг за спиной его раздался крик. Мужчина, нетрезвый, как ртуть, бежал через дорогу, пытаясь остановить такси. Он то замирал, качаясь на пятках, то, припадая к земле, мчался автомобилю наперерез. С велюровой шляпой он давно разминулся. Теперь она катилась в противоположном направлении. А именно — к Владимирской площади.

Машина гудела. Пьяный уцепился за бампер.

Автомобиль резко затормозил, прочертив две линии на сером асфальте. Оттуда вышел инкассатор с парабеллумом.

Пьяный шарахнулся в сторону. Филолог оказался на пути его. Они столкнулись. Красноперов деликатно отступил.

— Хочешь, понесу твой чемодан? — спросил незнакомец.

— Что вы? — запротестовал наш герой. — Я уже дома.

— Давай помогу, — настаивал человек.

— Это совершенно лишнее.

— А я все равно помогу.

— Ни в коем случае.

— Сказал — помогу, значит — помогу!

— Я не устал. И вообще, мой дом за поворотом.

— Нет, помогу! — сказал незнакомец.

— Категорически отказываюсь.

— Ты Леву Сивого знаешь?

— Нет, — удивился филолог, — кто это?

— Это я, — скромно потупился человек.

— Очень приятно. И тем не менее…

— Со мной шутки плохи, — незнакомец рванул чемодан, — молчи, гад, убью…

28. ОТРАЖЕНИЕ

Забулдыга нес чемодан, ударяя то и дело себя по колену. Красноперов шел рядом. Потом Красноперов нес чемодан. Незнакомец сопровождал его, задевая плечом водосточные трубы.

Мимо, громыхая, проехал трамвай. Видны были залитые светом деревянные кресла.

Наконец они приблизились к шестиэтажному дому с балконами. Красноперов остановился.

— С тебя полбанки, — ухмыльнулся незнакомец.

— Но я спешу, — возразил филолог, — мы так не договаривались. И денег у меня, честно говоря, немного. Впрочем,

если угодно, тут рубль с мелочью.

— Тогда я сам куплю полбанки, — не унимался человек.

— Как это?

— Очень просто. Разве мне твои деньги нужны? Мне с тобой поговорить хочется!

И сразу же ощущение покоя возникло у Красноперова. Все показалось ему мучительно дорогим и близким. Забулдыга в дорогом, испачканном сметаной пальто. Трещины на асфальте. Эмалированная табличка над подъездом. И то, что ждет его: холодный полумрак, щербатые ступени. Тусклая лампочка в проволочной сетке. Обитая коленкором дверь. Коммунальные соседи — Гендлины, Моргулисы, Шарашенидзе. Заваленная книгами берлога. Все то, что было. И все то, что будет. Все это составляло единственную, нужную, знакомую жизнь…

— Вы мне чрезвычайно симпатичны, — улыбнулся Красноперов, — но я тороплюсь. Заходите как-нибудь. Вон мои окна.

Пьяный не обиделся. Он сказал:

— Тогда я сделаю вот что. Я тебя поцелую.

— И это лишнее, — возразил Красноперов.

Забулдыга постоял в раздумье. Затем взглянул на Красноперова и твердо произнес:

— Тогда уж я как минимум — спою.

И спел-таки негромко «Кукарачу».

29. МЫ ИДЕМ ПО УРУГВАЮ…

Вечером Красноперов брел по залитому светом Невскому. Люди толпились у дверей кинотеатров, заслоняли сияющие витрины гастрономов. Лица под неоновым огнем казались благороднее и чище.

Помедлив, Красноперов толкнул вертящиеся двери.

В холле ресторана было прохладно от зеркал. Девушка в малиновых брюках красила ресницы. Красноперов бегло сосчитал — их оказалось девять. Рядом томился высокий парень с бородой. Швейцар подозрительно его разглядывал.

Филолог двинулся наверх, беззвучно ступая по истертой ковровой дорожке. В руке он держал алюминиевый номерок.

Его подхватила волна джазовой грусти и аромата кавказских блюд. Мужчины в белых куртках, лавируя, пересекали зал.

Музыканты играли, сняв пиджаки и раздвинув колени. Перед каждым возвышалась тумба, украшенная сияющей лирой из жести, флейтист и барабанщик переговаривались о чем-то.

Певица вытирала салфеткой лаковые бальные туфли.

Музыка стихла. Все расселись, шумно передвигая стулья.

Красноперов оглядел помещение и вздрогнул. Алюминиевый номерок, звякнув, покатился к выходу.

Возле пальмы сидела артистка Лорен. Жан Маре протягивал ей сигареты. Бельмондо разглядывал деревянную матрешку. Ив Монтан сосредоточенно штопал замшевый пиджак. Анук Эме с Кардинале ели харчо из одной тарелки.

Ошеломленный филолог приблизился к столу.

— Экстраординаре, — закричала Софи Лорен, — какая встреча! А мы на фестиваль прилетели. Хочешь контрамарку в первый ряд?

— Кривляка, — фыркнула Эме.

— Заметь, — шепнула нашему герою Кардинале, — Сонька туфли разула. Мозоли у ней — это страшное дело!

— Интересно, где здесь могила Евтушенко? — спросил Бельмондо.

— Нет ли трешки до среды? — поинтересовался Монтан.

— Что сегодня по телевизору? — задал вопрос Жан Маре.

Красноперов поднял руки и отчаянно воскликнул:

— Где это я? Где?!

— Рифмуй, — пикантно ответил ему грубиян Бельмондо.

Дирижер взмахнул палочкой. Оркестр заиграл «Сентябрь в Париже». Анук Эме протянула свою фотографию с надписью:

«Милому товарищу Красноперову.

Если любишь — береги
Как зеницу ока,
А не любишь — то порви
И забрось далеко.

Твоя Анук».

Кончается история моя. Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры — все это бред. Разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить. Но поздно, поздно что-то изменить…

ИЗ РАННЕЙ ПРОЗЫ

Солдаты на Невском

Рано утром на плацу капитан Чудновский высказался следующим образом:

— Кто шинель укоротит хотя на палец — будем взыскивать!

Он задумался и добавил как-то совсем не по-военному:

— Притом это не модно, если верить журналу «Силуэт»…

У ефрейтора Гаенко шинель была обрезана, подшита, но все равно из-под нее едва виднелись ослепительно начищенные яловые сапоги.

Стоял ефрейтор Гаенко в шеренге последним. Он и только он на вечерней поверке, делая шаг вперед, задорным голосом восклицал:

— Расчет окончен!

Друг его, ефрейтор Рябов, как это нередко случается, был противоположностью Гаенко. Высокий, медлительный и сильный, он жутко терялся от крика, а всех людей со звездами на погонах спокойно, искренне боготворил.

Любовные истории, которые Гаенко рассказывал после отбоя, волновали ефрейтора Рябова, открывая перед ним, уроженцем глухой Боровлянки, таинственный мир с красивыми вдовами, ночными поездками в такси, умелыми драками, загадочными нежными словами: декольте, будуар, гонорея…

Ефрейтор Рябов уважал приятеля и часто будил его ночами, тихо спрашивая:

— Это верно, Андрюха, есть такая птичка — колибри, размером с чмеля´?..

У Рябова было суровое детство, но Васька так и остался покладистым человеком. Отец его, мрачный боровлянский конюх, наказывал Ваську своеобразно. Подвешивал за ногу к ветке дерева…

В армии Рябову нравилось. Он гордился своим хлопчатобумажным тряпьем. Усердно козырял сержантам. И с натугой, однако без лености, преодолевал солдатское ученье.

Ефрейтор Гаенко вырос среди пермской шпаны, где и приобрел сомнительный жизненный опыт, истерическую смелость и витиеватый блатной оттенок в разговоре.

Наука давалась ему легко, с сержантами он был на ты, одежду свою без конца перешивал и любил смущать замполита каверзными вопросами:

— А отчего, к примеру, в той же сэшэа каждый чучмек автомобиль имеет, а у нас одни доценты, генералы и ханурики?

Рябову часто шли посылки, и ефрейтор охотно делился с

другом, которому мать, нянечка детского сада, только писала, да и то изредка:

> «Может, ты в армии станешь на человека похож. А то совсем не знаю, что и делать. Так и сказала майору в военном комате: или он будет человек, или держите его под замком. Боюсь я за тебя, Андрюша, повис ты надо мной, сынок, как домкратов меч…»

Начальство ценило в Рябове послушание, а Гаенко многое прощалось за ум и так называемую смекалку. Как-то раз Гаенко напился, уронил питьевой бачок и обозвал сержанта Куципака генералиссимусом. Его вызвали на комсомольское собрание дивизиона…

— Обещаю, — сказал, чуть не плача, ефрейтор, — обещаю, товарищи, больше не буду. Пить больше не буду!

Потом он сел и тихо добавил:

— И меньше тоже не буду.

И все-таки его любили. Если Рябов внушал к себе почтение, то Гаенко любили, за остроумие, за какую-то вздорную блатную независимость, за веселый нрав, а главное — за его умение рассказывать истории, которое высоко ценится на Руси, потому что скрашивает будни.

Клеймит наш народ болтунов и лоботрясов, славословит дельного и неразговорчивого человека, но вот какой-нибудь чудак на стройке или в цехе вытирает руки паклей, закуривает и тихим голосом заводит речь:

— А вот у нас был случай в прошлом годе, так пил один в лесу из родника, и в голову ему личинка жабы просочилась, стала натурально жить, расти за счет его мозог, а у того головные боли начались — это страшное дело, врачи, значит, трепанацию ему сделали и видят — жаба, белая, как калач, потому что она без хлорофила росла…

И вот уже протягивают болтуну и лентяю портсигары, улыбаются: «ну и трепло», а ведь слушают, хохочут, и каждый в гости зовет…

Друзья служили под Ленинградом четвертый месяц, но в увольнении были раз, да и то в поселке, до Эрмитажа ехать времени не хватило бы, на три часа всего отпускали. Час дорога туда, час — назад, а на остальное не разгуляешься, зато поселок вот он, близко, и клуб с репродуктором, и велосипеды, прислоненные к соснам у входа, и хмурые парни в шелковых кашне, и девушки в трюках, которые с солдатами танцевать отказываются…

На этот раз пустили с утра до отбоя.

В десять часов Гаенко и Рябов уже шагали к переезду, и каждый из них сжимал в кармане заполненный бланк увольнительной.

Мрачные, без окон, склады и пакгаузы не сдерживали порывов осеннего ветра, который гонял по пустырям омертвевшие листья, бумажки и сор, образуя тут и там крошечные случайные водовороты. Трубы цементного завода четко выделялись на фоне бледного невидимого неба, их параллельные стволы казались такими надежными среди всей этой зыбкой и потускневшей осенней природы. Над мокрыми крышами покачивались бедноватые сентябрьские кроны, и сами крыши выглядели мрачно, в сыром их блеске не было утренних красок…

Гаенко и Рябов вышли на платформу и стали под часами.

— Ну, куда пойдем? — спросил ефрейтор Рябов.

— Программа такова, — ответил друг его, — сначала — естественно — Эрмитаж, потом — Медный всадник, дальше, значит, Петропавловская крепость, и под конец — Третьяковская галерея.

— За день столько всего?

— Нормально. Мы особенно вдаваться не будем. Раз, сфотографировано, и дальше… Так, для общего развития.

— Неплохо бы с девушками познакомиться, — мечтательно произнес Васька Рябов, — со студентками.

— Это бы да, — согласился Гаенко, — взяли бы «маленькую» или там шартрезу, пошли бы к ним в общежитие…

— Студентки белое и пить-то не станут, — высказал предположение Рябов.

— Что?! — обиделся за студенток Гаенко. — Да они его ведрами хлещут, на лекцию не идут, покудова не опохмелятся.

— Уж ты скажешь, — не поверил Рябов.

— Да я, — расшумелся Гаенко, — да у меня этих студенток навалом было, штук пятьдесят как минимум.

— Пятьдесят? — испугался Рябов.

— Ну, пять, — сжалился Гаенко, — ей-богу, Эмкой звали, газотопливный техникум кончала, на сплошные пятерки шла…

Билеты они покупать не стали, зато честно поехали в тамбуре. Стекла были выбиты, холодный ветер мешал им прикурить. Напротив двери сидела девушка в забавной вязаной шапке, но когда Васька начал любоваться красным помпоном, она сразу достала из сумки книгу и углубилась в чтение.

— Кокетничает, — установил Гаенко, — завлекает. Действуй, Вася, не робей.

Но Рябов действовать не стал, да и не имел он этого в виду, просто ему нравилось смотреть на девушку, и он смотрел, как она

читает, пока электричка не замерла у перрона Московского вокзала.

Друзья оказались в толпе, сразу потеряв девушку из виду, а затем Гаенко вытащил карту и пытался развернуть ее на ветру, как парус.

— Так, — сказал он, — это Невский, а тут, значит, река. Пешком, я думаю, надо идти, тут недалеко.

Андрей ткнул в карту растопыренными пальцами.

— Так. Масштаб — один к десяти тысячам. Это значит… это значит… В общем, тут километра два…

В этот сумрачный день толпа на Невском оказалась пестрой, как и бесчисленные витрины, разноцветные автомобили, непохожие друг на друга дома. Гаенко то и дело разворачивал карту, огромную, как пододеяльник.

— Так, — говорил он, — это Фонтанка, а мы вот тут находимся. Тут мы, Васька, стоим. Понял?

— Чудеса, — охотно поражался Рябов.

Таких красивых девушек, как здесь, на Невском, ему доводилось видеть лишь в заграничном фильме «Королева «Шантеклера». Высокие, тонкие, нарядные, с открытыми смелыми лицами, они шли неторопливо, как пантеры в джунглях, и любая обращала на себя внимание в густой и непроницаемой, казалось бы, толпе.

Рябов глазел на девушек, пока тощий майор не сделал ему замечание:

— Здороваться надо, ефрейтор!

— Так точно. Виноват…

— …товарищ майор.

— Виноват, товарищ майор!

— Вашу увольнительную!

— Разрешите обратиться, — вмешался переминавшийся с ноги на ногу Андрей Гаенко, — товарищ майор, как нам в Эрмитаж попасть?

Лицо майора несколько смягчилось.

— По Невскому до конца и через площадь. Который год служите?

— Первый, товарищ майор.

— Ну так еще встретимся. А сейчас — идите.

— Спасибо, товарищ майор, — проникновенно выкрикнул Гаенко и, уже ни к кому не обращаясь, добавил: — Красивый город! Я бы даже так выразился: город-музей.

— Эх ты, — сказал Гаенко другу, когда опасность миновала, — так ведь и на «губу» угодить недолго. А ловко я его про Эрмитаж спросил? Тут, брат, психология. Человеку нравится,

когда ему вопросы задают. У меня в Перми такой был случай. Заловили меня раз урки с левого берега. Идут навстречу, рыл пятнадцать, с велосипедными цепями, а сзади тупик, отвал сыграть некуда. Один уже замахиваться начал. Амбал с тебя ростом, пошире в плечах. Тут я ему и говорю: «Але, не знаешь, как наши со шведами сыграли?» Молчит. Руку опустил. Потом отвечает: «Три — два». — «В нашу, что ли, пользу?» — «Да нет, говорит, — в ихнюю». А уж после этого и бить человека вроде бы неприлично. Короче, спасла меня психология. Отошел я метров на двести, изматерил их от и до и бегом на правый берег…

С этой минуты Рябов уже не глядел на девушек, а только на офицеров, которых ему и в подразделении хватало…

Эрмитаж Ваську разочаровал, по крайней мере — снаружи. Ему казалось, что дворец непременно должен быть сложен из цельных мраморных глыб, увенчан золоченым куполом и шпилем, а этот, в принципе, не отличался от любого дома на Невском, разве что был втрое шире и стоял на виду.

Они скинули шинели. Затем, нацепив шлепанцы, изменившейся походкой двинулись вверх по широкой мраморной лестнице.

Интерьеры Васька одобрил. Сперва он разглядывал драгоценности, медали, оружие, полуистлевшие знамена, но вдруг Андрей Гаенко зашептал:

— Идем, я тебе одного Рембрандта покажу, вот это художник. Там у него голая баба нарисована до такой степени железно, что даже не стоит… Факт из религии подобран…

— Обнаженная? — с натугой и сомнением переспросил Рябов.

— Да голая, я тебе говорю. Пошли.

К «Данае» Васька подойти не решился, стоял у окна и глядел на нее тайком. Но поразило Ваську другое. Девчонки, молоденькие, в очках, гуляют по залам, не отворачиваются и спокойно глазеют на раздетых каменных мужиков. Даже беседуют о чем-то, вроде бы обсуждают…

«Взбесились городские окончательно, — думал Васька Рябов и тут же мысленно прибавлял: — Вот бы с такой бесстыжей познакомиться…»

В Эрмитаже они пробыли час. Потом Гаенко заявил:

— Ну, все. Главное мы ухватили. Обедать пора.

Денег у них было много, две нетронутых получки, то есть — семь шестьдесят.

К этому времени погода изменилась. На серой ткани неба разошлись какие-то невидимые швы, и голубые отмели возникли тут и там, будто тронулся лед на реке и блеснула вода под

солнцем среди шершавых льдин…

Они подошли к столовой, внимательно изучили меню на фасаде и начали было снимать ремни, но тут Андрей Гаенко заявил:

— Пошли отсюдова. Самообслуживание мне и в казарме надоело.

Через двадцать минут они сидели под люстрой за столиком, на котором, помимо солонки, перечницы, блюдечка с горчицей и забытого стакана, лежал измятый клочок папиросной бумаги с расплывшимся, плохо отпечатанным текстом. Васька Рябов смущенно ерзал, ударяя то и дело латунной бляхой по краю стола. Гаенко нетерпеливо оглядывался. Подошла официантка с унылым лицом, в стоптанных домашних туфлях и с пятнами ржавчины на фартуке. Она стояла молча, держа в руках крошечный блокнотик, утомленно ждала.

— Так, — сказал Гаенко, — три антрекота для начала.

— Кончились, — еле слышно произнесла женщина и снова замолчала, видимо, совершенно обессилев.

— Тогда, — сказал Андрей, розовея и приподнимаясь, — тогда, — выговорил он с отчаянным размахом, — тогда давайте жареной картошки с чем-нибудь!

— Биточки? — вяло предложила официантка.

— Да, — сказал он, — пять биточков!

— Пять порций? — уточнила официантка.

— Да, и еще пива. Две бутылки! Три. И пачку «Казбека».

— Гуляем, значит? — шепнул восхищенно Рябов.

Вернулась официантка с подносом.

— Биточки с макаронами, — выговорила она.

— Годится, — снизошел Андрей.

Они ели медленно, курили, выпившие посетители заговаривали с ними. Гаенко шутил, даже чокнулся с кем-то раза два, и так все это было непохоже на казарменную столовую с голубыми клеенками и репродуктором в углу, где все едят торопливо и невнимательно, а вышел через пять минут и кто-нибудь спросит тебя: «Что давали на ужин?», а ты и не помнишь, то ли рыбу, то ли кашу…

— Три двадцать, — холодно произнесла официантка.

— Четыре, — Андрей разжал кулак с приготовленными заранее измятыми бумажками, — держите четыре, — в голосе его появились угрожающие нотки, — и сдачи не надо!

Стало прохладнее. День остывал. Друзья перешли Аничков мост, чуть замедлив шаги у ограды. Над крышей лодочной станции трепетал застиранный бледно-розовый флаг. Тесно прижатые бортами лодки веером расходились от серого дощатого

пирса.

— Были бы у нас знакомые студентки, — говорил Васька Рябов, — можно было бы на лодке покататься…

Они прошли метров двести по Невскому, свернули на Литейный, остановились возле тира. Стойка была покрыта истертой ковровой дорожкой. Четыре лампы под жестяными козырьками ярко освещали противоположную сторону. Там были укреплены фигурки, грубые, аляповатые, рябые от пуль. Они то и дело переворачивались, повисали вверх ногами, на месте жирного империалиста в цилиндре вырастал фиолетовый негр со сжатыми кулаками, львы прыгали через обруч, лопасти мельницы сливались в ровный блестящий круг, а когда флотский мичман всадил пулю в едва различимую белую точку, сначала раздалось шипение, а потом зазвучали слова довоенной песни:

В запыленной связке старых писем
Мне недавно встретилось одно,
Где строка, похожая на бисер,
Расплылась в лиловое пятно…
Что же мы тогда не поделили,
Разорвав любви живую нить…

— А! — сказал хромой начальник тира. — Вот служивые покажут, как нужно стрелять.

— Это же не боевое оружие, — возразил Андрюха, — из боевого я бы показал, а тут все мушки сбиты, и траектория как у футбольного мяча…

Друзья облокотились на стойку. Рябов прицелился в гуся. Мишень, была величиной с чайное блюдце. Он слышал, как полный юноша с бакенбардами, наклонившись и не отрывая щеки от приклада, сказал своей знакомой:

— В тире, как нигде, мы ощущаем тождество усилий и результата.

«Видать, не русский», — подумал Рябов.

Гаенко промахнулся. Васька тоже. Через минуту пульки кончились.

— Ну и ружья у тебя, хозяин, — сказал Андрей, — из такого ружья по динозаврам бить, да и то в упор. Слыхал про динозавра? Большой такой…

— Целиться надо как следует, — усмехнулся хромой, — а ну смотри!

Он поднял ружье и тотчас же выстрелил — зеленый арбуз распался надвое.

— А ты говоришь, — некстати произнес Гаенко, и друзья

покинули тир.

Заметно стемнело. В свете неоновых огней лица прохожих казались бледными, осунувшимися. Мир выглядел ожесточенно, загадочно, трудно. Все наводило на мысль о таинственной глубине и разнообразии жизни.

— Куда мы теперь? — спросил Васька Рябов. — Вот если бы с девушками познакомиться, — мечтательно он, — да к ним бы в гости зайти, и не то что волю давать, а так посидеть, чаю бы купили, сахару…

— Это запросто, — сказал Гаенко, — это в элементе. Ты только покажи, какая тебе нравится.

— Да я не знаю, — смутился Рябов, — все они ничего.

— Эта слишком толстая, — прикинул Андрюха, — а какая-то задумчивая. Может, сифилис у ней…

— Да ну? — удивился Васька. — А ведь никогда бы не сказал, в очках, с портфелем…

— Во-во, — заверил Гаенко, — эти-то самые опасные и есть.

Солдаты миновали витрины «Динамо» с мотоциклом «Иж-Юпитер» и рядами двустволок, обувной магазин, пирожковую, за стеклами которой толпились люди, бордовый фасад с кариатидами, шумный перекресток на углу Литейного и Чайковского, а там дома внезапно раздвинулись, и они вышли на набережную.

— Смотри, — вдруг шепнул Гаенко, — видишь?

Мимо почти бежали две девушки в одинаковых курточках.

— Девушки, — каким-то изменившимся, высоким голосом сказал Гаенко. Маленький и кривоногий, он едва поспевал за ними. — Девушки, вы не нас дожидаете?

Те ускорили шаг, не обернувшись. Гаенко сказал:

— Дела у них. Может, экзамены сдают.

— Наверное, — поддакнул Рябов и добавил: — А у меня в Ленинграде знакомая есть.

— У тебя?! — до обидного поразился Гаенко.

— Три года назад у нас веранду снимали на лето. И дочка у них была, Наташа. На лицо и на фамилию всех помню, только адрес забыл. В гости звали…

— Да как же ты в Ленинграде найдешь человека по фамилии? Тут одних Петровых миллион.

— В том-то и дело, что фамилия редкая — Ли.

— Как?

— Ли.

— Просто Ли?

— В том-то и дело.

— Пошли в Ленсправку, есть такая будочка. Там за пятак кого

хочешь найдут, любого рецидивиста.

Старушка в будке долго листала толстую книгу, переспрашивала и отчего-то сердилась.

— Фамилия?

— Чья, моя?

— О, господи! Того, кто вам нужен.

— Ли.

— Как?

— Ли, — отчетливо повторял Васька, — лэ, и-и, Ли.

— Инициалы?

— Да вроде бы из русских.

— Инициалы, я вас спрашиваю.

— Русские, я же сказал. Отец, тот на китайца смахивает малость, а Наташа русская…

— Нет, вы просто издеваетесь! Имя-отчество мне надо знать.

— Так бы и сказали. Чье, мое?

— Я этою не вынесу… Имя-отчество того, кого разыскиваете.

— Вот этого не знаю, не помню!..

В Ленинграде оказалось два семейства по фамилии Ли. Гаенко записал оба адреса, на Марата, 12 и в Дачном.

— «Малыша» возьмем? — сказал он. — Думаю, не повредит.

Дом на Марата был украшен старинными лепными колоннами. Солдаты миновали полутемный двор. По углам возвышались мусорные баки. Чахлый газон с оградой из проржавевших труб лишь подчеркивал массивное убожество этих неоштукатуренных стен с желтыми и розовыми окошками. Старик с лохматой болонкой указал им дорогу. Солдаты поднялись на четвертый этаж.

— А не попрут нас отсюдова? — вдруг испугался Гаенко.

— Так ведь сами звали. И потом, кабы мы пьяные или что…

Дверь отворил рослый мужчина с жесткими прямыми волосами. На нем была теплая домашняя куртка. Увидев военных людей на площадке, мужчина забеспокоился. Гаенко козырнул.

— Здравия желаем, — бодро начал он, — мы извиняемся…

Но по коридору уже шла девушка, взволнованная, рыжеволосая, в какой-то странной треугольной накидке.

— Папа, это же Вася, — крикнула она, — сын тети Шуры из Боровлянки, помнишь, он меня еще курить учил! Заходите, мальчики, ну что же вы?..

Пол в квартире блестел, отражая свет импортных немецких бра. Рябов и Гаенко молча стащили сапоги, обернув портянки вокруг голенищ. Когда друзья шли по коридору, тесемки от галифе волочились следом. Гаенко достал из кармана «маленькую» и нес ее перед собой, как фонарик.

— Да тут можно баскетбольные кольца повесить! — воскликнул он.

Комната была просторная, с высоким потолком. На фоне старинной темной мебели выделялись пестрые безделушки, кричащие яркие репродукции, заграничные конверты от пластинок. В кресле сидел худой печальный юноша с интеллигентным лицом. За его спиной девица в брюках перелистывала книгу.

— Я вам шлепанцы дам, — сказала Наташа.

— Да ничего, и так сойдет, — отмахнулся Гаенко. — Абстракция? Уважаю, — добавил он, показав на одну из картин.

Наступила тишина. Чтобы как-то ее заполнить, юноша, который назвался Федей, включил магнитофон. Раздались тоскливые звуки. Гаенко с «маленькой» в руке стал притоптывать в такт. Затем он сказал, шевельнув пальцами босой ноги:

— А вот у нас в Перми был случай. Один мужик ботинки носил сорок восьмого размера. В магазинах не достать. А ему из дому не в чем выйти, старые начисто прохудились. Короче — завал. Что делать? Он и в министерство писал, и в газету обращался, ничего не помогает. Тут ему жена и говорит: «Ты бы, Паша, мозоли срезал». А мозоли у него были — это страшное дело. Мужик послушался, наточил саксан и р-раз, все мозоли долой! Теперь он сорок третий размер носит и хоть бы хны…

Все то время, что Андрюха рассказывал, Наташа и ее гости как-то встревоженно переглядывались. В конце интеллигентный юноша фальшиво засмеялся, а Васька Рябов покраснел.

— Рассказали бы, как вы служите, — попросила Наташа.

— Пардон, но это военная тайна, — отчеканил Гаенко.

И снова наступила тишина.

— Сообразим, — поднялся Гаенко с «маленькой» в руке, — что-то стало холодать, не пора ли нам… — Он умолк, выжидательно глядя на девицу в брюках.

— Поддать, — с испугом шепнула та.

— Что-то стали ножки зябнуть, не пора ли нам…

— Дерябнуть, — еле слышно пролепетала гостья.

Наташа достала рюмки. К удивлению Рябова, девушки тоже выпили. «Верно, белое пьют, не соврал Андрюха».

— Вы бы рассказали что-нибудь, — обратилась хозяйка к Ваське Рябову.

— А чего рассказывать?

— Ну, я не знаю, мало ли…

— Зато он штангу жмет сто килограмм, — вставил Гаенко.

— Ого, — произнесла Наташа, — Федя, ты бы мог?

— Увы, — сказал юноша, — я потерян для спорта.

И снова наступила тишина.

— А вот у нас в Перми был случай, — заговорил Андрей, — так это чистая фантастика.

Потом он, как бывалый рассказчик, выдержал томительную паузу, достал папиросы, закурил, сунул обгоревшую спичку в коробок и продолжал:

— Был у нас случай в Перми, как один мой дружок с похмелья глаз выпил.

Наташа и ее гостья обеспокоенно переглянулись.

— Глаз? — переспросила хозяйка. — Собственный глаз?

— Дело было так. Керосинили мы с Жекой Фиксатым четыре дня. Я аванс пропил, и занять не у кого. Я свои «котлы» за десятку вшил. Пропили десятку. На следующий день весь город обошли — непруха. Вечереет, а мы еще и не опохмелялись. Тут Жека мне и говорит: «Идея. У моей мамаши глаз заспиртованный хранится». Мать его в школе ботанику вела и зоологию. И у нее там всякие зародыши в банках стояли. Ну, мы бегом в эту школу. Жека выносит банку. А там, значит, глаз. Большой такой, как помидор, я даже удивился. Фиксатый его выловил и в сортир, а спирт мы тут же и употребили. Жеку выворачивать стало, пена идет со рта, да и мне не по себе. Хорошо, у его мамаши как раз переменка, звонок с урока. Грамотная женщина, шуметь не стала, а сразу за врачом.

Гаенко стих.

— Ну и что же? — поинтересовался Федя.

— Да у меня-то все о'кей, — сказал Гаенко, — а вот с Фиксатым хуже.

— Помер? — тихо вскрикнула Наташа.

— Да нет. В тот-то раз его спасли, оклемался, а к весне ушел этапом. На танцах одного пощекотал. Шабером под ребра…

Гости сидели бледные, притихшие. Беззвучно, чуть покачиваясь, крутилась заграничная пластинка.

— Пора нам, — сказал Васька Рябов.

— Ой, да вы же и чаю не выпили, — забеспокоилась хозяйка, — это буквально три минуты.

— Пора, — упрямо настаивал ефрейтор.

— Нет, так я вас не отпущу.

Наташа достала из шкафа хрустальную вазу, полную яблок:

— Берите, тут каждому по яблоку, вы же видите, хватит всем, да не стесняйтесь, Андрюша, Вася…

Когда они натягивали сапоги, в прихожую выглянул отец.

— До свидания, молодые люди, — сказал он, — берегите, как говорится, честь смолоду, зорко охраняйте наши рубежи…

— Служим Советскому Союзу! — негромко вынул Рябов.

— Все будет о'кей, — заверил Гаенко.

Не глядя друг на друга, они спустились по лестнице. Лил дождь. В сыром полумраке желтели фары и огни автоматов с газированной водой. Толпа поредела, лишившись ярких красок. Темнота, казалось, приглушила звуки. Над городом стоял негромкий мерный гул.

Некоторое время друзья шли молча.

— А ты ей, видать, понравился, — осторожно начал Гаенко.

Рябов недоверчиво взглянул на него и промолчал.

— Зуб даю, — поклялся Гаенко, — знаешь, как она на тебя смотрела?

Он выпучил глаза, изобразив всем своим видом женский трепет.

— Это она с испугу, — произнес Васька Рябов.

У каждого из них под сукном шинели рельефно и тяжело обозначалось яблоко. Гаенко вытащил свое и с хрустом надкусил. Рябов тоже. Часы над головой показывали без двадцати восемь.

— Успеваем, — сказал Гаенко, разворачивая карту, — до вокзала пять минут и в электричке сорок, а там рукой подать…

Вдруг он засмеялся, свободной от яблока рукой крепко ухватил Ваську за ремень и попытался кинуть его через бедро. Тот широко расставил ноги и без труда избежал приема. Но Гаенко сразу же ушел влево, рванул Ваську на себя, чтобы дать заднюю подсечку. Смятая карта упала на асфальт. Огрызок яблока покатился через трамвайные рельсы.

Слабея от хохота, друзья возились под фонарем, и редкие прохожие без злобы смотрели на них…

Спустя час они подходили к зеленым воротам. Рядом желтело окошко караульной будки. Дневальный, не глядя, пропустил их, звякнув штырем. В десяти метрах начинался забор, увенчанный тремя рядами колючей проволоки. На углу возвышался сторожевой пост.

Из канцелярии доносились звуки аккордеона. Там репетировал капитан Чудновский, пытаясь сыграть буги-вуги. Желтоватые клавиши аккордеона были пронумерованы. Чудновский обозначил фломастером, какую нажимать.

— Не опоздали? — спросил он, продолжая тихо музицировать.

Гаенко взглянул на часы, протянул увольнительные.

— Посмотрите в коридоре завтрашний наряд, — сказал Чудновский. — Рябов поведет бесконвойников на отдельную точку. Гаенко в распоряжение старшего надзирателя Цвигуна. Еще раз повторяю, с зэками не церемониться. Снова опер

жаловался, понимаешь… Никаких костров, никаких перекуров… Родственников гнать! Сахара кусок найду при шмоне — увольнения лишитесь, ясно?

— Ясно! — выкрикнул Рябов.

— Все будет о'кей, — заверил Гаенко.

— И с зэками, говорю, построже.

— Да я бы передушил их, гадов! — сказал Андрюха.

— Это точно, — подтвердил Васька Рябов.

— Можете идти.

Друзья козырнули и вышли. Вслед им раздавалось:

От Москвы и до Калуги
Все танцуют буги-вуги…

Роль

Около двенадцати спиртное кончилось. Лида достала из шкафа треугольную коробку с надписью «Русский бальзам».

Дорожинский повертел в руках крошечные бутылочки и говорит:

— Это все равно, что соблазнить малолетнюю…

Дорожинскому было пора идти, он нам мешал. Сначала я думал, что ему нравится Лида. Но когда он поинтересовался — где уборная, я решил, что вряд ли. Просто он не мог уйти. Знал, что пора, и не мог. Это бывает…

На кухне был диван, и Лида предложила:

— Оставайся.

— Нет, — сказал Эдик, — я буду думать, чем вы там занимаетесь.

— Не говори пошлостей, — сказала Лида.

— А что я такого сказал? — притворно удивился Дорожинский.

Он заявил, что хочет выкурить сигарету. Все молчали, пока он курил. Я оттого, что злился, а Лида всегда была неразговорчивой.

Я боялся, что он захочет чаю.

Наконец Дорожинский сказал: «Ухожу». Затем, уже на лестнице, попросил стакан воды. Аида достала «Нарзан», и Эдик, стоя, выпил целую бутылку…

— Ушел, — сказала Лида, — наконец-то. Мне ужасно хотелось побыть с тобой наедине. Знаешь, что я ценю в наших отношениях? С тобой я могу помолчать. С остальными мужчинами все по-другому. Я знаю — от меня чего-то ждут. И если угощают, например, шампанским, то это ко многому обязывает. А с тобой я об этом не думаю. Просто хочу лежать рядом и все…

— Хорошенькое дело, — сказал я.

— Глупый, — рассердилась Лида, — ты просто не в состоянии оценить…

С Лидой у меня все это продолжалось год или чуть больше.

Работала она бортпроводницей. К своей работе относилась чрезвычайно добросовестно. Работа для нее была важней любви.

В этом смысле Лида напоминала актрису или балерину. Будущее для нее определялось работой. Именно работой, а не семьей.

Иногда ей приходилось летать двенадцать часов в сутки. Она смертельно уставала. Вернувшись, могла думать только о

развлечениях.

Как выяснилось позже, она меня не любила. Но я звонил ей каждый день. Лишал ее возможности увлечься кем-нибудь другим.

Лида была привлекательна, этого требовала работа стюардессы. В ее привлекательности был какой-то служебный оттенок. Высокая и стройная, Лида умело пользовалась косметикой. Она следила за ногтями и прической. Случись пожар — она не вышла бы из дома в штопаных чулках.

Голос у нее был одновременно ласковый и требовательный. Лицо не казалось глупым, даже когда она танцевала или вертелась перед зеркалом.

Как-то раз я ждал ее ночью в аэропорту. Сначала через узкий турникет высыпали пассажиры. Затем я ждал еще минут пятнадцать. И наконец увидел Лиду. Она шла рядом с тремя пилотами. Она была в изящном форменном пальто и сапожках. На пилотах были теплые куртки. Все они казались усталыми и молчали, четыре товарища после нелегкой работы…

* * *

Лиде, как я понимаю, было тоскливо со мной. Достоинства, которыми я обладал, ей не импонировали. Например, я был эрудитом. Вот и сейчас у меня был наготове подходящий афоризм Шопенгауэра. Что-то о равновесии духовных и плотских начал.

Но Лида шепнула: «Я поставлю чайник». И ушла на кухню.

Я не зря так много говорю об этой женщине. Правда, не она — центральная героиня рассказа. Однако все произошло у нее дома. И к тому же она мне все еще нравится.

Около часа ночи раздался телефонный звонок. Лида прибежала из кухни, схватила трубку.

— Тошка! — закричала она. — Радость ты моя! Откуда? На съемках? Ну конечно, приезжай. Какой может быть разговор?! Едешь до Будапештской, шестнадцать, квартира-тридцать один… Все, жду!..

Я сказал:

— Это что же, выметаться мне, или как?

— Зачем? — сказала Лида. — Тошку мы уложим на кухне. Она же понимает…

— Я думал, Тошка — это он.

— Что значит — он?

— Например, Тошка Чехов.

— Тошка — актриса. Работает на Малой Бронной. Снимается

в кино. Помнишь «Мужской разговор», «Назову тебя Юркой»?.. Она играет женщину, которая падает на рельсы.

— Не помню, — сказал я.

— Она в купе с Джигарханяном едет.

— Не помню.

— Картина Одесской студии. «Назову тебя Юркой». Может, ты и фильма не видел?

— Нет, — сказал я…

Через полчаса телефон зазвонил снова.

— Господи, — кричала Лида, — до чего же ты бестолковая! Если автобусом, то до Будапештской. А в такси — до проспекта Славы, шестнадцать…

— Роскошная дама, — засмеялась Лида, — такси ей подавай…

* * *

Антонина Георгиевна мне сразу не понравилась.

Крупная, рыжая, в модной блузке с пятном на груди, она чересчур шумела. А увидев меня, как закричит:

— Это тот самый Генрих Лебедев, который украл из музея нефритовую ящерицу?!

— Нет, — смутилась Лида, — ты все перепутала.

Возникла неловкая пауза. Мне удалось сдержаться.

— Я, — говорю, — представьте себе — другой, еще неведомый избранник.

— Чего это он? — поразилась гостья.

— Не обращай внимания, — сказала Лида.

Антонина Георгиевна подошла к столу. Зябко поеживаясь, сложила руки на груди. Потом спросила:

— Хоть выпить-то есть?

— Все кончилось, — сказала Лида, — поздно. Тебе уже хватит.

— Что значит — хватит? Я только начала. Нельзя послать этого типа?

— У меня нет денег!

Эту фразу я почему-то счел нужным выговорить громко и отчетливо. С каким-то неуместным вызовом… И даже с оттенком торжественной угрозы.

— Денег навалом, — брезгливо обронила гостья.

— Все равно, — сказала Лида, — уже третий час ночи. Рестораны закрыты…

Коробку с «Русским бальзамом» она незаметно поставила в

шкаф.

— Ну и жизнь в этой колыбели революции! — сказала гостья.

Затем потребовала чаю и начала рассказывать о себе. Воспроизвожу ее рассказ дословно. Он прерывался восторженными восклицаниями Лиды. А также моими скептическими репликами. Итак:

«Весь этот год — сплошной апофеоз! Людка Чурсина завалила пробу. Браиловский вызывает меня. Я отказываюсь, но еду. Людка в трансе. Платье у нее такое страшненькое, а я целый гардероб везу. Туфель — двенадцать пар, нет, вру, одиннадцать. Явилась, значит, с чемоданом на площадку. Браиловский кричит: «Шапки долой! Перед вами — актриса!» Общий восторг! Короче, Людка — в трансе. Я — в люксе. Приносят сценарий. Я три страницы прочитала и говорю: «Дрэк, а не сценарий. Где фактура? Где подтекст, вашу мать?..» Собираю шмотки и в аэропорт. Браиловский в трансе. Людка прыгает от счастья… Через три недели сижу в ЦДЛ. Заходит Евтушенко с Мариной Влади…»

— Женька Евтушенко? — спросила Лида.

«Ну… Высоцкий был на съемках. Заходит Евтушенко. Естественно, шампанское, коньяк… Знакомит с Мариной. У Марины, я посмотрела, ни грамма косметики, один тон. Я, говорит, Марина Влади. Ты представляешь? А я сижу в открытом платье и ни звука. У Женьки шары вот такие…»

Несколько раз мы с Лидой переглядывались. Затем она сказала:

— Я с утра в резерве. Так что надо спать ложиться.

— Ерунда, — протянула гостья, — сиди. Успеете еще…

Тут мы услышали пошлость. Лида смутилась, я отвернулся и закурил. Мне все это стало надоедать.

Я умылся. Затем поставил будильник на восемь утра. То есть вел себя почти демонстративно.

Лида сложила в раковину грязную посуду. Она казалась такой усталой. Наша гостья тоже приуныла. Потом мы все легли.

* * *

— Ой, нет, — сказала Лида, когда я тронул ее за плечо, — успокойся, ради Бога. Поздно… Какие все мужчины — гады!

— Все! Что значит — все? — сказал я.

Но девушка уже спала. Или притворялась, что спит…

Проснулся я около шести часов. Комната была залита невесомым июньским светом. Я сел, огляделся и едва не вскрикнул.

За стеклянной дверью на кухне танцевала Антонина Георгиевна. Танец был изысканный, грациозный, с необычными фигурами, долгими паузами. В руке она держала легкий газовый платок. Бесшумно двигаясь, взмахивая платком, она задевала то край умывальника, то стенные часы, то цветочный горшок.

Глаза ее были полузакрыты. На лице я заметил выражение тихого счастья. Этот безмолвный хореографический номер производил ужасное и трогательное впечатление.

Я разбудил Лиду, и несколько мгновений она следила за гостьей. Потом натянула халат, включила магнитофон и с грохотом отворила рамы. Мне нравилось, что Лида всегда так быстро переходила от глубокого сна к активной деятельности. За исключением тех минут, когда я домогался ее любви…

Я посмотрел в окно. С девятого этажа казалось, что на земле царит абсолютный порядок. Газоны ярко и аккуратно выделялись на сером фоне. Ровные линии деревьев образовывали четкие углы на перекрестках. В эту секунду я испытал знакомое чувство, от которого мне делается больно. Мне захотелось оказаться там, на ветру перекрестков. Там, где человеческое равнодушие успокоило бы меня после всей этой духоты, любви и нежности…

Гостья услышала шум и оказалась на пороге.

— Чего ты поднялась? — спросила Лида. — Еще автобусы не ходят.

— Нужно позвонить в Москву. — Антонина Георгиевна решительно сняла трубку.

По неумолимым законам абсурда ее тотчас же соединили.

— Семен, — крикнула она, — ты дома?

— Ты всех разбудишь, ненормальная, — сказала Лида.

— Семен, значит, ты дома! А я была уверена, что ты развлекаешься!

— Тошка, перестань, — сказала Лида и добавила: — Это ее муж…

— Я думала, что у тебя сублимация. Должен же ты сублимировать научный потенциал?! Отвечай, вейсманист-морганист!.. Где Митя? Позови Митю! Позови моего сына, негодяй! Позови, иначе я буду звонить каждые три минуты! Причем не тебе, а самому Косыгину!..

— Перестань, — сказала Лида, — ты у меня в гостях. Ты не должна оскорблять людей. Мне это неприятно.

Антонина Георгиевна бросила трубку. На лице ее выступили розовые пятна.

— Поеду на «Ленфильм» и все скажу Киселеву. Кисель меня поймет.

— В шесть часов утра? — засмеялась Лида. — Тебе придется

излить душу швейцару.

— Я скажу им все, — продолжала гостья, — абсолютно все. Я им такое припомню! Пушкина убили, Лермонтова убили, Достоевского сделали эпилептиком… Достоевского им не прощу! Вот кого жалко, хоть он и украл, паскуда, мой сюжет!..

— Успокойся, — говорила Лида, — успокойся. Ложись и спи. Дать тебе валерьянки?

— Поеду на «Ленфильм» и крикну в матюгальник: «Да здравствует Солженицын!»…

Лида обняла ее и с трудом уложила в постель. Мы тоже легли.

* * *

— Ненормальная, — шепнула Лида, — Тошка — ненормальная. Я в этом окончательно убедилась. Ей нельзя пить. Ей надо лечиться. Казалось бы, жизнь дала человеку все! Славу, деньги, общественное положение, муж — кандидат наук, зоолог… Сын шахматами увлекается, близорукий, правда…

— Ты понимаешь, — начал я, — кино — это многоступенчатая иерархическая система. На заводе, скажем, все трудящиеся более или менее равны. А значит, тяжелым комплексам нет места. В кино же расстояние от нуля до высшей точки — громадное. А значит, все показатели на шкале достоинств…

— Откуда ты знаешь про кино? — спросила Лида.

— Догадываюсь. Существует интуиция…

— А про завод?

— Допустим, я был на экскурсии, читал и вообще…

— Что ты можешь знать, сидя в этой дурацкой библиотеке? — усмехнулась Лида.

— Да, я работаю в библиотеке. Не понимаю, что тут смешного. По-твоему, старший библиограф не имеет отношения к литературе?

— Старший продавец ювелирного магазина тоже имеет отношение к золоту.

— Ты не учитываешь…

— Хватит, — шепнула Лида, — я все это слышала тысячу раз. Спи, дорогой.

— Я только хотел объяснить, что есть внешняя сторона жизни, которую индусы называют пеленой Майа…

Но Лида уже спала. Или притворялась, что спит…

* * *

Не прошло и часа, как отворилась дверь. Тошка стояла на пороге в дождевике и газовой косынке.

— Все, — заявила она, — беру такси до Комарова. Там живет Светка Маневич, и я поселюсь у нее. Буду загорать, купаться. И еще меня привлекает живопись в духе раннего Босха.

— Какая же ты беспокойная! — сказала Лида. — Подожди минут двадцать. Поедем вместе.

И она подошла к зеркалу. С этой минуты Лида была так далека от нас!

Мне нравилось смотреть, как Лида одевается. Как она причесывает волосы. То есть занимается всеми этими женскими делами.

Лично я пребываю в жестоком конфликте с одеждой. Надевая брюки, всегда теряю равновесие. Мучительно просовываю голову в узкий хомут застегнутой сорочки. Расправляю мизинцем подвернувшийся задник ботинка.

Лида жила в полном мире с косметикой, тряпками, обувью. Одевалась спокойно, умело и даже талантливо. Вся процедура напоминала строгий классический танец.

Она тронула щеки розовой кисточкой. Законченным резким движением подвела губы. В ее руках пронзительно чирикнул флакон с духами. Легкий след пудры остался на зеркале.

В заключение был обеими руками медленно натянут короткий рыжеватый парик.

— Зачем? — спрашивал я месяца два назад. — У тебя же чудесные волосы!

Лида мне объяснила:

— В парикмахерской много народу и душно. А на работе я обязана быть интересной в смысле головы. Мы летим в десяти километрах над землей. Расстояние ощущается, даже если не смотреть в иллюминатор. Кто-то летит впервые, боится, нервничает. Ну и так далее. А я должна быть в форме. Я таким образом показываю — не бойтесь! Все нормально. Ничего особенного. Видите, как я мило улыбаюсь? Конфеты и лимонад — это для вида. В действительности я существую, чтобы каждого пассажира заверить — не бойся. Если уж эта красивая, юная девушка — и то не боится… Пойми, это такая роль. Бортпроводница — не профессия, а роль…

* * *

Лида надела форменный костюм с металлическими пуговицами. Мы спустились в лифте. Антонина Георгиевна без конца твердила:

— Еду на «Ленфильм». Буквально на одну минуту. Плюну в рожу Киселеву и скажу. «Чиновнику — от драматической актрисы! Распишитесь в получении!» Или еще лучше. Зайду в художественную часть и крикну: «Идиоты! Не может художественное целое подчиняться художественной части!..»

Лида ее не слушала. Моя девушка находилась где-то вдали. Может быть, на холодном поле аэродрома. А может быть, выше, еще выше, за облаками…

На перекрестке мы расстались. Лида села в автобус, махнув нам рукой. Антонина Георгиевна пыталась остановить такси.

Я чувствовал себя неловко. Жаль, что у меня не было денег. Обычная история…

— Ну, мне пора, — сказал я Тошке, — извините. Проводить вас, к сожалению, не могу. Библиотека на территории порта, режим довольно строгий. А мне еще надо домой заехать…

Тут я заметил, что она плачет. Это страшное дело, когда актрисы плачут в нерабочие часы. Это ужасно, просто ужасно…

Я быстро попрощался и зашагал к троллейбусной остановке.

Было утро. Машины прижимались к тротуарам. Солнце поднялось над крышами. Лучи его коснулись стекол.

Оглядевшись, я неожиданно подумал, что сижу в театре. Занавес раздвинут, свет погас. Актеры давно уже на сцене. Реальная жизнь осталась за кулисами. И ты, как мальчишка, — бессилен. Ты знаешь, что Яго, допустим, подлец, и не вмешиваешься. Все равно ты — не можешь помочь. И вообще — где артисты, — где зрители? Кто за кем наблюдает? Кому надо хлопать в финале?.. Все перепуталось… А что, если сам барометр рождает непогоду?..

Вдоль ограды под липами желтели скамейки. Я сел, достал из кармана помятый «Беломор». Слабость и горечь мешали подняться. А может, это была следствием кошмарной ночи?

Через несколько минут я овладел собой. Решил идти пешком до Горьковской и там сесть в метро. К этому времени моя походка уже напоминала походку Брюса из фильма «Золотая долина».

* * *

Назавтра я прочитал в газете траурное сообщение. ИЛ-124, следовавший по маршруту Ленинград-Адлер, разбился. Все погибли. В том числе знаменитый эстрадный артист,

корреспондент «Огоньке» и несколько японских дипломатов.

Я позвонил диспетчеру аэропорта. Мне сказали, что Лида жива. Она находилась в резерве.

Дорога в новую квартиру

В ясный солнечный полдень около кирпичного дома на улице Чкалова затормозил грузовой автомобиль. Шофер, оглядевшись, достал папиросы. К нему подбежала молодая женщина, заговорила быстро и виновато.

— Давайте в темпе, — прервал ее шофер.

— Буквально три минуты!

Женщина исчезла в подъезде.

Невдалеке среди листвы темнел высокий памятник. У постамента хлопотали фиолетовые голуби.

Женщина вернулась, на этот раз — с чемоданом.

— Уже несут.

Впереди, обняв громадную, набитую слежавшейся землей кастрюлю, шел режиссер Малиновский. Лицо его слабо белело в зарослях фикуса.

Режиссер устал.

Два пролета он тащил эмалированную кастрюлю на вытянутых руках. Затем обнял, прижал ее к груди. Чуть позже — к животу. Наконец, утопая в листве, Малиновский изящно подумал:

«Ну прямо Христос в Гефсиманском саду!»

Следом двое мужчин энергично тащили комод. Руководил майор Кузьменко, брюнет лет сорока в застиранной офицерской гимнастерке. Студент Гена Лосик прислушивался к его указаниям:

— Вывешивай! Я говорю — вывешивай! Теперь на ход! Я говорю — на ход! Спокойно! М-мм, нога! Ага, торцом! Чуть-чуть левее! Боком! Стоп!..

Комод был шире лестничной площадки. Вынесли его чудом. Майор подмигнул Лосику и сказал:

— Принцип: «Не хочешь — заставим!»

Высказывался он немного загадочно.

Шофер, не оборачиваясь, посмотрел в сияющее круглое зеркальце.

— Пока ложите так, — сказал он.

Мужчины, оставив груз на тротуаре, скрылись в подъезде. Высокая молодая женщина прощалась с дворничихой. Шофер читал газету.

Малиновский, откинув левую руку, тащил чемодан. Лосику досталась связка картин, завернутых в осеннее пальто. Майор Кузьменко укрепил веревками ящик от радиолы, набитый посудой, захватил торшер с голубым абажуром и легко устремился вниз.

Редко и охотно занимаясь физическим трудом, майор чувствовал при этом легкое возбуждение, как на стадионе. Двадцать лет армейской жизни научили его элементарным, ясным представлениям о мужестве как о физическом совершенстве. То есть о готовности к войне, любви или работе, которую надлежало производить с азартом, юмором и благодушием.

Познакомились они в апреле. Варя тогда лишь мечтала о новой квартире. Жила она в бывшей «людской». Единственное окно выходило на кухню. Кухня была набита чадом, распрями и запахом еды. Кузьменко все отлично помнил…

В трамвае красивую женщину не встретишь. В полумраке такси, откинувшись на цитрусовые сиденья, мчатся длинноногие и бессердечные — их всюду ждут. А дурнушек в забрызганных грязью чулках укачивает трамвайное море. И стекла при этом гнусно дребезжат.

Майор Кузьменко стоял, держась за поручень. Мир криво отражался в никелированной железке. Неожиданно в этом крошечном изменчивом хаосе майор различил такое, что заставило его прищуриться. Одновременно запахло косметикой. Кузьменко придал своему лицу выражение усталой доброты. Потом он наклонился и заговорил:

— Мы, кажется, где-то встречались?

Хоть женщина не обернулась, Кузьменко знал, что действует успешно. Так хороший стрелок, лежа на огневом рубеже и не видя мишени, чувствует попал!

На остановке он помог Варе сойти. При этом случилось веселое неудобство. Зонтик, который торчал у нее из-под локтя, уткнулся майору в живот.

— Шикарный зонтик, — сказал он, — импортный, конечно?

— Да… То есть нет… Я приобрела его в Лодзи.

— Ясно, — сказал Кузьменко, редко выезжавший дальше Парголовского трамплина.

— Двадцать злотых отдала.

— Двадцать? — горячо возмутился Кузьменко. — Чехи утратили совесть!

— Если что понравится, я денег не жалею…

Кузьменко тотчас проделал одобрительный жест в смысле удальства и широты натуры.

Они свернули за угол, миновали пивной ларек.

— Рашен пепси-кола, — сказал майор.

У Вари Кузьменко быстро огляделся. Низкая мебель, книги, портрет Хемингуэя…

«Хемингуэя знаю», — с удовлетворением подумал майор.

Справа — акварельный рисунок. Башня, готовая рухнуть. Где-то видел ее майор. В сумраке школьных дней мелькнула она, причастная к одному из законов физики. Запомнился даже легкий похабный оттенок в названии башни. А держит башню, мешает ей упасть — обыкновенное перо, куриное перышко натурального размера. (Весь рисунок не больше ладони.)

Загадочная символика удивила майора.

«Неужели перо?»

Вгляделся — действительно, перо.

— Барнабели, — произнесла в этот момент женщина у него за спиной.

Кузьменко побледнел и вздрогнул.

«Уйду, — подумал он, — к чертовой матери… Лодзь… Барнабели… Абстракционизм какой-то…»

— Работа Кости Барнабели, — сказала женщина. — Это наш художник, грузин…

Она боком вышла из-за ширмы.

В мозгу его четко оформилось далекое слово — «пеньюар».

— Грузины — талантливая нация, — выговорил Кузьменко.

Затем он шагнул вперед, энергично, как на параде.

— Вы любите Акутагаву? — последнее, что расслышал майор.

ИЗ ГОЛУБОГО ДНЕВНИКА ЗВЯГИНОЙ ВАРИ

«Знаешь ли ты, мой современник, что дни недели различаются по цвету! Это утро казалось мне лиловым вопреки резкому аллегро дождя, нарушавшему минорную симфонию полдня.

Возвращаясь домой, я ощутила призывный, требовательный флюид. Я не выдержала и с раздражением подняла глаза. Передо мной возвышался незнакомец — широкоплечий, с грубым обветренным лицом.

— Вы акварельны, незнакомка.

Художник! Я была удивлена. В подсознании родилась мысль: как неожиданно сочетаются физическая грубость и душевная тонкость. Особенно в людях искусства. (Мартин Иден, Аксенов.) Разумеется, я отказалась ему позировать, но в деликатной форме, чтобы икс не счел меня консервативной. Ведь обнаженная фигура прекрасна. Лишь у порочного человека вид обнаженного тела рождает грязные ассоциации.

— Я только любитель, — произнес незнакомец, — а вообще я — солдат. Да, да. Простой солдат в чине майора. Забывающий у мольберта в редкие часы досуга о будничных невзгодах… Я только любитель, — повторил он с грустью.

— Искусство не знает титулов и рангов, — горячо возразила я. — Все мы — покорные слуги Аполлона, обитатели его бескрайних владений.

Он взглянул на меня по-иному. А когда мы выходили из трамвая, спросил:

— Где вы купила этот прелестный зонтик?

Я назвала влиятельную торговую фирму одной из европейских стран.

Разговор шел на сплошном подтексте.

Незнакомец деликатно касался моего локтя. В его грубоватом лице угадывалась чувственная сила. Отдельные лаконичные реплики изобличали тонкого бытописателя нравов. Когда мой спутник рассеянно перешел на английский, его выговор оказался безупречным. Возле него я чувствовала себя хрупкой и юной. Если бы нас увидел Зигмунд Фрейд, он пришел бы в восторг!

У порога незнакомец честно и открыто взглянул на меня. Без тени ханжества я улыбнулась ему в ответ. Мы направились в комнату, сопровождаемые зловещим шепотом обывателей.

Две рюмки французского вина сблизила нас еще теснее. Окрепшее чувство потребовало новых жертв. Незнакомец корректно обнял меня за плечи. Я доверчиво прижалась к нему.

Случилось то, чего мы больше всего опасалась…»

Накануне переезда Варя позвонила двенадцати мужчинам. Раньше всех пришел Кузьменко.

— На днях твою подругу видел, — сказал он. — Ну, эту… Как ее?.. Нервная такая…

— А, Фаинка… Она мне тридцать пять рублей должна с июня. Не говорила, когда вернет?

— Не говорила.

— Вот стерва!

— Я ее из троллейбуса видел, — сказал Кузьменко.

— Хочешь чаю?

— Лучше водки. Но это потом.

— Еще бы, — сказала Варя, — я ассигновала.

— Деньги не проблема, — сказал майор.

Вскоре зашел Малиновский и, едва поздоровавшись, раскрыл случайную книгу.

Мужчины вели себя холодно и равнодушно, чересчур равнодушно, пребывая где-то между равнодушием и враждой, держались безразлично и твердо, слишком уж безразлично и твердо — как жулики на очной ставке.

Варя сняла картины. Гости увидели, что обои выцвели и залиты портвейном.

В прихожей раздался звонок. Варя поспешила опередить соседей.

Явился Лосик и встал на пороге.

— Хочешь чаю? — спросила Варя.

— Я завтракал, — ответил Лосик, — клянусь.

«Что мы собой представляем? — думал Малиновский. — Кто мы такие? Коллекция? Гербарий? Почему я здесь? Почему я заодно с этим шумным гегемоном? Что общего имею с этим мальчишкой, у которого пальцы в чернилах?»

Он сидел в бутафорском кресле и говорил Марине Яковлевой:

— Ты героиня, понимаешь?! На тебе замыкаются главные эмоции в спектакле. Я должен хотеть тебя, понимаешь? Прости, Марина, я тебя не хочу!

— Подумаешь, — сказала Яковлева, — больно ты мне нужен…

Муж ее работал в управлении культуры.

— Ты поняла меня в узкожитейском смысле. Я же подразумевал нечто абстрактное.

Тут Малиновский неопределенно покрутил рукой вокруг бедер.

«Красивая баба, — думал режиссер, — такой ландшафт! А что толку! Безжизненна, как вермишель. Обидно. Нет винта. Спектакль разваливается…»

За ним возвышались кирпичные стены. Над головой тускло сияли блоки. Слева мерцала красная лампочка пульта. Холодный сумрак кулис внушал беспокойство.

— Ты Фолкнера читала?

Вялый кивок.

— Что-то не верится. Ну да ладно. Фолкнер говорил — в любом движении сказывается уникальный опыт человека. И в том, как героиня закуривает или одергивает юбку, живет минувшее, настоящее и четко прогнозируется будущее. Допустим, я иду по улице…

— Подумаешь, какое событие, — усмехнулась Яковлева.

— Идиотка! — крикнул он.

Малиновский брел среди веревок, фанерных щитов, оставляя позади тишину, наполненную юмором и ленью.

Потомок актерской фамилии, он с детства наблюдал театр из-за кулис. Он полюбил изнанку театра, зато навсегда возненавидел бутафорскую сторону жизни. Навсегда проникся отвращением к фальши. Как неудачливый самоубийца, как артист.

— Не огорчайтесь, — услышал Малиновский и понял, что разговаривает с блондинкой в голубом халате. — Они еще пожалеют.

В душе Малиновского шевельнулся протест.

— Разве они не понимают, что артист — это донор. Именно донор, который отдает себя, не требуя вознаграждения…

— Из второго состава? — поинтересовался Малиновский.

— Я гримерша.

— Надо показаться… Фактура у вас исключительная.

— Фактура?

— Внешний облик…

Малиновский застегнул куртку и подал Варе дождевик.

Они вышли из театра. Сквозь пелену дождя желтели огни трамваев.

— Художник должен отдавать себя целиком, — говорила Варя.

И вновь на мелководье его души зародился усталый протест.

— Мы пришли, — сказала Варя.

«Гадость… Ложь…» — подумал Малиновский. И тотчас простил себе все на долгие годы.

Щелкнул выключатель. Сколько раз он все это видел! Горы снобистского лома. Полчища алкогольных сувениров. Безграмотно подобранные атрибуты церковного культа. Дикая живопись. Разбитые клавесины. Грошовая керамика. Обломки икон вперемежку с фотографиями киноактеров. Никола-угодник, Савелий Крамаров… Блатные спазмы под гитару… Гадость… Ложь…

«Будет этому конец?» — подумал режиссер.

— Что будем пить? — спросила Варя.

— Валидол, — ответил Малиновский без улыбки.

— Я поставлю чай.

«В актрисы метит, — думал он, — придется хлопотать. Не буду… Голос вон какой противный. Режиссер ночует у гримерши…»

Но снова дымок беспокойства легко растаял в обширном пространстве его усталости и тоски.

Варя отворила дверь. Малиновский, виновато поглядывая, стаскивал ботинки.

— Без разговоров, — сказал он, — ком цу мир…

ИЗ ГОЛУБОГО ДНЕВНИКА ЗВЯГИНОЙ ВАРИ

«Ах, если бы ты знал, мой современник, что испытывает

творец, оставивший далеко позади консервативную эпоху! Его идеи разбиваются о холодную стену молчания. Глупцы указывают пальцем ему вслед. Женщины считают его неудачником.

Где та, которую не встретил Маяковский! Где та, которая могла отвести ледяную руку Дантеса! Где та, которая отогрела бы мятежное сердце поручика Лермонтова?

Вчера я наконец заговорила с Аркадием М. Он репетировал с Мариной Я. Беглые ссылки на русских и зарубежных классиков… Выразительные режиссерские импровизации… Мягкие корректные указания… Все безрезультатно. Идиотка Я. (в смысле — она) лишь без конца хамила. (Говорят, ее муж работает в энных органах.) Наконец Аркадию М. изменило его обычное хладнокровие. Он повернулся и, закрыв лицо руками, бросился к выходу.

Я шагнула к нему.

— Вы актриса! — спросил он.

— О, нет, я всего лишь гримерша.

— В искусстве нет чинов и званий! — резко произнес он. Затем добавил: — Все мы — рабы Аполлона. Каждый из нас — подданный ее Величества Императрицы Мельпомены.

Некоторое время мы беседовали о сокровенном. Разговор шел на сплошном подтексте.

Аркадий корректно взял меня под руку. Сопровождаемые шепотом завистниц, мы направилось к дверям. Нас подхватил беззвучный аккомпанемент снегопада…

У меня Аркадий держался корректно, но без ханжества. Сначала он разглядывал картины. Затем взял мощный аккорд на клавесине, отдавая должное искусно подобранной библиотеке.

Я предложила гостю рюмочку ликера. М. вежливо отодвинул ее кончиками пальцев.

— Я не пью. Театр заменяет мне вино. Тонкий аромат кулис опьяняет сильнее, чем дорогой мускат.

Мы сидели рядом, беседуя о литературе, живописи, театре. Потом с досадой вспомнили гениальных художников, умерших в безвестности и нищете.

— Се ля ви, — заметил Аркадий, переходя на французский язык.

И тут я внезапно прижала руку к его горящему лбу. Зигмунд Фрейд, где ты был в эту минуту?!.

Случилось то, чего мы надеялись избежать…»

Майор, присев на корточки, застегивал чемодан. Режиссер переносил вещи ближе к двери. Гена приподнимал узлы и коробки. То ли испытывал силу, то ли взвешивал груз. Они молчали, хоть и не чувствовали явной вражды. Даже радовались

любому микроскопическому поводу к общению.

— А ну, подержи, — говорил майор, и Лосик с удовольствием давил на крышку чемодана.

— Дозвольте прикурить, — спрашивал, режиссер, и Кузьменко тотчас вынимал модную зажигалку…

— Машина ждет, — сказала Варя.

Малиновский нес кастрюлю с бурно разросшимся фикусом.

Среди вещей было немало удобных предметов: чемоданы, книги, внушительные по габаритам, но легкие тюки с бельем… Малиновский клял себя за то, что выбрал это гнусное чудовище, набитую землей эмалированную емкость.

Сначала режиссер брезгливо тащил ее на весу. Затем он устал. Через две минуты ему стало нехорошо. А еще минуту спустя он почувствовал, что близок к инфаркту.

Вслед за ним Кузьменко и Лосик тащили сервант. На узких площадках они сдавленными голосами шептали:

— Так… На меня… Осторожно… Правей… Хорошо!

Мужчины сложили вещи на асфальт. Предметы выглядели убого. Стекла из шкафа были вынуты. Изношенный чемодан не отражал солнечных лучей. Картины Лосик прислонил к стене. Изнанка была в пыли. На ржавых гвоздях повисли узловатые веревки.

«Отличный мог бы выйти кадр, — думал режиссер. — Улица, голуби, трамваи и эти вещи на мостовой… О, как легко человеческое благополучие распадается на груду хлама…»

Трое мужчин поднимались вверх, читая смешные фамилии на латунных дощечках: «Блудиков, Заяц, Кронштейн…»

«Напоминает коллективный псевдоним, — отметил режиссер, — драматург Александр Крон-Штейн…»

— Меня холодильник смущает, — произнес Гена Лосик.

По утрам он разносил телеграммы. Стараясь заработать на карманные расходы, он часами бродил по дворам. В его представлении деньги были каким-то образом связаны с женщинами, а женщины интересовали Лосика чрезвычайно.

Он любил всех девушек группы. Всех институтских машинисток. Всех секретарш ректората. И даже уборщиц, которые нагнувшись мыли цементные полы. Он любил всех девушек, исключая вопиюще некрасивых, капитулировавших в постоянной женской борьбе и затерянных среди мужчин, как унизительно равные. Но даже с такими у Лосика возникали изменчивые многообещающие отношения. Однажды Гена курил на бульваре, соединявшем два институтских здания. Возле него зубрила девушка. На девушке были стоптанные черные босоножки. Ее

анемичное лицо, бедная прическа, школьная застиранная юбка, обкусанные ногти совершенно разочаровали Гену. Неожиданно девушка повернулась и, отогнув манжет его сорочки, взглянула на часы. Затем она снова погрузилась в учебник Фихтенгольца. Но с этой минуты Гена любил и ее тоже.

Утром, засунув озябшие ладони в карманы пальто, Гена разносит телеграммы. Ему нужны деньги. И не оттого, что мальчику кажется, будто любовь продается за деньги. А оттого, что деньги и любовь загадочно связаны в его представлении. Как свет и тепло, как ночь и безмолвие… По крайней мере, Гена ожидает, что любовь и деньги утвердятся разом, вместе и навек.

Он читает фамилии, нажимает разноцветные кнопки, протягивает измятые бумажки. Потом в муках берет чаевые. Каждая монета со звоном падает на дно его гордости.

Пока Варя читала телеграмму: «..день ангела… здоровья… счастья…», Гена незаметно разглядывал ее.

— Ты замерз и хочешь чаю, — сказала Варя.

Под далекое ворчание унитаза Гена брел за стеганым халатиком. Мимо выцветших роз на обоях, мимо дверей, за которыми царили шорох и любопытство.

Они пили чай, разговаривали: «Ближе матери нет человека…» Лосик то и дело вскакивал, доставал из кармана носовой платок. Варя поправляла халат. Гена краснел, вздрагивая от звона чайной ложки… Постепенно освоился.

— У нас в ЛИТМО был случай. Одного клиента, — рассказывал Гена, — исключили за пьянку. Он целый год на производстве вкалывал. Потом явился к декану, вернее — к замдекану. А замдекана ему говорит: «Я на тебе крест поставил. Значит, ты мой крестник…» Правда же, смешно?

— Очень, — сказала Варя.

Через несколько минут Гена Лосик попрощался и вышел. Его встретила улица, тронутая бедным осенним солнцем.

ИЗ ГОЛУБОГО ДНЕВНИКА ЗВЯГИНОЙ ВАРИ

«И все-таки, мой современник, жизнь прекрасна! И в ней есть, есть, есть место подвигу! Я чувствовала это, заглядывая в наивные близорукие глаза одного милого юноши. Словно почтовый голубь залетел он в форточку моей холодной кельи…

Мы говорили о пустяках, о книгах, об экзистенциализме. Разговор шел на сплошном подтексте.

Он смотрел на меня. Я чувствовала — ребенок становится мужчиной. Еще секунда, и я услышу бурные признания. О, Зигмунд

Фрейд, увидев это, подпрыгнул бы от счастья… И тут я шепнула себе:

«Никогда! Этот мальчик не увидит суровой изнанки жизни! Не станет жертвой лицемерия! Не ощутит всей пошлости этого мира!»

Я встала и распахнула дверь. На полированной стенке клавесина блеснуло мое отражение.

Юноша горестно взглянул на меня, круто повернулся, и через секунду я услышала на лестнице его быстрые шаги.

Чтобы успокоиться, мне пришлось долго листать альбом репродукций Ван Гога.

Мы избежали того, что неминуемо должно было случиться…»

На тротуаре грудой лежали вещи. Фикус зеленел среди мебели, как тополь в районе новостроек. Майор с режиссером курили в тени от пивного ларька. Лосик, сидя на корточках, перелистывал югославский журнал.

— Так, — сказала Варя, — пойду взгляну…

Она зашагала вверх, касаясь холодных перил. Оглядела стены в прихожей. Мысленно простилась с каждой трещиной. Прошла коридором, узким и тесным от детских игрушек, велосипеда, лохани, сундуков, развалившегося ничейного шкафа. Оказалась в комнате, неожиданно просторной и светлой, как льдина. Там валялись аптекарские флаконы, обломки грампластинок, несколько мятых бумажек и потемневший кусок сахара…

Она умылась и вдруг помолодела без косметики.

Потом захлопнула дверь и ушла, не оглядываясь.

Был час, когда лишь начинает темнеть, а машины уже ездят с зажженными фарами. Вещи лежали около грузовика, бесцельные и неорганизованные, как трофеи. Вот только роскоши им не хватало. Даже мебель, импортная, гладкая, с пестрыми отражениями улицы, внушала тоску.

Малиновский, размышляя, уселся на кожаный пуф:

«Переезд катастрофически обесценивает вещи. В ходе переезда рождается леденящее душу наименование — скарб…»

Кузьменко вдруг обеспокоенно шевельнулся и сказал Малиновскому:

— Фильмов жизненных мало.

— Не понимаю.

— Я говорю, картин хороших нет. Вот тут смотрел однажды, у него квартира, у нее квартира, шифоньер, диван, трюмо… и все недовольны, ла-ла-ла да ла-ла-ла…

— Не видел. Не берусь судить, — ответил Малиновский, —

думаю, что в фильме могли быть затронуты проблемы… этического характера…

— У нас в ЛИТМО был юмор, — перебил Гена. — один клиент сдавал экзамен по начерталке. Доцент Юдович выслушал его и головой качает. «Плохо, Садиков, два». А Витька Садиков наклонился к доценту и тихо говорит: «Поставьте тройку». Правда, смешно?

— Забавно, — сказал Малиновский.

— Ученье — свет, — небрежно высказался Кузьменко.

Варя разбудила шофера. Тот неохотно перешагнул через борт и оказался в кузове машины.

— Але! Подавайте! — сказал он, утвердившись над всеми.

И тотчас Малиновский, словно под гипнозом, взялся за ручки эмалированной кастрюли.

— Ложи на место, — приказал шофер, — кидайте оттоманку и сервант!

Он поставил громоздкие вещи у бортов, ловко рассовал книги. Страхуя зеркало подушками, уложил между кабиной и шкафом диванный валик. Потом лениво спрыгнул на асфальт и оглядел внушительных размеров дзот, точнее баррикаду. Торшер покачивался, как знамя…

Варя с третьей попытки захлопнула дверцу. Взглянула на старый дом. Увидела его весь. От покосившихся антенн до выщербленных ступеней крыльца. От дворовых глубин до перевязанных марлей банок за стеклами. От забытых игрушек в желтой яме с песком до этой минуты в кабине грузового автомобиля.

Затем сказала:

— Ну, поехали.

Машина тронулась. Малиновский, Кузьменко и Лосик облегченно вздохнули. Мимо проносились деревья, вывески, разноцветные окна…

Они миновали центр. Оглядели Неву, как с борта теплохода. И скоро оказались в продуваемом ветрами районе новостроек.

— Я бы тут жить не согласился, — выкрикнул Кузьменко, — все дома на один манер, заблудишься пьяный.

— Ветер! Не слышу! — откликнулся Малиновский.

— Я говорю, дорогу спьяну не отыскать…

— Не слышу.

— Я говорю, идешь, бывало, домой поддавши…

— А-а…

Лосику хотелось петь. Он громко засвистел.

Светофора можно было коснуться рукой.

Наконец автомобиль затормозил возле узкого подъезда с

мятой кровлей. Шофер вылез из кабины, откинул борт. Мужчины спрыгнули на газон.

Затем разгружали вещи, носили их по чистой лестнице… Стемнело… Зажглись изогнутые редкие светильники. Звезды в небе стали менее отчетливы и ярки. Гудела далекая электричка.

Кузьменко, расстелив газету, влез на стол. Вскоре зажглась тусклая лампочка на перекрученном шнуре.

Потом они мылись в душе. Варя распаковала узел с бельем, достала полотенце. Через некоторое время оно, было совсем мокрым.

— Мальчики, — сказала Варя, — я ненадолго отлучусь.

— Куда это? — спросил майор.

— Так я ж ассигновала…

— Деньги есть, — сказал Кузьменко, — вот и вот. Надеюсь, хватит?

— Я тоже хотел бы участвовать в расходах, — заявил Малиновский, — пиетета к алкоголю не испытываю, однако… Тут шесть рублей.

Лосик покраснел.

— Малый сходит, — произнес Кузьменко. — Ну-ка, малый, сходи!

«Когда я наконец буду старше их всех?!» — подумал Гена Лосик.

Гена вернулся с оттопыренными карманами. На столе уже белели тарелки. Пепельница была набита окурками. Варя переодевалась, заслонившись дверцей шкафа. Она появилась в строгом зеленом костюме. Ее гладкая прическа напоминала бутон.

Майор распечатал бутылки, зажав их коленями. Варя нарезала колбасу, затем достала стопки. Стопки были завернуты в газету, каждая отдельно. Пока разливали водку, царила обычная русская тишина.

— С новосельем! — объявил майор.

Варя покраснела и некстати ответила:

— Вас также.

Потом она заплакала, и уже с трудом можно было расслышать:

— У меня, кроме вас, никого…

Выпивали не спеша. Вдруг оказалось, что на подоконнике уже теснятся какие-то банки. Диван накрыт яркой материей. За стеклами шкафа лежат безделушки.

— Фильмов жизненных нету, — говорил майор, — казалось бы, столько проблем… Я вам расскажу факт… Выносила одна жиличка мусор… Появился неизвестный грабитель… Ведро

отобрал, и привет!.. Почему кино такие факты игнорирует?

— Позвольте, — говорил Малиновский, — ведь искусство не только копирует жизнь, создавая ее бытовой адекват… Более того, попытки воспроизведения жизни на уровне ее реалий мешают контактам зрителей с изображаемой действительностью.

— Вы знаете, что такое реалии? — перебивал Гена Лосик, наклоняясь к майору.

— Закусывай, — говорил Кузьменко, — закусывай, малый, а то уже хорош…

— Если действительность непосредственно формируется как объект эстетического чувства, — говорил Малиновский, — зритель превращается в соавтора фильма. Искусство правдивее жизни, оно, если угодно…

— Эх! Ленина нет! — сокрушался Кузьменко.

— Не ссорьтесь, — попросила Варя. — Такой хороший день…

— А вот еще был юмор, — сказал Гена, — один клиент, Баранов Яшка, заметил, что доцент Фалькович проглотил на лекции таблетку. Яшка и говорит: «А что, Рэм Абрамович, если они лежат у вас в желудке годами и не тают?»

— Какой ужас! — сказала Варя. — Хотите чаю? Без ничего…

Мужчины спустились вниз. Затем прошли вдоль стен, шагая через трубы, окаймлявшие газон. Затем миновали пустырь и вышли к стоянке такси.

Варя долго ждала на балконе. Мужчины ее не заметили, было темно. Только Лосик вертел головой…

Сейчас они навсегда расстанутся. И может быть, унесут к своим далеким очагам нечто такое, что пребудет вовеки.

Мужчины забывали друг друга, усталые и разные, как новобранцы после тяжелого кросса… Ты возвращаешься знакомой дорогой. Мученья позади. Болтается противогаз. Разрешено курить. Полковник едет в кузове машины, с ним рядом замполит и фельдшер.

И тут впереди оказывается запевала. Мелодия крепнет. Она требует марша.

И всем уже ясно, как давно ты поешь эти старые гимны о братьях, а не о себе!

ИЗ РАССКАЗОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Третий поворот налево

Муж следил за тем, как Лора разворачивает газету.

— Посмотрим, — сказала она, — что новенького.

— Ничего, — сказал муж, — вот увидишь. Опять взорвали какое-нибудь посольство. Застрелили какого-нибудь турецкого дипломата. Где-нибудь в Пакистане опрокинулся школьный автобус… Все нормально.

Он подлил молока в черный кофе. Лора вслух читала, не глядя отламывая печенье:

— Шульц приветствует инициативу Дуарте… Отравленные консервы в японских магазинах… Столетний юбилей Элеоноры Рузвельт…

Лора и Алик были молодой счастливой парой. Счастье было для них естественно и органично, как здоровье. Им казалось, что неприятности — удел больных людей.

Познакомились они шесть лет назад еще в Москве. Оба только что закончили среднюю школу. Лора мечтала поступить на исторический факультет. Двоюродный брат говорил ей, что вся советская история — фальсифицирована. Лоре хотелось заниматься подлинной историей.

Алик мечтал стать врачом. Его любимая бабушка умерла от рака. Алику хотелось заниматься теорией канцерогенов.

Оба провалили вступительные экзамены. Все их знакомые были уверены, что это — следствие антисемитизма. Пожалуй, так оно и было.

Лора и Алик решили сделать еще одну попытку через год. А этот год провести беспечно и весело. Оба любили загородные прогулки, музыкальные комедии и слабое вино. Родители у обоих были людьми довольно состоятельными. Так что Алик и Лора могли фактически не работать. Алик числился кочегаром, а Лора распространяла билеты на детские утренники.

Их взгляды были примерно одинаковыми. Они рассказывали друзьям политические анекдоты, любили заграничные вещи и слушали Би-Би-Си.

Алик и Лора жили с родителями в маленьких двухкомнатных квартирах. Встречаться они могли только на улице. Поэтому они год целовались на черном дворе за сараями.

К экзаменам Алик и Лора не готовились. Они были слишком увлечены любовью. К тому же антисемитизм усиливался. Зато началась массовая эмиграция.

Алик и Лора решили уехать. Таким образом, сразу же решалось несколько проблем.

Родители были в отчаянии. Во-первых, дети собирались жениться. И к тому же покидали родину.

Алик и Лора успокаивали родителей. Говорили, что будут посылать им растворимый кофе.

Они подали документы. Через три недели получили разрешение. Они готовились к длительной борьбе, но их выпустили сразу. Им даже было немного обидно.

Но чувство обиды быстро прошло.

Эмиграция была для Алика и Лоры свадебным путешествием.

Они поселились в Нью-Йорке. Через год довольно сносно овладели языком. Алик записался на курсы программистов. Лора поступила в ученицы к маникюрше.

К этому времени двоюродный брат тоже уехал на Запад. Брат говорил, что американская история тоже фальсифицирована. А от рака, говорил он, здесь умирают так же часто, как в Союзе.

Он был неудачником и грубияном. Он всех ругал. Все у него были дураками, трусами и жуликами.

Однажды Лора сказала:

— Ты всех ненавидишь!

Брат ответил:

— Почему же — всех?

Затем он скороговоркой произнес:

— Айхенвальд, Баратынский, Вампилов, Гиллеспи, Домье, Ерофеев, Жорес, Зоргенфрей…

На секунду задумался и продолжал:

— Ибсен, Колчак, Ларионов, Моне, Нострадамус, Олейников, Паркер, Рембо, Свифт, Тургенев, Уэллс…

Брат еще раз запнулся и окончил:

— Фицджеральд, Ходасевич, Цветаева, Чаплин, Шагал, Эйхенбаум, Юденич и Ясперс!..

— Удовлетворена? — спросил он и полез в чужой холодильник за джином…

Но брат приходил редко.

Дела у Алика и Лоры шли хорошо.

Через несколько месяцев Алик стал программистом. Через два года руководителем проекта. Еще через год — консультантом в богатейшей международной фирме. Его посылали в дальние командировки. Как-то раз послали на Гавайские острова.

Лора работала в парикмахерской с американской клиентурой. Лора говорила: «Русских мы практически не обслуживаем. У нас слишком высокие цены». Лора зарабатывала двадцать тысяч в год. Алик — вдвое больше.

Вскоре они купили дом. Это был маленький кирпичный домик в одном из сонных пригородов Нью-Йорка. Жили здесь в

основном американские евреи, поляки и китайцы. Русских здесь не было совершенно.

Алик говорил:

— С русскими мы практически не общаемся…

Алик и Лора полюбили свой дом. Алик собственными руками починил водопровод и крышу. Затем электрифицировал гараж. Лора покупала занавески и керамическую утварь.

Дом был красивый, уютный и сравнительно недорогой. Двоюродный брат злобно называл его «мавзолеем».

Друзей у Алика и Лоры не было. Они считали друзьями тех, кто приходит в гости. Двоюродного брата приглашали все реже. Зато все чаще приходили американские друзья. Например, менеджер Алика — Сет Эплбаум, веселый и шумный толстяк. Больше года он приходил с невестой Шеллой Роуч. Вчетвером они жарили сосиски у заднего крыльца и пили «Бадвайзер».

Как-то раз Сет пришел один. На вопрос — «где Шелла?» — ответил:

— Мы расстались. Я был в отчаянии. Затем купил новый автомобиль и поменял жилье. Теперь я счастлив…

Лора и Алик жили хорошо, но экономно. Каждый месяц они выплачивали банку тысячу долларов, плюс — телефон, электричество, газ, развлечения…

Они любили путешествия, мюзиклы и слабые коктейли. Они хотели завести собаку, но передумали. Собака могла испортить ковры. А грабителей в их пригороде не было.

Лора и Алик слышали, что некоторым эмигрантам живется плохо. Вероятно, это были нездоровые люди с паршивым характером. Вроде двоюродного брата. Можно ли считать здоровым человека, который пьет из горлышка?..

Алик и Лора жили дружно. Они жили так хорошо, что Лора иногда восклицала:

— Милый, я такая счастливая!

Они жили так хорошо, что даже придумывали себе маленькие неприятности. Алик, хмурясь, говорил:

— Знаешь, утром я чуть не сбил велосипедиста.

Лора делала испуганные глаза:

— Будь осторожнее. Я прошу тебя — будь осторожнее.

— Не беспокойся, дорогая. У меня прекрасная реакция.

Бывало, что Алик являлся домой с виноватым лицом.

— Ты расстроен, — спрашивала Лора, — в чем дело?

— А ты не будешь сердиться?

— Не знаю. Говори, а то я заплачу.

— Поклянись, что не будешь сердиться.

— Говори. Скажи мне всю правду!

— Только не сердись, дорогая. Я виноват. Я купил тебе итальянские сапожки.

— Ненормальный! Мы же договорились, что будем экономить! Покажи…

— Мне страшно захотелось. И цвет оригинальный. Такой, коричневый… Ты не сердишься? Поклянись, что не сердишься!..

По воскресеньям Алик и Лора долго завтракали, беседовали, курили. Иногда Лора читала вслух русскую газету. Проблемы, волновавшие эмигрантов, казались им надуманными.

— Разве трудно, — говорила Лора, — получить американскую специальность?

— Действительно, — соглашался Алик, — ты права. Единственная проблема — вырваться из русского гетто…

В это утро Алик и Лора долго завтракали. Потом ходили в магазин. Потом смотрели телевизор. Потом уснули на веранде.

А когда проснулись, Лора начала таинственно улыбаться.

Алик притворно нахмурился:

— В чем дело?

— А ты не рассердишься? Поклянись, что не будешь сердиться.

— Что случилось?.. Ну хорошо, клянусь.

— Я купила билеты на «Грека Зорбу». Ужасно дорогие. Мне их уступила Айрин Берд. У Айрин заболела дочка… Ты не сердишься?

— Вообще-то я собирался покрасить гараж. Но если тебе хочется…

— Мне ужасно хочется.

— Начало в восемь? Значит, надо переодеваться и ехать.

— Милый, я такая счастливая!..

Минут через сорок они уже ехали по хайвею.

Алик вел машину легко и уверенно. В правой его руке дымилась сигарета. Лора устроилась на заднем сиденье.

Они миновали кладбище, парк и, не доезжая моста, свернули влево.

Над крышами вспыхивала и гасла реклама «Филипп Моррис». Из бьюика в первом ряду доносились звуки транзистора.

Был тот особый час, когда еще светло, но фонари уже зажжены. Стены пакгаузов были темнее неба. Огни реклам светили прерывисто и неровно.

Алик повернулся к жене:

— Мы поедем короткой дорогой, через тоннель. Затем — под эстакадой и мимо виадука. Около церкви еще раз свернем налево. А потом вдоль реки до самого Манхэттена.

— Поезжай, как считаешь нужным, — сказала Лора.

— Хорошо, что ты купила билеты, — продолжал Алик, — я очень рад. Мы не должны превращаться в обывателей. Завтра же выпишу какой-нибудь солидный журнал.

— В котором поменьше рекламы. А то я расстраиваюсь. Знаешь, что меня раздражает в Америке? Здесь всегда есть такое, что не по карману даже состоятельным людям. Даже если имеешь шестьдесят тысяч в год.

— О'кей! Значит, надо иметь восемьдесят, девяносто. Не беспокойся, мы к этому идем. Крис и Барни меня очень ценят.

— Я тоже на хорошем счету. Иза все чаще приглашает меня на ланч. В сентябре подарила мне духи. Вернее, одеколон.

— Цена не имеет значения. Дело в принципе…

— Она меня ценит.

— Не сомневаюсь… Мы, кажется, проехали тоннель. Ты не обратила внимания?

— Я об этом не думала.

— О'кей, направление верное. Потратим лишних три минуты.

— Будь повнимательнее…

К этому времени стемнело. Огни реклам светили назойливее и ярче. Теперь Алик и Лора двигались пустынными улицами. Тротуары были завалены мусором. Около магазинов было развешано дешевое тряпье. Возле баров толпились подозрительные личности. В основном чернокожие и латиноамериканцы.

Лора почувствовала себя неуютно. Ей больше не хотелось в театр. Ей хотелось быть дома и смотреть телевизор. Ей хотелось пить коктейль и слушать музыку. И тут она расслышала:

— Неужели мы заехали в Гарлем?

— Не может быть!

— Боюсь, что это так. Только что мы ехали по Ленокс. Впереди — Сто двадцать первая улица. Мы чуть выше Центрального парка. Посмотри вокруг, атмосфера говорит за себя.

— Надо спросить дорогу у полицейского.

— Боюсь, что здесь нет полицейских.

— О, Господи!

— Не волнуйся. Все будет хорошо. Не так уж страшен Гарлем, как его изображают. Смотри, вон женщина с ребенком…

Они поехали дальше. Им попадалось все больше разрушенных домов. Пустые квадраты окон были наполнены темнотой.

У стен валялись бродяги. На перекрестках толпились группы чернокожих, едва различимых во мраке. Вопли транзисторов заглушали человеческую речь.

Алик еще раз свернул налево и затормозил:

— Кажется, мы заехали в тупик. Видишь, какие-то доски. Надо выйти и спросить дорогу.

— Спроси, не выходя из машины.

— Это невозможно. Черные изъясняются на отвратительном жаргоне. На расстоянии их очень трудно понять.

— Подзови одного из них сюда.

— Это может показаться им оскорбительным.

Алик вылез из машины. Потом сказал:

— Запрись на всякий случай изнутри.

— Я боюсь.

— Не бойся. Я ведь могу договориться с кем угодно. Хулиганы меня всегда уважали.

— Возвращайся скорее…

Впереди раскинулась строительная площадка. Компрессор был накрыт брезентом. За фанерными щитами темнела глубокая яма. На краю сидело трое или четверо оборванцев. Чуть ближе к машине, около покосившейся неоновой вывески «Гросери», стояли еще двое. Один — гигант в морской фуражке. На плечах у другого было что-то вроде одеяла. Запах марихуаны ощущался в десяти шагах.

Алик подошел к ним, дружески улыбаясь:

— Приятный вечер, друзья. Не так ли? Хочу спросить, как мне выбраться отсюда?

Из-под одеяла донеслось:

— Как ты попал сюда, белый человек?

— Мы с женой заблудились, потеряли дорогу… Черный или белый, какая разница?

Тут заговорил гигант в фуражке:

— Черное лицо и белое лицо — вот какая разница! Черное лицо и белая душа. Белое лицо и черная душа. Я черный, хоть и моюсь, а ты белый, даже если в грязи…

— Все люди — братья, — неуверенно заметил Алик.

— Нет, — возразили из-под одеяла, — есть черные, есть белые. Мы, черные, люди души. У нас песни души. У белых нет души. У белых только мысли, мысли, мысли…

— Я ведь только спросил дорогу. Мы заблудились, понимаете?

Гигант отхлебнул из фляжки. Потом сказал:

— Убирайся! А то начнется ветер, сдует шляпу!

Алик машинально пригладил волосы.

Гигант передал фляжку соседу. Тот отхлебнул и сказал:

— Может, этот тип из полиции?

Гигант ответил:

— Полиции здесь нечего делать. Полиция здесь — я, Фэтти Трукса.

— Князь-генерал Неговия-Шерман, — представился тип с одеялом.

Гигант спросил:

— Ты не уходишь, белый человек? Хочешь, чтобы я показал тебе дорогу в Манхэттен? Иди сюда, я покажу тебе дорогу.

Алик, как загипнотизированный, шагнул вперед. Ему показалось, что гигант возится с молнией на куртке. Затем в руке его что-то блеснуло. Может быть, короткая дубинка. Или кусок резинового шланга. И тут, неожиданно, Алик все понял. Черный бандит, улыбаясь, взмахивал своей отвратительной плотью.

Алик начал пятиться к машине. Его не преследовали. Из-под одеяла доносился смех. Черный гигант напевал и приплясывал…

Через две секунды Алик был в машине. Без единого слова он дал задний ход. Лора глядела на мужа с испугом.

Возле бензоколонки Алик развернулся.

— Едем домой, — сказал он, — пожалуйста. Обратную дорогу я вроде бы помню. Мы ехали правильно. Я сделал только один неверный поворот.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного. Хорошо, что я сдержался. Хорошо, что не избил этого типа.

— В чем дело? Тебя оскорбили? Что он тебе сделал? Надо вызвать полицию…

— Это бесполезно. Ничего особенного… Один чернокожий бандит… Даже не знаю, как тебе сказать… Короче, он показал мне свой член…

Лора тихо вскрикнула. Заговорила лишь через две минуты:

— Зачем он это сделал? Что он хотел этим сказать?

— Не знаю. Продемонстрировал, и все.

— Мне это неприятно!

— А мне, думаешь, приятно?

— Не знаю… Я в ужасе…

Алик тронул жену за плечо:

— Ты сердишься?

— Просто мне неприятно. Мне отвратительно. Мне все отвратительно и противно!..

Лора заплакала. Алик вспоминал дорогу и не мог отвлечься. Он сказал:

— В следующий раз захвачу кухонный тесак.

— Ты намерен часто здесь бывать? — рыдая, спросила Лора.

Минут через десять они выехали на шоссе. Еще через полчаса были дома. Алик хотел выпить чаю, но Лора приняла димедрол и

заснула. Алик посмотрел телевизор и лег на веранде.

К утру все было почти забыто. Алик и Лора вновь были счастливы.

— В театр, — говорила Лора, — можно и не ходить.

— Особенно при наличии кабельного телевидения, — соглашался Алик…

А двоюродного брата год спустя чуть не задушили проволокой в метро. Причем в одном из лучших районов города.

На улице и дома

Моя жена сказала:

— И еще звонил Габович. У него есть дело. Обещал зайти.

— Я знаю. Наверное, хочет дрель попросить. Мне говорили, он купил стеллаж…

Габович был моим соседом и коллегой. Вернее, не совсем коллегой — он был филологом. Работал над сенсационной книгой. Называлась она — «Встречи с Ахматовой». И подзаголовок: «Как и почему они не состоялись». Что-то в этом роде…

Я начал зашнуровывать ботинки.

— Ты куда?

— Прогуляюсь. Куплю сигареты.

— А как же Габович?

— Если он меня застанет, это будет долгий разговор. А мне работать надо.

— Когда же ты вернешься?

— Как только он уйдет. Подай мне знак.

— Какой?

— Зажги, допустим, свет в уборной.

— Свет в уборной и так постоянно горит.

— Тогда потуши.

— Лучше я повешу на окно вот эту тряпку.

— Ладно…

Я спустился в холл. Крадучись, проследовал мимо лифта. Вышел на улицу. К этому времени начало темнеть. Кроме того, я перешел через дорогу. Так что Габович не должен был меня заметить.

Я купил пачку «Мальборо». Прогулялся до русского магазина. Взял для мамы газету. Тут же у кассы выпил бутылку «Перье».

Потом меня остановил Давыдов из «Русского слова». Спросил, как дела. Я в ответ поинтересовался:

— Как здоровье Эпштейна?

— Да вот, — отвечает, — собираюсь в больницу ему позвонить. Инфаркт — это, сам понимаешь, не шутки.

— Привет ему, — говорю…

Я вернулся к дому. Белой тряпки не было. А между тем становилось все прохладнее.

Тогда я зашел в «Подмосковье», спросил чашку кофе. Может, думаю, съем что-нибудь.

— Давайте, — говорю, — меню.

— Меню нет.

— То есть как это нет?

— Я вам и так скажу, что есть.

— Я не запомню.

— Запомните. Потому что у нас есть только шашлык.

— Поразительно, — говорю, — я как раз шашлык-то и хотел…

Я поел. Выпил кофе. К этому времени публика собралась, музыка заиграла. Помню, руководитель ансамбля воскликнул:

— Внук Ираклий поздравляет с днем рождения бабушку Натэллу. В ее честь исполняется лирическая песня…

Он выждал паузу и торжествующе договорил:

— Лирическая песня: «Ты еще жива, моя старушка!..»

Я расплатился и вышел на улицу. К этому времени стемнело. Наш шестиэтажный дом массивно выступал из темноты.

Однако тряпки не было.

Между тем я почувствовал холод. Зашел в спортивный магазин напротив фотоателье. Купил себе фуфайку за тридцать долларов. Тут же натянул ее. И лишь тогда заметил спереди эмблему — череп, две берцовые кости плюс шизофреническая надпись: «Ты это прочел? Значит, ты подошел слишком близко!»

Хожу я по улице в этой дегенеративной фуфайке. Приближаюсь к своему дому. Свет в окне горит, а тряпки нет.

Я подошел к автомату. Трубку берет жена. Я говорю:

— Отвечай только «да» или «нет».

— Нет, — сказала моя жена.

— Что — нет?

Молчание.

— Габович у нас?

— Да.

— А ты говоришь — нет… Он уходить не собирается?

— Да.

— Что — да? Да — собирается? Или да — не собирается?

— Я думаю — нет.

— Значит, не собирается?

— Нет.

— Смотри не угощай его.

— Ни в коем случае.

— Про тряпку не забыла?

— Нет…

Я снова прошелся до русского магазина. Встретил Давыдова. Он говорит:

— Ты знаешь новость — Эпштейн скончался. Я только что ему в больницу позвонил. Хотел заехать, навестить, и вот…

— Ужасно, — говорю…

Тут я решил позвонить одной знакомой женщине. Так, ничего особенного. Просто знакомая женщина лет тридцати из соседнего дома. Без мужа.

Порылся в записной книжке. Звоню. Эта самая Нелли мне отвечает:

— А, это ты?! Я думала, забыл меня совсем…

— Можно, — спрашиваю, — зайти?

Тут некоторая пауза возникла. И затем:

— Ты извини, я не одна.

— Ладно, — говорю, — в следующий раз.

В ответ раздается:

— Следующего раза не будет. Между нами все кончено. У тебя жена и дочка. Должна я наконец и о себе подумать?..

И Нелли повесила трубку.

Тут я задумался. Все люди жестоки по-разному. Мужчины, например, грубят и лгут. Изворачиваются, как только могут. Однако даже самый жестокий мужчина не крикнет тебе: «Уходи! Между нами все кончено!..» Что касается женщин, то они произносят все это с легкостью и даже не без удовольствия: «Уходи! Ты мне противен! Не звони мне больше!..»

Сначала они плачут и рыдают. Потом заводят себе другого и кричат: «Уходи!»

Уходи! Да я такого и произнести не в состоянии…

Я взглянул на часы — половина одиннадцатого. Кинотеатры закрыты. Денег практически нет. Дело приближается к ночи.

Окна мои призывно светились. Белая тряпка отсутствовала.

Зато хоть окончательно стемнело. Череп и кости на моей фуфайке перестали выделяться. Да и надпись утратила смысл.

Я снова позвонил домой. И звука еще не произнес, а жена мне твердо отвечает:

— Нет.

— Нет в смысле — да? Габович у нас?

— Да, — слышу.

И думаю — что там у них происходит? Может, какой-то серьезный разговор? Или какое-то важное дело?

Даже чувство ревности во мне зашевелилось.

Вешаю трубку. Звоню Рафаилу, который торгует недвижимостью. Благо живет Рафаил за углом.

— У тебя деньги, — спрашиваю, — есть?

— Допустим, нет. Зато есть виза, мастер-кард, американ экспресс… А что?

— Поедем куда-нибудь.

— В смысле?

— Я не знаю… В Канаду… Или в Бразилию…

— С удовольствием. — отвечает, — но у меня Рита больна. Может, через недельку?

— Через недельку, — говорю, — я уже, пожалуй, дома буду.

— А сейчас ты где?

— Гуляю.

— Ты выпил?

— Это мысль. Брось-ка мне в окошко долларов пятнадцать.

— Я же сказал — денег нет. Завтра будут.

— А до завтра мне под окнами бродить?

— Если хочешь, зайди.

— Лучше сделай мне одолжение. Позвони в «Форест дайнер». Предъяви свою визу. Скажи, чтоб выдали мне дринк. Точнее, два. А деньги я при случае верну.

Я зашел в «Форест дайнер». Опрокинул два бокала рома с пепси-колой. Выкурил сигарету и решительно направился к дому.

Был первый час ночи. Мое окно светилось ярко и гостеприимно. Кстати, свет в уборной был погашен. Может, Габович погасил?..

Я поднялся в лифте на шестой этаж. Достал свой ключ. Дверь отворилась. Габович стоял на пороге. Он был в пальто. Он что-то говорил, жестикулируя и стряхивая пепел. Завидев меня, расплылся в улыбке.

Моя жена сказала:

— Я ему тысячу раз говорила — снимите пальто. А он ни в какую.

— Я же на минутку, — сказал Габович, — мне пора идти. Хотя теперь чего там… Сергей явился — можно поболтать…

Он снял пальто. Затем присел к столу и начал:

— Знаете ли вы, что у меня есть редкостные фотографии Ахматовой?

— Какие фотографии? — спрашиваю.

— Я же сказал — фотографии Ахматовой.

— Какого года?

— Что — какого года?

— Какого года фотографии?

— Ну, семьдесят четвертого. А может, семьдесят шестого. Я не помню.

— Задолго до этого она умерла.

— Ну и что? — спросил Габович.

— Как — ну и что? Так что же запечатлено на этих фотографиях?

— Какая разница? — миролюбиво вставила жена.

— Там запечатлен я, — сказал Габович, — там запечатлен я на могиле Ахматовой.

Когда он направился в уборную, моя жена шепнула:

— Веди себя прилично. Я тебя умоляю. И так все говорят, что у Довлатова совершенно невыносимый характер.

Мы и гинеколог Буданицкий
Из рассказов о минувшем лете

— Ты писатель, — говорит ему Бернович, — вот и опиши, чего я кушаю на сегодняшний день. Причем без комментариев, а только факты. Утром — холодец телячий, лакс, яички, кофе с молоком. На обед — рассольник, голубцы, зефир. На ужин — типа кулебяки, винегрет, сметана, штрудель яблочный… В СССР прочтут и обалдеют. Может, Ленинскую премию дадут за гласность…

Третий год писатель снимает дачу в русской колонии около Монтиселло. Третий год Вениамин Бернович дает ему советы:

— Ты опиши мою Фаину, слышишь? Как говорится, от и до. Причем без комментариев. Вот смотри. В Союзе элементарное комбинэ было проблемой. А здесь? Две шубы я ей купил на сегодняшний день. Четыре кофты с аппликациями. Платьев навалом. Туфель одних штук двадцать пять… Ты же писатель. Так опиши все это барахло. Вывод, например, такой — спасибо капиталистической Америке… А этих комбинаций у нее здесь целый шкаф.

Бернович делает паузу. Лицо его озаряется предчувствием здорового смеха:

— Ты писатель? Вот и догадайся. Что у женщины под юбкой, а у мужчины в голове?

Григорий Борисович смущенно опускает длинные младенческие ресницы.

— Не знаешь? Комбинация! — восклицает Бернович. — Ответ — комбинация! Понял? У женщины под юбкой… У мужчины в голове… Комбинация!

Его жена Фаина тоже наведывается к писателю:

— Так редко удается поговорить с культурным человеком.

Затем Фаина одергивает сарафан и громким шепотом произносит:

— Я вам главное скажу — киноартисты постарели. Баталов, Евстигнеев, Моргунов. Ведь если разобраться, то уехали мы десять лет назад. А Евстигнееву, я думаю, уже и тогда было за сорок. Годы, в общем, идут, люди стареют. Такое у меня ощущение. Может, я не права?

— Почему же, — реагирует Григорий Борисович, — действительно стареют. А годы, в общем-то, идут…

Лето выдалось теплое и солнечное. Даже комары вели себя не очень агрессивно. Бернович и Фаина заходили к писателю все

чаще. Бернович дарил ему только что пойманных, еще холодных маленьких окуней. Фаина неожиданно и решительно мыла ему посуду.

«Демократия, — размышлял он, — не только благо. Это еще и бремя. В Союзе такие люди были частью пейзажа. Я воспринимал их как статистов. Здесь они превратились в равноправных действующих лиц. Впрочем, — спохватывался писатель, — это хороший добрые люди. О них можно, в принципе, написать рассказ…»

Бернович говорил:

— Фаинка — дура. Купи мне, говорит, на сегодняшний день «чероки»…

— Что это?

— «Чероки»? «Чероки» — это тачка. Называется — джип «чероки»… Купи, говорит, «чероки». А я говорю — ты посмотри на свои бюсты. Они же в джипе будут трястись, как это самое… Как последний день… Ну этой?.. Как ее… Помпеи…

Фаина говорила, оставаясь с писателем наедине:

— За мной еще до Вени один кинооператор ухаживал. В Дом искусств мы с ним ходили. Помню, весь тет-а-тет собирался. Ульянов, Яковлев, этот. Как его? Ждигарханян.

Бернович и Фаина часто ссорились. В такие минуты заходили поодиночке.

Фаина говорила:

— Ему лишь бы поддать и в койку. Я к такому отношению не привыкла.

— Сколько лет вы женаты? — интересовался писатель.

— Двадцать пять. А что?

Бернович тоже жаловался:

— Фаинка совсем одичала. Не ходи, говорит мне, в шортах. Ноги у меня, оказывается, слишком полные. А если я такими вот ногами дважды по этапу шел? Тогда что?..

Бернович как-то раз зашел и говорит:

— Писатель, дело есть. Хочу у тебя поселиться.

— Навеки? — поинтересовался Григорий Борисович с юмором и легкой тревогой.

— Нет, до среды включительно.

Бернович понизил голос и свистящим шепотом договорил:

— Фаинка идет по неверной дороге. — И затем еще более доверительно: — Вот ты писатель. Опиши такое дело. Муж зарабатывает бабки. То есть буквально ходит по острию ножа. На триста шестьдесят кусков с довеском плавает в бензине. Два билдинга имеет в Поконо… А жена ему говорит: «Я тебя презираю. Я на сегодняшний день хочу культурному человеку

отдаться…»

Бернович встал и отчеканил:

— Выследить ее хочу на манер КГБ… Ты слушай, в понедельник я уеду. Отгоню машину в рощу, а сам к тебе. И займу у окна наблюдательный пункт. Не возражаешь?..

У Григория Борисовича заметно испортилось настроение. Границы его частной жизни беспощадно нарушались. Какие-то посторонние люди участвовали в его судьбе…

— Не возражаешь?

— Ладно, — сказал писатель, — дело ваше…

И, сославшись на хозяйственные заботы, ушел. В тоске и печали направился к озеру. У самой воды на клетчатом одеяле лежала Фаина. Ее силуэт напоминал географические очертания Конго.

— Дивно, что вы пришли, — сказала Фаина, — взгляните на это облако. Что оно вам напоминает?

— Вас, — ответил писатель.

— Что вы? Я куда полнее. Хотя кушаю, в принципе, мало… Оно напоминает сон.

— Не понял?

— Я говорю, что облако напоминает сон.

— Действительно…

Фаина села, выпрямилась, обхватила руками колени. Заговорила быстро и громко:

— Я одинока, страшно одинока… Что вы стоите?

— Я сижу, — ответил писатель.

И сел на край одеяла.

— Мое замужество было ошибкой. Вениамин примитивен и груб. Кроме того, его скоро посадят. Элементарно посадят. Вы меня слушаете? Я обращаюсь к вам с просьбой. Только вы можете нам помочь.

— Кому это — нам?

— Мне и одному человеку. Есть один человек. Он гинеколог. Его зовут Миша. Вернее — Майкл. Мы знакомы три года. Отношения между нами чисто патологические…

— Платонические, — равнодушно исправил Григорий Борисович.

— Вот именно. Он гинеколог. Пошлостей ему и работе хватает. Поэтому главное для него — чувство…

Григорий Борисович тронул ее руку, шершавую песка:

— Короче, что я должен сделать?

Фаина заговорила еще решительнее:

— В четыре тридцать Миша прилетает из Детройта. В пять он будет на Терминал-стейшен. В пять двадцать уходит автобус на

Монтиселло. Прибывает, если не ошибаюсь, в семь тридцать две. Там его и нужно встретить.

— Простите, но я без машины.

— Возьмите такси. Деньги верну.

— Когда он прилетает?

— Послезавтра.

— Послезавтра — это воскресенье?

— Да. Его надо встретить и разместить до понедельника…

Григорий Борисович задумался. «И что это богатые гинекологи так упорно пренебрегают отелями? У меня ведь даже телевизора нет. К тому же я рано встаю. Печатаю на машинке…»

При мысли о работе у него заныло сердце. Кошмар потерянного времени угрюмо замаячил впереди.

— У меня телевизора нет, — сказал писатель.

— И чудно. Вы будете разговаривать. Мишка такой интеллектуал, это страшное дело. У него сплошные афоризмы в голове…

У писателя окончательно испортилось настроение. Контуры жизни становились все более расплывчатыми. Миша, засада, самолет из Детройта… Гинеколог, сплошные афоризмы… Что происходит? Где выход из этого страшного тупика? Как получилось, что его личная, уединенная, нормальная жизнь столь дико запуталась?..

Над озером, естественно, кружились чайки. С противоположного берега доносился голос Мизиано. По шоссе неслись автомобили, тормозя возле разъезда. Лес на горизонте даже в солнечный день казался мрачным и запущенным.

Писатель очнулся. Почувствовал на лице своем широкую блуждающую улыбку. Испытал неожиданно острое сочувствие ходу жизни в целом. И вдруг отчетливо, даже звонко, произнес нечто такое, что удивило его самого.

— Главное, успокойтесь. Все будет нормально. Я сделаю все от меня зависящее…

И дальше, уже обращаясь к себе:

«Как же это будет называться? Допустим — «Мы и гинеколог…» Надо заменить фамилию… Ну, скажем: «Мы и гинеколог Буданицкий».

Старый петух, запеченный в глине

Моя жена проснулась и спрашивает:

— Кто может звонить в четыре утра? Даже интересно… Ты не спишь?

Я сказал:

— Ничего интересного.

Раньше, еще в Союзе, лет двадцать назад, это могли быть знакомые пьяницы. Помню, дисквалифицированный боксер Литовченко кричал мне:

— Еду! Жди! Готовь закуску!

Я вяло сопротивлялся:

— Сейчас ночь.

— Вечно у тебя ночь, когда я звоню.

— Да и выпивки нет.

В ответ раздавалось:

— Должен тебя разочаровать: есть, и в неограниченном количестве…

Так было в Союзе.

Я встал, прикрывшись газетой. Пол был теплый. Подошел к телефону. Слышу, говорят по-английски:

— Это полиция. С вами желает беседовать…

— Кто? — не понял я.

— Мистер Страхуил, — еще раз, более отчетливо выговорил полицейский.

И тут же донеслась российская скороговорка:

— Я дико извиняюсь, гражданин начальник. Страхуил вас беспокоит. Не помните? Восемьдесят девятая статья, часть первая. Без применения технических средств.

Я все еще не мог сосредоточиться. Слышу:

— Шестой лагпункт, двенадцатая бригада, расконвоированный по кличке Страхуил.

— О, Господи, — сказал я.

Страхуил повысил голос;

— Все, начальник, испекся. Припухаю у ментов в районе Двадцать первой и Бродвея. Надо срочно выкуп заплатить. А у меня тут, кроме вас, ни одного солидного знакомого. Шплинта зарезали. Володя-Рваный лечится от алкоголизма.

— Что произошло? — спрашиваю.

— Да ничего особенного. В Сирсе повязали, гады. С мантелем в руках.

— Что значит — с мантелем?

— Я мантель примерял, такой каракулевый, дамский.

Тут я наконец все понял:

— Ты шубу украл?

— Какой — украл?! Пытался. А то сразу — украл. Пытался и украл — вещи разные. Это как день и ночь.

Я задумался — что происходит? Одиннадцать лет я живу в Америке. Шесть книг по-английски издал. С Джоном Апдайком лично знаком. Дача у меня на сотом выезде. Дочка — менеджер рок-группы «Хэви метал». Младший сын фактически не говорит по-русски. И вдруг среди ночи звонит какой-то полузабытый ленинградский уголовник. Из какой-то давней, фантастической, почти нереальной жизни. Просит за него выкуп уплатить — четыреста долларов.

— Иначе, — говорит, — в тюрьму отправят, к черномазым. Удовольствие ниже среднего.

Я вынес телефон на кухню. Потянулся за сигаретами. Слышу:

— Гражданин начальник, захватите четыреста пятьдесят для ровного счета. Надо же отметить это дело, выпить по такому случаю.

Тут я немного опомнился, спрашиваю:

— Который час, ты знаешь?

— По московскому времени скоро двенадцать.

— При чем тут московское время?!

Но полицейский мне уже адрес диктует:

— Двадцать один, ноль три, второй этаж, сержант Барлей.

И голос Страхуила:

— Гражданин начальник, выручайте!

Моя жена спросила:

— Что такое?

Я даже отвечать сначала не хотел. Ну что я ей скажу? Звонит, мол, уголовник Страхуил. Просит внести за него четыреста долларов. Бред какой-то.

— Кто это? — спрашивает жена.

— Так, — говорю, — знакомый артист.

— Что у него случилось?

— Денег просит.

— Вечно тебе звонят какие-то подонки. Почему тебе Солженицын не звонит? Или Барышников?

— Видимо, — говорю, — у Барышникова денег хватает.

Я оделся, вывел из гаража машину. Еду и думаю: ведь рассказать кому-то — не поверят. Это только с русскими бывает. Уехал человек в Америку. Шесть раз переезжал с одной квартиры на другую. Стал домовладельцем. Все забыл. Все былые телефоны, имена, названия ленинградских улиц. И вдруг — звонок.

Мне один знакомый еще в Ленинграде рассказывал. Пристали к нему два хулигана в электричке. Выкинули его на ходу из тамбура. Скатился он по насыпи в канаву. Потерял сознание, естественно. Очнулся ночью, под дождем. Приподнялся и слышит:

— Вы случайно не знаете, кто изобрел граммофон?

Сидит мужик под зонтиком возле канавы. Кроссворд разгадывает. Да еще и мужик-то знакомый, как выяснилось, по офицерским сборам…

Еду через мост из Квинса. И вдруг начинается траффик. Причем солидный. Мили на две вперед — сплошные красные огни.

Это только в Нью-Йорке может случиться. Траффик в пять часов утра. Как он возник, из-за чего?

Минут сорок я ехал от Квинсборо-плаза до фуникулера на углу Шестидесятой и Второй. И только за мостом я понял, что случилось. Там возле бывшей железнодорожной кассы есть захламленная лужайка. Необитаемый клочок земли между двумя автострадами. Треугольная зона неуязвимости в потоке машин. Сотни раз я проезжал здесь, и все было нормально. А тут вдруг появился одинокий негр-саксофонист. Он был почти невидим в темноте. Играл самозабвенно, но плохо. Подбородком двигал, как боксер на ринге. Плоская кепка лежала у его ног.

Все тормозили, проезжая мимо. Я тоже слегка притормозил, опустив боковое стекло. Бросил в кепку несколько монет. Какая-то из них откатилась в сторону. Музыкант прихлопнул ее ногой. Затем одарил меня целым каскадом пронзительных режущих импровизаций. Могу добавить, что играл он «Рондо» Шостаковича в нелепой джазовой переработке.

Минут через сорок я был в полицейском управлении, напоминавшем римский Форум. Среди массивных псевдоионических колонн бродили живописно одетые люди. Кого-то провели в наручниках. Две ярко накрашенные и при этом ужасно бледные женщины кокетничали с молодым офицером в черной форме. Цыганское семейство расположилось на кафельном полу. Через зал проходили какие-то девицы с бумагами в руках. Наверху, у основания застекленного купола, были выбиты латинские изречения. Одно из них я с легкостью прочел:

«Бог — это справедливость».

И задумался: при такой биографии, как моя, чужой язык уже не составляет тайны.

Ко мне обратился полицейский с бакенбардами:

— Чем могу служить?

Он направил меня в канцелярию. Там я уплатил четыреста

долларов, расписался и ответил на пять-шесть вопросов:

— Мистер Страхуил — ваш друг?

Я кивнул.

— Что вы можете сказать о нем?

— Только хорошее.

— Где вы познакомились?

— В тюрьме.

— Когда, за что и где вы отбывали наказание?

— Я был надзирателем.

— Извините?

— Я был охранником, коллега.

— Называйте меня — сержант Барлей. За что и где мистер Страхуил отбывал наказание?

— Под Сыктывкаром.

— Пожалуйста?

— Под Сыктывкаром.

— Это в Польше?

— Нет.

— Тогда в России?

— Совершенно верно.

— За что мистер Страхуил отбывал наказание?

— В общем-то за правду.

— Что это значит?

— За антикоммунистическую деятельность.

— Ограбление, убийство?

— Не думаю.

— Вчера он пытался украсть женскую шубу.

— Полагаю, что это недоразумение. Зачем ему женская шуба?

— Вот и я так думаю — зачем?

Наступила пауза. Сержант перебирал какие-то бумаги. Мне захотелось спросить:

— Скажите, я обязан был давать эти показания?

— Нет. А теперь распишитесь.

Потом меня завели в какой-то бункер. Через минуту появился Страхуил, здоровый, улыбающийся, в джинсовом костюме. Ринулся ко мне, горячо обнял и даже хотел поцеловать. При этом сильно оцарапал мне шею наручниками. Тут вышел офицер с ключами.

— Пока, — сказал он.

Мой друг выбежал на улицу, потирая запястья. Мне показалось, что я уже наблюдал эту сцену в каком-то фильме.

Я взглянул на часы — половина девятого. В ланчонете на углу жарили бекон.

— Зайдем? — спрашиваю.

— Не сюда.

— Ты же хотел позавтракать…

Становилось людно. Негры и латиноамериканцы толкали перед собой железные рамы на колесиках, увешанные одеждой. Переулки в этой части Манхэттена были забиты грузовиками. Как всегда, звучала однообразная ритмичная музыка. Из люков шел пар.

Страхуил толкнул вертящиеся двери. Я увидел вывеску — «Парижский шик». Столы были покрыты линолеумом. Над кассой гудел допотопный вентилятор. На прилавке возле блюда с фруктами дремал огромный кот.

Я сказал:

— Здесь недорого.

— Не имеет значения, — ответил Страхуил.

И тут же добавил:

— Кстати, где деньги?

Я протянул ему несколько бумажек. Подошел официант. Мы заказали два куриных супа, фаршированные ножки и шашлык. Все из курицы. Страхуил поинтересовался:

— А выпивка у них есть?

Я перебил его:

— Как ты сюда попал?

— В смысле — на Запад? Была у меня одна еврейка из валютного ресторана. Сошлись мы, помню, на день конституции. Утром встали, познакомились как следует, оказывается — ей грозит трояк. И у меня как раз доследование шло. Уже подписку взяли о невыезде. Значит, надо ехать и как можно дальше. Записались и уехали, примазав органы двумя кусками. А в Риме эта Беба завела себе какого-то шахматиста еврейской национальности. Уж здесь-то он вроде бы на фига ей понадобился? Видимо, любовь. А любовь — это для меня святое, гражданин начальник. Короче, дал ей на прощанье в глаз и отвалил.

Официант принес нам еду. Заиграла невидимая музыка. Страхуил нетерпеливо приподнялся:

— Я на минуту отлучусь. Надо заправиться.

— В смысле?

— В смысле горючего. Магазин за углом.

— Не стоит, — говорю, — рано.

— Что значит — рано? Мы же не в республике Коми. Здесь, гражданин начальник, всегда есть место подвигу.

— Это лишнее.

— Лишнее? — приподнял брови Страхуил. — Все у тебя лишнее, начальник! Кто знает, что в жизни главное, что лишнее.

Вот я расскажу тебе историю про одного мужика. Был он королем шмена на Лиговке. И его наконец повязали. Оттягивает король что положено, возвращается домой. А у него три дочери в большом порядке. Упакованы, как сестры Федоровы. Старшая ему и говорит: «Батя, живи у меня…»

Все это стало мне надоедать. Я понял, что должен защититься от надвигающегося хаоса. Он преследовал меня в Союзе, я уехал. Теперь он настиг меня в Америке. Хаос и абсурд.

Страхуил продолжает:

— Она ему: «Живи, говорит, у меня, батя. Вот тебе койка. Вот тебе любая бацилла из холодильника: колбаска, шпроты, разные ессентуки…»

Тут я прервал его:

— Откуда ты свалился на мою голову?

Страхуил не обиделся:

— Вот принесу горючего, бухнем и разберемся.

— Еще раз говорю — не стоит.

Друг мой отложил вилку, задумался. Лицо его озарилось светом глубокой выстраданной правоты. Я услышал:

— По-твоему, жизнь — что? Она — калейдоскоп. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня ты начальник, завтра я. Вспомни Чинья-Ворык. Вспомни автомобильную мойку на Конюшенной.

Господи, да я и без него все помнил. Прожитая жизнь только кажется бесконечной, воспоминания длятся одну секунду. Конечно, я все помнил.

1965 год, ноябрь. Лагерь усиленного режима на станции Чинья-Ворык. Я военнослужащий, контролер штрафного изолятора.

Праздники ощущаются даже в лагерной зоне. У заключенных — выстиранные робы, начищенные дегтем сапоги. Над канцелярией вяло полощется широкий бледно-розовый транспарант:

«Через добросовестный труд — к социализму!»

Я сижу на вахте у знакомого инструктора. Он чинит мою бляху с напайкой. Над его столом — репродукция, вырванная, очевидно, из поваренной книги: жареный цыпленок, декорированный яблоками.

Звонит телефон:

— Срочно зайдите к лейтенанту Токарю.

Инструктор одалживает мне свой ремень. Я нехотя иду к зданию администрации.

— Есть дело, — говорит Токарь, — собирайтесь. Берите конвоира. Выводите бригаду из двух человек на отдельную точку. Хуриев вас проинструктирует.

— Что еще за дело?! — говорю. — Сегодня праздник!

Токарь приподнялся, одернул гимнастерку и сказал:

— Канализационная труба этого не знала, взяла и лопнула.

Он помолчал и добавил:

— Я ей от души сочувствую, потому что и мое терпение лопается. Ясно? Действуйте…

Через полчаса мы были на вахте: караульный и двое зэков-сантехников. Естественно, у всех дурное настроение — праздник. Хотя работы там было часа на два.

— В три будем дома, — сказал я одному из зэков.

Тот в ответ:

— Ну и что хорошего?

Второй добавил:

— Не дома, а в колонии усиленного режима — 1314/6.

Мы вышли из зоны, спустились к подстанции. Караульный сел на ящик из-под огурцов. Зэки разожгли костер, покурили, взяли лопаты.

День был морозный, солнечный. Дым над зоной поднимался вертикально. В поселке за ручьем играла музыка:

Ты сегодня мне принес
Не букет из алых роз,
Не тюльпаны и не лилии…

Так прошло около часа. Раза два зэки устраивали перекур. Впрочем, работали они добросовестно. Хотя бы судя по тому, что разделись.

Зэки были тощие, мрачноватые, примерно одного роста. Такие не запоминаются. Правда, один из них без конца ходил мочиться. Он-то вдруг и подошел ко мне:

— Хорошая погода, гражданин начальник.

Я спросил:

— Что надо?

Зэк подошел еще ближе — так, что караульный выкрикнул:

— Стой на месте!

Зэк остановился, доверительно подмигнул мне и сказал:

— Начальник, давай его схаваем ради праздника.

— Кого?

— Да петуха.

— Какого еще петуха?

— А вон, смотри.

Действительно, возле ручья гулял петух. Наверное, забрел сюда из Чинья-Ворыка.

— Вы что, — говорю, — совсем обнаглели?!

— В чем дело, начальник?

— Петуха не трогать. Продолжать работу.

— Начальник!

— Ни в коем случае.

Зэк молитвенно сложил на груди руки. Заговорил драматической лагерной скороговоркой:

— Начальник, кто узнает?! Я его уделаю в момент. Исполню как врага народа. А если что, ты не в курсе.

— Еще бы, — говорю.

— Он даже пикнуть не успеет. Вот и будет праздник.

— Особенно, — говорю, — для петуха.

После этого я смягчился и голосом лейтенанта Токаря выговорил:

— Действуйте.

Зэк свистнул, подзывая напарника. Я помахал караульному, чтобы не стрелял. Сантехники побежали к ручью.

Петух оказался неумным. Повел себя как участник троцкистско-зиновьевского блока. То есть простодушно зашагал навстречу собственной гибели. Ему бы удрать, так нет: развинченной мультипликационной походкой он двинулся в атаку. Головою поводил, как знаменитый саксофонист Чевычелов.

Через минуту все было кончено. Я огляделся — свидетелей нет.

Зэки вырыли ямку. Ощипывать петуха не стали. Просто вымазали его глиной и забросали сучьями. А сверху разожгли костер. Так он и спекся.

Караульный счел нужным объяснить мне:

— Глина вместе с перьями отвалится.

Я кивнул, дав понять, что считаю эту информацию ценной.

Зэк подошел и говорит мне:

— Отпусти в поселок.

— За водкой, что ли?

— Почему за водкой? За портвейном. А то сразу — за водкой… Водка и портвейн — большая разница. Это как день и ночь.

— Ни в коем случае.

— Начальник!

— Категорически исключено.

— Я через пять минут вернусь.

— Нельзя.

Я знал, что говорю. Культпоход в поселок мог закончиться большим скандалом. А может, и кровопролитием. Достаточно было встретить патрульных.

— Это лишнее, — повторил я твердым голосом.

— Лишнее? — переспросил он, сощурившись. — Что значит лишнее?! Кто его знает, что в жизни главное и что лишнее? Может, портвейн — это как раз самое главное…

— Кончай, — говорю, — философствовать. В поселок я тебя не отпущу.

— Начальник!

— Это лишний разговор.

Зэк презрительно оглядел меня и спрашивает:

— Хочешь, расскажу тебе историю про одного старого шмаровоза?

— Ну.

— Был он королем у себя на Лиговке, и вот его повязали. Оттянул король пятерку, возвращается домой. А у него три дочери живут отдельно, чуть ли не за космонавтов вышедши. Старшая дочь говорит: «Живи у меня, батя. Будет тебе пайка клёвая, одежа, телевизор…» Король ей: «Телевизора мне не хватало! Я хочу портвейна и желательно «Таврического»!» А дочка ему: «Портвейн — это лишнее, батя!» Тут он расстроился, поехал к другой. Средняя дочь говорит: «Вот тебе раскладушка, журнал «Огонек», папиросы…»

Тут я перебил его:

— Хватит. Жрите своего петуха и кончайте работу.

Короче, ограничились мы петухом. Кстати, я его так и не пробовал. Не смог. Одно дело — курица из магазина. И совсем другое — птица, которой свернули шею у тебя на глазах. Да и соли, откровенно говоря, не было.

В конце зэк еще раз спросил:

— Не отпустишь в поселок?

— Нет.

— Ну, смотри. Жизнь — она длинная. Сегодня ты начальник, завтра я.

Вот, думаю, нахальная физиономия. Мало ему петуха. Я ведь и так, между прочим, рискую.

Однако поздно было ссориться. К этому времени стемнело. Надо было забросать снегом костер и возвращаться.

История не кончается.

Прошло двенадцать лет. За это время я демобилизовался и стал писателем-нонконформистом. Разумеется, меня не печатали. Тем более, что начал я с кошмарных лагерных рассказов.

Короче, я все больше пил и все меньше соблюдал осторожность.

В результате мои сочинения попали на Запад. Некоторые были там опубликованы. А я был уволен с последнего места работы. С полуразрушенной баржи, которую добросовестно

охранял.

Дальнейшие события излагаю отрывисто, как бы пунктиром. Мелкое диссидентство. Встречи с перепуганными западными журналистами. Обвинения в притонодержательстве и тунеядстве. (Участковый Баенко говорил мне: «Из твоего дома выбегали полуодетые женщины». Я требовал логики: «Если у меня притон, они должны были наоборот — вбегать».) Затем — какие-то неясные побои в милиции. (Я бы воспринял их как случайность, не повторись они дважды.) И наконец — Каляевский спецприемник, бывшая тюрьма на Шпалерной.

Подробности описывать не желаю. Коротко скажу — в тюрьме мне не понравилось. Курить запрещено. Читать запрещено. Питание отвратительное. Спишь на голых досках. Но самое жуткое, что я там испытал, — это было даже не хамство, а публичные физиологические отправления. Железная лохань посреди камеры внушала мне неподдельный ужас. Так выяснилось, что я — интеллигент.

Тюремная обслуга вела себя очень агрессивно. Гораздо агрессивнее, чем в лагере. И даже медики отличались странной жестокостью.

Помню, заболел один мой сокамерник. Мы вызвали фельдшера. Фельдшер спросил:

— Что у тебя болит?

— Живот и голова.

Фельдшер достал из кармана таблетку. Разломил ее пополам:

— Это тебе от живота. А это от головы.

И прибавил:

— Да смотри, не перепутай…

Шесть дней меня продержали в камере. Затем вывели на работу. Мне достался гараж Управления милиции на Конюшенной площади. Нужно было вырыть довольно большую яму. Так называемую мойку для автомашин.

В гараж мы с конвоиром явились пешком. Он представил меня трем работягам, которые загорали на листах фанеры. Он сказал:

— Присматривайте за этим декадентом.

Конвоир ушел. Сказал, что явится за мной к пяти.

Посреди двора лежали тени от церковных куполов. То и дело мои работяги вставали, переносили фанерные листы на солнце. Я спросил у них:

— Так что мне делать?

Тот, что повыше, откликнулся:

— Закуривай.

И кинул мне пачку «Беломора».

Второй, ухмыльнувшись, сказал:

— Правда, что от работы люди…?

— Что? — я не расслышал.

— Глохнут! — заорал он.

Оба долго, радостно посмеивались.

Так прошло около часа. В основном мы курили и беседовали, сидя на досках. Того, что был постарше, звали Генычем. Высокого — Мишаней.

Затем наступил обеденный перерыв. Работяги достали свои бутерброды. Я встал и отошел. Высокий окликнул меня:

— Але! Раздолбай Иваньга! Иди питайся.

И протянул мне куриную ногу.

Это был высокий тощий человек с усами. Кисть его руки была украшена зеленоватой надписью: «Второй раз бью по трупу!»

Его лицо показалось мне знакомым. Да и он как-то странно на меня поглядывал. Затем вдруг поинтересовался:

— Ты в армии служил?

— Естественно.

— В охране?

— Ну.

— Не в Устьвымлаге?

— В Устьвымлаге.

— Чинья-Ворык помнишь?

— Ну, допустим.

— А как мы петуха уделали?

Он встал и чопорно представился:

— Потомственный зэка Володин. Кличка — Страхуил. Последняя судимость — кража.

— Предпоследняя, — исправил Геныч, — не зарекайся…

Конечно, я все помнил. Память наша — как забор, что возле Щербаковских бань. Чуть ли не каждый старается похабную надпись оставить.

Страхуил между тем возбудился:

— Помнишь, я говорил тебе, начальник: жизнь — она калейдоскоп. Сегодня ты меня охраняешь, завтра я буду в дамках. Сегодня я кайфую, завтра ты мне делаешь примочку.

— Короче, — вмешался Геныч.

— Короче, ты меня за водкой не пустил? А я тебя…

Он выждал паузу и закричал:

— Пускаю!

И затем:

— Вот шесть рублей с мелочью. Магазин за троллейбусной остановкой.

Я сказал:

— Ребята, это лишнее. Нас у вахты проверяют.

— Лишнее? — его глаза округлились. — Знаешь, что лишнее в жизни, начальник? Алименты, хронический трипак и уголовный кодекс… Вот я тебе расскажу историю про одного домушника с Лиговки. Дотягивает он свой четвертной…

— Кончай, — прервал его Геныч, — магазин закроют.

— Сейчас полтретьего.

— А может, у тебя история на пять часов?!

Короче, я пошел за водкой. А потом ходил один из работяг. И мы все говорили о жизни. А потом явился конвоир, и его тоже угостили водкой. Он сначала руками замахал:

— Я на службе!

А затем говорит:

— Мне — полную.

Геныч долил:

— Сам люблю полненьких.

Конвоир опьянел, и я сказал ему:

— Жизнь — калейдоскоп. Сегодня ты начальник, завтра я.

А конвоир вдруг заплакал и говорит:

— Я курсы бульдозеристов чуть не окончил. Отчислен из-за сотрясения мозог…

А потом работяги вызвали такси, и Геныч объяснил шоферу:

— Улица Каляева, шесть.

А шофер говорит:

— Куда их, в тюрягу, что ли?

Геныч обиделся за нас:

— Не в тюрягу, а в пенитенциарное учреждение, мудила!

И мы с конвоиром всю дорогу пели:

Ты сегодня мне принес
Не букет из алых роз,
Не тюльпаны и не лилии…

Вентилятор гонял по комнате тяжелый запах лука. Кот приподнял голову и медленно ушел. В очередной раз стихла музыка.

Я уже не слушал:

— Едет тот пахан в законе к младшей дочери. Она ему: «Располагайся, батя! Вот тебе диван, места общего пользования, напротив — красный уголок». Король ей говорит: «Не хочу я ессентуков, раскладушек и вашего общего пользования! Хочу портвейна белого, желательно «Таврического», ясно?!» А шкура в ответ: «Это, мол, лишнее!» Он ей внушает: «Да лишнего-то мне как раз и надо, суки вы позорные!» А девки ни в какую. Знаешь,

чем все это кончилось?

— Ну?

Страхуил выдержал паузу и голосом опытного рассказчика закончил:

— Дочь пошла за ряженкой, а он в сортире на ее колготках удавился.

Страхуил умолк. Как-то странно поморщился. В глазах его блеснули слезы. Я спросил:

— Ты чего?

— Пахана, — отвечает, — жалко.

Мне стало все это решительно надоедать. Я приподнялся, говорю:

— Ну, мне пора.

Мне и в самом деле надо было готовить очередную передачу.

— Прощай, начальник.

— Будь здоров.

— Еще увидимся.

— Теперь уже не сомневаюсь.

— Я в смысле денег.

— Не спеши.

Я натянул плащ, толкнул вертящиеся двери. Заглянул еще раз с улицы в окно.

Около стола вертелся кот. Мой приятель кормил его из своей тарелки.

НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ

Мы начинали в эпоху застоя

За последние годы в советской, да и в эмигрантской прессе выработались определенные стереотипы и клише — «казарменный социализм», «административно-командная система» и в более общем смысле — «эпоха застоя». Сразу же представляется нечто мрачное, беспросветное, лишенное каких бы то ни было светлых оттенков. Но жизнь, как известно, и в том числе — культурная жизнь страны, шире и многозначнее любого, самого выразительного стереотипа. Так что и в эпоху застоя, на которую пришлось начало моих литературных занятий, встречал я людей, достойных любви, внимания и благодарности.

После войны в Ленинграде было создано Центральное литературное объединение при Союзе писателей, которое возглавляли два человека — прозаик Леонид Николаевич Рахманов и моя любимая тетка Маргарита Степановна Довлатова, в те годы — старший редактор издательства «Молодая гвардия». Причем основная идеологическая нагрузка ложилась именно на нее, поскольку Рахманов был беспартийным, а моя тетка — давним и более-менее убежденным членом партии. Рахманов был известен как очень культурный, благородный и доброжелательный человек, а о своей близкой родственнице мне говорить куда сложнее. Я знаю, что она была из числа так называемых «прогрессивных редакторов», старалась удержаться в своей работе на грани дозволенной правды, восхищалась Пастернаком и Ахматовой, дружила с Зощенко, который в свою очередь относился к ней весьма дружески, о чем свидетельствуют уважительные и даже ласковые автографы на его книгах. Могу добавить, что одно из писем Михаила Зощенко к Сталину было написано моей теткой. Зощенко встретился с ней и сказал: «Маро, напишите за меня письмо Сталину, а то я совершенно не знаю вашей терминологии».

В заседаниях ЛИТО при Союзе писателей я, будучи хоть и развитым, но все-таки младенцем, не участвовал, но иногда присутствовал на них просто потому, что заканчивались они нередко в квартире моей тетки, у которой и я был частым гостем. Могу сказать, что заседания ЛИТО проходили в абсолютно неформальной обстановке, с чаем, а то и с вином, которое, впрочем, еще не употреблялось тогда в столь безбрежном количестве, как в пору моего литературного становления. Из этого ЛИТО вышло несколько таких заметных писателей, как Виктор Голявкин, Эдуард Шим или Глеб Горышин, один кумир советского мещанства — Валентин Пикуль и два моих любимых

автора — прозаик Виктор Конецкий и драматург Александр Володин.

Ни моя тетка, ни Леонид Рахманов не были влиятельными людьми, так что, пробивая в печать труды своих воспитанников, они обращались за помощью и содействием к Вере Пановой или Юрию Герману. Оба маститых писателя, и особенно Юрий Павлович Герман, уделяли много времени и сил возне с литературной молодежью. Кстати, на одном из собраний в Доме писателя на улице Воинова, 18, Вера Панова публично объявила начинающего в ту пору талантливого писателя Рида Грачева — гением. Судьба Грачева сложилась драматически, но и сейчас я с восхищением перечитываю его старые рассказы.

Позднее, когда моя тетка и Леонид Рахманов отошли от дел, Центральное ЛИТО возглавил Геннадий Гор, писатель огромной культуры, владелец одной из лучших в Ленинграде библиотек. По складу своему это был человек довольно робкий, раз и навсегда запуганный сталинскими репрессиями, так что протекции он оказывать не умел, но его духовное и культурное влияние на своих, так сказать, воспитанников было очень значительным. Достаточно сказать, что из его литобъединения вышел самый, быть может, яркий писатель-интеллектуал наших дней — Андрей Битов. В этом же ЛИТО, в очень насыщенной культурной атмосфере формировались такие писатели, как Борис Бахтин и Валерий Попов.

Сам я успел побывать лишь на двух или трех заседаниях, которые вел Геннадий Самойлович Гор, а затем его сменил Израиль Моисеевич Меттер, которому суждено было сыграть в моей жизни очень существенную роль. Он сказал мне то, чего я не слышал даже от любимой тетки, а именно: что я с некоторым правом взялся за перо, что у меня есть данные, что из меня может выработаться профессиональный литератор, что жизненные неурядицы, связанные с этим занятием, не имеют абсолютно никакого значения и что литература лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный человек.

Меттер был личностью весьма независимой даже в не очень подходящие для этого годы. Могу напомнить, что именно он в единственном числе аплодировал Михаилу Зощенко в одном из залов Ленинградского Дома писателя, когда тот был подвергнут очередному публичному поруганию. А когда лет десять спустя в Союз писателей принимали группу молодых ленинградских поэтов и все наперебой поздравляли их с этим событием, Меттер поднялся на сцену и четко выговорил одну-единственную фразу: «Помните, что Борис Пастернак, умирая, не был членом Союза советских писателей».

Меттера в качестве руководителя Центрального ЛИТО сменил Виктор Семенович Бакинский, и нам опять-таки повезло, потому что это был чуткий и очень доброжелательный человек, в присутствии которого мы вели себя совершенно открыто, говорили бог знает что, и в частности — бешено разругали два рассказа самого Бакинского, которые он имел неосторожность нам прочесть.

Недавно я узнал, что Виктор Бакинский скончался и, как утверждают его близкие, последнее, что он написал в жизни, было письмо ко мне в Нью-Йорк.

Не следует думать, что вся прогрессивная молодежь была сосредоточена в Центральном ЛИТО, это не так. Иосиф Бродский, скажем, никогда не входил ни в одно объединение, а между тем его судьбой в разное время занимались Эткинд, Юрий Герман, Панова, Адмони и поэтесса Наталья Грудинина.

Единственным, пожалуй, настоящим диссидентом среди ленинградских писателей, причастных к воспитанию молодежи, был Кирилл Владимирович Успенский, который умудрился получить лагерный срок в самый разгар хрущевского либерализма, а по выходе на свободу нес в Союзе писателей такую антисоветчину, которую мне ни до, ни после этого не доводилось слышать в публичных местах. Вспоминаю, как мы с теткой встретили Кирилла Успенского в многолюдном ресторане на улице Воинова и она укоризненно сказала ему: «Кирилл, почему вы такой небритый?» — в ответ на что Успенский громогласно воскликнул: «Советская власть не заслужила, чтобы я брился!»

Еще когда Успенский сидел в Крестах, к нему на свидание пришел Юрий Герман в надежде как-то повлиять на взгляды и умонастроения подследственного, но Кирилл Владимирович с таким напором стал пропагандировать гостя, что Юрий Павлович вышел через час из тюрьмы с раз и навсегда пошатнувшейся верой в коммунистические идеалы.

Под вызывающей формой поведения К. В. Успенского скрывалась глубокая убежденность в том, что литература в наших условиях — это опасное поприще, требующее от человека стойкости и мужества. Не случайно вокруг Успенского сплотились в основном те литераторы, которые выказали в дальнейшем свою абсолютную неспособность к компромиссам, — Бродский, Уфлянд, Найман, Рейн, Еремин.

В Доме культуры «Трудовых резервов» вел ЛИТО Давид Яковлевич Дар, который никому из своих воспитанников не помогал пробиваться в печать и, наоборот, внушал им, что литература — занятие подпольное, глубоко личное, требующее от

художника особого психического склада. Из всех наших литературных наставников Дар был единственным убежденным модернистом, хотя в конце концов из его объединения вышли не только такие экстравагантные поэты, как Виктор Соснора, но и такие традиционные, как Глеб Горбовский. В качестве мужа Пановой Дар располагал значительными денежными средствами, и его помощь молодым авторам выражалась еще и в самых простых житейских формах: он легко одалживал деньги кому попало, дарил нуждающимся пишущие машинки, а то и брюки, и у него дома всегда стоял коньяк для тех, кому необходимо было в этот день опохмелиться. Когда я спрашивал Дара, что помогает ему в преклонном возрасте сохранять такую неистовую энергию, он, пыхтя изогнутой трубкой, отвечал: «Коньяк и табак».

Самым серьезным и добросовестным воспитателем литературной смены, самым настойчивым поборником изощренного художественного качества был руководитель ЛИТО при Горном институте, все еще недооцененный литератор Глеб Сергеевич Семенов, поэтика которого близка к формальным достижениям Кушнера и Давида Самойлова, хотя Семенов был старше их обоих. И все-таки прославился он не стихами, а умением работать с молодежью, терпеливо и последовательно, шаг за шагом, невзирая ни на какую идеологическую конъюнктуру, превращать вздорных молодых людей с определенными амбициями и неопределенными способностями — в профессиональных поэтов.

Оглядываясь на свое безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться. Это во-первых, а во-вторых, мне повезло еще и в том смысле, что на заре моих, теперь уже долгих литературных занятий рядом со мной были «официальные писатели эпохи застоя», которые верили в меня, тратили на меня время, внушали мне веру в свои силы и которые сейчас, во всяком случае те из них, которые живы, читают мои рассказы в советских журналах и пишут мне письма, заканчивающиеся словами: «Все это я говорил тебе, дураку, тридцать лет назад».

Литература продолжается
После конференции в Лос-Анжелесе [2]

…А значит никто никого не обидел, литература продолжается…

М. Зощенко

МНОЙ ОВЛАДЕЛО БЕСПОКОЙСТВО

На конференции я оказался случайно. Меня пригласил юморист Эмиль Дрейцер. Показательно, что сам Дрейцер участником конференции не был. То есть имела место неизбежная в русской литературе доля абсурда.

Сначала ехать не хотелось. Я вообще передвигаюсь неохотно. Летаю — тем более… Потом начались загадочные разговоры:

— Ты едешь в Калифорнию? Не едешь? Зря… Ожидается грандиозный скандал. Возможно, будут жертвы…

— Скандал? — говорю.

— Конечно! Янов выступает против Солженицына. Цветков против Максимова. Лимонов против мировой цивилизации…

В общем, закипели страсти. В обычном русском духе. Русский человек обыкновенный гвоздь вколачивает, и то с надрывом…

Кого-то пригласили. Кого-то не пригласили. Кто-то изъявил согласие. Кто-то наотрез отказался. Кто-то сначала безумно хотел, а затем передумал. И наоборот, кто-то сперва решительно отказался, а потом безумно захотел…

Все шло нормально. Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или наоборот — Пентагоном. Как водится…

Я решил — поеду. Из чистого снобизма. Посмотреть на живого Лимонова.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР, ИЛИ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

В аэропорту имени Кеннеди я заметил Перельмана. Перельман — редактор нашего лучшего журнала «Время и мы».

Перельман — человек загадочный. И журнал у него загадочный. Сами посудите. Проза ужасная. Стихи чудовищные. Литературная критика отсутствует вообще. А журнал все-таки лучший. Загадка…

Я спросил Перельмана:

— Как у вас с языком?

— Неплохо, — отчеканил Перельман и развернул американскую газету.

А я сел читать журнал «Время и мы»…

В Лос-Анджелесе нас поджидал молодой человек. Предложил сесть в машину.

Сели, поехали. Сначала ехали молча. Я молчал, потому что не знаю языка. Молчал и завидовал Перельману. А Перельман между тем затеял с юношей интеллектуальную беседу.

Перельман небрежно спрашивал:

— Лос-Анджелес из э биг сити?

— Ес, сэр, — находчиво реагировал молодой человек.

Во дает! — завидовал я Перельману.

Когда молчание становилось неловким, Перельман задавал очередной вопрос:

— Калифорния из э биг стейт?

— Ес, сэр, — не терялся юноша.

Я удивлялся компетентности Перельмана и его безупречному оксфордскому выговору.

Так мы ехали до самого отеля. Юноша затормозил, вылез из машины, распахнул дверцу.

Перед расставанием ему был задан наиболее дискуссионный вопрос:

— Америка из э биг кантри? — просил Перельман.

— Ес, сэр, — ответил юноша.

Затем окинул Перельмана тяжелым взглядом и уехал.

ДЕЛО СИНЯВСКОГО

Всем участникам конференции раздали симпатичные программки. В них был указан порядок мероприятий, сообщались адреса и телефоны. Все дни я что-то записывал на полях.

И вот теперь перелистываю эти желтоватые странички…

Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым. Похожим на деревенского мужичка. Неловким и даже смешным.

На кафедре он заметно преображается. Говорит уверенно и спокойно. Видимо, потому, что у него мысли… Ему хорошо…

Говорят, его жена большая стерва.

В Париже рассказывают такой анекдот. Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке. Продавец спрашивает:

— Вам завернуть или сразу полетите?..

Кажется, анекдот придумала сама Марья Васильевна. Алешковский клянется, что не он. А больше некому…

Короче, мне она понравилась. Разумеется, у нее есть что-то мужское в характере. Есть заметная готовность к отпору. Есть саркастическое остроумие.

Без этого в эмиграции не проживешь — загрызут.

Все ждали, что Андрей Донатович будет критиковать Максимова. Ожидания не подтвердились. Доклад Синявского затрагивал лишь принципиальные вопросы.

Хорошо сказал поэт Дмитрий Бобышев:

— Я жил в Ленинграде и печатался на Западе. И меня не трогали. Всем это казалось странным и непонятным. Но я-то знал, в чем дело. Знал, почему меня не трогают. Потому что за меня когда-то отсидели Даниэль и Синявский…

ДЕЗЕРТИР ЛИМОНОВ

Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем.

Мне кажется, это его личное дело.

Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третировал Лимонова. Употребляя, например, такие сардонические формулировки:

«…Господин, который не желает быть русским писателем…»

Так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому!

Вспоминается такой исторический случай. Приближался день рождения Сталина. Если не ошибаюсь, семидесятилетний юбилей. Были приглашены наиболее видные советские граждане. Писатели, ученые, артисты. В том числе — и академик Капица.

И вот дерзкий академик Капица сказал одному близкому человеку:

— Я к Сталину не пойду!

Близкий человек оказался подлецом. Дерзость Капицы получила огласку. Возмутительную фразу процитировали Сталину. Все были уверены, что Капица приговорен.

А Сталин подумал, подумал и говорит:

— Да и черт с ним!..

И даже не расстрелял академика Капицу.

Так ведь это Сталин! Может быть, и нам быть чуточку терпимее?

Как будто «русский писатель» — высочайшее моральное достижение. А человек, пренебрегший этим званием, — сатана и

монстр.

В СССР около двух тысяч русских писателей. Есть среди них отчаянные проходимцы. Все они между третьей и четвертой рюмкой любят повторять:

— Я — русский писатель!

Грешным делом, и мне случалось выкрикивать нечто подобное. Между тринадцатой и четырнадцатой…

Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело.

И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается.

Бабель, например, какой писатель? Допустим, еврейский. Поскольку был евреем из Одессы.

Но Вениамин Каверин тоже еврей. Правда, из Харькова[3]. И Даниил Гранин — еврей. И мерзавец Чаковский еврей…

Допустим, в рассказах Бабеля фигурируют евреи. Но в рассказах Купера фигурируют индейцы. В рассказах Уэллса — марсиане. В рассказах Сеттона-Томпсона — орлы, лисицы и бараны… Разве Уэллс — марсианский писатель?

Лимонов, конечно, русский писатель. Плохой или хороший — это уже другой вопрос. Хочет или не хочет Лимонов быть русским — малосущественно. И рассердились на Лимонова зря.

Я думаю, это проявление советских инстинктов. Покидаешь Россию — значит, изменник. Не стоит так горячиться…

Лимонов — талантливый человек, современный русский нигилист. Эдичка Лимонова — прямой базаровский отпрыск. Порождение бескрылого, хамского, удушающего материализма.

Нечто подобное было как в России, так и на Западе. Был Арцыбашев. Был Генри Миллер. Был Луи Фердинанд Селин. Кажется, еще жив великий Уильям Берроуз…

Лимонов не превзошел Генри Миллера. (А кто превзошел?)

Удивительно, что с особым жаром критиковал Лимонова — Алешковский. Оба изображают жизнь в довольно мрачных тонах. Оба не гнушаются самыми красочными выражениями. Оба — талантливые представители «черного» жанра.

В общем, налицо конфликт ужасного с еще более чудовищным…

Лимонова на конференции ругали все. А между тем роман его читают. Видимо, талант — большое дело. Потому что редко встречается. Моральная устойчивость встречается значительно чаще. Вызывая интерес, главным образом, у родни…

До начала конференции меня раз сто предупреждали:

— Главное — не обижайте Коржавина!

— Почему я должен его обижать?! Я люблю стихи Коржавина, ценю его публицистику. Мне импонирует его прямота…

— Коржавин — человек очаровательный. Но он человек резкий. Наверное, Коржавин сам вас обидит.

— Почему же именно меня?

— Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение.

— Зачем же вы меня предупреждаете? Вы его предупредите…

— Если Коржавин вас обидит, вы не реагируйте. Потому что Коржавин — ранимый.

— Позвольте, но я тоже ранимый! И Лимонов ранимый. И Алешковский. Все писатели ранимые!

— Коржавин — особенно! Так что не реагируйте…

Выступление Коржавина продолжалось шесть минут. В первой же фразе Коржавин обидел трехсот участников заседания. Трехсот американских славистов.

Он сказал:

— Вообще-то я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей…

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского.

Затем обидел целый город Ленинград, сказав:

— Бобышев — талантливый поэт, хоть и ленинградец…

Нам[4] тоже досталось. Коржавин произнес следующее:

— Была в старину такая газета — «Копейка». Однажды ее редактора Пастухова спросили: «Какого направления придерживается ваша газета?» Пастухов ответил: «Кормимся, батюшка, кормимся…».

Действительно, была такая история. И рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели… Вот что он хотел сказать.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

— Пусть Нема извинится. Пусть извинится как следует. А то я знаю Нему. Нема извиняется так: «Ты, конечно, извини. Но все же ты — говно!»

Коржавин минуту безмолствовал. Затем нахмурился и выговорил:

— Пусть Довлатов меня извинит. Хоть он меня и разочаровал.

В ОКОПАХ «КОНТИНЕНТА», ИЛИ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Гражданская биография Виктора Некрасова — парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасброд Никита Хрущев выгонял из партии. Заурядный Брежнев выдворил из СССР.

Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось. Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает.

Многие считают Некрасова легкомысленным. В юности он якобы не знал про сталинские лагеря. Не догадывался о судьбе Мандельштама и Цветаевой.

Это, конечно, зря. Тем не менее, вспомните, как обстояли дела с информацией. Да еще в провинциальном Киеве.

И вообще, не слишком ли мы требовательны? Вот бы часть нашей требовательности применить к себе!

Некрасов воевал. Некрасов писал замечательные книги. В расцвете славы и благополучия — прозрел.

После этого действовал с исключительным мужеством. Всегда поддерживал Солженицына. Помогал огромному количеству людей. И это — будучи классиком советской литературы. Будучи вознесен, обласкан и увенчан…

На конференции он был представлен в двух лицах. (Слово «ипостаси» — ненавижу!) Как независимый писатель и как заместитель Максимова.

Литературная судьба Некрасова тоже примечательна. Сначала он писал романы. Хорошие и прогрессивные книги. На уровне Каверина и Тендрякова.

Потом написал знаменитые «легкомысленные» очерки. С этого все и началось.

Мне очень нравится его теперешняя проза. Мне кажется, эти легкомысленные записки более органичны для Некрасова. Неотделимы от его бесконечно привлекательной личности…

В Лос-Анджелесе Некрасов представлял редакцию «Континента». Формально он является заместителем главного редактора.

В действительности же Некрасов — свадебный генерал. Фигура несколько декоративная. Наподобие английской королевы.

Возможно, он и читает рукописи. Рекомендует лучшие в печать. Красиво председательствует на совещаниях. Мирит главного редактора с обиженными писателями (Виктор Платонович так себя и называет «облезлый голубь мира»).

Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки.

Распоряжения отдает Максимов.

А вот отдуваться пришлось Некрасову.

«Континент» — журнал влиятельный и солидный. Более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги — бесспорны. Претензии к нему — естественны. Предъявлять их можно и нужно. Но — по адресу.

Некрасов приехал, чтобы увидеться с друзьями. Обнять того же Нему Коржавина. Немного выпить с Алешковским. Короче, прибыл с мирными намерениями. К скандалу не готовился.

И тут восстало молодежное крыло — Цветков, Лимонов, Боков.

— Почему «Континент» исказил стихи Цветкова?

— Почему Горбаневская обругала Лимонова?

— Почему Максимов дает интервью в собственном журнале?..

И Некрасов, мне кажется, растерялся. К этому, повторяю, он не был готов…

Я не говорю, что журнал Максимова — вне критики. Что претензии Цветкова, Лимонова, Бокова — несостоятельны. Я сам имею претензии к Максимову. Все правильно… Я только хочу спросить — при чем здесь Некрасов?

Да еще — втроем на одного. Да еще — такие молодые, напористые, бравые ребята!

Если можно так выразиться — это было неспортивно.

Максимов отсутствовал. Человек он сильный, резкий и находчивый. Сиди он за круглым столом, не знаю, чем бы кончилась дискуссия. Как минимум, большим скандалом…

После этого заседания Некрасов ходил грустный. И мне было чуточку стыдно за всех нас…

КУМИРЫ НАШЕЙ ЮНОСТИ

После конференции я давал Гладилину интервью для «Либерти». Гладилин спросил:

— Что вас особенно поразило?

Я ответил:

— Встреча с Аксеновым и Гладилиным.

Я не льстил и не притворялся.

Аксенов и Гладилин были кумирами нашей юности. Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским. С тенденцией к звездным маршрутам…

Мы и жить-то старались похожим образом. Ездили в Таллинн, увлекались джазом…

Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями.

Такое ощущение не повторяется.

Потом были другие кумиры. Синявский… Наконец, Солженицын… Но это уже касалось взрослых людей. Синявский был недосягаем. Солженицын — тем более.

Аксенов и Гладилин были нашими писателями. Сейчас они переменились. Гладилина увлекают сатирические фантасмагории. Аксенов написал выдающийся роман по законам джазовой игры…

Юность неповторима… Я с удовольствием произношу эту банальность.

У теперешней молодежи вроде бы нет кумиров. Даже не знаю, хорошо это или плохо…

Нам было хорошо.

ТРУСЦОЙ ПРОТИВ ВЕТРА

Александр Янов — давно оппонент Солженицына. Солженицын раза два обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное. Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Солженицына.

Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он — учтив, элегантен, имеет слабость к белым пиджакам. У него детские ресницы и спортивная фигура.

По утрам он бегает трусцой. Даже — находясь в командировке. Даже — наутро после банкета в ресторане «Моне»…

Янов прочитал свой доклад. Он проделал это с воодушевлением. В состоянии громадного душевного подъема.

Солженицын отсутствовал.

Мне трудно дать оценку соображениям Янова. Для этого я недостаточно компетентен. Тем более воздержусь от критики идей Солженицына.

Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями. Вернее — единственным ощущением.

Реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым — невозможна. Поскольку они говорят на разных языках.

Дело не в том, что Солженицын — русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник.

И не в том, что Янов — добровольно эмигрировавший еврей, агностик, либерал.

Пропасть между ними значительно шире.

Представьте себе такой диалог. Некто утверждает:

— Мне кажется, Чехов выше Довлатова!

А в ответ раздается:

— Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост — шесть футов и четыре дюйма…

Оба правы. Хоть и говорят на разных языках…

Ромашка, например, для крестьянина — сорняк, а для влюбленного — талмуд.

Солженицын — гениальный художник, взывающий к человеческому сердцу.

Янов — блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу…

Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да еще — после банкета в ресторане «Моне»…

СВЯЩЕННЫЙ БЕСПОРЯДОК

В ходе конференции определились три дискуссионных поля.

1. «Континент» и другие печатные органы.

2. Бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодежь.

3. Новаторы и архаисты.

В каждом отдельном случае царила невероятная путаница.

Комментировать журнальную междоусобицу — бессмысленно. Слава Богу, органов достаточно. Полемистов хватает. Читатели оценят, вникнут, разберутся…

Мотивы второго дискуссионного тура — из области психологии.

Аксенов и Гладилин были знаменитыми советскими писателями. Хорошо зарабатывали. Блистали в лучах народной славы. Приехали на Запад. Тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств. Распахнулись двери университетских аудиторий…

А мы? Там изнемогали в безвестности. И тут последний хрен без соли доедаем!

Так где же справедливость?

Справедливость имеется.

Бродский опубликовал в Союзе четыре стихотворения. Высылался как тунеядец. Бедствовал невообразимо. Лично я раза три покупал ему анальгин…

А здесь? Профессор, гений, баловень фортуны!..

Соколова перевели на шесть языков. Кто его знал в Союзе?

Алешковский разрастается с невероятной быстротой.

Да и Лимонов не последний человек…

С новаторами и архаистами дело еще более запутанное. Казалось бы, если постарше, то архаист. А молодые устремляются

в творческий поиск.

Отчасти так и есть. Некрасову за шестьдесят, и работает он по старинке. Боков модернист, и возраст у него для этого подходящий.

Но спрашивается, как быть с Аксеновым? Дело идет к пятидесяти — модерн крепчает.

Лимонов юн, механика же у него вполне традиционная.

Мне кажется, так и должно быть.

Должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантасмагорическая путаница!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Вероятно, я должен закончить примерно так:

В ходе конференции появилось ощущение литературной среды, чувство многообразного и противоречивого единства. Реальное представление о своих возможностях…

Так и закончу.

Прощай, Калифорния! Прощай, город ангелов, хотя ангелов я что-то не заметил.

Прощайте, старые друзья и новые знакомые.

Прощай, рыжая девушка, запретившая оглашать свое имя.

Прощай… Я чуть не сказал — прощай, литература! Литература продолжается. И еще неизвестно, куда она тебя заведет…

Переводные картинки

ТЕ ЖЕ И «МАДОННА» БОТТИЧЕЛЛИ

Апрель 1980 года. Я сижу на террасе дешевого ресторана в Манхэттене. Жду свою переводчицу Энн Фридмен.

Познакомил нас Иосиф Бродский. Точнее, организовал нашу встречу. Мы договорились, что я буду ждать ее на углу Лексингтон и Сорок шестой.

Энн предупредила:

— У меня в руках будет коричневая сумочка.

— А меня часто путают с небоскребом «Утюг».

Я пришел около семи. Заказал стакан пепси-колы. Вынул сигареты.

Мимо двигалась нескончаемая толпа. В ней явно преобладали молодые женщины с коричневыми сумочками. Хорошо, меня заранее предупредили, что Энн Фридмен красавица. Иосиф сказал: «Похожа на «Мадонну» Боттичелли».

Мировую живопись я знаю слабо. Точнее говоря, не знаю совершенно. Но имя Боттичелли, естественно, слышал. Ассоциаций не вызывает. Так мне казалось.

И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу. Настолько, что окликнул. Наверное, Боттичелли скромно таился в моем подсознании. И когда потребовалось, благополучно выплыл.

Действительно, Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что особенного? А в жизни это попадается так редко.

Затем состоялся примерно такой диалог:

— Хэлло! Я Энн Фридмен.

— Очень приятно. Я тоже…

Видно, я здорово растерялся. Неужели все это происходит со мной — Америка, литература, юная блондинка?! Около тридцати долларов в кармане. Точнее, двадцать восемь пятьдесят…

Мы шли по Сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Приблизился к стойке:

— Джин энд тоник.

— Сколько?

— Четыре двойных?!

— Вы кого-нибудь ждете? — поинтересовался бармен.

— Да, — ответила моя новая знакомая, — скоро явится вся баскетбольная команда.

Я выпил, заказал еще.

Энн Фридмен молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Наша бы давно уже высказалась:

— Закусывай. А то совсем хорош!

Кстати, в американском баре и закусывать-то нечем.

Молчит и улыбается.

Надо ли говорить о том, что я сразу решил жениться? Забыв обо всем на свете. В том числе и о любимой жене. Что может быть естественнее и разумнее — жениться на собственной переводчице?!

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги у меня, скажем, быстро кончаются, одиночество — никогда.

А девушка все молчала. Пока я не спросил о чем-то. Пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете ли, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр — и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунда — и окунешься в пустоту. Тут важно сразу же остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало и имя — Стивен. Стивен Диксон — муж или жених. Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская, почти младенческая улыбка. (Как это они все друг друга находят?!)

Ладно, думаю. Ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, если блондинка исчезает с хорошим человеком.

МЫ — СОАВТОРЫ

Родители Энн Фридмен — польские евреи. Отец два года провел в советском лагере. Более или менее свободно говорит по-русски. Но с акцентом, разумеется. Однако вот что удивительно: когда Грегори переходит на лагерную «феню», акцент без следа исчезает. И матом он ругается без всякого акцента. По-моему, тут есть над чем задуматься.

Энн Фридмен родилась уже в Нью-Йорке Занималась на славистском отделении. Написала потрясающую диссертацию о Чехове.

И вот ей рекомендовали заняться моими сочинениями. Энн позвонила, и я выслал ей тяжелую бандероль. Затем она надолго исчезла. Месяца через два позвонила снова и говорит:

— Скоро будет готов черновой вариант. Я пришлю вам копию.

— Зачем? Я же не читаю по-английски.

— Разве вас не интересует перевод? Вы сможете показать его

знакомым.

(Как будто мои знакомые — Хемингуэй и Фолкнер.)

Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Вряд ли перевод окажется хорошим. Ведь герои моих рассказов — зеки, фарцовщики, спившаяся богема. Все они разговаривают на диком жаргоне. Большую часть всего этого даже моя жена не понимает. Так что же говорить о молодой интеллигентной американке? Как, например, можно перевести такое выражение — «Игруля с Бомбиловки»? Или — «Фиговатый конь породы»? И так далее.

И вообще, молодая блондинка, к тому же хорошая переводчица — это слишком. Так не бывает.

Энн Фридмен сдержанно прибавила:

— Мне кажется, перевод хороший.

Я думал, что ослышался. Нет, именно так и сказала — «перевод хороший». То есть небрежно похвалила собственную работу.

Впоследствии я убедился — так принято. Скромность в Америке не является первоочередной добродетелью. А ложная скромность — тем более. Даже в анкетах при трудоустройстве есть графа: «Как вы оцениваете собственные профессиональные качества?»

Энн Фридмен сказала — перевод хороший. И перевод действительно оказался хорошим. Мои друзья, прекрасно знающие английский, говорили:

— Читая ее переводы, мы слышим твой голос.

Я у Бродского спросил по телефону:

— Вы мой рассказ читали?

— Читал.

— А перевод читали?

— Читал.

— Ну и как?

— Перевод замечательный.

Затем он то ли уточнил, то ли исправился:

— Адекватный.

Позже я буду дружить с очаровательной неглупой Лайзой Такер. Которая также изъявит желание заняться моими рассказами. И я спрошу ее:

— Вы что-то уже переводили с русского?

— Да, — ответит Лайза, — я перевела стихи Цветаевой.

И добавит:

— В моих переводах они звучат лучше, чем в оригинале.

Вот этого я уже перенести не смогу. И дружба наша, к сожалению, прервется.

Я сказал Энн Фридмен:

— Мы должны обсудить некоторые финансовые проблемы. Платить вам я не в состоянии.

— Да, знаю. Мне говорили.

— Если хотите, будем соавторами. В случае успеха гонорары делим пополам.

Предложение было нахальное. Какие уж там гонорары! Если даже Набоков был вынужден преподавать.

Энн согласилась. Кстати, это был единственный трезвый и дальновидный финансовый шаг, который я предпринял в Америке.

ЧТО ТАКОЕ «НЬЮЙОРКЕР»?

И вот она звонит:

— Я отослала перевод Иосифу. Он передал рукопись в «Ньюйоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан.

Я спросил:

— «Ньюйоркер» — это газета? Или журнал?

Барышня даже растерялась от моего невежества. С таким же успехом я мог бы поинтересоваться: «Нью-Йорк это, простите, город иди деревня?»

Слышу:

— «Ньюйоркер» — самый престижный журнал в Америке. Они заплатят вам несколько тысяч.

— Ого!

Откровенно говоря, я даже не слишком удивился. Наверное, потому, что слишком долго всего этого ждал.

МАРМЕЛАДОВАЯ РОЗА

Линда Ашер — заведующая отделом прозы в «Ньюйоркере». Она же с восьмидесятого года мой постоянный редактор.

Линда позвонила мне в конце июля. Пригласила на ланч в ресторан «Алгонкуин», угол Сорок третьей и Шестой. Я почему-то сразу догадался, что это шикарный ресторан.

Звоню Энн Фридмен, спрашиваю:

— Как я должен быть одет?

Слышу:

— Ведь ты же писатель, артист. Ты можешь одеваться как угодно. А днем — тем более. Так что не обязательно являться в смокинге. Можно и в обыкновенном светлом костюме.

Неплохо, думаю. У меня и пиджака-то человеческого нет. Есть свитер, вязаный жилет и джинсовая куртка.

Звоню поэту Льву Халифу. Благо мы с ним одинаковой комплекции. Халиф мне уступает голубой пиджак, который ему дали в синагоге. И галстук цвета вянущей настурции.

Как я и предполагал, «Алгонкуин» — самое дорогое место в этой части Нью-Йорка. Интерьер в старинном духе: бронзовые канделябры, гобелены, мельхиоровая посуда. Линда Ашер — маленькая стройная женщина, пренебрегающая косметикой. Она, естественно, не говорит по-русски. Ваш покорный слуга, что менее естественно, так и не овладел английским. При этом как-то мы с ней все же объясняемся. Каким-то непонятным образом беседуем между собой. Может быть, дело в категорической американской установке на понимание? Здесь так: говорите ясно, медленно, отчетливо — и вас поймут. На каком бы языке вы ни изъяснялись. Мама в супермаркете то и дело заговаривает по-грузински. Просто от смущения и растерянности. И ее понимают.

Я с испугом листаю меню. Читаю его, как Тору, справа налево. Шестнадцать долларов — «Потроха а-ля Канн». Восемнадцать девяносто «Фрикасе эскарго с шампиньонами». Двадцать четыре пятьдесят — какое-то «Филе Россини». «Лобстер по-генуэзски» — цена фантастическая. Прямо так и сказано — «цена фантастическая». Это у них юмор такой. Хватает совести шутить.

Листаю меню. Стараюсь угадать какое-нибудь технически простое блюдо. Что-нибудь туго оформленное, сухое и легко поддающееся дроблению. Вроде биточков.

Останавливаюсь на каком-то загадочном «Соте эрб де Прованс». Мне приносят нечто тягучее, рыхлое и бесформенное. Но с мармеладовой розочкой в центре. Коснешься вилкой — пружинит. Тронешь ножом — выделяется жир. Тот самый, который вскоре окажется на голубом пиджаке Льва Халифа.

От ужаса я теряю способность есть. То есть буквально не могу разжать зубы. Как бультерьер с его ужасной мертвой хваткой.

Сижу, курю, пью минеральную воду. Коньяк, джин, виски отвергаю, причем с негодованием. В кармане у меня новенькая стодолларовая бумажка. Я слышу, как она шуршит. А моя дама чуть ли не шестой коктейль себе заказывает. А я, стало быть, из экономии пью «Виши».

За спиной у меня какой-то господин во фраке. Зажигалку мне протягивает, воду наливает. Одет, естественно, лучше меня. И лицо на зависть благородное. Такое ощущение, что Гарвард закончил.

От всего этого меня едва не парализовало. Слышу, Линда

говорит о моих рассказах, которые «Ньюйоркер» вроде бы хочет и дальше печатать. Я в ответ киваю. Достаю из пачки сигарету. Тянусь к бутылке «Виши». Господин делает шаг вперед. Щелкает зажигалкой. Наливает воду. Так… Русский писатель близок к обмороку.

Тут я не выдержал и сказал:

— Линда! Позвольте вам кое-что объяснить. Я в чужой стране. Фактически не говорю по-английски. Не привык к дорогим ресторанам. На мне пиджак Халифа… Халиф — это не фирма, а мой товарищ. Не перебивайте!.. Линда! Я чувствую себя идиотом. Вам это понятно?

Линда Ашер выпила коктейль, подумала и говорит с обидой:

— Все это даже американке понятно.

Затем принесли счет. Я к нему честно рванулся. Однако Линда решительно вытащила из моих неплотно сжатых пальцев коричневую бумажку, увенчанную цифрой — 209,14. Мягко и настойчиво произнесла:

— Это слишком дорогой ресторан. Вам он не по карману. И мне он не по карману. А это значит — платить должен мой босс, хозяин «Ньюйоркера».

И Линда небрежно предъявила официанту какой-то маленький глянцевый документ.

ПРОДАЕТСЯ РОМАН

К осени в моей жизни появилась новая таинственная инстанция. Мне позвонил литературный агент Эндрю Уайли. Он просто сказал:

— Вы мне нравитесь. Я хотел бы заняться вашими делами.

Вероятно, я должен кое-что объяснить. Кто такой литературный агент? Чем он вообще занимается?

Пушкин написал когда-то:

«Не продается вдохновенье…»

Однако тут же добавил:

«Но можно рукопись продать…»

Вот и произошло на Западе разделение труда. Вдохновение — удел писателей. Продажей рукописи занимается литературный агент.

На Западе максимально усовершенствована и отработана косметика человеческих связей. Американцы страшно не любят оказываться в щекотливых, двойственных, неловких положениях. И, естественно, не желают ставить в такие положения других. А теперь представьте себе — вы автор романа. Вы напряженно

беседуете с редактором. Хвастаете лестными отзывами о себе. Выпячиваете достоинства своей книги. Требуете максимальных гонораров. То есть ведете себя унизительным и неприличньм образом.

Я знаю, что один советский поэт начинал разговоры в издательствах:

— В силу моего таланта, осмелюсь думать — немалого…

А теперь представьте себе, что редактора не интересует ваша книга. Значит, он должен говорить вам что-то неприятное. Он пытается вести себя уклончиво, лавирует. Произносит какие-то дикие фразы:

«Я-то рад бы, а вот что подумают наверху?!»

У вас портится настроение. Вы испытываете досаду. Вам хочется убить редактора. Или как минимум поджечь его бороду.

И тогда на залитый светом просцениум выходит литературный агент. Промежуточное звено между редактором и автором.

Вам неловко расхваливать собственное произведение? Агент это проделывает с величайшей беззастенчивостью. Вам неловко доставать из портфеля хвалебные рецензии? Агент цитирует их наизусть. Вам неловко требовать солидного гонорара? Агент будет торговаться из-за каждого доллара.

Кроме того, агент хорошо ориентируется в издательском мире. Он знает, что и куда предлагать. В числе его разнообразных дарований — способность открывать таланты.

Он некий гибрид импресарио с коммивояжером. Он бойко и напористо внедряет свой товар. Причем товаром в данном случае, хоть это и обидно, являются ваши бесценные рукописи. Наше, как говорится, творчество.

Литературный агент — довольно странная профессия. Он должен быть наделен безошибочным знанием рынка. Психологическим и литературным чутьем. Эрудицией, обаянием, способностью налаживать контакты. Артистизмом, эстетическим вкусом, красноречием, чувством юмора, известным нахальством. Среди литературных агентов есть неудачники, таланты, гении. Плохой агент и хороший так же несравнимы, как Достоевский и Шундик. Есть международные агентства, которые берут пятьсот долларов лишь за то, чтобы ознакомиться с вашей рукописью. И так далее.

Первым моим литературным агентом стал Иосиф Бродский. Он рекомендовал меня «Ньюйоркеру». Так уж получилось. Об этом даже писали в «Нью-Йорк таймс». Вторым, и последним, моим агентом стал Эндрю Уайли.

Должен сказать, что я сразу полюбил его. Во-первых, за то,

что он не слишком аккуратно ел. И даже мягкую пищу часто брал руками.

С Эндрю мне всегда было легко, хоть он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это достигается.

К тому же Эндрю, подобно многим американским интеллигентам, был «розовым», левым. А мы, эмигранты, российские беженцы, — правые все как один. Правее нас, говорят, только стенка. Значит, я был правым, Эндрю левым. Но мы отлично ладили.

Я спрашивал его:

— Вот ты ненавидишь капитализм. Почему же ты богатый?

Эндрю в ответ говорил:

— Во-первых, к сожалению, я не очень богат.

Я перебивал:

— То же самое говорит о себе и американское казначейство.

— И все-таки, — продолжал Эндрю, — я не очень богат. Хотя я действительно против капитализма. Но капитализм все еще существует. И пока он не умер, богатым живется лучше.

В юности Эндрю едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили за что-то. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди.

Потом он закончил Гарвард. Владеет несколькими языками. В том числе латынью, греческим. Изучал Гомера и Пруста. Переводил, удостаивался наград. Писал стихи, был репортером.

Среди его клиентов — покойный Беккет, Найпол, Аллен Гинсберг, Филипп Рот. Его клиент — прячущийся от исламских фанатиков Сальман Рушди.

Помню, я спросил его:

— Сколько ты заработал на последней книжке Беккета?

Эндрю ответил:

— Гораздо меньше, чем заслуживает Беккет. И гораздо больше, чем заслуживаю я.

За десять лет, что мы в контакте, Эндрю фантастически разбогател. К сожалению, я тут ни при чем. Комиссионные от продажи моих романов составляют гроши.

То и дело я говорю ему:

— Спасибо, Эндрю. Вряд ли ты на мне хорошо заработаешь. Значит, ты альтруист, хоть и стопроцентный янки.

Эндрю говорит в ответ:

— Не спеши благодарить. Раньше заработай столько, чтобы я начал обманывать тебя.

Я все думал: бывает же такое?! Американец, говорящий на чужом языке, к тому же «розовый», левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочная вещь — человеческое общение.

И все же, когда я стал посылать Эндрю рукописи моих друзей, он занервничал. Он написал мне: «Я сам выбираю нужных мне авторов».

Видно, его альтруизм имеет довольно четкие границы. Будем считать, что мне повезло.

ОТ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ — К ДУЭТУ

Переводческая деятельность в Союзе и на Западе — это абсолютно разные отрасли. Все разное — проблемы, стимулы, механизмы.

Советская переводческая школа гремит на весь мир. В Союзе переводчик — фигура. Эта профессия долгие годы была, что называется, убежищем талантов. Лучшие советские писатели не издавались. На жизнь зарабатывали переводами. И делали это, надо полагать, в ущерб своему оригинальному творчеству. То есть уровень художественных переводов рос за счет отечественной литературы в целом.

Переводами занимались все — Ахматова, Тарковский, Липкин. Естественно, Пастернак. Михаил Зощенко перевел финского юмориста Лассилу.

Наконец, существует еще один фактор. Мы очень любим все импортное, в том числе и переводную литературу.

Итак, тиражи огромные, работа переводчика сравнительно хорошо оплачивается. Лучшие из них — Райт и Кашкин, Хинкис и Маркиш, Сорока и Голышев — популярные люди.

Когда-то я работал секретарем у Веры Пановой. И однажды Вера Федоровна сказала:

— У кого сейчас лучший русский язык?

Наверное, я должен был ответить: «У вас». Но я сказал:

— У Риты Ковалевой.

— Что за Ковалева?

— Райт.

— Переводчица Фолкнера, что ли?

— Фолкнера, Сэлинджера, Воннегута.

— Неужели Воннегут звучит по-русски лучше, чем Федин?

— Без всякого сомнения.

Вера Федоровна подумала и говорит:

— Как это страшно.

На Западе все по-другому. Допустим, вы, например, — Ахматова или Пастернак. Вам есть прямой резон заниматься собственным творчеством. Денег больших переводческая работа в Америке не сулит. Престижа в ней маловато. К тому же

американцы всегда предпочитали отечественную литературу импортной. Короче, материальные стимулы отсутствуют.

И тут возникает противоречие. Стимулы вроде бы отсутствуют. Однако все лучшее из мировой литературы переведено на английский. Как же так?

Я говорил, что материальные стимулы отсутствуют. Но человеком могут двигать стимулы иного рода. В Америке переводами занимаются главным образом филологи. Специалисты по всяческой зарубежной литературе. Для них это часть профессиональной карьеры.

Наконец, переводы — это творчество. Это может быть призванием, специфическим даром, врожденным талантом. То есть бывают случаи, когда не человек выбирает профессию, а профессия — человека. Есть люди, которым оригинальное творчество почему-то не дается. Зато по чужой канве они вышивают с блеском. Это какая-то органическая способность к перевоплощению.

Короче: переводы — это судьба. В этой области есть свои гиганты, посредственности, неудачники. Есть свои шедевры и провалы.

Здесь можно решать скромные профессиональные задачи. А можно штурмовать неприступные стены. Толстого, например, переводить легче, чем Гоголя. Тургенева, скажем, проще, чем Лескова. А ведь есть русские писатели, все творчество которых основано на словесных аргументах. Оно погружено в корнесловие, насыщено метафорами, изобилует всяческой каламбуристикой, аллитерациями, цеховыми речениями, диалектизмами. Достаточно вспомнить Хлебникова, Замятина, Ремизова, писателей орнаментальной школы. Кстати, все еще не существует хороших английских переводов моего любимого Зощенко. В Америке с ним произошла такая история. Стали его переводить лет шестьдесят назад. И начали появляться в журналах его рассказы. И действие там иногда происходило в коммуналках. И вот американский критик написал статью про Зощенко. В ней было сказано:

«Зощенко — это русский Кафка, фантаст и антиутопист. Он гениально выдумал коммунальные жилища, где проживают разом множество семей. Это устрашающий и жуткий символ будущего».

Зощенко, я думаю, непереводим. Он создает переводчикам удвоенные трудности. Ставит перед ними двойную задачу. Во-первых, как стилист. И еще как выразитель специфической отечественной реальности. Наконец, у Зощенко свой особый язык.

Как выразить на английском его гениальные языковые «погрешности»? Как, скажем, перевести вот эту реплику:

«Понимаешь, кого ты обидел? Ты единоутробного дядю обидел!..»

Однако главное даже не это. Когда американец переводит, например, француза, он имеет дело с реальностью более или менее ему знакомой. А как, например, перевести: «Иванову дали жилплощадь»? Или, скажем: «Петрову удалось достать банку растворимого кофе»? Или, допустим: «Сидоров лишился московской прописки»? Что все это значит?

Буквальные переводы с русского невозможны. Тут вы должны переводить не слово — словом и не фразу — фразой, а юмор — юмором, любовь — любовью, горе — горем…

На мою первую американскую книгу было тридцать рецензий. Если быть педантичным — тридцать две. Все очень хвалили переводы Энн Фридмен. Вскоре она станет «Лучшим переводчиком года». Получит 20-тысячную субсидию. А я моральное удовлетворение.

Друзья мне скажут:

— Твои успехи впереди.

Я отвечу:

— Надеюсь. Хотя я слышу это уже лет тридцать… Десять лет я работаю с переводчиками. Хотя всю жизнь мечтал о сольном пении. И вот на старости лет пою дуэтом.

Что бы я ни сочинял, вечно думаю о переводе. Даже в этих, например, записках избегаю трудных слов. Вы заметили?

СЛОВА

Западные слависты и переводчики — люди весьма добросовестные. Они вооружены бесчисленными русскими словарями. В их распоряжении академический Даль, тома Ушакова и Ожегова. А также всевозможные справочники: пунктуация, морфология, ударения.

Тем не менее проблемы у славистов есть. Со многими из этих людей я регулярно переписываюсь. В письмах они то и дело спрашивают:

«Что значит слово «клиент»? Что такое — «деятель»? В таком, например, контексте: «Толкает меня один клиент, а я этому деятелю говорю — не возникай!» Кстати, что такое — «не возникай»?»

В общем, академических словарей недостаточно. Они совершенно не выражают разнообразия будничной лексики. Тем более ненормативной лексики, давно уже затопившей резервуары языка. Комфортабельно освоившейся в языке. Даже вытесняющей из него привычные слова и выражения.

Не будем говорить о том, хорошо это или плохо. Язык не может быть плохим или хорошим. Качественные и тем более моральные оценки здесь неприменимы. Ведь язык — это только зеркало. То самое зеркало, на которое глупо пенять.

Причем употребление ненормативной лексики все менее четко определяется социальными, географическими, цеховыми рамками. Все шире растекаются потоки брани, уличного арго, групповой лексики, тюремной фразеологии. Раньше жаргон был уделом четких социальных и профессиональных групп. Теперь он почти национальное достояние. Раньше слово «капуста», например, мог употребить только фарцовщик. Слово «лажа» — только музыкант. Слово «кум», допустим, — только блатной. Теперь эти слова употребляют дворники, генералы, балерины и ассистенты кафедр марксизма-ленинизма. Случилось то, что лаконично выражается народной поговоркой: «Какое время, такие песни».

Вот мы и подошли к главному. С чем имеет дело хороший переводчик? Он имеет дело не с песнями. Он имеет дело — с временем.

А число словарей, в общем-то, пополняется. Вышел, например, «Словарь блатного жаргона». Издал его в эмиграции писатель А. С. Скачинский. В Союзе он был малоизвестным литератором. Естественно, сидел. Упомянут Солженицыным в «Архипелаге» как почти единственный зек, успешно бежавший из магаданского лагеря.

Будучи заключенным, Скачинский увлекся языковыми проблемами. На богатом лагерном материале подготовил словарь. Смог издать его только на Западе.

Когда-то я разослал этот словарь чуть ли не всем знакомым переводчикам. Все они были счастливы. Профессор Дон Финн — большой чудак, американский коммунист и великий знаток русской литературы — написал мне: «Дорогой подельник! Благодарю тебя за железный словарь. Думаю, что он будет в жилу». И подписался: «Тихий Дон».

ПОРТРЕТ НА ОБЛОЖКЕ

Прошло несколько лет. Я выпустил четыре книги по-английски. Статья обо мне появилась в знаменитом «Нью-Йорк таймс бук ревью». К тому же on the front page[5], на обложке. Да еще и украшенная пятью фотоснимками, включая младенческий. Короче, поздравления, открытки, телефонные звонки. Один знакомый позвонил из Дейвиса в Техасе:

— Ты жив? Я был уверен, что ты умер от пьянства. А то слишком уж много чести для живого писателя.

Мои друзья, конечно, радовались. Хотя при этом вели какие-то обидные дискуссии. Споры о причинах моего, что называется, успеха. Один знакомый говорил: «Тут дело в модной русской проблематике». Другой: «Америка проявляет благородную снисходительность к эмигрантам». Третий: «Его легко переводить». Четвертый: «Довлатов — либерал, поэтому ему симпатизирует американская интеллигенция». Пятый: «Сережино кавказское обаяние действует на шестидесятилетних женщин». И так далее. Хоть бы один попытался увязать эти фанфары в «Обозрении» с достоинствами моей новой книжки.

Но какое-то ощущение успеха все же было. Скажем, на очередном дне рождения Бродского присутствовало тридцать знаменитых американцев. С десятью из этих знаменитостей Бродский счел нужным меня познакомить. Шестеро из них, услышав мою фамилию, воскликнули: «Congratulations!» — то есть: «Поздравляем!» А выдающийся чернокожий поэт Дерек Уолкотт крепко обнял меня.

— Поздравляю, — сказал он, — сердечно поздравляю. Ты в Америке! Ты здесь всего неделю и уже хорошо говоришь по-английски. Поздравляю…

Я ответил:

— Вы меня с кем-то путаете. Я живу здесь много лет, но по-английски все еще говорю очень скверно. Так что книги мои, естественно, издаются в переводах.

Дерек Уолкотт еще больше обрадовался:

— О, ты пишешь книги! Значит, мы коллеги?! Очень рад.

Уж не знаю даже, за кого он меня сначала принял. Наверное, за беглого хоккеиста по фамилии Могильный?..

В общем, успехи радовали. При том что хотелось бы знать, как это все отразится на гонорарах. Американские же гонорары непосредственно зависят от числа проданных книг. Автору идет восемь-десять процентов от стоимости экземпляра. За вычетом полученного вами ранее аванса.

Это только в СССР, насколько я знаю, платят за объем написанного. Кстати, не в этом ли причина традиционного российского многословия? Какой-нибудь московский автор, допустим, пишет:

«Евгений Федорович Терентьев, дородный мужчина лет шестидесяти четырех, проснулся среди ночи от грохота землечерпалки. Евгений Федорович раскрыл глаза, закашлялся, тронул небритую щеку и опять погрузился в сон».

Автор справедливо думает:

«Вычеркну-ка я этот дурацкий абзац. Зачем он нужен?!»

Но внутренний голос ему отвечает:

«Что ты делаешь, ненормальный? Ведь это же как минимум шесть рублей. Кило говядины на рынке…»

Не будем отвлекаться. В Америке гонорары непосредственно зависят от числа реализованных книг. И начал я тогда заходить в магазины. Особенно в «Барнс энд Ноубл», который рядом. Начал я следить, убывают ли мои пестрые книжки. В первый же день компьютер указал: магазином заказано шесть экземпляров. Маловато, думаю. Расхватают за час. День спустя компьютер поделился: те же шесть экземпляров имеются в наличии. На пятый день — такая же картина. На шестой день произошла сенсация. Количество экземпляров резко сократилось от шести до пяти. Ликуя, я возвращаюсь домой. Вечером заходит мой отец, живущий по соседству. «Вот, — говорит, — приобрел твою книгу. От тебя ведь не дождешься. Подпиши».

Что ж, думаю. В Америке 4000 специализированных книжных магазинов. И еще 28 000 магазинов, где среди других товаров продаются книги. Если в каждый из них зайдет по одному моему родственнику, уже неплохо.

И еще я подумал: случись все это у меня на родине! Я выпускаю новую книгу. «Литературная газета», например, печатает восторженную статью Льва Аннинского, украсив ее моими детскими фотоснимками. Я мгновенно становлюсь знаменитым. Бываю в Доме творчества. Ужинаю в ЦДЛ с Юнной Мориц. (Белла Ахмадулина рыдает от зависти.) Официант интересуется: «Над чем работаете, Сергей Донатович?» В общем, живу как человек. А здесь?

В Америке меня знают пять тысяч читателей, критиков и журналистов. Книги некоммерческие, «серьезные», расходятся микроскопическими тиражами. Переводные — тем более.

Тут уж не до славы. Спасибо, что вообще печатают. Есть люди гораздо более одаренные, которые совсем не издаются по-английски. Это, к примеру, Марк Гиршин, Наум Сагаловский, Вагрич Бахчанян. Из журналистов — Петр Вайль, Александр Генис.

Да и вообще литература в Америке не такое уж престижное занятие. Писатель здесь не олимпиец, а чаще всего — бедный, мрачноватый человек. Обладатель не самой редкостной профессии. Да и слово «писатель» воспринимается на Западе как-то иначе. Автор «Войны и мира» здесь «писатель». И тексты на консервных банках создают — «писатели».

Однажды я спросил Воннегута, который живет между Лексингтон и Третьей:

— Вас, наверное, тут каждый знает?

Воннегут ответил:

— Десять лет я гуляю здесь с моим терьером. И хоть бы один человек закричал мне: «Ты Воннегут?!»

Известен ланчонет, где каждое утро можно встретить Исаака Башевиса Зингера. И ни одного поклонника кругом. А теперь представьте себе, москвичи вдруг узнают, где, допустим, опохмеляется Егор Исаев!

Войнович как-то раз приехал из Германии. Поселился в гостинице на Бродвее. И понадобилось ему сделать копии. Зашли они с женой в специальную контору. Протянули копировщику несколько страниц. Тот спрашивает:

— Ван оф ич? (Каждую по одной?)

Владимир Николаевич говорит жене:

— Ирка, ты слышала? Он спросил — «Войнович?» Он меня узнал! Ты представляешь?!.

Писателям, уезжающим в Америку, есть смысл задуматься:

«Зачем я еду? Чего добиваюсь? Какие преследую цели?»

Если кто-то гонится за деньгами, пусть не спешит. Если за славой — тем более. Лавры Бродского и Солженицына достаются здесь не каждому.

Всех писателей можно разделить на две категории. Для одних главное — высказаться. Вторые хотят быть еще и услышанными. Одни жаждут самовыражения, вторые еще и честолюбивы. Вторым на Западе приходится трудней.

Сам успех здесь не такой, как дома. На родине успех — понятие цельное, всеобъемлющее и однозначное. Охватывает все: известность, деньги, положение, комфорт. Плюс какие-то бесчисленные льготы. В Америке успех бывает самый разный. Например, коммерческий успех, далеко не всегда сопровождающийся известностью. Или, скажем, богемный успех, отнюдь не всегда подразумевающий деньги. Бывает успех среди критиков. Или, допустим, в академических кругах. И так далее. Тут можно быть знаменитым и нищим. И наоборот, безвестным, хоть и зажиточным.

В Америке успех и слава — не одно и то же. Успех и деньги — не синонимы.

Мой, скажем, вид успеха называется «critically acclaimed» — «отмеченный критиками». К деньгам это серьезного отношения не имеет. К славе — тем более.

Как-то раз я обедал с моим агентом. И вот решился спросить его:

— Эндрю! Я выпустил четыре книги по-английски. На эти книги было сто рецензий, и все положительные. Отчего же мои

книги не продаются?

Эндрю подумал и сказал:

— Рецензии — это лучше, чем когда их нет. Сто рецензий — это лучше, чем пять. Положительные рецензии — это лучше, чем отрицательные. Однако все это не имеет значения.

— Что же имеет значение?

— Имя.

— Где же мне взять имя?! Я выпустил четыре книги. Все их хвалят. А имени все нет. Ну как же так?!

Эндрю снова задумался и наконец ответил:

— Ты хочешь справедливости? В издательском деле нет справедливости.

ИЗ АМЕРИКИ — С ЛЮБОВЬЮ

В шестидесятые годы я был начинающим литератором с огромными претензиями. Мое честолюбие было обратно пропорционально конкретным возможностям. То есть отсутствие возможностей давало мне право считаться непризнанным гением. Примерно так же рассуждали все мои друзья. Мы думали: «Опубликуемся на Западе, и все узнают, какие мы гениальные ребята».

И вот я на Западе. Гения из меня пока не вышло. Некоторые иллюзии рассеялись. Честолюбие несколько улеглось. Зато я, кажется, начинаю превращаться в среднего американского литератора. В одного из нескольких американских беллетристов российского происхождения.

Мои книги публикуются и будут опубликованы все до единой. И я должен быть к этому готов. Потому что мои иллюзии собственной тайной гениальности рассеются окончательно».

Видимо, я окажусь средним писателем. Пугаться этого не стоит. Ведь только пошляки боятся середины. Именно на этой территории, я думаю, происходит все самое главное.

Я выпустил четыре книги. У меня есть договор на три последующие. Авансы будут составлять по двадцать тысяч. (Это втрое меньше, чем годовая зарплата нашего автомеханика Фимы Клейна.) О потиражных нечего и говорить. Если будет продано 5–6 тысяч экземпляров — уже хорошо. Тогда я получу аванс за новую книгу. А значит, надо кончать болтовню и писать эту следующую книгу. А потом еще одну. Так уж, видно, это и будет продолжаться до конца.

Рыжий

Поэты, как известно, любят одиночество. Еще больше любят поговорить на эту тему в хорошей компании. Полчища сплоченных анахоретов бродят из одной компании в другую…

Уфлянд любит одиночество без притворства. Я не помню другого человека, столь мало заинтересованного в окружающих. Он и в гости-то зовет своеобразно.

Звонит:

— Ты вечером свободен?

— Да. А что?

— Все равно должен явиться Охапкин (талантливый ленинградский поэт). Приходи и ты…

Мол, вечер испорчен, чего уж теперь…

А встречает радушно. И выпивки хватает (явление при нынешнем алкогольном размахе — уникальное). И на рынке успел побывать — малосольные огурцы, капуста… И все-таки чуткий услышит:

«С тобой, брат, хорошо, а одному лучше…»

Я об Уфлянде слышал давно. С пятьдесят восьмого года. И все, что слышал, казалось невероятным.

…Уфлянд (вес 52 кг) избил нескольких милиционеров…

…Уфлянд разрушил капитальную стену и вмонтировал туда холодильник…

…Дрессирует аквариумных рыб…

…Пошил собственными руками элегантный костюм…

…Работает в географическом музее… экспонатом…

…Выучился играть на клавесине…

…Экспонирует свои рисунки в Эрмитаже…

Ну и, конечно, цитировались его стихи.

Уфлянда можно читать по-разному. На разных уровнях. Во-первых, его стихи забавны. (Это для так называемого широкого читателя.) Написаны энергично и просто. И подтекст в них едва уловим:

…В целом люди прекрасны.
Одеты по моде.
Основная их масса
Живет на свободе…

Есть такое филологическое понятие — сказ. Это когда писатель создает лирического героя и от его имени

высказывается. Так писал Зощенко (не всегда). Так пишет Уфлянд. Его лирический герой — простодушный усердный балбес, вполне довольный жизнью:

…Каждый Богу помогает,
Исполняя свой обряд.
Люди сена избегают,
Кони мяса не едят.
Гости пьют вино с закуской.
Тот под лавку загудел.
Тот — еврей. Тот, вроде, — русский.
(Каждый свой избрал удел…)

В сфере досужих интересов героя — политика, народное хозяйство:

…Неверностью итогов в каждой смете,
заведомо неправильными данными,
не бюрократы ль извели до смерти
товарищей Калинина и Жданова?..

Герой не чужд искусству:

…Что делать, если ты художник слабый?
Учиться в Лондоне, Берлине или Риме?
Что делать, если не хватает славы?
Жениться на известной балерине?..

Личная жизнь героя многогранна:

…Она меня за жадность презирает,
поэтому-то я с другой живу.
Когда моя жена белье стирает,
я повторяю, глядя на жену:
«Ты женщина. Ты любишь из-за денег.
Поэтому глаза твои темны.
Слова, которыми тебя заденешь,
еще людьми не изобретены…»

В общем, сказ, ирония, подвох… Изнанка пафоса… Знакомая традиция, великие учителя. Ломоносов, Достоевский, Минаев, Саша Черный, группа Обэриу… Мрачные весельчаки обериуты

долго ждали своих исследователей. Кажется, дождались (Мейлах, Эрль). Дождется и Уфлянд. Я не филолог, мне это трудно…

Повторяю, Уфлянд человек загадочный. Порою мне кажется, ему открыт доступ в иные миры. Недаром он так любит читать астрономические книги.

Все говорят — экстраверт, интроверт. Экстраверт — это значит — душа нараспашку. Интроверт — все пуговицы застегнуты. Но как часто убогие секреты рядятся в полиэтиленовые одежды молчаливой сдержанности. А истинные тайны носят броню откровенности и простодушия…

Семейная драма Уфлянда тоже неординарна. Жена его, добрая милая Галя, попрекает мужа трудолюбием:

— Все пишет, пишет… Хоть бы напился!..

Мало кто замечает, что Уфлянд — рыжий. Почти такой же, как Бродский…

Может, вылепить его из парадоксов? Веселый мизантроп… Тщедушный богатырь… Не получается. Две краски в парадоксе. А в Уфлянде больше семи…

Помню, сижу в «Костре». Вбегает ответственный секретарь — Кокорина:

— Вы считаете, это можно печатать?

— Вполне, — отвечаю.

Речь идет о «Жалобе людоеда». Молодой людоед разочарован в жизни. Пересматривает свои установки. Кается:

Отца и мать, я помню,
Съел в юные года,
И вот теперь я полный
И круглый сирота…

— Вы считаете, эту галиматью можно печатать?

— А что? Гуманное стихотворение… Против насилия…

Идем к Сахарнову (главный редактор). Сахарнов хохотал минут пять. Затем высказался:

— Печатать, конечно, нельзя.

— Почему? Вы же только что смеялись?

— Животным смехом… Чуждым животным смехом… Знаете что? Отпечатайте мне экземпляр на память…

Почувствовал я как-то раз искушение счесть Уфлянда неумным. Мы прогуливались возле его дома. Я все жаловался — не печатают.

— Я знаю, что нужно сделать, — вдруг произнес Уфлянд.

— Ну?

— Напиши тысячу замечательных рассказов. Хоть один да

напечатают…

Вот тут я и подумал — может, он дурак? Что мне один рассказ! И только потом меня осенило. Разные у нас масштабы и акценты. Я думал о единице, Уфлянд говорил о тысяче…

Наконец-то появилась эта книжка[6]. Двадцатилетний труд легко умещается на ладони… И в стандартном почтовом конверте. Пошлю друзьям во Францию… Увидит ли ее сам автор? (Он живет в Ленинграде.)

В конце же, цитируя Уфлянда, хочу многозначительно и грустно спросить:

> А чем ты думаешь заняться,
> Когда настанут холода?..

Соглядатай

Года три назад шел я по Ленинграду со знакомой барышней. Нес в руках тяжелый сверток. Рукопись Халифа «ЦДЛ» на фотобумаге.

(С автором мы тогда не были знакомы. Знал, что москвич. А следовательно — нахал. Фамилия нескромная. Имя тоже не без претензии. Но об этом позже…)

Захожу в телефонную будку — позвонить. Барышня ждет у галантерейной витрины. Вижу — к ней подходят двое. Один что-то говорит и даже слегка прикасается.

Я выскочил, размахнулся и ударил ближайшего свертком по голове.

Парень отлетел в сторону. Но и сверток лопнул. Белые страницы разлетелись по Кубинской улице.

Тут я, надо признаться, оробел. И так с государством отношения неважные. А здесь — милиция кругом… Ползаю, собираю листы.

Ловеласы несколько пришли в себя. Постояли, постояли… Да и начали мне помогать. Сознательными оказались…

Так книга Халифа выдержала испытание на прочность. Свидетельствую драться ею можно!

ЦДЛ — это Центральный Дом литераторов в Москве. Набитая склоками, завистью, лестью и бесплодием писательская коммуналка.

Дом, из которого выселили его лучших обитателей.

Где неизменно «выигрывают серые».

Где десятилетиями не хоронят мертвецов…

Герой или, вернее, героиня этой книги — литература. Фабула — судьба отечественной литературы. Сюжет — ее капитуляция и гибель.

Отношение к современной русской литературе у Халифа крайне пессимистическое. Ее попросту не существует. Есть талантливые прозаики и стихотворцы. Есть талантливые критики и литературоведы. А живого литературного процесса нет. Есть другой процесс. Процесс истребления русской литературы, который успешно завершается.

Хочется привести такую незатейливую аллегорию.

Допустим, у вас есть мать. Допустим, она проживает с братом в Калифорнии. Неожиданно брат сообщает:

«Мать в тяжелом состоянии».

Вы ему телеграфируете:

«Что с ней?»

Брат отвечает:

«Осень у нас довольно прохладная…»

Далее следует талантливое и подробное изображение калифорнийской осени. О матери же — ни слова.

Вы снова телеграфируете:

«Что с матерью?!»

Получаете ответ:

«Транспорт у нас работает скверно…»

Далее следует живое, правдивое и критическое описание работы транспорта. О матери же — ни звука…

И так без конца. Ни звука о главном…

Халифу можно возражать. Можно говорить о неожиданно (для третьих эмигрантов) полноценной литературе русского зарубежья. Можно говорить о подводных течениях в нынешней советской литературе. Размахивать внушительным и ярким «Метрополем». Все это можно…

Но у Халифа есть точка зрения. И выражена она талантливо, горько, правдиво.

Книга набрана четырьмя шрифтами. Можно было ее набрать и двадцатью. Так многообразна и разнородна ее структура. «ЦДЛ» — это документы, лирические и философские отступления, хроника, анекдоты, бытовые зарисовки.

Не менее разнообразна и тональность книги. Здесь уживаются дидактика с иронией, ода с поношением, благодушная насмешка с язвительной колкостью, возвышенная лексика с… многоточием.

Юрий Мальцев («Вольная русская литература») справедливо указывает: «В своей экспрессивной метафорической прозе Халиф, несомненно, следует традиции таких поэтов, как Марина Цветаева и Осип Мандельштам».

Лично я расслышал здесь также и хитрый говорок Марамзина. «…Мы уезжаем, а вы нам вдогонку глаза свои посылаете…»

Можно вспомнить и напевы Андрея Белого. И карнавал метафор Юрия Олеши.

Действительно, единица измерения прозы Халифа — метафора, то и дело возвышающаяся до афоризма. Цитировать — одно удовольствие.

> «Этот, со стопроцентной потерей зрения, возомнил, что он — Гомер. Ему виднее…»

> «…Спартак Куликов… Имя — восстание, фамилия — битва…»

«…Ударил кто-то бомбой в Мавзолей, но вождь остался жив…»

«…Дрейфус умер, но дело его живет…»

«…Всякую колыбель — даже революции — надо раскачивать…»

Поначалу меня раздражала нескромность Халифа. Или то, что я принимал за нескромность.

Автор говорит, например, о заветной книжной полке. О книгах — шедеврах двадцатого века:

«…Тут и «Доктор Живаго» Пастернака. И «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына… Да и эта — моя — туда встанет».

Неплохо сказано?!

Поначалу я от таких заявлений вздрагивал. Затем не то чтобы привык, а разобрался.

Не собою любуется автор. И не себя так уверенно различает на мраморном пьедестале. Используя формулу Станиславского, Халиф не себя почитает в литературе. А литературу — в себе и других.

Этим чувством — преданностью литературе, верой в ее фантастическое могущество — определяется тональность книги.

Могу указать две-три неточности. Например, автор говорит:

«Солженицын — единственный в мире изгнанник — нобелевский лауреат». То есть как? А Бунин? А Томас Манн?

Или:

«Будь Твардовский жив, вряд ли бы он остался редактором «„Нового мира“».

Твардовского лишили журнала еще до смерти. Это, говорят, и убило его.

Неточностей мало. А те, что есть, как говорится, — не принципиальные.

И еще.

Я благодарен Халифу за несколько страниц о родном и незабываемом Ленинграде. За «Сайгон» и за «Ольстер». За «Маяк» и за «Жердь». За Бахтина и Шварцмана. За таинственного Лисунова и умницу Эрля. За нечасто протрезвляющегося Славенова и даже за Мишу Юппа.

Книгу Халифа не только читать — удовольствие, но и в руках держать приятно — она замечательно оформлена.

Верхом на улитке

…А все, что друг мой сотворил,

—

От Бога, не от беса
Он крупного помола был,
Крутого был замеса!..

В. Высоцкий

«Посвящается Шемякину»

Лично я воспринимаю успех Михаила Шемякина на Западе как персональное оскорбление. Его успех оглушителен до зависти, мести и полного твоего неверия в себя.

Молодой, знаменитый, богатый, талантливый, умный, красивый и честный… Можно такое пережить без конвульсий? Не думаю…

Я не специалист и не буду оценивать живопись Шемякина (тем более что ее уже оценили. Небольшая картина продана за 90 000 долларов). Меня, откровенно говоря, волнует не живопись Шемякина, а его судьба.

Вот — пунктиром — несколько штрихов биографии.

Отец — полковник кавалерии. Мать — актриса. Отец, ревнивый кавказец, берет жену на фронт. Хрупкая служительница Мельпомены участвует в конных атаках и рубится шашкой.

Где-то над обломками Кенигсберга восходит звезда Михаила Шемякина.

Затем (отец военный) — немецкая школа в здании бывшего гестапо.

С 57 года — Ленинград. Отвратительная коммуналка. (Отец и мать, по-видимому, развелись.)

Средняя художественная школа. Увлечение старыми мастерами. Пренебрежение соцреализмом.

Группу подростков выгоняют из СХШ. Они работают и учатся самостоятельно.

Примерно в эти годы Шемякин изобретает злополучный «метафизический синтетизм» (стоивший ему двух психбольниц и принесший мировую славу).

Термин, конечно, мудреный. Скажем так:

Основы жизни и основы культуры — совпадают. Художник движется к основам, не выявляя, а преодолевая свою неповторимую индивидуальность. (Шемякину хорошо. Сначала

выявил, да еще как, а затем уж и преодолеть не жалко.) Личное (Я) — временно и тщетно. Вечно — общее (жизнь, природа, культура). И разумеется — Бог как выражение самого общего начала…

С облегчением вздохнем и продолжим.

Шемякин работает грузчиком. Оформляет книги. Якшается с подозрительными иностранцами (а какой иностранец не подозрителен?!). Дерзит КГБ.

Короче, привычный советский детектив, без выстрелов, но с жертвами. Затем эмиграция, слава, назойливые корреспонденты…

В Ленинграде я Шемякина знал мало. А теперь знаю еще меньше. Хотя вспоминается и наше знакомство, и какие-то разговоры…

Сейчас мне хочется думать, что было какое-то особое впечатление. Было ли? Шемякин тогда не очень выделялся. В Ленинграде тысячи претенциозных молодых художников. И кудри неаполитанские у многих, и брюки с заплатами из отцовских портфелей.

Вспоминается Шемякин дерзким и самоуверенным.

— Скоро уеду, — говорит он.

— Вы же не еврей (тогда это было сложно).

— У меня друзья на Западе.

— Влиятельные?

— Помпон обещал содействие.

— Кто это — Помпон?

— Помпиду.

Действительно, тогдашний президент Франции, эстет и сноб, любил художества Шемякина.

Так он и уехал. Рисовал картины, богател, меценатствовал, пил, достиг величия…

Я часто думаю, откуда такие берутся?! Эти голодные недоучившиеся российские мальчики?! С невероятными философскими реформами?! С гениальными картинами?! С романами вроде «Москва-Петушки»?!

Кто их создает?

Я знаю — кто. Советская власть!

Проклинаем ее, и не зря. А ведь создает же!

Как это происходит? На голове у каждого художника лежит металлическая плита соцреализма. И давит многотонной тяжестью. Художник тоже напрягается, мужает. Кто-то, сломленный, падает. Кто-то превращается в атланта.

Вот так. На голове у западного человека — сомбреро. А у нашего плита…

Бродского давили, давили, и что вышло?

С Шемякиным такая же история…

Вы спросите, а при чем тут улитка? Улитка при том:

Можно всю жизнь, подобно Илье Глазунову, копировать русские иконы. И всю жизнь проваляться в материалистической луже. А можно — по-другому. Оседлать, как Шемякин, метафизическую улитку и в безумном, ошеломляющем рывке пробить небесный купол…

И что тогда? А тогда — разговор с Небожителем.

И тут мы, непосвященные, умолкаем…

Последний чудак
История одной переписки

…Я писал в газете об этом человеке:

«…О нем говорили — муж Веры Пановой. Или — отчим Бори Бахтина. Еще говорили — чудак, оригинал. Начинающим авторам деньги одалживает. Советскую власть открыто ругает…

Году в шестьдесят четвертом мне довелось присутствовать на встрече читателей с ленинградским (ныне покойным) прозаиком Давидом Яковлевичем Даром, который славился своими дерзкими политическими высказываниями, а в официальной советской литературе занимал — соответственно — довольно скромное, периферийное место. Встреча состоялась в относительно либеральную пору так называемой «кукурузной оттепели», и потому вопрос одного из молодых читателей, обращенный к Давиду Дару, никому не показался диким.

Молодой читатель спросил:

— Как случилось, что вы уцелели в тридцатые годы? Каким образом избежали сталинских репрессий? По какой причине вас миновали ссылка и тюрьма, не говоря о более страшной участи?..

Вопрос был задан с такой интонацией, которая предполагала убежденность в том, что избежать сталинских репрессий мог только заведомый двурушник, лицемер, соглашатель и поставщик казенной соцреалистической макулатуры…

Самое удивительное, что Дар начал оправдываться. Смущенно пожимая плечами и растерянно пыхтя своей неизменной трубкой, Дар говорил:

— Так уж, знаете ли, получилось… Сам удивляюсь… Подлостей я вроде бы не делал… Может, разгадка в том, что я был беспартийным, видных постов и должностей не занимал… Да и писал-то в основном для детей… Кажется, меня просто не заметили…

Честному старому писателю было неловко за свою относительно благополучную творческую молодость, хотя и ему доводилось быть объектом проработок, хранить в столе неприемлемые для издательств

рукописи, вступаться за невинно пострадавших и долгие годы ходить в «идейно чуждых» авторах. Не случайно Давида Дара удостоили своей привязанности и дружбы Анна Ахматова и Михаил Зощенко, которые тоже, кстати сказать, избежали ссылок и тюрем…

Много чего говорили о нем.

А он был (и слава Богу — есть) — настоящий писатель. И больше никто.

Этого достаточно.

Сегодня мы публикуем…»

И так далее…

Речь шла о поразительном, невыносимом, странном человеке.

У него была смешная и даже вызывающая фамилия. Вернее, псевдоним ДАР. История псевдонима такова. Человека звали Давид Яковлевич Ривкин. Инициалы — Д.Я.Р. Сначала он так и подписывался — ДЯР. Затем все стали называть его Дар. И это правильно.

Была даже такая эпиграмма:

Хорошо быть Даром,
Получая даром
Каждый год по новой
Книжечке Пановой!..

Короче, напечатали мы его прозу. Я написал Давиду Яковлевичу любезнейшее письмо. Получаю ответ:

«Дорогой Сережа! Был очень рад вашему дружескому письму. Но:

1. Впервые за 70 лет своей жизни я прочитал, что я многоуважаемый! И что все, написанное мною, — «превосходно».

Этот гнилой аппендикс вашей ленинградской благовоспитанности отметаю.

2. Не следовало корить меня за грамматические ошибки. Ибо, во-первых, — это результат законного старческого маразма. Во-вторых, я с юных лет борюсь против высшего (а также — среднего) образования. В результате чего лучшие молодые писатели (мои друзья и воспитанники) были выгнаны из средней школы, не достигнув шестого класса. Скажу вам честно — Фолкнера я люблю не только за его абсолютную

грамотность.

3. Читающая публика в России знала меня не только как мужа Веры Пановой и отчима Бори Бахтина. Даже Володя Марамзин узнал меня только благодаря книжке моих рассказов лет за десять до того, как подружился с Борей Бахтиным. И в первом издании «Краткой литературной энциклопедии» ничего не сообщается ни о моих женах, ни о моих пасынках.

Ничего не сообщалось о моих родственных связях ни в газете «Известия», разоблачившей меня как космополита, ни в Постановлении Ленинградского обкома партии о моих сказках. Речь повсюду шла только обо мне как о писателе (ненастоящем, в этом они с вами разошлись). А в журнале «Вопросы литературы» вы могли бы прочитать, что Корней Иванович Чуковский в 66-м году называл меня «замечательным писателем», не зная того, что я — отчим Бори Бахтина и муж Веры Пановой. И это я пишу вовсе не для того, чтобы подтвердить его оценку, так как сам не считаю себя «настоящим писателем». Иначе я не назвал бы свою последнюю книжку «Исповедью безответственного ЧИТАТЕЛЯ»…

4. Что касается вашей морды…»

Тут я должен на минуту прерваться. Морда упомянута не случайно. История такова.

Года четыре назад я жил в Ленинграде. Сочинял рассказы и повести. Опубликовал в Израиле «Невидимую книгу».

В этой «Невидимой книге» содержались беглые характеристики моих ленинградских друзей. Молодых писателей и художников. Доброжелательные иронические зарисовки. Нечто вроде дружеских шаржей…

Дар реагировал бурно. (Он уже жил в Израиле.) Наводнил Ленинград призывами избить меня.

Его призывы неожиданно реализовались. Я был дважды избит в отделении милиции. Правда, за другие грехи.

Теперь, живя в Америке, я наконец спросил Давида Яковлевича:

— В чем дело?

Дар ответил:

«…Эта международная кампания была инспирирована вашим панибратским отношением к вашим же несчастным современникам. Я обиделся за

Володю Губина, Юру Шигашова, Холоденко, Алексеева и других весьма талантливых, на мой взгляд, писателей, которые в отличие от вас не обладают могучей, исполинской фигурой, атомной энергией, вашей армяно-еврейской жизнеспособностью. Подтрунивать можно над победителями — Львом Толстым, Владимиром Набоковым, Андреем Битовым, Сергеем Довлатовым, но подтрунивать над спившимися, припадочными, несчастными, всеми оплеванными, честными, мужественными ЖЕРТВАМИ литературы, на мой взгляд, непорядочно. Ни Губин, ни Шигашов, ни Холоденко не бежали с поля боя, как, допустим, — Воскобойников или Горбовский, и поэтому они заслуживают уважения. А вы о Вере Федоровне пишете с уважением, и даже обо мне, а о Володе Губине — без должного уважения. За это следует бить морду. Любому…»

Я пытался что-то объяснить Давиду Яковлевичу. Писал о своих тяжелых комплексах. О разбитом сердце. О том, что я вовсе не победитель…

В ответ раздавалось:

«…Вы пишете, что я еще лет двадцать назад зарегистрировал вас в своем безумном сознании как победителя, силача и красавца. А хуже брани для меня не существует…

Ну конечно же вы правы. Если бы вы были такого роста, как я, и так же некрасивы, и так же слабосильны, вы бы поняли, как омерзительны все без исключения высокие, сильные и привлекательные мужчины…

Но не будем об этом. Этого вам не понять.

И еще одно. Вы один из тех весьма немногочисленных ваших литературных сверстников, которые никогда не нуждались ни в моей моральной поддержке, ни в моей вере в ваш талант. Вы прекрасно обходились без моего участия в вашей литературной судьбе. А я всю жизнь больше всего на свете боялся и сейчас боюсь показаться назойливым и навязывать себя. Поэтому я старался защитить тех, кто нуждался в моей защите, — от всех других, и в том числе — от вас…»

Я пытался успокоить Давида Яковлевича. Звал его в Америку. Но старый чудак продолжал ворчать:

«…Вы спрашиваете, не могу ли я приехать в Нью-

Йорк. Не могу по двум причинам. 1. Не на что. 2. Не знаю, что делать в Америке без денег, без языка и без эрекции. Все эти три ингредиента (деньги, английский язык и эрекция) взаимозаменяемы, но если не иметь ни одного из них, то, по всей видимости, надо сидеть дома.

Впрочем, как-нибудь пришлю вам три-четыре странички из своих мемуаров, которые мог бы написать, но никогда писать не буду, так как считаю этот жанр подобным некрофилии. Может быть, на эти странички клюнет какой-нибудь университет и пригласит меня. Ведь люди моего поколения уходят, а я благодаря Вере Федоровне общался со всеми подонками советской литературы, о которых никто, кроме меня, уже и вспоминать не может. Галина Серебрякова, Леонид Соболев, Александр Дымшиц, Всеволод Кочетов, Николай Грибачев — все они бывали у нас в доме. Одна такая ехидна, как молодой Воеводин, вместе со своим кретином-папашей заслуживает внимания всех тех старых дураков, которые занимаются славистикой в американских университетах…»

Доставалось от него и нашим современникам:

«Володя Марамзин обиделся на то, что я в силу своего легкомыслия дал разрешение журналу «22» опубликовать свое частное письмо редактору. В этом письме я довольно безответственно осудил все эмигрантские журналы. Я написал, что все русские журналы за рубежом отражают не подлинную жизнь какой-то части русской интеллигенции, а ее вторичную, искусственную, потустороннюю жизнь.

Когда я читаю журналы, у меня создается впечатление, что вся нынешняя эмиграция (за исключением Бродского) не имеет собственной жизни, что вся она расположилась под дверью СССР и там, под запертой дверью, сыто хрюкает, скрежещет зубами, пророчествует, спорит, иронизирует по поводу чужой жизни, той, которая осталась в прошлом, той, которая проходит без их участия.

При этом (что было наиболее глупо с моей стороны) я так охарактеризовал русские журналы: ожесточенные политики из «Континента», инженерно-мещанское самодовольство «Времени и мы», радостно-дошкольный инфантилизм «Эха», стариковская благопристойность «Граней», старые дураки из «Нового журнала».

Результат: Марамзин, Максимов и Тарасова разорвали со мной отношения. Эткинд и Синявский обиделись, почему я не упомянул их как исключения.

Самое грустное, что я все это заслужил. Тем более что все упомянутые журналы я читаю с большим интересом, а «Эхо» просто люблю…»

Впрочем, Дар и к себе относился без чрезмерного уважения:

«Небольшой отрывок из моей последней книги я пошлю в «Часть речи» и нисколько не обижусь, если вы мой отрывок швырнете в корзину. Вообще имейте в виду, что вы как редактор газеты и член редколлегии альманаха можете отвергнуть любой мой материал, и я на вас не обижусь. Но выбрать мне трудно, потому что любой кусок даже мне самому кажется вздорным и весьма сомнительным с точки зрения логики и здравого смысла, тем более — вырванный из контекста всей книги. К тому же и жанр моей книги совершенно неопределим: это не рассказы, не эссе, не статьи, не заметки, не письма, во всяком случае — не беллетристика.

Я уверен, что при жизни издать эту книгу мне не удастся. Сомневаюсь и в том, что она будет издана после моей смерти, так как, во-первых, моя манера письма очень мало кому нравится, а во-вторых, у меня нет физических сил подготовить эту маленькую рукопись, да и просто некому ее оставить…»

В сущности он был необычайно деликатен:

«…На письмо я вам не ответил по той причине, что не хочу навязывать совершенно лишнюю переписку со мною, хотя мне переписка с вами очень нужна и интересна. И не потому, что вы печатаете меня в своей газете и хорошо отнеслись к моей последней книжке, а потому, что я совершенно одинокий семидесятилетний старик и ужасно нуждаюсь в доброжелательном, снисходительном и человеческом ко мне отношении.

И последнее, вы не можете себе представить, как много для меня значит то, что вам нравится (если это правда), как и что я пишу…»

И вот он умер. Вздорный и нелепый, добрый и заносчивый, умный и прекрасный человек.

Может быть, последний российский чудак.

Трудное слово

К сожалению, нет статистически точных данных о том, какое из слов в русском языке более или менее употребительно. То есть каждому, разумеется, ясно, что слово, например, «треска» употребляется значительно чаще, чем, допустим, «стерлядь», а слово «водка», скажем, гораздо обиходнее таких слов, как «нектар» или «амброзия». Но точных, повторяю, данных на этот счет не существует. А жаль.

Если бы такие данные существовали, мы бы убедились, например, что слово «халтура» относится к самым употребляемым в Советском Союзе. Причем употребляется это слово, как минимум, в двух значениях. В первом случае халтура — это дополнительная, внеочередная, выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во втором случае халтура — это работа, изделие, продукт труда, который выполнен быстро, недобросовестно, кое-как. В первом случае понятие «халтура» носит более или менее позитивный характер, во втором случае — негативный.

Популярность этого слова объясняется тем, что добросовестный труд в СССР все очевиднее переходит в разряд пережитков капитализма. Людям все труднее прожить на официальный заработок, отношение к работе становится все более циничным и потребительским; короче, советские граждане все упорнее охотятся за халтурой как за дополнительным заработком, а с другой стороны, все небрежнее и халатнее выполняют свои прямые обязанности на официальной работе. Таким образом, если употреблять слово «халтура» в одной фразе и при этом — в обоих значениях, то получится примерно следующее:

> «У себя на работе я не работаю, а халтурю, а вечером, когда иду халтурить, я уже не халтурю, а работаю…»

За шесть лет в Америке мне довелось работать с несколькими переводчиками, причем весьма квалифицированными, совместно мы разрешили множество лингвистических проблем, вышли из множества словесных тупиков, но слово «халтура» по-прежнему вырастает каждый раз перед нами как непреодолимое препятствие. Я достаточно много с ним провозился, чтобы утверждать: такого слова или даже близкого к нему понятия в английском языке — не существует. Есть слово «трэш», что значит

— мусор, дрянь, отход. Это слово употребляется по отношению ко всякому барахлу, к бездарным развлекательным пьесам, к примитивным коммерческим романам или аляповатым художественным полотнам. Есть слово «бэлони», что означает — ерунда, чушь, пакость. Есть выражение «чип-стаф», то есть — дешевое исполнение, дешевка, бросовый товар. А вот слово «халтура» в том значении, в каком употребляем его мы, бывшие советские граждане, в Америке не существует.

Означает ли это, что здесь, в Америке, нет рвачей или лентяев, олухов или тупиц, что никто здесь не нуждается в дополнительных заработках или не трудится спустя рукава? Ни в коем случае. Есть здесь, конечно, и рвачи, и лентяи, и бездельники, не говоря о тупицах, а слова «халтура» — нет. Более того, я вынужден прибегнуть к парадоксальной формулировке: «халтурщики» в Америке есть, а слово «халтура» в американском лексиконе — отсутствует. Как же так?

Прислушайтесь, с каким выражением, с какой интонацией употребляет это слово российский мастеровой, художник-штукарь, или писатель, устремившийся в погоню за длинным рублем, то есть любой человек, занимающийся сознательной халтурой. Вы не увидите на его лице ни следов раскаяния, ни ощущения вины, ни гримасы стыда. Он говорит о своей халтуре с веселой гордостью, торжеством и подъемом, как будто идет на штурм мирового рекорда по штанге. Ведь ему предоставляется шанс, счастливая возможность обмануть государство (а иногда и своего знакомого), урвать шальные деньги, бессознательно отомстить неведомым высоким инстанциям за свое нищенское существование. Поэтому советский халтурщик избавлен от комплексов, он весел и счастлив, как жаворонок.

В Америке тоже, как я убедился, хватает бездельников, хапуг и всяческих тунеядцев, но у них нет решительно никакой возможности торжествующе о себе заявить. Американский рвач, хапуга и бездельник может работать нерадиво, поспешно, но рано или поздно хозяин это заметит, вышвырнет лентяя с работы или резко сократит его жалованье. Американскому халтурщику не до смеха, он всеми силами старается быть похожим на добросовестного, квалифицированного работника.

Означает ли это, что в Америке нет дрянной мебели и посуды, безвкусной одежды, ненадежных телевизоров и магнитофонов, разваливающейся обуви? Все это есть, и, увы, в неограниченном количестве.

Вы заходите, скажем, в магазин радиотоваров. Перед вами стереоустановка за 800 долларов, сделана в Японии или в Западной Германии, а рядом проигрыватель за сотню,

изготовленный в Гонконге. И по цене и по марке Гонконга вам становится ясно, что это — типичный «чип-стаф», дешевка, бросовый товар. Такой агрегат может приобрести школьник или бедная старушка, но вам, поклоннику Бетховена и Моцарта, он не подходит. Значит, надо выложить 800 долларов или дождаться головокружительной распродажи, а иначе вы станете владельцем дешевой, ненадежной, хрупкой вещи. Это — «чип-стаф», но это не халтура в том значении, которое мы привыкли вкладывать в это слово.

И так — во всем: в сфере торговли, обслуживания, в области культуры. Вас никто не обманывает, вы видите цену, вы видите марку, а значит, вы можете судить о качестве. Должен заметить, что подлинное качество в Америке стоит не дешево, но именно этот расход, как никакой другой, себя оправдывает.

Что же касается трудностей литературного перевода, то в следующий раз, напоровшись на слово «халтура», я предложу переводчику сделать такую беспомощную сноску:

> «Загадочное, типично советское, неведомое цивилизованному миру явление, при котором низкое качество является железным условием высокого заработка».

Это непереводимое слово — «хамство»

Рассказывают, что писатель Владимир Набоков, годами читая лекции в Корнельском университете юным американским славистам, бился в попытках объяснить им «своими словами» суть непереводимых русских понятий «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». Говорят, с «интеллигенцией», «пошлостью» и «мещанством» он в конце концов справился, а вот растолковать, что означает слово «хамство», так и не смог.

Обращение к синонимам ему не помогло, потому что синонимы — это слова с одинаковым значением, а слова «наглость», «грубость» и «нахальство», которыми пытался воспользоваться Набоков, решительным образом от «хамства» по своему значению отличаются. Наглость — это в общем-то способ действия, то есть напор без моральных и законных на то оснований, нахальство — это та же наглость плюс отсутствие стыда, что же касается грубости, то это скорее — форма поведения, нечто внешнее, не затрагивающее основ, грубо можно даже в любви объясняться, и вообще действовать с самыми лучшими намерениями, но грубо, грубо по форме резко, крикливо и претенциозно.

Как легко заметить, грубость, наглость и нахальство, не украшая никого и даже заслуживая всяческого осуждения, при этом все-таки не убивают наповал, не опрокидывают навзничь и не побуждают лишний раз задуматься о безнадежно плачевном состоянии человечества в целом. Грубость, наглость и нахальство травмируют окружающих, но все же оставляют им какой-то шанс, какую-то надежду справиться с этим злом и что-то ему противопоставить.

Помню, еду я в ленинградском трамвае, и напротив меня сидит пожилой человек, и заходит какая-то шпана на остановке, и начинают они этого старика грубо, нагло и нахально задевать, и тот им что-то возражает, и кто-то из этих наглецов говорит: «Тебе, дед, в могилу давно пора!» А старик отвечает: «Боюсь, что ты с твоей наглостью и туда раньше меня успеешь!» Тут раздался общий смех, и хулиганы как-то стушевались. То есть — имела место грубость, наглость, но старик оказался острый на язык и что-то противопоставил этой наглости.

С хамством же все иначе. Хамство тем и отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно только отступить. И вот я долго думал над всем этим и, в отличие от Набокова, сформулировал, что такое хамство, а именно: хамство есть не что

иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний, в том чувстве полнейшей беспомощности, которое охватывает жертву. Именно безнаказанностью своей хамство и убивает вас наповал, вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство — это всегда «сверху вниз», это всегда «от сильного — слабому», потому что хамство — это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство — это неравенство.

Десять лет я живу в Америке, причем не просто в Америке, а в безумном, дивном, ужасающем Нью-Йорке, и все поражаюсь отсутствию хамства. Все, что угодно, может произойти здесь с вами, а хамства все-таки нет. Не скажу, что я соскучился по нему, но все же задумываюсь — почему это так: грубые люди при всем американском национальном, я бы сказал, добродушии попадаются, наглые и нахальные — тоже, особенно, извините, в русских районах, но хамства, вот такого настоящего, самоупоенного, заведомо безнаказанного, — в Нью-Йорке практически нет. Здесь вас могут ограбить, но дверью перед вашей физиономией не хлопнут, а это немаловажно.

И тогда я стал думать, припоминать: при каких обстоятельствах мне хамили дома. Как это получалось, как выходило, что вот иду я по улице тучный, взрослый и даже временами в свою очередь нахальный мужчина, во всяком случае явно не из робких, бывший, между прочим, военнослужащий охраны в лагерях особого режима, закончивший службу в Советской Армии с чем-то вроде медали — «За отвагу, проявленную в конвойных войсках», — и вот иду я по мирной и родной своей улице Рубинштейна в Ленинграде, захожу в гастроном, дожидаюсь своей очереди, и тут со мной происходит что-то странное: я начинаю как-то жалобно закатывать глаза, изгибать широкую поясницу, делать какие-то роющие движения правой ногой, и в голосе моем появляется что-то родственное фальцету малолетнего попрошайки из кинофильма «Путевка в жизнь». Я говорю продавщице, женщине лет шестидесяти: «Девушка, миленькая, будьте добречки, свесьте мне маслица граммчиков сто и колбаски такой, знаете, нежирненькой, граммчиков двести…» И я произношу эти уменьшительные суффиксы, изо всех сил стараясь понравиться этой тетке, которая, между прочим, только что прикрепила к своему бидону записку для своей сменщицы, что-то вроде: «Зина, сметану не разбавляй, я уже разбавила…», и вот я изгибаюсь перед ней в ожидании

хамства, потому что у нее есть колбаса, а у меня еще нет, потому что меня — много, а ее — одна, потому что я, в общем-то, с известными оговорками, — интеллигент, а она торгует разбавленной сметаной…

И так же угодливо я всю жизнь разговаривал с официантами, швейцарами, водителями такси, канцелярскими служащими, инспекторами домоуправления — со всеми, кого мы называем «сферой обслуживания». Среди них попадались, конечно, милые и вежливые люди, но на всякий случай изначально я мобилизовывал все уменьшительные суффиксы, потому что эти люди могли сделать мне что-то большое, хорошее, важное, вроде двухсот граммов колбасы, а могли — наоборот — не сделать, и это было бы совершенно естественно, нормально и безнаказанно.

И вот так я прожил 36 лет, и переехал в Америку, и одиннадцатый год живу в Нью-Йорке, и сфера обслуживания здесь — не то пажеский корпус, не то институт благородных девиц, и все вам улыбаются настолько, что первые два года в Америке один мой знакомый писатель из Ленинграда то и дело попадал в неловкое положение, ему казалось, что все продавщицы в него с первого взгляда влюбляются и хотят с ним уединиться, но потом он к этому привык.

И все было бы замечательно, если бы какие-то виды обслуживания — почта, например, или часть общественного транспорта — не находились и здесь в руках государства, что приближает их по типу к социалистическим предприятиям, и хотя до настоящего хамства здешняя почта еще не дошла, но именно здесь я видел молодую женщину за конторкой, с наушниками и с магнитофоном на поясе, которая, глядя на вас, как на целлофановый мешок, слушала одновременно рок-песенки и даже как-то слегка агонизировала в такт. С тех пор я чаще всего пользуюсь услугами частной почтовой компании «Юпиэс», и здесь мне девушки улыбаются так, что поневоле ждешь — вот она назначит тебе в конце разговора свидание, но даже после того, как этого, увы, не происходит, ты все равно оказываешься на улице более или менее довольный собой.

ПИСЬМА

Письма на моем столе

Когда я был маленьким, то страшно завидовал взрослым, которые имели основания заглядывать в почтовый ящик и время от времени доставали оттуда письма, украшенные пестрыми марками и таинственными штемпелями. Высокое право писать и получать письма казалось мне недосягаемой привилегией зрелости. Лет до десяти я вообще не получал писем, а затем побывал летом 52-го года в пионерском лагере «Артек», познакомился там с мальчиками разных национальностей, и после этого раза два-три в год получал письма то из Средней Азии, то из Прибалтики, то с Украины примерно такого содержания: «Я учусь на пятерки и четверки, активно занимаюсь физкультурой, ухаживаю за зелеными насаждениями, два раза прочитал книгу «Мальчик из Уржума», в нашем городе много достопримечательностей, с пионерским приветом — такой-то». Иногда эти письма заканчивались неформальной фразой: «Жду ответа, как соловей лета».

В конце концов эта переписка заглохла, и я опять несколько лет почти не получал писем, если не считать двух-трех посланий от моих одноклассниц, в которых говорилось: «Давай вместе слушать пластинки Рашида Бейбутова», или «Кто по-твоему выше, Пушкин или Маяковский?», а одно из них заканчивалось словами: «Если ты любишь Сережку Тюленина, давай дружить».

Потом я стал студентом, у меня началась, так сказать, личная жизнь, но писем мне, в общем-то, никто не писал, потому что все мои знакомые жили в Ленинграде, и свои проблемы мы решали в ходе долгих телефонных разговоров. Если в ту пору я и получал письма, то из библиотек с требованием срочно вернуть взятые там книги или уплатить штраф в размере их пятикратной стоимости, а также — предвыборные повестки, которые в строгом смысле слова и письмами-то назвать нельзя.

Осенью 62-го года меня забрали в армию, я оказался в республике Коми, служил в тайге, да еще и в охране лагерей особого режима, но зато я чуть ли не каждый день получал письма от моих родителей, от старшего брата и нескольких близких друзей, и эти письма очень меня поддерживали в тех кошмарных условиях, в которые я попал, тем более что почти в каждом из них я обнаруживал — рубль, три, а то и пять, что для советского военнослужащего истинное богатство. Эти деньги я, как и все мои сослуживцы, тратил, естественно, на вино и на папиросы, и в результате за три года в армии приучил себя основательно и к тому, и к другому.

Потом я демобилизовался и, находясь под впечатлением увиденного в лагерях особого режима, стал писать рассказы и рассылать их по редакциям. Нормой для меня в те годы было писать по одному рассказу в день, и, соответственно, я рассылал по газетам и журналам семь пакетов в неделю. В ответ я получал бесчисленные письма, которые были настолько похожи, что случись это в наши дни, в Америке, я был бы совершенно уверен, что их создают компьютеры с одинаковой программой. Эти письма неизменно заканчивались такими словами: «Ваш рассказ нас заинтересовал, но по понятным вам причинам опубликован он быть не может. С уважением — такой-то».

Помню, меня очень раздражало это вот «с уважением», ведь гораздо естественнее в таком контексте было бы написать: «с презрением» или «с отвращением». Какое уж тут может быть уважение к человеку, посылающему в редакцию свой рассказ, который по понятным самому автору причинам не может быть опубликован?!

Все эти письма были похожи, кроме одного, из «Литературной газеты», которое меня совершенно озадачило и до смысла которого я не могу докопаться до сих пор, по прошествии двадцати с лишним лет. Письмо заканчивалось такими словами: «Ваш рассказ нам понравился, и мы напечатаем его в июне текущего года. Хотя надежды мало. С уважением — Цитриняк». Фамилия «Цитриняк» время от времени попадается мне в советской печати, так что я не расстаюсь с надеждой — выяснить, что он тогда имел в виду.

В начале 70-х годов мои наиболее решительные и отчаянные друзья устремились на Запад, и от них время от времени приходили письма в тонких светло-голубых конвертах с синими и красными полосками, и эти редкие письма становились общественным достоянием, мы носили их из одной компании в другую, читали вслух и обсуждали самые мелкие подробности, начиная со штампов на конверте. Помню, как Игорь Ефимов, держа в руках только что полученное с Запада письмо, взволнованно говорил: «Ну почему, почему, почему американский штамп такой отчетливый, а на нашем невозможно прочесть ни дату, ни место назначения?! Почему даже в таких пустяках мы на последнем месте?!». Любая информация в этих письмах казалась нам сенсационной, то, что Бродский отрастил длинные волосы, и то, что Славинский поскандалил в баре, и то, что Марамзин купил машину, и даже цвет этой новой машины был предметом наших долгих и оживленных дискуссий.

В 78-м году я окончательно убедился, что на родине меня печатать не будут, и стал подумывать об отъезде, тем более что

мои рассказы к тому времени оказались на Западе, и по этому поводу я получал от моих друзей письма, написанные таинственным эзоповым языком: «Гостинцы от тебя получили и уже передали их по назначению — Володе Максимову и Вите Перельману», и это означало, что мои рассказы получены и переданы редакторам журналов «Континент» и «Время и мы».

Вообще-то, конспираторы мы были неважные, и я хорошо помню одно шутливое постановление, принятое на какой-то нашей шумной вечеринке: «В целях усиления конспирации рекомендуется впредь журнал «Континент» именовать в письмах и разговорах журналом „Контингент“». Шутка была не лишена смысла, потому что я хорошо помню, как один мой знакомый кричал мне по телефону: «Старик, поздравляю, тебя видели в «Континентале», ты понял?! Тебя видели в «Континентале»!» Это означало, что кто-то своими глазами видел мой рассказ, опубликованный в «Континенте».

В 78-м году я уехал, попал в Нью-Йорк, и около года пролежал на диване в раздумьях о судьбах интеллигенции, в то время как моя жена каждое утро отправлялась на тяжелую работу. Письма из Советского Союза приходили редко и не очень-то содержательные, потому что, во-первых, считалось, что они не доходят, а если и доходят, то внимательно прочитываются цензурой, да и вообще, я тогда считал, что с прошлой жизнью покончено.

Через некоторое время мы с группой друзей создали газету «Новый американец» и вскоре я стал ее главным редактором, и с тех пор в течение двух лет получал от тридцати до пятидесяти писем в неделю, в которых содержались газетные статьи и заметки разной ценности, но в основном — упреки от обиженных, отвергнутых авторов, которые истязали меня такими посланиями: «Мой роман в стихах «Судьба Раисы» я долгие годы не мог опубликовать в газете «Карагандинский первопроходец», а теперь я вырвался на свободу, и опять вы, прислужник газетной мафии, стоите на моем пути к читательским сердцам».

Письма из Союза приходили тогда совсем редко, и язык их становился все более эзоповым, и я помню, как мой старый знакомый Леша Журавлев, бывший освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ Ленинградского кораблестроительного института, написал мне: «Очень хотелось бы поехать отдохнуть куда-нибудь подальше, но у меня, как ты знаешь, старик, полный завал с пятым пунктом, о чем я первый раз в жизни глубоко сожалею».

Пять лет назад в СССР началась перестройка, и через некоторое время переписка с советскими знакомыми явно

оживилась, причем с каждым годом они все более открыто и резко писали о том, что творится на родине, и выражали готовность посетить нас в Нью-Йорке, в результате чего кое-кто из наших родственников и близких друзей действительно оказался в Америке.

Постепенно с такого рода идеями к нам стали обращаться не очень близкие знакомые, затем малознакомые люди, и наконец мы стали получать дружеские письма от тех, кого мы общими усилиями никак не могли вспомнить. В некоторых таких письмах говорилось, что мы должны как можно скорее послать приглашения этим людям, пока у них есть возможность купить билеты из СССР в Америку и обратно — на рубли, а то в скором времени билеты станут продаваться исключительно на валюту, и тогда наши расходы в связи с их приездом заметно увеличатся.

Однажды я получил письмо, которое начиналось словами: «Помнишь ли ты нашу дружбу, старик?!», и я добросовестно пытался вспомнить указанную в конце письма фамилию, и действительно, после долгих усилий вспомнил этого человека, с которым в день нашей первой и последней встречи на чьем-то дне рождения почти сразу же подрался из-за разногласий по поводу творчества Бродского. Этот человек тоже изъявлял готовность приехать в Америку, видимо, для того, чтобы возобновить нашу дискуссию, от продолжения которой я счел нужным малодушно уклониться.

Чуть ли не каждый день я получаю сейчас письма из Советского Союза, в том числе и деловые, связанные с нашими публикациями на родине, и в этих письмах давно уже нет никакого эзопова языка, в них много горечи и в то же время — надежды, как и должно быть в искренней дружеской переписке, и вообще, должен сказать, что зарождающаяся свобода слова полнее всего для меня выражается именно в этих письмах из дома, временами таких нелепых, но всегда таких дорогих.

Письма к Людмиле Штерн

Переписка с Сергеем Довлатовым охватывает более чем двадцатилетний период нашей дружбы. Первые два года мы переписывались, живя в одном городе — Ленинграде. Потом начались «великие перемещения». В 1969 г. Довлатов уехал в Курган, а потом — в Таллинн. В 1975 г. наша семья эмигрировала в США и поселилась в Бостоне. Три года спустя эмигрировал Довлатов. Все эти годы, где бы мы ни находились, мы продолжали нашу дружбу и нашу переписку.

Последний раз я виделась с Сергеем Довлатовым 24 мая 1990 г., на пятидесятилетии Иосифа Бродского, а в июле, за месяц до Сережиной кончины, я получила от него последнее письмо.

Некоторые из писем Довлатова носят сугубо личный характер, и время для их публикации еще не пришло. Среди других — есть резкие и часто несправедливые высказывания об общих друзьях; не желая их обижать и огорчать, я сделала соответствующие купюры или оставила в именах и фамилиях одни инициалы. Последнее из публикуемых писем адресовано не мне, а моей матери Надежде Филипповне Фридланд-Крамовой. Оно, несомненно, представляет интерес, отражая отношение Довлатова к эмигрантской литературной среде.

Людмила Штерн

1

31 мая <1968 г., Комарово>

Милая Люда, письмо получил. От него зловеще повеяло холодом и душевным покоем…….. Что касается автодеклараций по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда: *литература цели не имеет.* Вернее, к ней применима любая цель, укладывающаяся в рамки человеческих надобностей (врач, учитель, конферансье, и т. д.) Для меня литература — выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Я не знаю, зачем я пишу. Уж если так стоит вопрос, то ради денег. И я не уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не

создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова, которые бы кое-как отвечали тому, что я слышу, как голос извне. Ты знаешь, что я не отличаюсь большим самомнением. А сейчас пишу тебе совершенно искренне: все, что говорят о моих рассказах, как бы они ни были несовершенны, для меня откровение. И я не уверен, что над ними довлеет моя личная воля… Разница же, соотношение между ценностью и истиной такое же, как между несдерживаемыми воплями на ложе любви и первым криком ребенка…

Твой *Довлатов*

2

<Июнь 1968 г., Комарово>

Дорогая, Дом творчества набит веселым, мохнатым зверьем с человеческими глазами. Среди писателей — довольно много однофамильцев великих людей. В частности, Шевченко и Белинский. Мне нестерпимо захотелось взглянуть на писателя по фамилии Белинский, и я зашел к нему как бы за спичками. Белинский оказался довольно вялым евреем с бежевыми встревоженными ушами. Между Пановой и Даром происходят такие прелестные дискуссии:

Дар: — Все-таки Хемингуэй в романе «Прощай, оружие» очень далеко плюнул.

Панова (раздумчиво): — Однако «Войны и мира» он не переплюнул.

Дар (раздумчиво же): — Это верно. Но тем не менее он очень далеко плюнул.

Я (молча): —!!?№%=!=!§!

«Записки тренера» подвигаются довольно быстро и сулят 100 страниц. 40 — готовы. В этой повести я использую совершенно новый для себя стиль, который замыкается не на слове, не на драматическом соприкосновении слов, а на тех состояниях, на той атмосфере, что должна быть воссоздана любой ценой, любым языком. В этой повести слова гораздо облегченнее, прохладнее. Я хочу показать мир порока, как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-искуситель, напоминая о себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды. Еще я хочу показать, что подлинное зрение возможно лишь на грани тьмы и света, а по обеим сторонам от этой грани бродят слепые.

Так вот скромненько выглядят мои творческие планы…

Постарайся хотя бы коротко отвечать на все мои письма. Хотя бы парой многоточий. Или восклицательным знаком, с которым мы похожи, как братья.

Обнимаю, выпиваю и закусываю…

Твой *Сергей.*

3

<1969 г., из Ленинграда в Ленинград>

Милая Люда! последнее время у меня не было ни малейшей возможности увидеться или поговорить с тобой. Мы работаем с утра до вечера. На днях сдадим работу, несколько дней пробудем в мастерской на Пискаревке, оттуда я смогу тебе звонить, а потом уедем на неделю охотиться, после чего отправляемся в Баку рубить некоего Мешада Азизбекова, одного из 26 неврастеников[7].

На службе у меня все в порядке. Тружусь я с большим усердием, потому что хочу в течение года получить квалификацию резчика по камню, с которой я нигде не пропаду. После литературы это самая подходящая профессия.

Я прочел твои заметки на полях рукописи романа и повести. Все они справедливы и уместны, но меня обидел немного залихватский и чуть ли не злорадный тон этих записей. Ты порезвилась, Люда, а это нехорошо. Ты ведь знаешь, что литературные дела — главное в моей жизни и единственное, пожалуй. Я пищу очень старательно и с большим трудом, а в последний год с большим напряжением, потому что решил поломать свой стиль и отказаться от многих приемов, которыми в какой-то степени овладел, истребить то, с чем освоился. Я знаю, что у меня пока не выходит, и со *всеми* твоими указаниями согласен, но иронизировать в таком случае я бы не стал. В этих делах желательно быть таким же деликатным, как если ты обсуждаешь наружность чужого ребенка.

Но все это не значит, что я такой мизантроп и рыбий глаз <…> Жди звонка, если не забыла меня, труженика. Расскажу тебе массу новостей.

Твой *Сергей*

4

27 мая <1969 г., из Ленинграда в Ленинград>

Здравствуй, моя железная и бескомпромиссная пожирательница перцовки!

<…> Я прочел два американских романа и вот что я понял. Янки не очень далеко продвинулись в смысле истины; кстати, истина, очевидно, не является для них краеугольным камнем ни в жизни, ни в искусстве, ни в политике. Зато они создали новые внезапные ценности, сумев придать им известную притягательность и силу воздействия на сердце, если не на ум.

Новости спорта: Вчера во время хоккейного матча между динамовцами столицы и харьковским «Авангардом» нападающий Диденко ударил полузащитника Петрова клюшкой по голове. «Это что еще за новости?!» — сказал обиженный Петров <…>

Твой *Сергей*

5

28 мая < 1969 г., из Ленинграда в Ленинград >

Милая Люда! Исполнитель роли несчастного мавра слегка переусердствовал. Ему ужасно стыдно, он проклинает систему Станиславского и обязуется в дальнейшем придерживаться условных традиций Мейерхольдовского театра.

Вторые сутки печатаю «Чужую смерть» и ничего не понимаю. Хорошо это или плохо.

<…> Ты столько занималась моими делами, что я решил со своей стороны поделиться отдельными афористическими соображениями по поводу твоей профессии. Должен тебя разочаровать. То, что вы претенциозно называете грунтами, на 80 % состоит из полусгнивших останков пяти миллиардов (точнее, — 5.382.674) почивших на этой планете людей. Неисчислимые мегатонны человеческих экскрементов (я уж не говорю об испражнениях домашних животных, пушного зверя и птичьем помете) пропитали ту неорганизованную материю, которую вы кокетливо называете грунтами. Романтики! Наивные идеалисты! Тошнотворная смесь навоза и человеческой падали — вот предмет ваших упоительных изысканий. Разложившиеся трупы нацистов, прах Сергеева-Ценского, Павленко, Рабиндраната Тагора, моча и кал ныне здравствующих членов Союза Советских писателей (кстати, тебе известно, что в ССП в полтора раза больше членов, чем голов) — таков далеко не полный перечень отталкивающих ингредиентов, которые вы, ошельмованные простаки, самозабвенно нарекли грунтами. Пока не поздно,

обратите взоры к небу!!! Но и тут не будьте слишком доверчивы и рассеянны, иначе голубь, проносящийся в синеве неба, капнет вам на рыло! На этом заканчиваю свой оптимистический эссей.

Обнимаю, твой *Сергей*

6

<Июнь 1969 г., из Ленинграда в Ленинград >

Милая Люда, я ненавижу музеи больше всего на свете после природы и шахмат, но тебя люблю по-прежнему. И хочу возложить на тебя поручение, т. е. передать твоей подруге Асетрине[8] 10р., которые я ей задолжал. Пытаться смягчить ее антипатию ко мне не надо, ибо это чувство входит в программу моего ей отмщенья. Целую,

твой *С.Д.*

7

< Декабрь 1969 г., из Кургана в Ленинград >

Милая Люда! Мама, наверно, уже сообщила тебе, что я оказался в Кургане. Намерен жить тут неопределенное время. Это означает, что в «Дельфине» 20-го мы встретиться не сможем. Я не буду излагать тебе все нудные мотивы своего поступка — ты ведь все понимаешь <…>

Тут обнаружились какие-то хаотические возможности заработка в газете и на радио. Более того, у меня есть первое конкретное задание…

Полдня я провел в Свердловске. Это бессмысленный город, грязный и периферийный до предела. Там почему-то очень много фотоателье. При этом я не встретил ни одного привлекательного свердловчанина. И чего они так любят фотографироваться? В магазинах пусто, как со стороны продуктов, так и со стороны покупателей. Курган гораздо чище, аккуратнее и благородней… Я уверен, что мои дела тут определятся. С первой весенней партией я уеду в горы. Может быть, мне повезет, и я сломаю себе позвоночник <…>

8

20-е декабря < 1969 г., из Кургана в Ленинград>

Милая Люда, я до сих пор не получил от тебя никакого известия, хотя написал неделю назад. Дела мои идут нормально, трезво и обстоятельно. Сдал два очерка в «Советское Зауралье» и «Молодой Ленинец», в понедельник улечу на местном самолете в Частоозерье на рыбокомбинат. Они набирают людей на последний «неводной и сетевой» лов. Я там пробуду три месяца среди законченных подонков общества, т. е. в самой благоприятной для меня обстановке. Предоставляется барак и кое-что из спецодежды. Оплата сдельно-премиальная. Интуиция мне подсказывает, что это хорошо. В общем, я на некоторое время становлюсь «сезонником из бывшего ворья» — цитата, кажется, «Марш одиноких».

Я довольно много написал за это время. Страниц 8 романа, половину маленькой детской повести о цирке и 30 страниц драмы про В.Ф. Панову. Мы читали 1 акт местному режиссеру, пока все нормально. Пиши мне по адресу Славы Веселова[9], он мне переправит всю корреспонденцию <…>

С. Довлатов

9

<Июнь 1974 г., из Таллинна в Ленинград>

<… > Милая Люда! «Юность» — черт с ней! Я написал то, что им требовалось, и они меня опубликовали[10], другого публиковать не стали бы. Для меня и для местного издательства это сильный прецедент. Тут есть чиновники, которые текста не прочтут, а рожу и фамилию запомнят.

Адепты чистого искусства уже подняли дружный лай по поводу моего выступления. Получена такая открытка: «Портрет хорош, годится для кино, но текст беспрецедентное говно». Это кто-то напрягся из тусклой челяди Б., я думаю. Подпись красноречивая — Х, по-ихнему — икс.

<…> Я заканчиваю роман «В тихом городе». Рейн физически уснул, когда я излагал ему содержание. Роман (предыдущий) «Дорога к славе» буду подавать на рецензию в августе. Там 12 листов. Если со мной в 1-ом квартале подпишут на него договор, я немедленно уеду в Ленинград.

В общем я держусь. Более того, чуть не купил за 700 рублей «форд» 1938 г.

Одет неважно, питаюсь средне. Тревоги в моем взоре

навалом, особенно с похмелья <…>

Твой *Сергей*

10

< 1974 г., из Таллинна в Ленинград >

<…> Милая Люда! Ты, я думаю, уже в Ленинграде, решил написать тебе. Книжки мои где-то в типографии. Полторы тысячи мигом улетели, более того, я на них проехал как бы две лишние остановки, имею долг 1800 рублей. Зато мне сшили сюртучок из кожи покойного дяди Кирилла, еду за ним в субботу. А вот пиджака и обуви нет.

Доходят из Ленинграда печальные новости, я очень близко принимаю к сердцу все это, Марамзина жалко[11].

В Таллине нет политики, нет эмигрантов, и даже нет евреев. Они говорят по-эстонски, носят эстонские фамилии, а в русских компаниях не ощущаются <…>

Твой *Сергей.*

11

<Апрель 1976 г., из Ленинграда в Нью-Йорк>

Милая Люда! Читаем с Игорем (Ефимовым. — *Л.Ш.*) твое грустное письмо. Издалека судить о твоих обстоятельствах невозможно. Думаю — жизнелюбие, юмор, романтизм — интернациональны, подобно скепсису, глупости и унынию.

А значит, все будет хорошо. Мне показалось, что Катя Штерн[12] ассимилируется живее и свободнее, а это для тебя самое главное.

Непривычно мне тебя утешать и подбадривать. Всегда было наоборот. В апреле ухожу из «Костра»[13]. Перспективы туманные. Психически все очень меняется. Ваш отъезд приблизил далеких людей. Игорь Ефимов снисходит до М., я — вообще черт знает до кого <…>

Из жизненных сумерек выделяются какие-то тривиальные факторы. Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни хрена не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки — тоже. Но я забыл, куда. Мне отомстят все тургеневские пейзажи,

которые я игнорировал в юности <…>

Прости мне этот громоздкий метафорический выпад.

Твой *Сергей*

12

7 декабря <1976 г., из Ленинграда в Бостон>

Милая Люда!

Благодарю за содержательное письмо. Теперь американскую жизнь я представляю себе ярче, чем нашу. К миллионершам, тобой впечатляюще живописуемым, проникся негодованием. Я их, гадов, так себе и мыслил. Что за контора «Стоун и Вебстер»? Техническая или гуманитарная? Protect you God, чтобы тебя туда взяли. Готова ли ты выслушать совет хронического неудачника? Единственная привлекательная сфера — русская культура. Тебе это близко. Пусть мало денег. Ну их с культом доллара. Обязательно напиши Леше[14]. Кстати, он расскажет о моих делах. Пиши, не откладывая. Это поразительный человек. Нужна идея, стимул, фермент. Нам в этом смысле легче. В литературных делах появляются следы авантюризма, конспирации. Проблема (столь острая в Америке?) духовного общения заслоняется миллионом других проблем. Что писать о себе, ей-богу, не знаю. В Пушкинских Горах было замечательно. Туристы задают дивные вопросы:

1. Была ли Анна Каренина любовницей Есенина?
2. Кто такой Борис Годунов?
3. Из-за чего вышла дуэль у Пушкина с Лермонтовым?

Я не пью уже давно. Как-то неожиданно и стабильно бросил. Вероятно, произошел невольный самогипноз. Или стимулы повлияли. После 100 граммов водки у меня гнетущее настроение. И я спешу домой. Написал 4-ю книгу романа. Ее все хвалят, кроме Наймана. Найман же сказал: «Мы все умрем…» А дальше я не слушал. Умрут лишь те, кто готовы. Лично я пока не умру. Сочиняю. Летом выйдет хорошая книжка. Занимайся английским прилежно. И русский не забывай в силу тех же причин. Узнай, пожалуйста, как там Шмаков?[15] Пусть объяснится с Лешей. За гостинцы спасибо еще раз. Это меня здорово поддерживает.

Люда, не послать ли тебе какие-нибудь деревянные ложки? Какие-нибудь азиатские сувениры для подарков. Мне бы очень хотелось. Но чем можно обрадовать приятельницу богачихи Санди?[16] Я не хочу выглядеть глупо. Не хочу уподобляться Рейну. Женя послал в Италию через Мишу Глинку[17] несколько

фанерных дощечек. Знаешь, на рынке продаются семена. А само растение в перспективе изображено на такой фанерной дощечке. Дощечка погружена в семя. И покупатель соображает, что должно вырасти. Женя где-то раздобыл эту мерзость и послал. Он объяснил Глинке, что здесь таится подспудная фантазия народа. И просил обменять эти штучки на модельные туфли. Глинку высмеяли уже на советской таможне.

В общем, жизнь продолжается. Семейного счастья не обрел. И уже не стремлюсь. Зато пишу ежедневно. Вижусь только с Игорем. А общение с ним не есть грозовой вихрь. <…>

Твой С. *Довлатов*

13

18 сент. < 1978 г., из Вены в Бостон >

Люда, милая! Твое исключительно сдержанное письмо достигло цели. Мне даже показалось, что оно не требует реакции. Отвечаю потому, что благодарен всем за хлопоты. Даже австралийские скваттеры (?) что-то подписали в мою защиту. Сейчас, проанализировав обстоятельства, я точно знаю — нас выпустили только благодаря этим хлопотам.

Тебе спасибо в первую очередь.

Печататься зовут все. Но. Либо бесплатно, или почти бесплатно («Эхо», «Грани», «Время и Мы»), либо изредка («Континент» и американская периодика).

Я уже здесь написал три материала — два в «Русскую Мысль» (о себе и о ефимовской «Метаполитике») и один в «Континент» об эстонских делах.

Прислали мне немного литературных денег. Я теперь похож на второстепенного ленфильмовца. Одет в кожзаменитель и разнообразный западный ширпотреб. Купил всяческую радио, фото и муз. аппаратуру.

То, что я — жив и на воле — чудо. Ликую беспрестанно. Склеил юную домовладелицу Кристину — очень худую.

Проблем алкоголизма не существует. Есть другие. Проффер[18] говорит — реально поступить в аспирантуру. Или добиваться статуса в периодике. Или катать болванки у форда. Мне подходит — все.

Подождем документов и улетим в Нью-Йорк. Лена минимально устроена. Все уверяют, что и я не пропаду. А Максимов даже в таких формах: «С вашим обаянием! С вашим талантом!»…

У меня есть рукопись о журналистике, полудокументальная. И еще роман о заповеднике, в том же духе. У Леши — 1600 моих страниц.

А главное — я жив и на воле. Человек таков. После мгновенной аккомодации его отрицательные чувства сразу восстанавливаются на прежнем уровне. Сравнения приобретают чисто творческий характер. Я же все еще преисполнен ощущения свободы, благополучия (мы очень нищенствовали полгода) и т. д. Все, что можно знать об Америке, не побывав там, я знаю. На фоне майора Павлова, негры и колумбийцы — дуси <…>

Напиши мне личное письмо.

С благодарностью и любовью,

преданный тебе *Довлатов*

14

24 окт. < 1978 г., из Вены в Бостон>

Людочка, прости меня за глупость.

Я как-то совершенно не умею выбирать тон. С тобой особенно. Как будто — завидую и даже сержусь. Почему-то разозлился на твою литературу. Мол, и в этом обошла. Обновленным я себя не чувствую, уверенным — тем более. Я когда-то спросил Ефимова, будет жизнь лучше или нет. Он говорит, кому хорошо, будет еще лучше, а кому плохо — будет еще хуже. Именно так и получается. Посуди сама. Литературные перспективы ничтожны. 80 % из написанного я даже не буду пытаться издать. Есть одна приличная книжка о журналистике и все. И задумок (наше с тобой любимое слово) тоже нет. Дальше. Семья неизвестно — есть или нет. Я очень люблю Катю.[19] <…> И так будет всегда. Разреши сделать тебе чудовищное признание. Больше всего на свете я хочу быть знаменитым и получать много денег. В общем, я совершенно не изменился. Такой же беспомощный, замученный комплексами человек, умудрившийся к 37 годам ничем не обзавестись. А кое-что и потерять. Здесь у меня даже собутыльников нет.

Я тебя обнимаю. Мама кланяется. Глаша с нами.

Твой *Сергей*

P.S. Не попадалась ли тебе «Русская Мысль» за 19 окт?

Там про меня целая страница с красивой фотографией.

С.

21 марта <1979 г., из Нью-Йорка в Бостон>

Милая Люда! Спасибо за письмо. Буду рад с тобой повидаться. Телефон мой (212)359-0103. Но он скоро изменится. Вместе с адресом. М.б. в течение недели. Мы переезжаем в Forest Hills. Район получше, и школа хорошая. Да и хозяин наш теперешний — белорус и красноармеец. Новый адрес и телефон сообщу <…>

Моя растерянность куда обширней средних эмигрантских чувств. В этом-то плане на что мне жаловаться? В газетах обо мне пишут. По радио говорят. Дважды выступал почти бесплатно, но с успехом. Книжки выходят и будут выходить. Есть четыре издательских предложения. Все — несолидные. Ни денег, ни престижа. Есть халтура на радио Liberty. В «Новое Русское Слово» пиши хоть каждый день. (Кстати, о тебе написали мои приятели Вайль и Генис, номер за 20-е. По-моему, грамотно и справедливо.) Работу пока не ищу. Рано. Посещаю английские курсы. Бесплатные, а следовательно — некачественные. Уверен, что в 2–3 месяца подвернется работа. Тут два еврея создают новую газету. Преображается Liberty, а значит, будет вакансия. Но это все <…>

В Ленинграде при всем ужасе было ощущение цели. Вернее, перспективы. Тюрьма — Париж. Сейчас ощущение физического конца, предела. <…>

Литераторов здесь нет. Откуда им взяться? П. скучен, глуп и блудлив. Лимонов — талантлив, но отвратен. Бродский — выше облаков. Наврозов — англоязычный полунабоков. Остальные — безымянные. Я даже слегка выделяюсь, увидишь.

Нью-Йорк жутко провинциальный, все черты провинции — сплетни, блядство, взаимопересекаемость. Блядство совершенно черное. Поэтессы…… прямо в машине, без комфорта. И одернуть неловко. Подумают, дикарь…

Кроме того, наступила старость. Внезапно, как мне и предрекали. Я — глухой. Плохо сплю. Не все, без разбора ем. На лестнице задыхаюсь. И сердце болит.

Из моих 2500 стр. печатать целесообразно 1/6 часть. Остальное — макулатура. Пятнадцать лет бессмысленных стараний…

Ну, все… До встречи.

С.Д.

16

4 апр. <1979 г. из Нью-Йорка в Бостон>

Милая Люда!

Знаешь ли ты, что твою повесть транслировали по BBC? Мне сказал Поповский. Очень хочу повидать тебя. Я тут зашел в книжную лавку Мартьянова и попросил Довлатова и Уфлянда — взглянуть. Старик Мартьянов бодро закивал и вынес мне Алданова и «Кюхлю».

В жизни всегда есть место комплексам!

Твой собрат по перу *С.Д.*

17

19 мая < 1979 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Милая Люда!

У меня к тебе просьба. Вернее — поручение. А может, ни то, и ни другое. Если тебе все это покажется неловким… Ситуация такова — я пытаюсь издаться в трех местах. По-русски — в Лондоне. Записные книжки — тут на деньги одного пищевого магазинщика, он же — начинающий меценат. Машинка, на которой пишу, — его уместный дар. И еще. Хочу издаться по-английски. У меня есть «Зона», есть американец, переведший четыре рассказа. Но «Зоны» мало по объему. Мне известно, что кто-то в Ардисе переводил мое из другого сборника — «Компромисс». Может, сама О'Коннор[20]. То, что она (?) перевела, должно было войти в «Невидимую книгу». Не вошло. Я хотел бы знать, что с этими рассказами. Я написал О'Коннор письмо, но в силу приниженности организовал его так, чтобы можно было не реагировать. Она не реагировала. Снова писать неудобно. Как ты знаешь, мне почти все неудобно. Может, ты с ней поговоришь?

Мне даже нужна не она, а свобода распоряжаться «Компромиссом». Хотя, если бы она проявила заинтересованность, я был бы счастлив. Короче, варианты такие. Либо она посылает нас, и тогда американец переводит всю книжку. Он — большой энтузиаст, хоть и без квалификации. Иногда такой полезнее. Либо она согласна выслать то, что перевела, и я буду называть ее сопереводчиком. В общем, как-то надо прояснить это дело. Пожалуйста, Люда, сделай. К Леше боюсь обращаться. Он как-то сверхъестественно занят. К Игорю и так без конца обращаюсь. Жду. Спасибо. Почему ты не звонила

12-го, как обещала?

Всего доброго. *С.*

18

8 июня < 1979 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Милая Люда! Жутко хотелось ответить тебе на бланке. Они еще не готовы. И телефон еще не установили. Офис же мы поменяли. Наш адрес, извини, — Таймс-сквер, 1. Ар. 701. Хотели выше, но либо занято, либо совсем уже дорого. Отвечаю на вопросы.

1. Газета — «Новый американец». Само название о чем-то говорит. Еженедельник, 32 полосы. Газета американская, на русском языке. Сначала уточняли — для евреев. Сейчас пользуемся более общей формулировкой — для третьей эмиграции. Цель — содействовать новому эмигранту. В бытовом, юридическом, социальном, культурном плане. Научить страховаться, есть, отдыхать, жить по-американски. Такой ликбез. И еще. Все русские газеты — печальны. Наша — оптимистическая. Есть раздел — чего не предпринимать в Америке. Называется — «Я тебя умоляю».

2. Теперь о независимости. Газета — профитная. Это наша собственность. Зарегистрирована как тайп-принт бизнес[21]. Гос. субсидии для нас закрыты. И вообще — здесь много тонкостей. Мы будем продавать страницы экстремистам — любавичам, украинцам. Но — тактично отмежевываться. «Материалы подготовлены такой-то организацией». Газета политически — вялая. Умеренно либеральная, сахаровского тона. В равной степени избегаем коммунистической, антисемитской и фашистской пропаганды. Нас уже физически обругал (конкретно — меня) старый дурак Р. из НТС. И ласково проклял старый жуир Ф. (Почему-то у всех руководителей НТС — дурные зубы. Редкость на Западе.)

3. Стоит газета — 60 центов. (Один полный тиви-гайд[22] чего стоит?)

4. С бизнес-менеджерством такая история. Конечно, нужен американец. Но. Ему надо больше платить. Второе. У американца не поймешь, хороший ли он человек. И даже — умный ли. Наш друг и благодетель Стив кажется полным охламоном. А написал две книги по экзистенциализму. Шутит довольно убого, как многие американцы. И т. д.

5. О подписке-страховке я уже излагал. Подробности —

лично. Рекламу получить (американскую) трудно. Хоть деньги на рекламу и списываются. Тираж маленький. И все-таки. Эмигрантский рынок — скудный, однако — надежный. Нам все требуется. (Уезжали с четырьмя сумками.)

6. Сейчас проблем — две. Хороший и дешевый бизнес-менеджер, плюс реклама. С рекламой дело подвигается. С первым — хуже.

Имеется просьба. Первый номер мы сопровождаем дешевыми театральными эффектами. Такими как бы напутствиями. От знаменитостей. И в самом подборе их — наше кредо. Там будут — Максимов, Бродский, Неизвестный и т. д. Иосиф отнесся хорошо, обещал договориться с Барышниковым и Ростроповичем. Так вот. У вас там живет Коржавин. Ты его знаешь? Может, напишет одну-две строчки? Такое дело не обязывает. Какой бы ни оказалась газета… Пусть напишет в своем роде, о поэзии, о культуре… Кто еще у вас знаменит?

Читала про Уфлянда в НРС?

Нет ли знаменитого американца? Или не очень знаменитого. В самой иностр. фамилии есть красота.

Мои товарищи и коллеги — прелесть. Расскажу о них коротко[23]. Боря Меттер — Остап, командор. Женя Рубин — Паниковский, я — Шура Балаганов. < Алексей > Орлов — Адам Козлевич. И «антилопа» есть. Все, кроме меня, умеренно и охотно пьющие. Все рослые и толстые. Широкие и веселые…

Про нас уже говорят, что мы взяли деньги в КГБ. (Агент КГБ — здесь — такое же универсальное и отвлеченное выражение, как слово — бля. Я, бля, пошел, бля…) Боря дико обрадовался. Он говорит — это же прекрасно. Подписчики будут думать: раз ГБ — значит, солидно. И т. д. Обнимаю тебя.

Твой «красавец и хохмач»

С.Д.

19

31 июня < 1979 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Людочка, милая! Пишу, не дожидаясь ответа. Дело срочное.

Газетные наши хлопоты завершаются. Все обдумано и главные преграды устранены. Короче, мы начинаем. Иначе нас опередят. Четыре группы вынашивают аналогичные планы. Выиграет тот, кто начнет первый. Ибо вторая газета — необходима (получается как бы однопартийная система), а третья уже лишняя.

У нас есть (маленькие, увы) стартовые деньги (25 тыс. Для газеты — мизер), есть несколько организаций, заинтересованных в нас и в трибуне, найдены чрезвычайно гибкие и цельные при этом формы. Есть энтузиазм, талантливость и пр. Важно и то, что газета запускается максимально американским способом и т. д.

Короче. Отсутствует бизнес-менеджер. Его функции выполняет гл. редактор. Что составляет эти функции — долго объяснять. Ты рождена для подобной работы. Плюс обаяние. Плюс — язык. Плюс — мастерство контактов.

Может, ты, побывав в Нью-Йорке и ознакомившись, решилась бы. В плане снобизма это очень лестно. То есть — зам. гл. редактора. Аналог Валеры из НРС[24]. И даже вот что. Мы первое время работаем бесплатно. Тайпистам же, переводчикам и менеджеру готовы заплатить. Сначала минимум. Когда закончится период выживания — значительно больше.

Поверь мне, дело очень серьезное. Газета — это издательство, типография и реклама. То есть — полное счастье. Мечта жизни.

Короче. Постарайся быть в Н-Й скорее. Я тебя познакомлю с людьми. Они тебе понравятся. Убедишься, насколько все серьезно. За нами гоняются различные комьюнити[25]. Но мы сохраняем независимость. Чтобы не быть служащими. Чтобы не менять курс, выбранный очень точно. Так что, наш вариант бедный (поначалу), зато независимый. Газета — наша! 25 тыс. дал американец, мелкий фабрикант. Он газету и читать не будет. Кроме того, он наш приятель.

В общем, жду тебя. Подумай, Люда. Это очень даже шанс. Представляешь, наша собственная газета. И дело это — решенное.

Целую тебя и обнимаю. *С.*

P.S. Умный Як. Моис. Цвибак[26] *ищет нашей дружбы. Говорит (чуть ли не окая): «Худой мир лучше доброй ссоры»…*

С.

20

30 ноября < 1979 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Милая Люда!

Я желаю выразить тебе литературный комплимент. Я прочитал твоих «Родственников». Там дядя очень натурально разговаривает: «Это ее брат, пожалуйста». Передавать акцент очень трудно. Это мало у кого получается. (См. С. Довлатов. «В гору». Время и Мы, № 38)

У советских писателей неизменно что-то «моя твоя не понимает». Даже у Искандера плохо написан акцент. Не говоря о Ефимове. Там у него грузин произносит — «Польт не трэба». Кошмар.

Теперь о П. — Х. утверждает, что П. заведовал в «Литгазете» выдачей клея и был уличен в злоупотреблениях.

Аркаша же <…> глуп почти неправдоподобно для еврея. Он глуп какой-то уральской глупостью. Вершина его духовных представлений — это когда барышня днем пытается его укусить, а он ее толкает и уходит. Приезжай скорее. Я тебя обязательно познакомлю с Гришей Поляком («Серебряный век»). Это единственный культурный издатель в Америке. (Но и самый бедный.)

У нас теперь большая квартира. Настолько, что можно всем одновременно поссориться. Пью я теперь совсем мало. Лена уходит из «НРС». Это жестокое учреждение.

Люда! У тебя есть набор «Коллег» из «Времени». Почему же ты не издашь книжку? Это стоит 800 долларов.

Твой *С.*

21

14 января < 1980 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Милая Люда!

Вчера с Гришей написали тебе письмо. Гриша вечером унес его, должен сегодня отправить. Ночью позвонила Эля Троль[27] (ее официальная профессия — чревовещательница. Окончила цирковое училище по кафедре чревовещания.) Она сообщила, что Виктор Перельман[28] намерен (и пишет это ей, а не мне) не печатать меня больше. Это я ему отвечаю. Исследуй мое письмо, как знаток моих комплексов. Целую, *С.*

Дорогой Виктор!

Эля Троль передала мне Ваше «печатать не будем». Я ужасно расстроился. Объясню, в чем дело.

Откровенно говоря, в русских публикациях я сейчас не заинтересован. Не именно у вас, а где бы то ни было. Да и печатать мне, в общем, нечего. Надо дописывать роман. Надо что-то зарабатывать. Надо делать газету. Реставрировать личную жизнь, и т. д.

Так что ощущение странное. Как будто от незнакомого человека получил записку: «Прошу на мой юбилей не являться».

Что же меня так расстроило? (растролило?)

Вы меня печатали неоднократно. Рассказы мои при оценке журнала неоднократно упоминались в положительном смысле. И вдруг «печатать не будем».

Чтобы написать такое, редактор должен быть лично глубоко оскорблен. Что значит — «печатать не будем»? А если я напишу «Белые ночи»? Значит, дело в личной обиде.

Эмигрантский круг тесен. Сплетников много. Уже и Седыху что-то нашептали, но он пренебрег. И Марку Поповскому тоже. Ладно…

Я признаю за собой некоторую устную беспечность. Однако решительно не помню, чтобы в Ваш адрес я допускал унизительные или враждебные акции. Разрешите Вас в этом торжественно заверить. Я знаю, в каких условиях делается ежемесячный несубсидируемый журнал. Допускаю, что у Вас есть недоброжелатели. Догадываюсь о каких-то личных и творческих комплексах — удел всякого нормального человека. И все-таки… Вы оттолкнули талантливых Каганскую, Рубинштейн[29] и Люду Штерн, знаменитую как раз тем, что за всю жизнь не испортила отношений ни с одним человеком…

Подумайте, Вы же редактор, а не бубновый валет-Журнал мне по-прежнему нравится. Ваш энтузиазм и мастерство вызывают глубокое и дружеское уважение. От души, поверьте, желаю Вам и Вашему журналу успеха и процветания.

Ваш *С. Довлатов*

P.S. Люда, газета скоро выйдет[30]. Ты во втором номере, рядом с Максимовым. В первом — Некрасов. Пришли еще что-то о культуре. О Бостоне. Рецензию на какое-нибудь мероприятие. Что хочешь. О Коржавине. Пожалуйста.

С.Д.

P.P.S. Люда, на днях я напишу тебе. Может, ты захочешь вести у нас один раздел. Изложу все подробно не позднее субботы. Теоретически, возможно ли это?

Твой *С.*

22

<Без даты, 1980 г.>

Милая Люда!

Спасибо за доброе отношение к газете. Хотя она пока этого не заслуживает. Второй номер уже гораздо лучше. Мы заказали

12.000 копий. Это реально.

К четвертому (где ты) — будет, надеюсь, совсем хорошо.

Байка про Жульетт Греко[31] весьма годится. Есть два предложения.

1. Название очень вялое. Нельзя ли — «Для вас, интеллектуалы»?

2. В предпоследнем абзаце. После слов «на русский язык» хочется вставить фразу: «Чтобы вы могли уловить их глубокий философский смысл».

Обе поправки как бы заостряют смысл. Помни о нашей брайтонской публике.

Гришкин альманах[32] почти готов. Все очень солидно и эффектно. И без туфты. Появится в апреле. Это будет тайный и сокрушительный антиметрополь[33]. Вайль и Генис тут же напишут громадную статью. И т. д.

«Нью-Йоркер» любезно поинтересовался, хочу ли я деньги вперед. Я коротко ответил — хочу.

Мои заработки огромны. 300 долларов в неделю. Подумай об этом, выбирая очередного кавалера.

Твой *С.*

23

13 окт. < 1981 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Людочка, здравствуй!

Обращаюсь к тебе по литературному делу. У меня есть реальная возможность завязать отношения с Голливудом. Они хотят русский эмигр. фильм (Как известно, эмигр. тема в Голливуде очень ходовая. «Крестный отец», «Хлеб и шоколад»…) У меня есть исходная ситуация. По-моему, ничего…

Некий Черняк, в эмиграции лет шесть. Возраст — 50–60. Такой брутальный еврей из Кишинева. Еврейский Зорба. Немного Бендер, немного Крик. Подонок и герой. Многое перепробовал в эмиграции. Имеет трак[34], занимается перевозками. Знакомится с неким, допустим, Аликом. Тот врач, приехал недавно. Мед. лайсенз[35] получить — требуется несколько лет. А у Алика сын — вундеркинд. Новый Буся Гольдштейн[36]. Его надо учить, денег нет. И вот Черняк решает: «Жизнь прожита глупо. Жён бросил. Родину бросил. Детей не завел. Надо раздобыть деньги вундеркинду. Любой ценой».

Алик же знакомится с американкой. Приехала из Теннесси учиться живописи. Живет у богатой тетки. Склеить местную —

один из ходовых путей ассимиляции. Чаще в мечтах, нежели реально. У Алика смесь корысти и экзотического влечения. Девушка еще менее устроена. Черняк решает жениться на богатой тетке. (Это я уже приблизительно фантазирую. Образы Бендера и Крика можно эксплоатировать нещадно. Американцы их не знают). Тот же Черняк создает пародийную еврейскую мафию. Короче, не знаю, что дальше… Нужна афера, грандиозная и смехотворная. Основанная на трогательном полузнании Америки. Нужен какой-то анекдот… финал, условно и пошло говоря — мальчик, играющий на скрипке. Его концерт… А спаситель Черняк в трафике[37]… Все это условно.

Люда, придумай срочно что-нибудь. Напишем вдвоем заявку. Режиссер, очень заинтересованный, есть. Амер. гражданин. С амер. киноопытом и связями. Зовут Яша Бронштейн[38]. Наведи справки. О нем много писали года два назад. Все это, мне кажется, реально. Жду.

С.

24

31 окт. < 198 1 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Милая Люда!

Твои замечания справедливы. Давай изменим акценты. Вернее — уточним.

Сценарий называется «Дом». Первое — это синоним родины. Второе — реальный эмигрантский дом в Квинсе или Бруклине. Там происходит какая-то жизнь. Психологическая основа всех событий такова. Люди не знают Америки. Набиты информацией «от противного». Жаждут немедленной реализации «возможностей». Такие всплывшие советские камбалы. Есть Зорба, он же Бендер, Крик. Пытающийся жениться на вдове миллионерше. Привыкший, что быть женихом — высокая должность и милость. Организующий смехотворную русскую мафию. Есть врач (да какой он врач — жалкий зубной техник). Провоцирующий американского дога на укус себя. И получить, как он слышал, большие деньги за это. Пытающийся вызвать автокатастрофу. Умеренно пострадать и тоже нажиться.

Представь такую сцену. Врач и собака. Собака безнадежно добра. А он готов ее сам укусить. На бумаге это глупо. Как всякая пантомима. Но в кино может быть смешно необычайно.

Мальчик не Буся Гольдштейн. Это дядя Моня так полагает. Мальчик играет в бейсбол. А скрипка ценою в 28 рублей хранится

в банковском сейфе.

Короче — показать русскую жизнь в Нью-Йорке. Видя ее смешной и трогательной. С голодовкой возле ООН. И с этой собакой. С приехавшей умирающей старухой. Не безнадежной.

Не хватает ключевого анекдота. Надо бы поговорить 3–4 часа. Потом сесть и написать заявку. В один день.

У меня все хорошо. Все постепенно куда-то движется. Может, будет работа по специальности. И т. д.

Обнимаю.

С.Д.

25

10 нояб. < 1981 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Милая Люда!

Яша очень торопит с заявкой. Говорит, что перспективы и возможности укрепились. Что CBS как-то особо заинтересовано (а)[39]. Что мне будет звонить вице-президент, некая Эстер Шапиро. (Что заведомо приводит меня в ужас.) Может, в финале засадить какой-то поджог со страховкой. Пожар — обновление — мудрость (?????).

Он сказал: «Вы будете идиотом, если не попытаете счастья». Я сказал ему о тебе. Он что-то прочел, слышал. Давай твои соображения[40].

С.

26

9 июня < 1983 г., из Нью-Йорка в Бостон >

Милая Люда!

Не откажи в любезности передать эту записку твоей матушке.

Привет Виктуару[41].

С.

Уважаемая Надежда Филипповна!

Ввиду чрезвычайной, бессмысленной занятости, я сократил почти до нуля неделовую переписку, и все-таки хочу поблагодарить Вас за отповедь Майе Муравник[42] в связи с ее бреднями о Маяковском. Все публикации такого рода основаны

на хамском стремлении навязать большому человеку параметры собственной личности, востребовать от него соответствия нашим, как правило — убогим моделям, беззастенчиво взятым за образец. Маяковский, например, следуя эмигрантским критериям, должен был написать похабные частушки о Ленине, распространить их в самиздате, затем попросить политического убежища во Франции и оттуда по западному радио героически критиковать советскую власть. Майя (которую я давно и хорошо знаю с плохой стороны) никогда не поймет, что Маяковский служил не советской власти, а своему огромному пластическому дару, служил неправильно, ложно, и решился на такую для себя меру наказания, каковой не потребовал бы для него ни один из самых железных оппонентов…

Подобная же низость творится в эмигрантской прессе относительно Горького, Блока, Есенина, Клюева и Пильняка (убитых), Олеши, и даже в адрес Булгакова раздавались упреки насчет недостаточного антисоветизма…

Бич эмиграции — приниженность, неполноценность и холуйство, и Вы оказались первым человеком, отчитавшим холуев резко и без церемоний, дабы отбить у них охоту к осквернению монументов, что на языке цивилизованных народов называется вандализмом.

Еще раз — спасибо, и простите, что не могу написать более внятно, четко и коротко, полуторагодовалый ребенок Николай буквально, физически сидит у меня на голове.

От души желаю Вам здоровья и благополучия.

Надеюсь, Вы не бросили курить?

Ваш С. Довлатов

Публикация Людмилы Штерн

Письмо к Юлии Губаревой

Юлия Сергеевна Губарева (род. в 1946 г.) — преподаватель музыки, закончила Ленинградскую консерваторию по классу фортепьяно, знакомая Сергея Довлатова с 1970 г., когда она вышла замуж за Александра Васильевича Губарева (1941–1983), приятеля Довлатова с начала 1960-х годов. Губарев закончил отделение социологии психологического факультета Ленинградского университета, с конца 1960-х годов работал в Русском музее, в 1982 г. — в должности заместителя директора. Незадолго до смерти вынужден был из музея уйти.

Часть писем Сергея Довлатова к Юлии Губаревой, в том числе публикуемое ниже, печаталась в петербургской газете «Невское время» (11 июля 1994 г.).

24 декабря. (Или — ночь перед Рождеством.) <1982 г.>

Здравствуй, милая Юля! Мы были очень рады твоему письму, хотя жизнь, в общем, печальна. Сложность в том, что я, довольно хорошо представляя себе ваши обстоятельства, не в состоянии изобразить — свои. Мы живем не в другой стране, не в другой системе, а в другом мире, с другими физическими и химическими законами, с другой атмосферой. Одни и те же понятия — семья, любовь, работа, деньги, творчество, вера и так далее — наполнены абсолютно другим, иногда чуждым и малопонятным содержанием. Объяснить все это косвенным путем — невозможно, поскольку нет аналогий, нет линии отсчета, не с чем сравнивать. Более того, все попытки описать нашу жизнь вызывают, я думаю, однозначную реакцию: «с жиру бесятся», а это — не вполне справедливо. У нас, действительно, раз и навсегда решена узкая группа проблем (примитивная еда, демократическая одежда), но к этому чрезвычайно быстро привыкаешь, и та часть сознания, которая всю жизнь была поглощена этими двумя заботами, наполняется заботами иного порядка, куда более острыми, а главное — совершенно неведомыми и непривычными. Так что, поверь мне, Джулия, мы живем отнюдь не в раю, и значительная часть эмигрантов тайно или явно полагает, что дома было лучше. Наш случай особый, я уехал по конкретным творческим, или, говоря шире — идейным причинам, и, в общем, достиг, чего хотел, то есть — положения, более или менее соответствующего моим возможностям. Люди, уезжавшие по материалистическим

причинам (а таких — подавляющее большинство), во многом разочарованы, что-то выиграли на уровне джинсов, подержанных автомобилей и кинофильмов с голыми барышнями, но что-то существенное и проиграли, баланс же подводить очень трудно: слишком легко мы забываем плохое и слишком быстро привыкаем к хорошему. Как говорит Бродский, «русские в Нью-Йорке ходят и ищут, что бы такое полюбить на всю жизнь» — здесь это выглядит глупо. Здешняя жизнь требует от человека невероятной подвижности, гибкости, динамизма, активного к себе отношения, умения приспосабливаться. Разговоры на отвлеченные темы (Христос, Андропов, Тарковский и прочее) считаются в Америке куда большей роскошью, чем норковая шуба. Никакие пассивные формы жизни здесь невозможны, иначе пропадешь в самом мрачном, буквальном смысле, и поэтому Боря (Довлатов. — *Ю.Г.*) и Валерий (Грубин. — *Ю.Г.*), такие, казалось бы, похожие люди, здесь существовали бы по-разному. Боря стал бы хозяином ресторана или бензоколонки, или, на худой конец, сел бы в такси, чем занимаются по традиции (еще с Парижа) тысячи русских, зарабатывая до 700 долларов в неделю, а Валерий поселился бы у нас в гостиной, чему я, кстати, был бы очень рад и что не исключено в будущем. Короче, мы живем очень напряженно, очень трудно, и проблемы, которые приходится решать, соединяются в несколько групп.

Во-первых, и это самое главное, мы живем в чужой стране, с чужим и непонятным языком, с неведомыми традициями и законами, с непостижимой для нас ассоциативной структурой, с ускользающими визуально-смысловыми параллелями. Примитивно говоря, вопрос «Что бы это значило?» выжжен на наших физиономиях каленым железом, на каждом шагу мы теряемся в догадках относительно того, что же произошло: хорошее или дурное. Люда Штерн когда-то работала в американской фирме, и однажды босс, моложавый спортивный американец, сказал ей, что хочет пригласить ее в бар — поделиться огромным личным несчастьем. Они спустились в бар, Людка дико кокетничала, раскатисто смеялась, босс грустил, а потом сказал, что горе его заключается в необходимости лишить себя такого прекрасного человека и работника, как Люда. Все это означало, что ее уволили, а в Америке потеря работы очень много значит, человек успевает нахапать в кредит всякого барахла, и что потом делать — неясно. Короче, языка мы не знаем и не будем знать никогда, то есть, все мы примитивно объясняемся, но оттенки совершенно непонятны, так что осмысленные разговоры — не для нас. Законов мы не знаем, привычная юридическая интуиция в этих условиях — бесполезна, достаточно сказать, что

за 4 года в Америке я почти беспрерывно нахожусь под судом. Меня судили за плагиат, клевету, оскорбление национального достоинства, нанесение морального ущерба (Глаша укусила вонючего американского ребенка), а сейчас нас с Леной судят за двенадцать с половиной тысяч долларов, которые мы взяли в банке для нашего приятеля и которые он не хочет (да и не может) возвратить. Суды в Америке долгие, формальные, тянутся месяцами, выматывают душу, и результаты могут быть самыми неожиданными. Я уже писал, что общая сумма наших с Леной долгов составляет более 30 тысяч, вообще, принципы финансовой жизни тут совершенно иные, в обращении находятся довольно значительные суммы, выделяя из себя, допустим, одну восьмую часть — на каждодневное существование, то есть, в Союзе человек зарабатывал 200 рублей, и мог эти деньги истратить, тут я зарабатываю, скажем, 18–20 тысяч в год, треть сжирают налоги, остальное как-то вращается, перемещаясь из одной горящей точки в другую, а для жизни я изымаю, например, 100–150 долларов в неделю, чего мне абсолютно и явно не хватает. Сама психология расходов тут совершенно иная. Допустим, мы с Леной считаемся «паблик фигъюрз» (общественные люди), у нас должны быть красивые зубы, в Америке еще никто не видел публично выступающего человека без зубов, в результате около шести тысяч ушло на это дело, ремонт тянулся год, я, например, износил четыре временные челюсти и так далее. По роду своих занятий я пять-шесть раз в неделю встречаюсь с разными людьми и почти всегда бываю заинтересованной стороной, это значит, я должен пригласить человека в ресторан, я не могу беседовать с ним в парке на скамейке, или сказать: «Можно, я к вам зайду», меня бы сочли ненормальным, а от уровня ресторана зависит успех переговоров, поскольку расходы являются эквивалентом моего к собеседнику отношения, сотни американских анекдотов построены на курьезе: предлагая сделку, человек пригласил собеседника в «Блимпи» или «Макдоналд» — это система дешевых забегаловок.

Второе, что делает здешнюю жизнь иногда совершенно невыносимой — это постоянная борьба за свою безопасность. Мы живем в самом криминальном городе мира, в Нью-Йорке за год убивают две тысячи человек (побольше, чем в Афганистане), среди которых десятки полицейских, здесь фактически идет гражданская война, то же самое, или почти то же самое происходит во всех крупных городах Америки, и большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм. В провинции, конечно, ничего этого нет, но в провинции мне совершенно нечего делать, и я

никогда по доброй воле из Нью-Йорка не уеду, так что приходится воевать. Есть разные способы уберечься от опасности, евреи в Бруклине (главным образом — бывшие одесситы) создали что-то вроде милиции, организовали дозоры, ходят с автоматами и так далее. Мы с Леной выбрали пассивный способ, то есть — поселились в дорогом районе, квартира наша стоит сейчас 600 долларов в месяц — это стоимость четырех дубленок, или 120 бутылок водки, но и у нас время от времени бывают перестрелки, грабежи и убийства, к счастью, никто из нас не служит, Лена купила наборную машину и берет заказы на дом, а я сочиняю всякую халтуру и раз в неделю отвожу ее в город, мы живем как бы в Озерках. Даже в нашем сравнительно тихом Квинсе зарегистрированы десятки организованных банд со своими казначеями, идеологами, бухгалтерами, адвокатами и пр. Это — буржуазный Квинс, а, скажем, в Гарлеме, Бронксе, Нижнем Манхаттене есть огромные районы, куда уже не заглядывает полиция, и откуда криминальная информация уже не попадает в газеты, там происходит что-то жуткое. Я года два назад писал репортаж из ночного Гарлема, мы были вчетвером, взяли галлон водки (я тогда еще был пьющим), вооружились пистолетами, и в результате от страха так шумели и кричали, что мой приятель-фотограф вдруг сказал: «Обрати внимание, мы здесь страшнее всех!» И действительно, чернокожие с опаской поглядывали на русских журналистов. Короче, переехать в более дешевую квартиру мы не можем, и эти 600 долларов — больше половины наших месячных расходов.

Третья проблема — человеческие отношения. Я не говорю об американцах, с ними мы всегда будем чужими, то есть, я общаюсь с 15—20-ю людьми, но исключительно по делу. Это — переводчики, литературные агенты, редакторы и профессора-слависты. В делах американцы, как правило, безупречны, доверчивы, обязательны и так далее, но отношения российского типа с ночными беседами, внезапными появлениями, одалживанием денег — здесь совершенно исключены. Американское «друг» соответствует русскому «знакомый». Я, например, дружу с Воннегутом, он хорошо к нам относится, неоднократно и в разных формах выражал свою литературную симпатию, но когда у него было 60-летие <…>, он позвонил и сказал: «Приходи в такой-то ночной клуб к одиннадцати, когда все будут уже пьяные…» То есть, на торжественную часть меня не пригласили, там была публика другого сорта — бизнесмены, ученые, киношники, а меня позвали как бы с черного хода, и это не оскорбление, он совершенно не имел в виду меня обидеть, он просто выразил с большей или меньшей точностью уровень

наших отношений. И так далее. Никакой задушевности, никаких пятерок до получки, никаких звонков без повода, только одни сплошные дела, и это нас, в общем, устраивает, на американцев мы давно махнули рукой, гораздо хуже складываются отношения с соотечественниками. С философской точки зрения все нормально, зависимость сплачивает, а свобода — разъединяет, дома все воевали с начальством и были дружны, как подпольщики, здесь начальство отсутствует, инерция неутихающей битвы жива, и поэтому все воюют друг с другом. Многие героические диссиденты превратились либо в злобных дураков, как М., либо (как это ни поразительно) в трусов и приживалов из максимовского окружения, либо в резонеров, гримирующихся под Льва Толстого и потешающих Запад своими китайско-сталинскими френчами и революционно-демократическими бородами. Почти все русские здесь рядятся в какую-то театральную мишуру, Шемяка увесил себя железными масонскими цацками, спит в сапогах, потому что снимать и надевать их — чистое наказание, Неизвестный (неглупый и литературно одаренный человек) говорил при мне коллекционеру Нортону Доджу: «Жизнь — это горизонталь, Бог — это вертикаль, в точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир и Кафка».

Тамара (Зибунова. — *Ю.Г.*) в одном из писем спрашивает, почему мы все не дружим. Так вот, наверное, я тоже изменился (не меняется, как известно, только Лена Довлатова), но с друзьями творятся какие-то странные вещи. Ефимов стал бизнесменом и дерет три шкуры с авторов, но с ним я продолжаю общаться, внутри своей жесткой финансовой политики он — честный, и к тому же хорошо работает, с Л. общаться все труднее, она стала злая, как пантера, завистливая, кокетливая, безрезультатно пристает к знаменитостям, В. богат, жаден, религиозно нетерпим и смехотворен, Бродский не меняется, хоть и получил «Стипендию гениев» — 200.000, это много даже в Америке. О художниках я почти ничего не знаю, Г. — Хлестаков и шулер, никто из русских художников настоящего международного успеха не добился, некоторое исключение составляют Шемякин, Неизвестный и отчасти Целков, но все они — этнические звезды, медведи, научившиеся ездить на велосипедах. Мирового признания добились Бродский и Барышников, остальные, даже самые успешные — у подножия этой горы, большинство по здешним меркам очень бедствуют и так далее. Промелькнул раза два в каких-то галереях переодетый в артиста Столярова — Е., выставил маленькую тусклую креветку, где-то что-то оформил Лева (он же Феликс) З., Л. написал похабную книгу о своей несчастной, голодной жене, личико которой усыпано выпавшими

ресницами, при этом все глаголят, вещают, учат американцев демократии и капитализму, вообще здесь очень много старых песен, вывернутых наизнанку, стойкие антикоммунисты до странности напоминают отставных полковников в сквере, кругом бродят герои Ильфа — любимцы Рабиндраната Тагора и отцы русской демократии…

Милая Юля, скоро утро, а я еще не сказал ничего существенного. Продолжаю отрывисто, как бы — пунктиром.

Американская жизнь в принципе исключает стабильность, будь то цены, доходы, отношения, завтрашний день всегда в тумане, понятие нулевого шанса отсутствует, но перемены к худшему все же более распространены. Высшее из моих достижений заключается в том, что я: а. Родил полноценного младенца Никки[43]. б. Зарабатываю на жизнь литературой и журналистикой (не служа), что удается весьма немногим, в. Моя жена работает дома, платя няне 60 долларов в неделю. г. Окончательно покончено с пьянством. К этому можно добавить, что я до сих пор не в тюрьме, и это тоже показатель качественный.

Потеряно тоже немало, дома не печатали, а здесь нет аудитории, американцы не считаются, они имеют дело не с тобой, а с переводами — ощущение довольно странное. Кроме того, я с некоторых пор очень тоскую по Ленинграду, Таллину и Пушкинским Горам, но об этом я даже не хочу говорить.

Катя — очень дерзкая, независимая, явно привлекательная внешне, ничему толком не учится, книг не читает, слава Богу — не употребляет наркотиков, заканчивает школу, вечерами где-то пропадает, ездит с друзьями на машине за рок-группой под названием «Сексуальные пистолеты», совершенно в нас не нуждается, мы для нее — неприличные этнические родители, вроде индусов или корейцев. Бабку Катя игнорирует, маму любовно и жалостливо презирает, со мной глухо враждует, ведь я по-прежнему не обладаю ничем таким, что может ее покорить, и я уже не стану певцом или торговцем наркотиками, а писатели, даже относительно признанные (из категории этнических звезд), находятся в смысле престижа между бухгалтерами и шоферами грузовиков.

Лена абсолютно не меняется, пыталась иметь кавалеров, но я это дело изжил серией истерических припадков.

Прости за сумбур. Люда Барышева[44] промелькнула в Австрии и, действительно, в сопровождении молодого кавказца, и навсегда исчезла, я даже не знаю — в Европе она или здесь.

Саша Щедринский[45], который первый рассказал мне о ваших неприятностях, где-то работает, живет где-то поблизости,

вызволил невесту, пропагандирует Каплана[46] на уровне русских газет, Саша мне, вроде бы, симпатичен, он добродушный и веселый балбес.

Донат превратился в благоустроенного пенсионера, чем очень недоволен. Был во Франции, Бельгии, Германии, печатается в русских газетах и журналах, ворчит, что лишился учеников (как будто он Пифагор), задним числом ему кажется, что он был частью дубовой рощи: Шостакович, Райкин, Мечик и так далее.

Моя мать очень помолодела в связи с рождением внука, поет ему советские песни, перепробовала все 100 сортов кефира из нашего супермаркета (гастронома), дружит с нашими знакомыми и презирает еврейских старух.

То, что происходит у вас с Саней, довольно грустно, но, может быть, все это к лучшему, неизвестно, как повернется жизнь при новом руководстве[47]. Надеюсь когда-нибудь чем-нибудь быть вам полезным. А пока буду время от времени посылать вам какую-нибудь чепуху. Знаешь, Тамара прислала очень недовольное письмо, что я все не то посылаю, мне-то казалось, что я шлю какие-то нужные вещи, и ей, и Боре с Валерием, но она явно недовольна. Я, действительно, посылаю редко и что придется, но иногда не очень дешевые вещи, почти всегда не меньше, чем на двести долларов, кроме того, масса дополнительных факторов, почта далеко, отправление посылки занимает чуть ли не целый день (почта здесь государственная, работает хуже в сто раз, чем наша, или точнее — ваша), деньги все время куда-то уходят и так далее. Но тут я, получив ее недовольное письмо, от испуга купил долларов на четыреста — куртки ей и дочке, платья, сапоги, когда покупаешь в спешке — все получается дорого, заодно купил вам штаны и курточку и еще какую-то мелочь — во вторник поеду на почту заполнять бумаги. Объясни при случае Тамаре, что я буду стараться посылать что-то хорошее, пусть не сердится, все же я еще Донату помогаю, много езжу, много теряю по безалаберности и в результате свинства со стороны русских коллег. Но я буду стараться, и вам вскоре пришлю что-нибудь стоящее. Пусть Тамара все же не забывает, что есть еще Анеля, Рома[48], Лева Станкевич[49], которому многим обязана мама, и так далее, но, конечно, я очень виноват.

Милая Юля, письмо получилось абсолютно дикое, сумбурное, и мне кажется, что ты будешь чем-то раздражена, поскольку все раздражены, я даже хотел было это письмо не отправлять, но написать другое, более разумное, я уже не в состоянии. Не сердись на меня. Мы тебя очень любим, и Сашу, естественно, тоже, мы часто говорим о том, что Юля — оптимистка, резвая и удачливая, она бы не пропала, я в этом абсолютно уверен, ты

действительно обладаешь качествами, очень здесь ценимыми, в отличие от пасмурного меня. Поверь, мы думаем о вас не реже, чем вы о нас, мы не буржуи, много, очень много работаем, часто грустим, но что-то главное было сделано правильно. Скоро, не позже лета, у меня выйдет одна книжка в приличном издательстве, может, я заработаю какие-то ощутимые деньги, и так далее. Всех обнимаю.

Помнящий и любящий вас

С. Довлатов

Публикация Юлии Губаревой

Письма к Науму Сагаловскому

Наум Иосифович Сагаловский (род. в 1935 г. в Киеве) — поэт, сатирик, по основной профессии инженер, закончил Новочеркасский политехнический институт, в 1979 г. эмигрировал в США, живет в Чикаго, до эмиграции с Довлатовым знаком не был. Печатался в газетах «Новый американец», «Панорама», «Новости», журналах «Семь дней», «22» и др. Автор стихотворных книг «Витязь в еврейской шкуре» (Нью-Йорк, «Dovlatov's Publishing», 1982), «Песня певца за сценой» (Чикаго, «Renaissanse Publishing», 1988) и совместного с Вагричем Бахчаняном и Сергеем Довлатовым сборника «Демарш энтузиастов» (Париж, «Синтаксис», 1985).

Письма Сергея Довлатова к Науму Сагаловскому печатаются впервые, с небольшими купюрами, касающимися излишне острых реплик в адрес живых людей. Некоторые имена и фамилии заменены инициалами.

1

23 дек. <1982?>

Дорогой Наум! Во-первых, поздравляю Вас и Ваше семейство с бесчисленными еврейскими, православными и светскими праздниками, в которых я запутался.

Второе — посылаю Вам газеты со стихами — всем очень нравится. Надеюсь, первый ничтожный гонорар получили, обещают платить и дальше, хотя бы и гроши, в знак уважения.

Я больше и больше отдаляюсь от всяческой русской прессы, но Вас очень прошу — пишите и печатайтесь. Вы — один из самых талантливых людей в нашем, так сказать, поколении, и Вам надо все шире наплывать на русскую литературу. Мандельштам говорил, что все нужное — останется. И еще раз, простите за поучения, но думайте о «большой форме», характер Вашего дарования — сюжетный, не хотите писать прозу — дайте настоящий роман в стихах об эмиграции, придумайте сюжет, Вы же мастер.

Обнимаю, всем привет. Лена, мама и Коля приветствуют вас.

С. Довлатов

2

22 июля <1983>

Дорогой Наум!

Вы пишете: «…Леня[50] ощущал себя членом семьи…» Я вспоминаю Собакевича из «Мертвых душ», который, угощая Чичикова жареным поросенком, приговаривал что-то вроде:

«Добрый поросенок, год его откармливал… Ухаживал, как за сыном…»

Очень рад за Вашу матушку и за Вас (вас).

Т., будучи Лениным (то есть моей жены Лены) заказчиком, приходит к нам в среднем четыре раза в день. Человек он, в общем, приличный, как минимум — не вор, что в Нью-Йорке уже показатель качественный, но преисполнен глубокой и неясной внутренней обиды на все. То есть абсолютно на все и на всех. Если ему сказать: «У тебя новые брюки», то его глаза наполняются слезами и он укоризненно говорит: «Что ты хочешь этим сказать? Разве я не имею права купить себе брюки?» <…>

Сегодня утром Т. попросил «чего-нибудь холодного». Я принес яблочный сок. А он говорит: «Я же не пью яблочный сок!» Я говорю, откуда мне было это знать? По радио не объявляли… Т. повернулся и хотел уйти. А Лена говорит: «Ты и так распугал всех заказчиков…» А разве я виноват?..

Наум! Каждый раз, когда заходит речь о Ваших лирических стихах, Вы умышленно искажаете мои отточенные концепции. Я никогда не говорил, что мне не нравится Ваша лирика, потому что она мне нравится. Я говорил и могу повторить, что это замечательные стихи на уровне Давида Самойлова, Олега Чухонцева, Саши Кушнера, Липкина. Я даже не могу написать — и так далее, потому что «далее», в общем-то, и нет. Но:

При всей их точности, искренности, при всем их блеске — Ваши лирические стихи *не уникальны,* в них, пышно выражаясь, отсутствует феноменологическое начало. В них нет сенсации, открытия и шока. Кроме того, я считаю, что лирическая поэзия (великая) должна касаться жизненного материала лишь в разрезе самых высоких метафизических понятий — Бог, душа, вечность, дьявол и пр. Конечно, это звучит претенциозно, но литература вообще претенциозное дело. А как же иначе, человек пером на бумаге создает не больше не меньше как новую реальность? И т. д.

Я же не сравниваю Вас с <…> и прочей эмигрантской скудостью. Но имею я право любить, скажем, прозу Лермонтова больше, чем его стихи, пьесы Чехова — меньше, чем его рассказы,

у Достоевского любить романы и не любить его журналистику, у Толстого предпочитать прозу — народным байкам? Я же не говорю, что Достоевский как журналист ниже Градобоева[51], а толстовские сказки уступают хуйне Родиона Березова[52]…

Ваши, так сказать, юмористические вещи, при всей их внешней непритязательности заключают в себе и феноменологию и уникальность. Не будьте вечным участником капустников, перечитайте «Графа Нулина» — абсолютно тем же способом написано, я был прав…

Я все-таки надеюсь, что Вы покончите с самодеятельным подходом к Вашему творчеству, напишете смешной роман об эмиграции и заработаете кучу денег. Это реально. Я уже почти заработал. Хотя способностей у меня в четыре раза меньше, чем у Вас. Зато я — труженик, профессионал, а Вы — любимец и кумир студенческой аудитории.

Прислала ли Вам 6 долларов женщина, которая взяла у меня Вашу книжку и адрес?

Когда закончите Вашего «Чужого»[53], пришлите. Давайте тиснем его в «Новой газете»[54], забыв обиды?! Или пошлем в журнал «22»[55]? Он — наименее партийный.

У меня вышла одна книжонка по-русски и скоро выйдут еще три штуки. Буду Вам присылать по мере получения авторских экземпляров.

Авторские права на «Компромисс» купили шесть стран. И это при том, что лето, и книжка еще по-английски не вышла. Что же будет в октябре-ноябре? Куда я дену все заработанные мною деньги?!

Привет всему Вашему милому семейству, где даже теща — интеллигентный человек.

С. Довлатов

3

7 декабря <1983>

Дорогой Наум!

Баллада одобрена, набрана и готова к печати. Наклею ее в понедельник. Газету сразу вышлю.

Три дня назад звонила девица из «Новостей»[56], спрашивала Ваш адрес, так что движется какой-то гонорариум.

Лирику, глумливо отвергнутую <…>, немедленно пришлите мне. Рукопись малоодаренного Л. Консону[57] передал.

Тореева[58], конечно, хороша. В моем доме перерабатывается

неслыханное количество бумаги, рисунки сохранились чудом и обнаружены в результате долгих поисков. Надеюсь, это — все, или почти все. Но вообще-то в таких случаях надо предупреждать: «верните оригиналы», а не спохватываться через полтора года. Тем не менее, дай ей Бог выйти замуж за хорошего рабочего парня.

Пишете ли Вы роман об эмиграции? Вот, пожалуйста, сюжет. Неустроенному русскому эмигранту надоело бедствовать, он отправился в порт, выждал, когда уплыл советский корабль, и объявил полицейскому, что он — невозвращенец. Его привезли в Пентагон, дали охрану и квартиру. Днем он читает «Новое русское слово», а по вечерам докладывает Пентагону сведения о сов. экономике и так далее. Развейте.

Всех обнимаю. Ваш

С.

4

28 февр. <1984>

Дорогой Наум! Ваш этюд № 6[59] я прочитал по телефону всем знакомым, включая одного человека в Дартмуте, одного в Анн Арборе и двух в Бостоне. К сожалению, с учетом всех этих иногородних товарищей, знакомых у меня — человек девять, с остальными я поругался.

Относительно «позы просителя» я с вами не совсем согласен. Таков уж механизм: вы отсылаете свое произведение, у редактора нет времени ответить (ибо, как правило, этим редактором исчерпывается штат), затем ваше произведение неожиданно публикуется с купюрами и опечатками, а когда вы мягко сетуете по этому поводу, вас начинают считать амбициозной каверзной личностью с дурным характером. Не говоря уже насчет заплатить гонорар. И это еще в лучшем случае, поскольку в худшем вам не отвечают и к тому же не публикуют.

Все это так. Низость русской прессы (объяснимая, имеющая причины, логику и так далее) мне знакома. Я один из создателей этой низости, или — активных (в прошлом) участников, хотя именно с Вами я вел себя более или менее прилично, и только потому, что у меня никогда не было меньших сомнений в таланте автора. Уверяю Вас, масса людей помнит меня как невнимательного, высокомерного душителя талантов. А.Л. до сих пор не здоровается со мной на радио «Либерти» после того, как я в 80-м году не реагировал на какую-то его похабную рукопись и

мелко уклонялся от телефонного обсуждения этого вопроса.

Проблема существует, и я Вас понимаю. Я сам ни в одном американском русскоязычном издании ничего не хочу (а во многих случаях и не могу) напечатать. Правда, Максимов, что называется, сменил гнев на милость и печатает в № 39 мой рассказ[60], но и то: рассказ был ему отослан с холодным сопроводительным письмом (то есть, я встал, по Вашему выражению, в позу просителя), никакого ответа не получил, а затем косвенно, через общих знакомых услышал, что Максимов говорит: «Довлатов, конечно, ничтожество, но рассказ смешной, и мы его опубликуем…» Что-то в этом роде.

Есть еще одна новость, точнее — новая возможность, и тоже — за океаном. Редактором умирающего журнала «Грани» стал Владимов[61], очень хороший, прямой и мужественный человек. Вот его адрес: Georgij Vladimov, Lubecker strasse 7, D-6236 Eschbom/Taunus 1, West Germany.

Если хотите, сошлитесь на меня, он призывал меня к сотрудничеству, причем довольно активно, а значит, такая ссылка — уместна. Я бы *на Вашем месте* (поскольку моя ситуация несколько другая, и не потому, что я лучше, а потому, что я пишу прозу и меня переводят) все же послал бы свою лирику и «Чужого» и вообще — все, что есть — в «22», «Континент», «Время и мы» и в «Грани».

Проблема еще и в другом. Я довольно много разговариваю с разными людьми о Ваших вещах, и выявляется какая-то странная картина, что-то вроде недоразумения, корни которого — в самой природе Вашего творчества. Есть какое-то противоречие, которое Вам явно вредит, и в котором Вы совершенно неповинны. Я сейчас не размахнусь на филологический трактат: «Главное противоречие творчества Сагаловского», но в двух словах — происходит вот что. Ваши вещи по внешнему облику, по костюму, так сказать, абсолютно демократические, вроде бы — для народа, такой еврейский Демьян Бедный, то есть, фразеология, синтаксис и прочая внешняя атрибутика — народные, массовые, но! — оценить Ваши вещи, я уверен, способны только чрезвычайно интеллигентные люди. В результате, народ, условно — Брайтон-Бич, удивляется — почему нет мата и смака, где тетя Хая с китайцами, яйцами и прочими делами, где антисоветские частушки и так далее, а интеллигенция (средняя, нормальная, не такая изысканная, как мы с Вами) смущена внешне народной формой, наличием если не тети Хай, то Рабиновичей, Кацев и некоторых фривольностей.

Есть и второе противоречие. Российские люди (Максимов, Некрасов, Толя Анохин[62]) воспринимают Вас (иногда явно,

иногда тайно и даже бессознательно) как жида с жидовской темой, а евреи (мрачные и тупые вроде П.), наверное, считают Вас антисемитом.

Но и это еще не все. Ваши вещи (в большинстве) рассчитаны на эмигрантскую аудиторию, а приличные люди (например, Владимов) возглавляют журналы, сориентированные на Союз, где не знают того материала, на котором построены Ваши истории, то есть, попросту говоря, не знают, что такое — фудстемпы[63].

Короче, пишите. Если можете заставить себя — пошлите что-то в журналы. Если нет — издайте через год-два еще одну книжку. Герой Булгакова говорит: «Никогда слава не придет к человеку, который пишет дурные стихи». Эта фраза имеет и обратную силу. Рано или поздно все состоится. Разве не чудо, что Булгаков и Платонов, выступавшие при жизни в третьих литературных ролях, стали безоговорочными лидерами новой русской прозы? Ведь все нашли и откопали, мельчайшие газетные заметки Платонова вплоть до обработанных им писем в редакцию воронежской газеты за 24-й год.

У меня все нормально. Дня два назад отослал Вам письмецо. Так что в плане дружбы с Вами я опережаю на 1 очко, не говоря про объем.

Обнимаю все Ваше семейство, начиная с незнакомой, но заранее мне симпатичной Вашей матушки.

Ваш *С.Д.*

5

25 авг. <1984>

Дорогой Наум!

Благодарю Вас за прямоту, «Иная жизнь»[64], действительно, — барахло. Мне давно хотелось выступить против серьезности, написать что-то в жанре философской ахинеи. И задумано все было не так уж худо. Просто я не могу органически действовать вне бытового реализма. Но пытаться буду.

Стишки в прозаическом тексте — очень древний фокус[65]. Западные писатели делают это сто лет. Набоков в 30-е годы закончил стихами «Дар». Стилистически это — курсив, выделение. Все равно, что напечатать абзац зеленой краской. Так что аксеновская «Цапля»[66] — ни при чем. Фокус настолько старый, что принадлежит всем и каждому.

«7 дней»[67] еще живы. Вайнберг[68] продал их (вернее — передал убытки) некоему Липману[69], издающему говенный

журнал «Бизнес оп'ортьюнитиз». В этом журнале Липман восхваляет деловые качества некоего Губанова, а Губанов нежно характеризует Липмана. Но и Губанов, и Липман — одно и то же лицо. Я беседовал с ним раза три, и он мне не понравился. Своего двойника Губанова Липман называл в разговоре «май партнер», именно так ставя ударение. И еще он говорил, что журнал должен быть «атрактив»[70]. По-моему, этого достаточно, чтобы депортировать его в Мексику.

«Стансы к Марусе» — одобряю. Мне кажется, это Ваш — средний уровень, то есть, для нормального человека — очень высокий. Почему эти стихи не для книжки? Пропустите его <их? > через «Точку зрения»[71]. Я, например, дал им рассказ. К сожалению, плохой[72].

«7 дней» обречены исторически. Единственный выход для Пети и Саши — избавиться от хозяев, увеличить нагрузку, взять на себя деловые обязанности, а главное — придать журналу остроту. Но они ничего этого не сделают. В них как-то дико сочетаются энтузиазм с апатией. Им нужен человек (не подумайте, что намекаю именно на себя), который готов брать на себя ответственность. То есть принимать решения, а затем их навязывать. Этим и отличается главный редактор от нормального журналиста.

Книжка наша продвигается[73]. С понедельника Лена будет набирать Вас и меня. Бахчаняна набирать не надо. Затем Вагрич будет делать макет. А там — посмотрим.

Гриша Поляк[74] в принципе интересуется, но он темнила и уклончивый тип. Он говорит, покажите готовую продукцию, хотя и так знает, на что мы способны. Дальше. Ефимов[75], с которым я вел переговоры на всякий случай, — отказал. Я даже не спросил — почему? Какая разница! Есть в запасе Маша Синявская[76] с ее приличной типографией. Они здесь были, и я говорил о нашей книжке. Она заинтересовалась, но есть противопоказания. Во-первых, это за океаном. Кроме того, Марья, при всех ее талантах, никогда не отвечает на письма, никогда и ничего вовремя не посылает, а главное — норовит вставить в чужую книгу собственные выпады против Максимова и Солженицына.

Кроме нее в запасе есть Проффер (тяжело болен)[77], Габи Валк[78] <…>, Ирина Кухарец в «Руссике»[79] <…> В общем, кто-нибудь издаст. В конце концов я раздобуду деньги, которые быстро окупятся. Не пропадем. К Новому году выйдем.

«Невидимую газету»[80] издает Проффер, обещает к Новому же году.

Как Вам «Демарш энтузиастов»?

Всех обнимаю.

Ваш *С.Д.*

6

23 окт. <1984?>

Дорогой Наум,

спасибо за стихи, как всегда талантливые, разве что на этот раз чуть пышноватые — фолиант, Рубикон, добродетель…

В «Грани» лирику все же советую отправить. Ты пишешь — «надо, чтобы стихи подошли Владимову», и это тебе не нравится, но ведь иначе не бывает. Владимов же — хороший, умный редактор, связанный, правда, в какой-то мере требованиями «Посева». Стихи ему, я уверен, подойдут, и тем более — понравятся.

Дорита[81] звонит, действительно, частенько. Роман ее — ни плохой, ни хороший, в том смысле, что это вообще не литература. Написан он правильным, казенно-обывательским языком: «Заходящее солнце осветило верхушки деревьев…»

Маше Синявской я писал дважды, сегодня напишу в третий раз и параллельно буду просить содействия у Гладилина и Некрасова.

После лета на наше семейство посыпались неприятности: пришлось усыпить собаку Глашу — ей было 16 лет и она не могла ни двигаться, ни есть, кроме того, почти беспрерывно хворает сынок, да и маманя сильно одряхлела. Поэтому — настроение хреновое. И зарабатываю мало.

Всех обнимаю. Не пропадай. Пришли мне 5–7 лир. стихотворений, я сам отправлю их в «Грани», не ленись.

Марью Синявскую рано или поздно достанем.

Извини за опечатки — пишу на чужой машинке.

Бахчанян написал повесть «О том, как поссорились Иван Денисович с Александром Исаевичем».

Твой

С. Довлатов

7

1 1 июля <1985>

Дорогой Наум!

Никогда и никому, особенно — интеллигентным людям, не

говори, что Бродскому далеко до Евтушенко, иначе тебя будут принимать за харьковчанина или, в лучшем случае, подумают, что ты переутомился.

Я не знаю, как вел себя Е. в Чикаго, но то, что они с В. устроили в Карнеги-холле, было верхом неприличия. Подробности — в «Панораме» № 220[82].

Что касается дел на работе, то это весьма грустно, если, конечно, твои опасения не преувеличены. Не будь ты домовладельцем, то в случае увольнения я бы торжествующе стал звать тебя в Нью-Йорк. Я почти уверен, что хоть чем-то мог бы быть полезен с трудоустройством — все-таки у меня есть какое-то количество знакомых инженеров, и среди них — милые и опытные люди. А по вечерам мы бы, вяло хихикая, мастерили бы какой-нибудь убыточный журнальчик.

«Невидимая газета» вышла в «Ардисе», буквально вчера я получил экземпляры и на днях начну рассылать их знакомым. Книжка мне — без кокетства — не нравится, хотя бы потому, что она не беспристрастная, а во-вторых, там как-то явно нарушен баланс между беллетристикой и фактографией. Короче — проходная, дурацкая книжка. «Заповедник» лучше.

Стихи о Пушкине с утра читаю знакомым по телефону. Вообще, должен сказать, что если бы в эмиграции существовал культурный и пристойный музыкальный коллектив, не кабацкий, а эстрадный, то из нескольких твоих стихотворений можно было бы сделать хорошие песни.

Думал было послать стихотворение Марье Синявской, чтобы вставила в нашу книженцию, но испугался, что она перепутает нумерацию страниц, и вообще, обретет лазейку и простор для надругательства. К тому же, я надеюсь, что книжка уже в производстве.

Всех твоих женщин обнимаю. Изволь переписываться со мной и дальше.

С. Довлатов

P.S. *Привет твоим корешам — Евтушенко, Рыгору Бородулину, Раисе Ахматовой, Адаму Шогенцукову, Долматовскому и Наровчатову.*

С.

8

31 июля < 1985 >

Дор. Наум!

Я почти все время торчу в горах, мы сняли так называемое «бангало», напоминает пресловутое жилище Ленина в Разливе, так что в Нью-Йорке бываю мало и пишу коротко.

Саше Половцу я отправил «Ремесло» с надписью: «Дорогому Саше, который будет жить и после ядерной войны». Таков он и есть. По типу это — коренастый крепыш <…>

Печататься тебе «есть где» и кроме «Панорамы». В «22», например. Если бы у тебя возникла «не еврейская» подборка, то — в «Гранях» и в «Континенте». С еврейской темой у них сложно, хотя Владимов и сам наполовину еврей. Но на твои стихи обидятся и евреи, и антисемиты. Ведь и среди тех, и среди других хватает идиотов.

В Чикаго я пока, увы, не собираюсь. Разве что осенью пригласит Морис Фридберг[83] из Иллинойсского университета. Тогда увидимся.

Бахчаняна оперировали насчет геморроя. Он придумал кличку Юзу Алешковскому — Юзд Алешковский. (Used).

Земля круглая потому, что вертится, а куры носят яйца, как и все мы, включая Солженицына.

Я сижу на диете и очень похудел. Одна старуха остановила в Форест-Хиллс мою мать и говорит;

— Как похудел ваш сын. Он что, с турмы?

С Машей Синявской я договорился в смысле сроков — неопределенно: осень — начало зимы. Первого сентября пошлю ей письмо с вложенным конвертом, двумя интернациональными марками и схемой письма ко мне. Например: «Дорогой Сергей. Ваша с Бахчаняном и Сагаловским книжка ВЫШЛА, ВЫХОДИТ НА ДНЯХ, НЕ ВЫЙДЕТ НИКОГДА. (Нужное подчеркнуть)…» И так далее. Других вариантов, кроме Маши, не было. Такие уж мы с тобой отпетые диссиденты.

Подождем.

Обнимаю тебя и все семейство.

С.

9

30 ноября. <1985>

Дорогой Наум!

Я чувствую, что замучил тебя своими письмами. Ты отвечай не сразу, регулируй.

Поэму с удовольствием прочитал вслух Грише Поляку и

Соломону Шапиро[84], однофамильцу твоего героя.

Поэма замечательная, для «Граней» всячески годится. Конец, мне показалось, неожиданный, но не стопроцентно эффектный, к последней строчке забываешь, что все началось из-за пива и сигарет. Через три секунды это вспоминается, но три секунды потеряны. Но это — мелочь.

Еще мне не понравилось «за два счета» (…и самолет Аэрофлота его доставит за два счета…) «В два счета» — идиома, то есть словосочетание нерушимое, я бы сделал, например: «…и самолет Аэрофлота его доставит к нам в два счета…», «к нам» в данном случае воспринимается естественно, я в своих дурацких передачах всегда пишу «наша литература», «наша страна», «наши порядки» — и всем ясно, что речь не об Америке, а о Союзе.

Я думаю, идеально было бы послать в «Грани» сразу — и лирическую подборку, и поэму, пусть они решат, с чего начать, я бы начал с лирики. Если ты в течение недели лирику подготовишь, то лучше бы я послал их вместе, не на выбор, а для очередности, тут есть некоторый журналистский момент, лирика для первой публикации — безоговорочнее. Короче, если в течение недели не получу лир. подборку, отсылаю поэму.

«Грани» никогда ничего не редактируют и не сокращают. Когда я предупреждал на этот счет Владимова, он сказал: «Мне бы такое и в голову не пришло».

Сичкин[85] куда-то пропал. Спасибо, что напомнил. Надо его разыскать.

Гражданства не получил и не очень стремлюсь.

Индюшку ел в гостях, куда отправился на машине Соломона Шапиро с мамой, Леной, Катей и Колей, всем семейством. Моя мать рассказывала за столом кавказские истории, и литературная общественность после этого сказала (как всегда все говорят после знакомства с нашей маманей): «Теперь мы знаем, откуда Серега черпает хохмы».

О Бродском спорить не желаю. Если уж Милош[86] тебя не убедил, то я и подавно не смогу убедить. Будем считать, что ты к нему относишься, как Толстой к Шекспиру. Кстати, читал ли ты Толстого? Прочти, тебе понравится. Можно даже в автобусе, если автобус идет из Цхалтубо в Сан-Франциско.

Всех обнимаю. Гони подборку.

С.

10

29 мая <1986>

Дорогой Наум!

Прости, что я назвал тебя талантливым. Я ведь от души. И что это ты вдруг спохватился на седьмом году моих восторгов?

Разреши прочитать тебе на правах младшего короткую лекцию.

Есть три уровня жизни. Первый — для себя, второй — для людей, и третий — для Бога. Бог в данном случае — высшее начало. Ты живешь для того, чтобы писать стихи. Для меня это совершенно очевидно, а для тебя — не знаю. Но без тебя в литературе не хватало бы очень существенной ноты. Представь себе какую-нибудь «Хованщину» без ноты «ля».

Может быть, тебе кажется, что стихи — это твоя собственность. Это не так. Они в большей степени моя собственность, чем твоя. И так далее.

Половца надо воспитывать. Каждый раз, когда он меня обманывает, я в оскорбительной форме указываю ему на это. Но у него есть и достоинства. Он не обидчивый <…> Напиши ему, как в свое время написал А.С. Пушкин — братцу: «Лев, верни деньги!» Но если не желаешь связываться, мне это понятно.

Возвращаюсь к идее взаимных комплиментов. Хорошо когда-то действовал Марамзин[87]. Году в 67-м он сказал на дне рожденья Леши Лосева: «Довлатов — пятый прозаик земного шара». Умный и точный Леша спросил: «А кто первый?». Марамзин ответил: «Конечно, Боря Бахтин»… Оказалось, что все пять лучших прозаиков земного шара живут в Ленинграде, знакомы между собой и даже сидят за одним столом.

Меня очень удивила сумма в 124 доллара. Вайлю с Генисом заплатили тысячу минус дорожные расходы. Мне — тоже. Чем ты хуже? Во всех случаях <…> Мара Столина[88] должна была до выступления сообщить условия.

Я ей напишу вежливое, но сухое письмо с требованием объясниться. Я бы написал сию минуту, но ты какой-то сложный человек и вдруг обидишься. Сообщи мне срочно, не возражаешь ли ты против такого письма.

Дело не в тебе, а в хамском отношении к пишущим людям, которое стало в эмиграции нормой. Я с этим абсолютно не желаю мириться. Я этих блядей воспитываю, воспитываю, а они все равно норовят насрать в душу.

Обнимаю. Жду письма.

Твой *С.*

14 июня <1986>

Дорогой Наум!

Наша книжка у Марьи — вышла. Едет морем. Через месяц будет здесь. Говорят, все получилось не так уж худо.

Дальше. Владимова уволили из «Граней». Там командует НТС — что-то вроде русского ку-клукс-клана. Даже Солженицына они считают либералом и жидом. Вместо Владимова назначен Ю.К.[89] — крещеный еврей, ужасно набожный, пасмурный и устремленный в несуразную высь.

Я, может быть, писал тебе, что в трудную минуту ослабел и продал Половцу за 1.000 долларов несуществующую повесть «Иностранка». Сейчас я эту повесть в испарине строчу. Получается невообразимая херня.

Но: героиню зовут — Мария, Маруся, Муся Татарович, она символизирует Россию, Эмиграцию с большой буквы и еще черт знает что. Так я подумал, нельзя ли под каким-то предлогом сунуть туда в целях облагорожения текста твои стихи «Маруся, хочешь стансы напишу?». Разумеется, с указанием твоего авторства. Допустим, в финальной сцене среди гостей появляется поэт Наум Сагаловский и читает стихи. Действие происходит в Квинсе. Все реально.

Ужас в том, что я эти стихи не могу отыскать в своих завалах. То есть, я, конечно, найду, но это потребует большой чистки. Не сердись и пришли мне копию[90]. И как можно скорее.

Я в Торонто прочитал твоего «Архимеда», чрезвычайно хлопали. Я сказал — надо бы вам Сагаловского пригласить. Они сказали — он у нас выступал. Судя по всему — с успехом. Все же ты не такой забитый, каким представляешься. И жена у тебя — крупная женщина. И дети развитые. И с работы тебя все не увольняют.

Пришли копию.

Твой *С.*

12

21 июня <1986>

Дорогой Наум!

Огромное спасибо за стансы. Если уж ты такой благородный, что предлагаешь что-то переделать и даже написать заново, то разреши изложить тебе довольно сумасшедшую просьбу. Для этого сначала я должен раскрыть тебе страшную тайну. Вернее,

поделиться литературным секретом. Только не думай, что я помешался.

Дело в том, что у меня есть такая как бы теория. Я считаю, что каждый прозаик должен надевать какие-то творческие вериги, вводить в свое письмо какой-то дисциплинирующий момент. В поэзии роль таких вериг играет рифма + размер. Это дисциплинирующее начало уберегает поэтов от многословия и пустоты. У прозы таких рамок нет, их, мне кажется, надо вводить искусственно. Особенно тем, у кого нет от природы железного отборочного механизма, какой был у Зощенко. Известно, что знаменитый французский писатель Жорж Перек в течение десяти лет не употреблял в своей прозе букву «е», самую популярную во французском алфавите[91]. Что касается меня, то вот уже лет шесть я пишу таким образом, что все слова во фразе начинаются у меня на разные буквы. Даже предлоги не повторяются. Даже в цитатах я избегаю двух слов на одну букву в одной фразе. Например, в «Заповеднике» я цитирую из Пушкина: «К нему не зарастет народная тропа…» Меня не устраивали «нему» и «народная». И я пошел на то, чтобы поставить: «К нему не зарастет *священная* тропа…» А затем сделал сноску: «Искаженная цитата. У Пушкина — народная тропа». С предлогом «не» пришлось смириться, ничего не смог придумать.

Короче, для меня это стало психозом. Вот раскрой мои три-четыре последние книжки и убедись.

Если бы ты мог оказаться таким дусей и слегка поправить в эту сторону твое стихотворение! Еще раз, не сочти меня умалишенным. И помни, что если уж я Пушкина исправил, то тебе обижаться не следует.

Посылаю тебе *условный* вариант правки, чтобы ты видел, о чем речь.

Маруся, хочешь — стансы напишу?
Как сладостно томление разлуки…

…В кафе «Снежинка» города Прилуки
ем на обед молочную лапшу
с огурчиком. Фуражка набекрень.
Распахнута моя косоворотка.
Вокруг сидят улыбчиво и кротко
крестьяне из соседних деревень.
Кондовая, махорочная Русь,
галоши, телогрейки и портянки…
Бывает, что увидится мне с пьянки —
приют неунывающих марусь,

но — Родина!..
Не мне ли суждено
дожить мой век среди ее отбросов?..

Я прежде был ученый и философ
(в «философе» два «л» или одно?).

Маруся, жизни нет. Замкнулся круг.
Здесь всякий холмик мнит себя Казбеком,
ведь я был не последним человеком
в системе Академии Наук.
А нынче — к огнедышащим печам
я подношу формованное тесто.
Моим словам просторно. Мыслям — тесно,
и в сердце — неизбывная печаль.

Шесть лет, как я покинул СССР.
Считай, что я в загранкомандировке.
Как накуплю вещичек по дешевке
и вышлю аккурат на твой размер.

И так далее.

«Погас огонь. Остался свет лучины…»

И еще:

«мы ласточки. А может быть — стрижи…»

Все остальное соответствует. Наум, не сердись. И не думай, что я рехнулся. А если и рехнулся, то отнесись с пониманием.

И еще сообщи — где было напечатано это стихотворение? Но, впрочем, даже если в «Панораме», я его вставлю. Авторство укажу непременно.

С этим все. Жду.

Дальше. В «Гранях», действительно, переворот. Владимова погнали за жидолюбие, юмор, отсутствие желваков на скулах. Короче — за талант и за качество. Это — метафизика серых. Так и должно быть.

Журнал «22» мне активно не нравится. Там сидят снобы <… > Выходят редко, денег не платят, почти не циркулируют, да еще и считают, что печататься у них — честь. Лучше восстанови

отношения с «Панорамой».

Половец обжулил тебя случайно, <…> деньги он платит более-менее аккуратно и авторов, в общем, ценит. Впрочем, и в «22» пошли что-нибудь. Кстати, физический цикл — это очень в их русле. А так, что я могу узнать насчет Сагаловского? Естественно, они ответят, что пусть пришлет, будем рады.

Совместным творчеством мы обязательно займемся осенью. Но мы напишем не детективную повесть, а эпистолярную. Я давно задумал договориться с кем-то, обозначить два характера, выдумать тему переписки, например — пропажа коломянковых брюк на дне рождения эмигранта Мешкевицера, и начать долгую переписку с широким обзором событий и лиц. Осенью поговорим.

На дачу я отвожу семейство 27-го июня. Всю неделю буду в Нью-Йорке, а на выходные буду уезжать. Так что пиши смело по знакомому адресу.

Теперь еще. Марья прислала 30 экземпляров «Демарша». Надеюсь, это только часть. Пока что тебе полагается 10 штук. Одну книжку я в понедельник вышлю с почты 1-м классом, а девять — 4-м. Если Марья пришлет, как я надеюсь, еще, ты все получишь. <…>

Наум, я в полном цейтноте. Обнимаю. Жди книжку + еще девять. А я жду письма. Женщинам и детям — киссиз, киссиз, киссиз!

Твой *С.*

P.S. *«Иностранка» в «Панораме» — говно. Украшением (единственным) будут твои «стансы».*

С.

13

2 июля <1987>

Дорогой Наум! Писать как будто нечего — все обсудили по телефону. История с больницей явилась, конечно, шоком, так что не знаю даже, как дальше потечет жизнь — с ежемесячными проверками, без водки, сигарет, но зато с рекомендуемой сексуальной воздержанностью. Короче, я должен переродиться в какую-то незнакомую и малосимпатичную фигуру — тихоню и педанта. Черт с ним.

Вайль и Генис относятся к тебе настолько хорошо, насколько это позволяет их рижское происхождение и усеченный взгляд на литературу как на веселое и приятное занятие зажиточных

нарядных людей. Я уже говорил и писал когда-то: отсутствие чувства юмора — трагедия для литератора, но отсутствие чувства драмы (случай Вайля и Гениса) тоже плохо.

Что касается Г. В., то он — мошенник, деньги за «Витязей» будет нелегко из Г. достать. Если ошибусь, буду рад.

Ленин адрес и телефон «Клубу песен» смело дай. Пусть договариваются сами, а мы с тобой пусть будем в стороне, ну их.

За деньги спасибо, но они у меня сейчас есть (аванс за книгу + «Ньюйоркер»), так что даже больница меня не полностью разорила. В случае необходимости возьму у тебя в долг без зазрения совести, я всю жизнь этим занимаюсь.

Пиши роман в стихах об эмиграции — в этом твое лит. бессмертие. Напиши что-то вроде «Гольдензона»[92], но вдвое длиннее и чуть глобальнее. Необходим эмигрантский «Василий Теркин».

Обнимаю тебя, детей и женщин.

Твой фрэнд и братр

С.

14

8 окт. <1987?>

Наум, дорогой! Бумаги получил, огромное спасибо. Прости, что у работающего тебя отнимаю субботнее время, чего очень не люблю по отношению к себе. Я тут с годами несколько умерил свою литературную манию, и теперь мы выходные дни проводим с ребенком. Недавно пережил гнусное урологическое обследование, но все, вроде бы, оказалось в порядке. Говорят, у Васи Аксенова что-то с почками.

Андрею Мальгину[93] («Неделя») я дал множество твоих вещей, и в частности: «Витязь», «Из Мотла Лещинера», «Монолог Гурфинкеля», «Песня певца за сценой» — про оперный театр, «Три народные песни», «Олимпийские страсти», «Народное достояние», «През. в груз. кепке», «Трест», «Происхождение видов», «Любовь», «Элегия», «Дилижансы», «Пушкин», «Точка зрения», плюс ко всему этому я дал ему, представь, себе, «Демарш энтузиастов». Он был в восторге, сказал, что все готов печатать, и так далее. Будем ждать.

Ариозо Г., конечно, смешное, но с каким-то плебейским оттенком. Вообще, шутки вокруг обрезания должны быть как-то очень выверены. И еще, чего у тебя почти не встречается, есть приблизительные слова: «старатели, капризники, от родного

переца». Не сердись. Ты написал так много точных, элегантных и смешных стихов, что тебе можно выражать и не полный восторг, тем более, что это всего лишь мой частный подход.

Сам я ничего, кроме радио-скриптов, не пишу и близок к, тому, чтобы возненавидеть печатное слово.

Обнимаю тебя и еще раз благодарю. Как-то мы давно не виделись.

Твой *С. Довлатов*

Публикация Елены Довлатовой

Письма к Андрею Арьеву

Публикуемые письма Сергея Довлатова относятся к двум последним годам его жизни. Помимо всяческих остроумных частностей, они интересны как документ, дающий представление о поре, когда запретные в нашей стране литературные имена стали появляться на страницах отечественных изданий. В свою очередь и у наших нечиновных людей прорезалась возможность выезжать за границу на симпозиумы, конференции и прочие далекие от пропаганды советского образа жизни мероприятия. С этими двумя переплетающимися сюжетами и связана публикуемая часть писем Довлатова.

В 1988 г. Сергей прислал мне из Нью-Йорка несколько своих произведений на предмет их возможной публикации. Первой удалось напечатать повесть «Филиал» («Звезда», 1989, № 10). В эти же месяцы я был приглашен на конференцию «Чувство места. Царское Село и его поэты» в Дартмутский колледж (Ганновер, Нью-Хемпшир, США), приуроченную к столетию со дня рождения Ахматовой и состоявшуюся 26–29 октября 1989 г. Как видно из писем, Довлатов вместе с работающим на радио «Свобода» Борисом Парамоновым и профессором Дартмутского колледжа Львом Лосевым этой поездке весьма содействовали.

В письмах также постоянно встречаются имена близких Довлатову людей: жены Лены, дочери Кати, родившегося в Нью-Йорке сына Коли, матери Норы Сергеевны (Степановны) Довлатовой, отца Доната Исааковича Мечика, двоюродного брата Бориса Довлатова, умершего в Ленинграде через полгода после смерти Сергея, ближайшего приятеля с университетских лет Валерия Алексеевича Грубина, нью-йоркских критиков Петра Вайля и Александра Гениса, а кроме того, имена моей жены Ани и дочери Маши. Остальные фамилии комментируются в примечаниях. В некоторых письмах сделаны небольшие купюры. Преимущественно они касаются излишне острых характеристик знакомых.

Андрей Арьев

2 дек. <1988>

Дорогой Андрей! Всю лирику Аня передаст на словах[94], а я к тебе, извини, обращаюсь по делу.

У меня есть ощущение, и даже уверенность, что в СССР скоро начнут печатать эмигрантов, и даже начали уже (Соколов, Войнович, Коржавин[95], не говоря о покойниках), и до рядовых авторов дело дойдет. Если нет, то нет и проблем. Я ждал 25 лет, готов ждать еще столько же и завещать это ожидание своим теперь уже многочисленным детям. Но если да, то возникают (уже возникли, например, в таллинской «Радуге») проблемы. Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания и пр. Самое дикое, если что-то из этого хлама просочится в печать, это много хуже всяческого непризнания. Короче, я обращаюсь к тебе как к самому близкому из литературных знакомых и к тому же — человеку «причастному», с огромной просьбой: содействовать защите моих прав, а именно — допускать к печати либо что-то из моих книжек, либо то, что получено от меня лично, выправлено и подготовлено мной самим. Сделай это, насколько такой контроль в твоих силах.

Я понимаю, что могу выглядеть смешным, опасаясь пиратства, которого никто и не замышляет. Но мой страх перед возможностью такого дела столь велик, что я готов быть смешным.

Разумеется, я хочу быть изданным дома, разумеется, никаких особых амбиций у меня в связи с этим нет, но то, о чем я тебя прошу, по-настоящему важно.

Обнимаю тебя и всех общих друзей.

Любящий тебя

С. Довлатов

2

6 янв. <1989>

Дорогой Андрей!

Очень рад, что мы понравились Ане. Дело в том, что я стал жутко раздражительным (как все насильственно отрезвленные пьяницы), и на всех повышаю голос. Кажется, повышал и на Аню. Спасибо, если она этого не помнит.

О встрече. Насколько мне известно, Лосев (с которым я давно в разладе из-за моей недооценки Солженицына — здесь это бывает) по настоянию Парамонова (которого я трижды пытался

задушить, и один раз задушил бы, если бы не вмешался мой шеф на радио с криком: «Не здесь, не здесь! Нас и так презирают чехи и болгары!», но с которым я в конце концов примирился в силу его редкого качества — интеллектуальной щедрости) включил тебя в какой-то семинар наряду с Аверинцевым, Лихачевым[96] и прочими светлыми личностями. Это значит, что ты пробудешь день или два в Дартмуте, а затем переберешься в Нью-Йорк, к нам или к Боре (Парамонову. — *А.А.*). Если захочешь жить у нас, то условия простые: «в тесноте, да не в обиде» <… > и к тому же в твоем распоряжении будут два наших автомобиля <…> в одном из которых, о чем сообщаю с гордостью, когда-то наблевал диссидент Голомшток[97].

Я бы и сам приехал в Ленинград (через Таллин), но из-за дома, который мы приобрели[98] (вынуждены были приобрести) в долг, и в который, как в прорву, уходит каждая лишняя сотня, я не смогу себе этого позволить в течение полутора лет, если, конечно, не свалятся еще раз на голову какие-то неожиданные и приличные деньги. Во-вторых, я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя, я к этому статусу привык, и не хотелось бы от него отказываться даже на время. Года через полтора это, судя по всему, станет реальным. Что-то появится в «Иностранной литературе»[99], представь себе, что-то в таллинской «Радуге»[100], издательство «Ээсти Раммат» подумывает о возобновлении договора на загубленную ими книжку[101], да и ты сообщаешь что-то волнующее.

Аня говорила, что тебе понравился «Заповедник», но «филиал», как я понимаю, проходимее, ты уж и решай, что двигать. Если же возникнет правка, то именно тебя я прошу этим заняться. Вычеркнуть можешь что угодно, тем более, что «Филиал» написан толчками, розановским (извини за сравнение) пунктиром, так что вычеркивать — одно удовольствие, и это меня сравнительно мало волнует, но если кто-то захочет что-либо вписать, то останови этого человека, и чем талантливее лицо, которое впишет в мой текст что-либо свое, тем это ужаснее. Теоретически, самое ужасное, если бы Достоевский что-то вписал в мое произведение.

Ты пишешь насчет бумаги о моем непритязании на валюту. Прилагаю ее на отдельном листе. Надеюсь, заверять ее не обязательно. Если надо заверенную, то сообщи, я зайду к нотариусу и шлепну. <…>

От души благодарю тебя за энтузиазм по внедрению моей прозы, хотя, должен сказать, именно на тебя я почему-то и рассчитывал, <…> на твое внимание.

Здесь у нас все движется в прежнем темпе. Сразу после

Аниного отъезда я заболел какой-то дрянью вроде аллергии — физия распухла, из глаз бегут слезы, и все это продолжается, несмотря на уколы и пилюли, до сегодняшнего дня. Глупость в том, что облик мой полностью соответствует седьмому дню запоя, так что меня время от времени останавливают доброжелательные люди и, понизив голос, шепчут: «Вам это нельзя. Если вы себя не щадите, то пощадите жену и мать», хотя я и вкус алкоголя почти что забыл. Не совсем.

Недавно у меня вышла русская книга, вернее фотоальбом некой Марианны Волковой: 60 портретов звезд русской культуры с моими хамскими подписями и под заглавием «Не только Бродский»[102]. Еще одна русская книжка выйдет в феврале[103], а в марте — английская[104], на которую уже есть предварительные отзывы. Один для понта высылаю{1}. Считается, что она может принести какие-то деньги, кроме аванса, чего со мной еще не бывало, во всяком случае, ее энергично проталкивает Хеллер[105], это который написал «Уловка-22», он здесь большой корифей, а я даже не читал его книгу.

Казалось бы, все, в общем-то, идет нормально, но настроение, как ты догадываешься, мрачное, обыкновенная тоска, которая отличается от печали, как Бродский от Кушнера. Впрочем, тоска эта блядская — как свойство характера, не зависит от обстоятельств. Раньше от этого временно спасали водка, табак и сам знаешь что, а теперь — всего этого нельзя.

Обнимаю тебя и благодарю. Все твое читаю с удовольствием, но редко. Статья в 10-й «Неве»[106] тоже, конечно, понравилась, но я там не со всем согласен. Подробности при встрече, да и не хотелось бы уподобляться Мише Юппу[107], который в 62-м году встретил Ахматову, у которой вышел сборник, и сказал: «Читал вашу книгу, Анна Андреевна. *Многое* понравилось». Она эту фразу, говорят, вспоминала со смехом до конца жизни.

Как ты умудрился до сих пор не написать книгу о Каверине? [108] Ты даешь.

Но и об этом — при встрече.

Анечку поцелуй, которая, видно, довольно-таки большая балда — как же это ее обокрали? Уж за японским-то телевизором можно было бы и присмотреть[109].

Твой *С. Довлатов*

3

22 янв. <1989>

Дорогой Андрюша!

Пишу тебе, не дожидаясь ответа, вот по какому случаю. Мне только что стало известно, что твое приглашение в Дартмут не включает оплату дороги. Упаси тебя Бог на этом основании поездку игнорировать.

Во-первых, такая форма не унизительна и для американских университетов обычна — предполагается, что вызываемое лицо принадлежит к организации, имеющей соответствующие фонды, и т. д. Я могу назвать десяток могучих фигур, которых на моей памяти приглашали без оплаты дороги.

Во-вторых, не далее, как 24-го января вернется из Москвы моя новая американская переводчица, сменившая предыдущую, Анн Фридман[110], которая, увы, заболела рассеянным склерозом, получив, кстати, года два назад премию за лучший перевод года, то есть, за мою книжку «Зона». Так вот, моя новая переводчица Нина Бьюис[111], американка русского происхождения, является по совместительству, то есть — по основному роду занятий, директрисой очень известного и влиятельного фонда «Сорес»[112]. 25-го я буду ей звонить, чтобы вырвать из них оплату твоей дороги и суточные для тебя.

В-третьих, если из этого ничего не получится, я *гарантирую* тебе, что ты в убытке не останешься, заняв на дорогу деньги и затем, получив в Дартмуте гонорар, кое-чем здесь обзаведясь.

В-четвертых, я попытаюсь устроить тебе здесь небольшой заработок, скажем — организовать диспут публичный между тобой и кем-то из здешних филологов о совр. литературе, что займет у тебя 3 часа без подготовки.

В-пятых, при всей своей нищете я все-таки буду рядом, и совесть моя еще не окончательно угасла.

В-шестых, если ты скажешь, что тебе негде занять такую большую сумму (вероятно, речь идет о тысяче рублей), то я организую перевод тебе этих денег, просто это требует хлопот и времени. Но помни, что это возможно.

Надеюсь, ты все понял.

У нас никаких особых событий не произошло. Передо мной лежит оглавление американского сборника «Лучшие короткие рассказы»[113], где наряду с Д-вым представлены, извини — Мрожек, Кавабата, Белль, Борхес, Маркес, Итало Кальвино (Бродский считает его гением, и, кажется, он не издан по-русски), Бабель («Ди Грассо») и Маламуд[114].

При всем при этом я — мрачный и больной старик, которого семилетний отпрыск Коля называет: «Паршивный, какашечный папка Сережка».

Обнимаю тебя и Аню. Машу тоже — так и не видели

фотографию ее. Пришлите.

Ваш дрюк *С. Довлатов*

4

1 февр. <1989>

Дорогой Андрюша! Письма идут ромбом[115], а тебе, ленивому, неохота отвечать, поэтому знай, что именно это письмо ответа не требует, это просто информация.

Во-первых, я, не будучи в контакте с Лешей Лосевым и слыша все от (через) Парамошу, только что узнал, что ты приедешь ажно в октябре. Само по себе время для Нью-Йорка подходящее, не слишком жарко, но уж очень все это, оказывается, не скоро. С другой стороны, когда я был дитя, чтобы перейти из третьего класса в четвертый — целую жизнь нужно было прожить, а сейчас рожаешь ребенка, и минут через сорок ему уже исполняется семь лет, и он внятным голосом просит у тебя денег. И т. д. Время последние годы летит быстро. А дальше полетит еще быстрее. Добром это, я думаю, не кончится.

Во-вторых, я звонил в «Сорес-фонд» и получил от директрисы четкое и односложное заверение в том, что дорогу тебе фонд оплачивает и суточные выдает. Парамонов уже звонил Леше, который должен востребовать в фонде анкету на тебя, заполнить ее, а дальше все произойдет само. Будь совершенно уверен, что этот вопрос решен.

В связи с этим — одна маленькая хитрость: тебе выгоднее оформить поездку на максимально долгий срок, потому что этот срок станет множителем для суточных. А дальше — поедешь домой, когда сочтешь нужным, никто в таких случаях вычитании не делает.

Американцы в массе люди точные, так что важно, чтобы Лосев ни на каком этапе ничего не пропустил и не задержал. Я уже просил Борю чаще Лосеву звонить.

Всех обнимаю. Ане привет. Дочке Маше привет.

Раньше закончил бы — «всего доброго», а теперь — до свидания, мой дорогой.

Твой *С.*

5

1 марта <1989>

Дорогой Андрюша! Я отправил тебе в общей сложности 3 письма (это — четвертое): первое — более или менее лирическое + денежный документ, второе и третье — деловые приложения. Я попытаюсь сейчас обозреть по памяти все три, потом сделаю копии, и вместе с опять-таки денежным документом отправлю заказным с уведомлением — дважды или даже трижды по твоему адресу. Вот так. (Далее СД. пересказывает содержание предыдущих писем. — *А.А.*)

Ты спрашивал, не собираемся ли мы с Леной приехать, а я тебе отвечал, что это случится года через полтора: дело в том, что мы купили дом в горах на довольно фантастических условиях и в расчете на грядущие, но все-таки еще не полученные гонорары, которые к тому же не покрывают всей стоимости дома. Короче, в него, как в трясину, уходит каждый трудовой цент, а на поездку вдвоем + штаны для Грубина нужно все же тысяч пять, да еще потери от выхода из рабочего графика, а одного меня Лена не пустит в здравом опасении запоя, я же ее тоже одну не хочу пускать, потому что она к пятидесяти годам стала очень бойкая и одержима мыслью наказать меня за все мои грехи. Поверь, я знаю, что говорю. И прости за многословие.

Через год, максимум — полтора, я расплачусь за дом, опубликуюсь на родине с твоей помощью и тогда приеду с пошлым шиком.

Перехожу к литературе. Я тебе уже писал в пропавшем письме, что меня очень тронуло твое внимание к моей, так сказать, литературе, и более того, я именно от тебя этого почему-то ожидал, <…> именно от тебя. Я даже, вероятно, что-то выражал по этому поводу, во всяком случае, когда ты сообщил, что продвигаешь «филиал», то Лена сказала: «Ну вот, получается все, как ты и рассчитывал». Короче, тронут, спасибо, от души благодарю. Из того, что ты мог прочесть, «филиал», как я понимаю — наиболее «проходимая» штука, и правки серьезной там быть не должно, а если таковая потребуется, то мой «розановский пунктир» облегчает задачу — можно выкидывать целые абзацы, потому что весь текст — как связка сарделек. Во всяком случае, очень прошу тебя самого, если возможно, этим заняться. Печататься дома я, конечно же, хочу, амбиций чрезмерных у меня нет, просто я, откровенно говоря, не хотел бы проявлять инициативы в сторону «Невы», я считаю, что ими допущена неблаговидность по отношению ко мне, и никто никогда не попытался это дело ликвидировать[116].

Кстати, если потребуется, то в подтверждение моей относительной лояльности можешь сообщить, кому следует, что

попутчика Довлатова печатает в 4-м, вроде бы, номере таллинская «Радуга», кроме того, «Иностранная литература» прислала мне и дюжине других «бывших» что-то вроде анкеты, которая будет напечатана в первых номерах этого года, и наконец, сюда приезжал Анджапаридзе из «Худлита», прочел мою книжку «Чемодан» и собирается в апреле, оказавшись здесь снова, говорить со мной о книге[117]. В общем, что-то происходит.

В «Искусство Ленинграда», конечно, что-то дай[118], огромное спасибо за экспансию, но, если можно, придержи рассказ «Представление» из одноименного сборника, это мой главный шедевр, и я хотел приберечь его для какого-нибудь центрального органа. Если ты считаешь, что это — излишний снобизм, то действуй, как сочтешь нужным[119].

Ты спрашиваешь, какой из моих рассказов вошел в антологию, но я уже забыл, про какую антологию я тебе писал, если речь идет о сборнике лучших коротких рассказов, то там, вместе с Кавабатой, Беллем, Мрожеком, с которым я, кстати, познакомился в Вене, вместе с Маркесом, Борхесом и той же Кальвиной (Итало Кальвине. — *А.А.*) твой старый кореш Довлатов на пару с Бабелем представляет одну шестую часть суши. Но вообще-то антологии здесь издают все, кому не лень, и все эти американские «первые пятерки», «первые десятки» — чепуха. В моих достижениях главное — это десять рассказов в журнале «Ньюйоркер», восемь опубликовано[120], и два куплено впрок, ну и еще то, что книжки мои выходили по-английски, и у нас, и в Лондоне, в очень приличных издательствах, а от уровня издательства зависит уровень прессы, и так далее. В конце марта у меня выйдет по-английски одна книга, которая будет продаваться по разряду «нон-фикшен»[121], документальная, и есть мнение, что при надлежащей рекламе я могу что-то ощутимое заработать. Будем надеяться.

В общем, все, казалось бы, пришло к какому-то внутреннему равновесию, не голодаем, печатаемся, сын растет, мать жива, жена не опротивела, дочка в рожу не плюет, тем не менее, я — больной мрачный старик, мнительный, с комплексами, всех ненавижу (кроме тебя и Ани), а если годами не пью, то помню о Ней, проклятой, с утра до ночи, и если в глубине души о чем-то мечтаю, то именно о том, чтобы выпить, закурить и позвонить по телефону Янине Словашевской. (*Славошевской?*)[122].

Да, тут есть двое очень способных рижан, Петр Вайль и Саша Генис (может, слышал о них?), они журналисты и критики, довольно-таки замечательные, и у них есть прорва всяких книжек и материалов, и в том числе — отличная статья о Валерии Попове, и вот они хотели бы прислать ее на твое усмотрение[123].

Так что не удивляйся.

Андрюша, прости, что в ответ на твое остроумное и веселое письмецо я шлю тебе эту смесь похвальбы и деловитости, но так уж получилось. Большой привет Ане и Маше, и всем общим знакомым. На днях пошлю тебе бандероль с чаем, кофием и какой-нибудь мелкой фигней. Давно пора.

Денежную бумагу прилагаю. Еще раз спасибо за внимание и хлопоты.

Ане Лена напишет сама. Урбана жалко[124]. За тебя, в связи с трудоустройством, очень рад. Будете делать журнал с Николаевым[125] — так ведь фамилия вашего нового босса? Интересно получается: Нина Андреева, Сергей Андреев, Никольский, Николаев[126] — это как в Индии, где каждый второй — Сингх. Что-то я уже заговариваюсь, время — половина второго ночи. Будь здоров, дорогой.

Жму руку.

С. Довлатов

6

6 апреля <1989>

Дорогой Андрюша, письмо твое получил, одно — в ответ на четыре моих, но теперь, я думаю, все нормализуется. Отвечаю, скользя по твоему тексту.

Донат приехал обалдевший[127] (чтобы не сказать — «оху»), впал в политическое мракобесие и ругает Америку с такой неиссякаемой силой, что я боюсь, как бы его не лишили одной из многочисленных стариковских привилегий, например, права раз в две недели стричь ногти на ногах силами небрезгливого врача-корейца по имени Чу.

Уже сегодня утром Донат устремился в обход рыбных лавок, что побудило меня когда-то сказать ему:

«Рыба занимает в твоей жизни такое же место, как в жизни Толстого — религия». Как информант относительно американской жизни Донат стоит много ниже, чем Иона Андронов[128].

Что касается Берберовой, то я с ней, конечно, знаком и несколько лет находился в переписке, но затем она поняла, что я целиком состою из качеств, ей ненавистных — бесхарактерный, измученный комплексами человек. И переписка увяла. Я ее за многое уважаю, люблю две ее мемуарные книги (стихи и проза — дрянь, по-моему), но человек она совершенно рациональный, жестокий, холодный, способный выучить шведский язык перед

туристской поездкой в Швецию, но также способный и оставить больного мужа, который уже ничего не мог ей дать. Короче, я и сам готов ей позвонить, и знаю людей, с которыми она теснее дружит, но я категорически не верю, что это возымеет действие. Она скажет: «Мне 90 лет, и я хочу, чтобы меня читала вся Россия»[129]. Взывать к каким бы то ни было нерациональным моментам — бессмысленно, поверь мне.

Кстати, не стоит на нее так уж сильно обижаться: дело в том, что механизмы передачи рукописей в Союз еще только налаживаются, что-то где-то циркулирует, кто-то что-то хочет напечатать, но четкой обратной связи нет. Я, например, более или менее четко знаю, что происходит, лишь благодаря тебе. Еще мои книжки брала Юнна Мориц[130], но уже в случае с нею я, при всей любви и симпатии к ней, очень неясно представляю, что там делается. Кстати, она собиралась тебе звонить и совещаться, я, пардон, дал ей твой телефон.

Переходим к «Филиалу». Спасибо тебе за готовность предварить мое сочинение вводной заметкой, как говорится — сочту за честь. Я считаю, что такая заметка с биографическими сведениями уместна, ибо печататься я начинаю с опозданием, информации обо мне маловато. Значит, так:

1. По-русски у меня вышли на Западе следующие книги: «Невидимая книга» (о неудачной попытке издать книгу на родине), «Компромисс» (журналистские будни в Эстонии), «Зона» (записки надзирателя), «Соло на ундервуде» (записные книжки), «Марш одиноких» (сборник статей об эмиграции, печатавшихся в газете «Новый американец»), «Наши» (история семьи), «Заповедник» (сам знаешь), «Ремесло» (часть первая — «Невидимая книга», часть вторая — «Невидимая газета», история двух попыток — издать на родине книгу и создать в Америке приличную эмигрантскую газету), «Демарш энтузиастов» (совместно с Бахчаняном и Сагаловским[131] — рассказы, картинки и стихи эксцентрического направления), «Иностранка» (история женщины в эмиграции), «Чемодан» (знаешь), «Представление» (знаешь), «Не только Бродский» (русская культура в портретах и анекдотах, мои там подписи к фотографиям), «Филиал» отдельной книгой здесь не выходил, но должен выйти осенью[132]. Это все.

2. По-английски у меня вышли: «Невидимая книга» (Ардис), «Компромисс» (Альфред Кнопф), «Зона» (Кнопф же), «Наши» (изд-во «Вайденфельд энд Николсон»).

У меня есть контракты еще на две книги — «Чемодан» (уже

переведен для Вайденфельда) и «Иностранка» (переводится для него же)[133]. Кроме того, у меня выходили книги в Англии, Швеции, Финляндии и Дании. Да, еще в Израиле.

3. Главные мои достижения, как я тебе уже писал, это то, что я — постоянный автор «Ньюйоркера» (десять рассказов), ну и вообще, печатался в лучших изданиях — «Грэнд стрит», «Партизан-ревю» и т. д. Можешь для юмора добавить, что я печатался в самом гипертиражном издании на свете — в американской телепрограмме.

4. Биографические сведения обо мне более или менее верно изложены в справочнике Вольфганга Казака (прилагаю) и в одной из энциклопедий за подписью Лосева (прилагаю)[134]. Разумеется, ни о каких преследованиях не пиши, это здешняя манера. Остальное, вроде бы, соответствует.

5. Рецензий на мои книжки по-английски и по-русски было неисчислимое количество, посылаю тебе на выбор штук пять.

6. Из американцев, как-то отзывавшихся обо мне, самые знаменитые: Воннегут (прилагаю), Джозеф Хеллер (автор «Уловки-22», он здесь более знаменит, чем Воннегут, прилагаю), Джерзи Косинский (его в Союзе не знают, кажется, но он автор нескольких бестселлеров, плейбой и суперзвезда, прилагаю), Ирвинг Хау (старый либерал, дружок Набокова и Эдмунда Уилсона, прилагаю)[135].

7. Из более или менее уважаемых русских на Западе обо мне писали что-то — Владимов, Некрасов, И.З. Серман[136] и множество других людей, но эти трое — более четко и лестно, чем другие. Все это довольно объемистые статьи, и пересылать их — морока. Ты лучше напишешь в сто раз.

8. Да, еще я — лауреат премии американского ПЕН-клуба за лучший рассказ 86-го года[137].

9. Из того, что я считаю существенным относительно себя (стиль!), и что подчеркиваю во многих интервью, заметь, пожалуйста, следующее: я считаю себя не писателем, а рассказчиком, это большая разница. Рассказчик говорит о том, как живут люди, прозаик говорит о том, как должны жить люди, а писатель — о том, ради чего живут люди. Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать и писателем. Поверь, это без всякого

кокетства.

Ну, с этим, вроде бы, все. Да, говорят, в мартовской «Иностранной литературе» помещены данные обо мне. Может, заглянешь и в них?

Дальше. С «Заповедником» поступи, как сочтешь нужным. Должен сказать, всякий раз, когда я узнаю о чьих-то обидах, то страшно удивляюсь: мне кажется, я всех так наглядно люблю![138] С другой стороны, когда обо мне пишут всякую хреновину, я недоволен. Таков человек.

Что касается «благотворительности», то ты меня как-то не так понял. Ни о какой благотворительности речь не шла (слово-то какое!), просто я считаю нормальным разделить совершенно ненужные и недоступные мне деньги в какой-то пропорции между моей бывшей семьей и группой моих пьющих друзей. А как ты прикажешь еще этими неясными будущими деньгами распорядиться? Упаси тебя Бог от мысли, что я хотел «поставить» тебе в ответ на твои лит. усилия! Грубин мне ни одной открытки не прислал, никогда ни одного моего сочинения не прочел, письма мои отдал Геше Трифонову для «Невы»[139], а я все равно имею его в виду, и буду рад, если вы там кутнете с поминовением моего имени и пр. Проехали, как говорится. Жлобства не будет.

Рассказ в «Континенте» — говно, ты прав[140]. Это я прошлым летом написал вдруг пять рассказов, все напечатал, поторопился, и все оказались — дрянь, все пять. С другой стороны, я сейчас готовлю очередное издание «Записных книжек», первый комплект назывался «Соло на ундервуде», второй будет называться — «Соло на IBM», то есть, уже об Америке.

Да, прости за сумбур, к моим «достижениям» можешь добавить, что первые мои рассказы и книжки рекомендовал американским редакциям и издательствам — Бродский, это правда.

Андрей, дорогой, уже ночь, слог мой ужасен, прости.

Да, вот что забыл. Донат передал Лене платье от Ани, и сначала мы отнеслись к большому тяжелому советскому пакету с американским скептицизмом, но потом Лена надела это платье, и выяснилось, что оно на ней как-то шикарно сидит, и вообще, производит эффект. Короче, Лена очень довольна, смущена и благодарит.

Ну, пока что закругляюсь. Ане и Маше привет. Ждем тебя в октябре. По документам ты в 9.00, в пятницу, 27 октября будешь говорить о культурной жизни Царского Села.

Всех обнимаю. Послал вам недели три назад ничтожную посылку — символическую.

Ваш *С. Довлатов*

7

13 мая <1989>

Дорогой Андрюша, ты спрашиваешь — почему не откликаются Вайль и Генис? Они говорят — мы с энтузиазмом откликнулись и послали Арьеву книжку[141]. Надеюсь, ты все это получишь.

У меня вышло очередное сочинение по-английски — «Наши», рецензии пока хорошие. Посылаю тебе две копии — во-первых, из хвастовства,* поскольку личико мое опухшее попало на обложку самого авторитетного на Западе лит. органа — «Бук ревью». Не смотри, что рядом Таня Толстая[142], она в другой категории — представительница великой державы, а я — ничтожный эмигрант, кроме того, она женщина, а к женщинам и к неграм здесь особо нежное отношение, и к тому же ее все принимают за вдову Льва Толстого, а меня в лучшем случае могут принять лишь за моего брата Борю. Тем не менее.

Что делается с сов<етской> литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллина, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: «Он пах духами» (вместо «пахнул»), «продляет» (вместо «продлевает»), «Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей», и так далее (вместо «коия», а еще лучше — «которая»), «снизошел со своего Олимпа» (вместо «снизошел до»)[143]. Что это значит? Куда ты смотришь?

Я тебя обнимаю и за все благодарю.

Ане сердечный привет.

Ваш *С. Довлатов*

** А во-вторых (я как-то отвлекся и ушел в сторону), как материал для твоей обо мне заметки, КОЯ меня заранее радует.*

С.

8

19 июля <1989>

Андрюша, дорогой, здравствуй! Только вчера, приехав с дачи, получил твое письмо. Спасибо. Отвечаю быстро и коротко, потому что из-за дачи и долгих поездок туда и обратно совершенно лишился времени.

Все твои сокращения и поправки с энтузиазмом принимаю,

тем более, что их почти нет.

Твое предуведомление к «Филиалу»[144] — отличное… И главное там не блеск и не ум, а — понимание. Что встречается гораздо реже, чем ум и блеск. Спасибо, спасибо.

Что касается твоих писаний, то не будь жопой. Рейн[145] давно внял моим призывам и успешно действует. Итак:

За перепечатки из отечественной прессы здешние газеты не платят. Не будем сейчас обсуждать, справедливо ли это (по-моему, абсолютно несправедливо), но факт, что не платят. Не ленись, сядь и напиши три заметки по 3-4-5 страниц на такие, скажем, темы: «Три встречи с Вениамином Кавериным. (История одного послесловия)». И т. д. Дальше: «У постели Веры Пановой[146] — спор о Пастернаке», и еще, скажем — «Блеск и нищета Пушкинского заповедника». И пр. Извини за пошлые названия — это я просто навожу тебя на мысль.

Андрюша, помни, что на такую заметку ты потратишь, максимум, три часа, а платят здесь — 100 РУБЛЕЙ за страницу! Реально это выходит именно так. Садись и пиши. Свой месячный оклад ты легко заработаешь за три часа.

Парамону все передал. Вайль и Генис тебя благодарят и приветствуют.

В добывании билетов прояви максимальную энергию. Что же тут поделаешь?! Скооперируйся с Уфляндом[147], у него, по слухам, деловитая жена.

Ждем вас всех, а тебя особенно. Будь здоров. Всем привет.

Твой *Сергей.*

9

9 дек. <1989>
Н.Й.

Дорогой Андрей! Посылаю тебе «Стамбул»[148]. Еще не ясно, кто его тебе доставит — Уфлянд или Азадовский[149]. Во всех случаях дай знать, что получил, а если нет, то можно продублировать.

Твой доклад был немедленно отправлен Леше и Дедюлину[150]. Газету и фотографии — Берберовой переслал[151]. Также отправил неясное письмо по указанному на конверте адресу.

За мной — книги от Вероники[152], которые, прости, все еще лежат у нее в конторе, и двухтомник о Сталине[153], который лежит у меня в столе. <…> Все это будет тебе переправлено, но

на американскую почту я все еще не очень полагаюсь, а всучить затоваренному советскому гостю 2-килограммовый пакет, как ты догадываешься, нелегко. Жду человека, которому я окажу столь значительную услугу, что и его смогу попросить об одолжении.

Сообщаю тебе, что ты, будучи жопой, забыл у нас в стенном шкафу свои брюки. С первой же ничтожной посылкой, которую мы для вас сварганим, ты их получишь. Обещаю их не надевать.

Костя А. (Азадовский. — *А.А.*) передал Лене от Ани дивные украшения. С одной стороны, огромное спасибо, все очень, очень нравится, и Лена все это задумчиво перебирает, но с другой стороны — кончайте, друзья, с этими делами. Все это дорого, и потому серьезно нас травмирует.

У Кости — крошечный пакетик для вас. Что-то будет сунуто и Уфлянду, может быть, вместе со «Стамбулом» и этим письмецом.

Посылаю Андрюше вырезку из «Н.Й.Таймс», из коей следует, что «Наши» попали в список лучших книг года.

Андрюшу часто вспоминают на станции, говорят, что он самый нормальный гость из Союза, и особенно все поражены тем, что он купил за доллары бутылку виски. Это, действительно, единственный случай.

Ну, пока все. Обнимаю вас. Лена что-то предпринимает по просьбе Глазамицкого[154]. Во всяком случае, я слышу телефонные переговоры на эту тему.

Ваш *С. Довлатов*

10

27 дек. <1989>

Дорогой Андрюша!

Гриша[155] передал мне твою записку и Анины подарки. Мне кажется, это зашло слишком далеко, Аня покупает дорогие вещи, и создается довольно большая неловкость. Уже и мама говорит: «Ах, как неудобно». Как бы мы ни радовались всем этим чудным украшениям, неловкость пересиливает. Попроси Аню остановиться. Сердечно благодарим, и на этом — конец. Объясни Ане, что у тебя были, есть и будут всяческие возможности оказать мне неоценимые услуги. А значит, и Лене.

Ваша дочка Маша оказалась милой и привлекательной. Вы как-то осторожно о ней говорили, и я уже подумал — вдруг неудачный ребенок. Прелестная девушка. Похожа, в основном, на Аню.

Спасибо за «Васильевский остров»[156], но вообще-то, на всякий случай, знай, что «куда-нибудь» и «как можно скорее»

пристраивать рассказы не следует, предложений довольно много, в том числе и от Коротича[157].

Для «Звезды» — все самое лучшее и в первую очередь. Юнна (Мориц. — *А.А.*) об этом знает. А в остальном, на твое усмотрение — либо люди хорошие, либо размах и тираж. <…>

Болгары ко мне еще не обращались[158], зато обратились с точно таким же предложением поляки. К тому же я вышел по-японски.

Писал ли я тебе, что «Наши» по-английски угодили в список лучших книг года? Копию прилагаю.

Уфлянд и Азадовский вскоре (раньше, чем дойдет это письмо) передадут Вам крошечные пакетики. Уфлянд также, вроде бы, согласился взять Флоренского[159] как наиболее срочную для тебя книгу. Он же передаст тебе «Стамбул».

Если бы ты знал, как трудно всучить что-либо затоваренным советским гостям. Даже если оказываешь человеку услуги, возишь его туда-сюда, а потом просишь передать кому-то авторучку, физиономия сразу вытягивается.

Штаны и двухтомник о Сталине вышлю при первой же возможности. Кстати, мне звонил находящийся здесь В <…> Х <…> (?), уверял меня, что мы знакомы. Не хочется тратить на него время, но если придется, то взамен я попрошу его передать тебе штаны и «Сталина».

Ты говоришь — передать все это через Дедюлина. А он, между прочим, как выяснилось, широко слывет здесь очень занятым, рассеянным и вполне неаккуратным человеком.

Все поручения твои я сразу выполнил (Берберова, Лосев, Дедюлин, какое-то неясное письмо). Денег Дедюлин еще не прислал, но я уверен, что пришлет. Так что не беспокойся.

<…> Тебя до сих пор вспоминают на радио как рекордсмена, купившего на валюту большую бутылку виски. Ни один человек твоего подвига не повторил, многие при этом норовят курить Юрины[160] сигареты, чем дико его раздражают. Про Генриха Штейнберга[161] Юра сказал: «Не может он быть доктором наук, раз у него нет сигарет!»

<…> Всем твои приветы передал, и все передавали приветы тебе.

Лена собирается послать Ане какие-то бумажки через Азадовского.

Ну, кажется, все.

Обнимаю вас.

С. Довлатов

P.S. У мамы бережно хранятся для тебя, Валерия и Бори —

600 поцелуев[162]. Алеша Сергиенко[163] не проявлялся.

С.

11

12 апреля <1990>

Андрюша, дорогой мой! Я уж не знаю, что написала Лена — Ане, кажется, что-то нервное (судя по Аниному ответному письму), но, умоляю тебя, попытайся вообразить наши обстоятельства. Ежедневно раздается от трех до десяти телефонных звонков, едут уже не друзья друзей, и даже не приятели приятелей, а малознакомые малознакомых, и Арьевы среди них попадаются не слишком часто, а у нас — вечно прихварывающая мамуля, ребенок, собака, а главное — работа в совершенно незнакомом вам режиме, поверь мне. Как только я завязываю с пьянством, начинается тягостный труд, и это, конечно, не делает нам чести, но иначе мы протянем ноги. Соснора[164] жил у нас когда-то недели две, которые мне, естественно, показались вечностью, ибо это была невыносимая смесь трогательности, хитрости, обаяния, глухоты и энтузиазма. Ты мягко пишешь: «ему можно что-то черкнуть на бумаге». Это так, когда видишься раз в месяц в рюмочной, а я исписал с ним 7 стостраничных блокнотов.

Я бы ничего этого не стал писать, если бы не был уверен, что никакие мои жалобы ты никогда и ни при каких обстоятельствах не примешь на свой счет. К друзьям это все не имеет никакого отношения, и дни, проведенные здесь тобой, мы вспоминаем очень часто, и надеемся снова вас с Аней увидеть, и это будет только радость. Но друзей у меня не так много, раздражительность увеличивается с каждым запоем, а главное, я все же на четырех работах: литература, радио, семья и алкоголизм. Не говоря о том, о чем ты сейчас подумал. <…> Пете и Саше я твои наставления передал.

Если получил или получишь какие-то деньги из «Васильевского острова», то <…> пойдите с Аней, Борей и Валерием в кооперативный ресторан «На Фонтанке». Я понимаю, что это с моей стороны звучит несколько по-барски, но, с другой стороны, этого-то я и добиваюсь.

О смерти Бакинского[165] я узнал сразу (позвонил Вадим[166]) и уже говорил о нем по радио. Он, действительно, хорошо ко мне относился, и я успел сердечным образом поблагодарить его за это. Вадика на похороны не пустили не дела, я думаю, а бедность.

Я просто не представляю себе, на что он живет.

На Меттера[167] не сердись, мы с ним переписываемся, и он тоже выражает мне свое расположение, что с годами начинаешь ценить.

<…> В ответ на твои всегда удачные каламбуры сообщаю, что у меня есть рассказ, в котором герои-охранники поют песню «В бананово-лимонном Сыктывкаре»[168].

У меня вышла книжка («Наши») в Германии, а в мае выходит «Чемодан» по-английски[169]. Юнна (Мориц. — *А.А.*) пишет, что две книжки будут в Москве — одна в «Моск. рабочем», а другая в каком-то «ПИКе»[170].

После «Чемодана» я пишу нечто про еду, сочинил уже три главы. «Чемодан» — это одежда, дальше будет еда, а потом возьмусь за женщин, чтобы, таким образом, охватить весь круг бездуховности.

Лена купила новую полиграфию, в долг, конечно. Когда мы с ней заговариваем о наших экономических делах, то оба начинаем мелко хихикать.

Обнимаю тебя, дорогой, никогда не сердись на меня (теперь уж поздно), мы тебя вспоминаем и любим. Аню — соответственно. Дочке поклон.

Твой дрюк

С. Довлатов

12

20 апреля <1990>

Андрюша, дорогой! Получил с интервалом в сутки два твоих письма, да еще и постскриптум к Звягину[171]. На первое письмо сразу же ответил, второе отдал Грише (Поляку. — *А.А.*) для наведения справок. Гриша несколько медлителен, но других ученых, коим что-то говорит имя Ховина[172], в эмиграции нет. Гриша поклялся вернуть мне бумаги в субботу, сразу же их тебе отошлю. Звягину привет.

Вероятно, ты уже получил мое письмо с объяснениями насчет Сосноры, не буду повторяться. Надеюсь, все шероховатости позади.

Саше и Пете все передал.

Ты пишешь: шлите доверенности. Однако, я помню, ты говорил, что на твое имя доверенности посылать не стоит. Посылаю на имя Грубина. Увы, не помню, выслал ли я доверенность на что-то из «Васильевского острова», если я ничего

не путаю. На всякий случай прилагаю и этот документ на имя того же Грубина. Мне кажется, из них двоих (Валерий и Боря) Грубин более подотчетен.

Вообще, я хотел бы посвятить тебя в свою экономическую программу. Юнна (Мориц. — *А.А.*) пишет, что в течение 90-го и 91-го годов я получу в Москве чуть ли не 45 тысяч рублей. Если даже это гипербола, то все равно там какие-то ощутимые деньги: «Апрель», «Огонек», два сборника, какой-то альманах, даже, вроде бы, два. <…> В общем, как бы втянуть тебя во все эти дела? Боря не годится, поскольку один раз он уже надул Валерия, вроде бы, да и Грубин при всей его честности может забыться, исчезнуть или что-то напутать. <…> Понял ли ты все то, что я сам понимаю едва?[173]

Посылаю тебе вырезку из «Русской мысли»[174]. Мою фамилию во вводке отметил желтым не я, а все тот же невозвращенец Дедюлин[175], оказал мне честь.

Ну, пока все. Ане и дщери — привет и сдержанные объятия. Сдержанные — поскольку я старик и парх.

С. Довлатов

Публикация Андрея Арьева

ПРИЯТЕЛИ О СЕРГЕЕ ДОВЛАТОВЕ

Игорь Смирнов [176]
Творчество до творчества

Пишущий воспоминания — собственник без имущества, владелец того, что не принадлежит никому: прошлого. Мемуаристу, как бы ни были благи его намерения, нельзя доверять (по меньшей мере, вполне): ему хочется распоряжаться растраченным капиталом, словно звонкой и хрустящей наличностью. Но упрекать его за это имело бы смысл только в том случае, если признать, что факт ценнее текста, что созерцание выше воображения, что у жизни есть преимущество перед творчеством.

Поколение, о котором пойдет речь, судило как раз иначе. Может быть, поэтому оно начало хворать и редеть до срока, растранжирив обесцененную им жизнь с той же методичностью, с которой люди восьмидесятых, пришедшие ему на смену, поглощают здоровую пищу, борются с курением и пользуются презервативами, продлевая, впрочем, не столько бытие, сколько старость — его угасание.

«We were avid readers and fell into a dependence on what we read»[177]. Я бы не стал спорить с этим обобщением, если бы за «мы», подразумевающим самозабвенных читателей, не стояло «я» лучшего из поэтов нашего возраста. Читали и впрямь запоем. Но не ради чтения самого по себе. Для того чтобы приобщиться к писательству, пусть не имея своей темы и собственного приема. Я помню одно из первых стихотворений Бродского: оно — о стихах до стихов, о любви до ее начала (автор простит мне эту публикацию):

Я очень часто несу чепуху,
Пишу плохие стихи,
Ношу пальто на рыбьем меху,
Холодные сапоги.

Теряю друзей, наживаю врагов,
Плачу за газ и за свет,
А кроме того, ищу любовь,
Которой все нет и нет.

То, что нам досталось в наследство от сталинской эпохи, был авторитет литературы. Никогда прежде до тоталитаризма литература не поднималась на ту высоту, на которую ее возвели

премии, носившие имя вождя: дары и гонорары, делавшие писателей едва ли не самыми зажиточными людьми в стране; идеологические кампании, ставившие то одно, то другое произведение — вне зависимости от того, чернилось ли оно или превозносилось, — в центр внимания всей страны. Культ Сталина кончился — мы обеспечивали непрерывность истории, исповедуя культ литературы.

Довлатов вместе с двумя-тремя друзьями сидел на университетской скамейке, мимо которой шла вверх по лестнице толпа, и хохотал без видимой причины. Выяснилось, что шла игра. Выигрывал тот, кто первым выхватывал из проходивших мимо странного человека — почесывающегося, подпрыгивающего, бормочущего себе под нос, закатывающего глаза — словом, совершенно не замечающего, что за ним наблюдают. Литература надвинулась на меня в той осязательности, которая не нуждалась в том, чтобы быть закрепленной словом. Мы остранение учили не по Шкловскому.

Поступок ценился тогда, когда он поддавался новеллистическому пересказу, развлекающему слушателей. Когда невеста убегала сразу после многолюдной свадьбы к другому. Когда путь из университета вел в лагерную охрану. Расписывали масляными красками заднюю стенку шкафа, за которым спали. Инсценировали: Довлатов стрелял из двустволки в потолок, чтобы вернуть ушедшую женщину к мнимому трупу самоубийцы. Чем была бы литература, если бы ее не оправдывали страдания писателя? В разыгранном самоубийстве проглядывало то всамделишное жертвование собой, без которого художественное слово было бы простой ложью. Складывалась этика, которую можно было бы назвать новой, если бы этика не была тем, что не допускает никакой новизны. Разрешалось все, что было творчеством. Довлатов придумал для нашего поведения термин: «подонкизм».

За олитературенной жизнью последовала жизнь в литературе. Но это — другая тема. Страшно доводить воспоминания до конца. В этом и состоит сущность страха — в исчерпаемости памяти.

Виктор Кривулин [178]
Поэзия и анекдот

Мы еще не были знакомы, просто курили рядом на филфаковской лестнице в перерыве между лекциями. Коротко стриженный, вылитый «архангел-тяжелоступ», этот человек казался поразительно похожим на самодвижущийся памятник молодому Маяковскому, и, словно бы иронически аранжируя очевидное сходство или предупреждая самую возможность тривиального соотнесения его громоздкой фигуры с общеизвестным монументом, он вдруг подчеркнуто вежливо и как-то доверительно обратился ко мне: «А вы знаете, что Маяковский был импотентом?» Я не знал. Я еще не знал, что его зовут Сергеем и что он что-то пишет, кажется, не стихи.

Еще одна встреча, она для меня стала очень важной. Я впервые увидел себя со стороны — и не в лучшем виде. Ранняя осень. Полдень. Тихое мечтательное солнце. Пора листопада. Я не пошел на лекции, сижу в парке возле метро «Горьковская», записная книжка раскрыта, настроение, можно сказать, возвышенно-поэтическое… «Ага! *минута, и стихи свободно потекут*…» Именно с такими словами надо мной нависает гигант Довлатов; его «ага» звучит уличающе, обнажая романтическую пошлость самой ситуации, где я более комический персонаж, нежели высокохудожественный автор, а он, змей-искуситель, как ни в чем не бывало, присаживается рядом: «Завидую, что ты стихи пишешь. Чистое занятие. Человеческое. Грустное, хотя и бессмысленное…» Потом я узнал, что утром следующего дня Довлатова забрали в армию, во внутренние войска.

Стихи на ленинградском филфаке тогда писали практически все, может быть поэтому Сергей (я впервые услышал его фамилию только когда его уже выгоняли с факультета) с какой-то болезненно-иронической оттяжкой относился к поэзии, а точнее — к патетическому парению над унизительными мелочами бытия, или — если постараться быть уж совсем точным — к тому романтическому чудовищу, какое в начале 60-х годов непременно соотносилось с представлением о настоящем поэте. Оно возникало как спонтанный вызов ненавистной обыденности, оно питалось анекдотами и сплетнями, оно плело свою паутину, в центре которой обретался некий монстр, присвоивший себе право демонстративно выходить за рамки разумного или дозволенного.

Эти-то монструозные сгустки жизни, видимо, и отталкивали и привлекали Довлатова еще до того, как он начал писать прозу.

Отталкивали эстетически (его вкус был почти безупречен), но притягивали, если так можно выразиться, человечески — не просто как объекты эпатирующего любования или сторонней насмешки, а как бы изнутри, *лирически,* то есть входя в глубинное соприкосновение с его собственными невыраженными иррациональными порывами, которых он не то чтобы стеснялся или стыдился, но по крайней мере предпочитал публично не демонстрировать, а если и демонстрировать, то под определенным углом, с особой интонацией трогательного, трепетного цинизма. Как ни странно, такая интонация не казалась его слушателям оскорбительной, наоборот, она льстила им, и даже обыденное общение с Сергеем Довлатовым превращалось в факт словесности, поначалу изустной.

Встречи с ним отпечатлевались в тех же ячейках моей памяти, где хранятся анекдоты или языковые курьезы. Его *разговоры* для всех, кто с ним общался, неожиданно становились событиями высокой литературы, даже когда предметом обсуждения были казусы или разного рода несообразности, которыми так богата жизнь, его собственные приключения или просто приход водопроводчика. Не знаю, записывал ли он эти *случаи* (в подлинно хармсовском смысле слова) до того, как принужден был стать солдатом лагерной охраны по *эту, по ненашу* сторону колючей проволоки, но оттуда он вернулся писателем. И, вероятно, именно там его природная наблюдательность обрела письменную литературную форму, продиктованную опытом драматического осознания смехотворной двусмысленности человеческого бытия. Двусмысленности, которая особенно впечатляюще проявляется в непосредственном соседстве с лагерным ограждением — неважно по какую сторону ограды.

Каждый из нас, детей послевоенного времени, чувствовал себя в той или иной степени героем. Но шаг в сторону, несданный экзамен, повестка в военкомат, визит участкового, фельетон в комсомольской газете — и мы обнаруживали себя *героями анекдота.* Одного Большого Анекдота, который делается смешным лишь тогда, когда раздробляется на мильоны мелких анекдотических ситуаций, создавая серый колючий шум коммунального или барачного шепота, сопровождавшего нас от рождения до могилы. И нужно было сделать еще один, на этот раз головокружительно-сознательный шаг, чтобы из персонажа анекдотов превратиться в их творца, вновь по крупицам житейской пыли собирающего воедино рассыпанное и рассеянное целое.

Все лучшее в новейшей русской прозе — от Венедикта

Ерофеева и Юза Алешковского до В. Сорокина и В. Пелевина — построено на осмеянии, на абсурде, на анекдоте, иными словами — на распылении целого. Но Довлатову повезло больше, чем другим, возможно и не менее одаренным беллетристам его поколения. Он не ограничился ювелирной разрушительной стилистически-языковой работой, — он создал собственный жанр, в пределах которого анекдот, забавный случай, нелепость в конце концов прочитываются как лирический текст и остаются в памяти как стихотворение — дословно. Перед нами не что иное, как жанр возвышающего, романтического анекдота. Жанр парадоксальный, не могущий существовать — но существующий. Этот жанр не укоренен в классической русской литературе, ему неуютно в границах политической сатиры или психологического реализма. В то же время он далек и от соцарта, с его навязчивой идеей постмодерной деидеологизации, с его презрением к читателю. Жанр, созданный Довлатовым, без читателя, и читателя сочувствующего, немыслим.

Мы пережили уже, я надеюсь, период мазохистического общения с текстами, целенаправленно унижавшими нас как читателей. Они больше не дают того острого и злорадного наслаждения, которое еще недавно переживалось и школьником и профессором филологии. Фрагментарные же книги Довлатова с течением времени, наоборот, как бы мягчают, приобретают некий флер почти поэтической ностальгии, их тональность изменяется вместе с изменением читательских вкусов и претензий. В них проявляется сейчас как раз то, что поначалу представлялось побочным, факультативным, даже лишним: чистая нота тщательно скрываемой, но оттого только еще более очевидной грусти — прекрасная изнанка маски беспощадного и безнадежного циника, трезвого бытописателя и бойкого журналиста.

Только теперь, спустя несколько лет после смерти автора, проза Довлатова начинает звучать в полную силу. В его голосе обнаруживаются не слышимые раньше модуляции. Такое ощущение, будто он продолжает писать и переписывать свою «Невидимую книгу», с которой некогда начинал так блистательно.

Людмила Штерн [179]
Эта неаполитанская наружность

С Сережей Довлатовым я познакомилась осенью 1967 года, точнее — 15-го ноября, на дне рождения Марины Рачко. Жили они тогда с Игорем Ефимовым на Разъезжей, в доме 13. Обычно в этот день в их коммуналке собиралось около пятидесяти человек — поэты, писатели, художники, в большинстве не печатаемые и не выставляемые, однокашники Марины и Игоря по Политехническому институту, а также школьные или соседские приятели, вроде меня.

Накануне я позвонила Марине с обычными вопросами:

1. Что подарить? 2. Что надеть? 3. Кто приглашен?

На третий вопрос Марина ответила, что будут «все, как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен».

— Кто, например?

— Например, Сергей Довлатов. Знакома с ним?

— Первый раз слышу… Чем занимается?

— Пишет рассказы… Начинающий прозаик.

— Способный человек?

— По-моему, очень.

— Как выглядит?

— Придешь — увидишь, — засмеялась Марина и повесила трубку.

На Маринин праздник я пришла не одна, а с Эльжбетой Мыслинской, коллегой из Польши, которую мне поручили в университете развлекать в порядке общественной нагрузки. Мы опоздали на час, вечеринка была в разгаре. Народ толпился в кухне и коридоре, — ефимовским соседям полагаются медали за терпимость. Большие приемы Игорю и Марине разрешалось устраивать в комнате, где жили Маринина мама, бабушка и дочь Лена. Когда мы пришли, стол с яствами уже был придвинут к стене, около него толпились знакомые лица. Сигаретный дым застилал глаза, под стенания аргентинского танго — даже в молодости мы были вызывающе старомодны — в центре покачивалось несколько пар.

Я не сразу заметила «новое жемчужное зерно». Но когда заметила, не могла отвести от него глаз. Он полусидел одним боком на письменном столе и разговаривал с Володей Марамзиным. На вид ему было лет двадцать пять (оказалось, что двадцать шесть), и он был невероятно хорош собой. Брюнет с очень короткой стрижкой, крупными, правильными чертами лица

и трагическими восточными глазами. На нем были вельветовые брюки, клетчатая рубаха и рыжий потертый пиджак.

О, Господи! Где же я видела эту неаполитанскую наружность? Я определенно встречала этого человека, такую внешность забыть невозможно. Он встал, оказавшись на голову выше всех гостей, похлопал себя по карманам, извлек пачку смертоносных сигарет «Прима» и чиркнул спичкой, лелея огонь в самодельной лодочке из ладоней. И я вспомнила. Несколько лет назад… Весна… Залитый солнцем Невский проспект, толпа, сплошной рекой текущая мимо Пассажа, тающие сосульки, с крыш за воротник капают первые капли, смуглые мальчишки протягивают веточки мимозы. Близится восьмое марта. Внезапно в толпе образуется вакуум, и в нем я вижу огромного роста молодого человека с девушкой. Оба в коричневых пальто нараспашку, оба брюнеты, черноглазы, чернобровы, румяны, ослепительно хороши собой. Они неторопливо шествуют, держась за руки, — непринужденные, раскованные, занятые исключительно друг другом. Они знают, что ими любуются, но «как бы» никого вокруг не замечают, отделенные от остального мира «магнитным» полем своего совершенства. Они — хозяева жизни. И кажется, что этот первый весенний день принадлежит только им, только для них светит солнце, и только им протягивают мальчишки веточки мимозы.

«Если мы захотим похвастаться перед инопланетянами совершенством homo sapience, мы должны послать в космос именно эту пару», — подумала я. «Ну уж, если не в космос, так в Голливуд. Черт знает как хороши».

Они прошли мимо, и я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Сперва она, а его стриженый круглый затылок был виден даже у Аничкова моста…

— По-моему, я не знаком ни с одной из вас, — сказал Сережа, протягивая руку сперва Эльжбете, потом мне, — Довлатов моя фамилия.

Я тоже назвалась.

— Что вы пишете, Люда Штерн, стихи или прозу?

В тот период его жизни, как, впрочем, и во все последующие, человечество в глазах Довлатова делилось на Тех, Кто Пишет, и остальных…

— Ничего не пишу. Я инженер-геолог и занимаюсь слабыми грунтами, точнее суглинками и глинами. А Эльжбета — специалист по скальным породам.

— И где же вы этими глинами занимаетесь?

— В Ленинградском университете.

— Как же, знаю, я там бывал. Меня выгнали с третьего курса

филфака.

— За что вас выгнали?

— Точно не помню, но наверняка не за глины… Как странно, что вы ничего не пишете… У вас обеих довольно интеллигентные лица…

— Ну, извините, — засмеялась я.

— Нет, серьезно, при чем тут глина? Это же просто грязь. Допустим, я, пьяный, свалился в канаву и вымазал брюки в том, что вы называете глиной. Затем они высыхают, и я стряхиваю эту глину рукой или щеткой. На химчистку, как правило, нет денег. А вы что с глиной делаете?

В тот период моей жизни я училась в аспирантуре геологического факультета, писала диссертацию на тему «Состав, микроструктура и свойства глинистых пород», и именно это занятие считала самым значительным в жизни.

— От человека с такой неаполитанской наружностью неудивительно ожидать подобную пошлость, — отчеканила я и увлекла Эльжбету к другим гостям. Но она заныла, что устала, плохо понимает по-русски, потерялась в чужой компании и хочет домой, в гостиницу.

Пришлось проводить ее до Пяти углов и посадить в троллейбус. Когда я снова позвонила в ефимовскую квартиру, дверь мне открыл Толя Найман.

— Молодец, что вернулась. Тут Довлатов тебя разыскивает. Он утверждает, что тебя обидел.

Увидев меня, Сережа закричал на всю комнату:

— Как вы могли уйти, не выслушав моих извинений? Я терпеть не могу производить плохое впечатление. Но вы тоже хороши — «с такой неаполитанской наружностью». Я ненавижу, когда комментируют мою наружность. А те, кто ею восхищаются, раз и навсегда становятся моими врагами.

— Кто это восхищается вашей наружностью?

— Обидеть, Люда, меня легко, понять меня невозможно.

— Кажется, вы собирались извиниться. Или я ослышалась?

— Прошу прощения за непочтение к глинам, как к представителям слабых грунтов. Я искуплю это почтительностью к вам, как к представителю слабого пола. О, Господи, и чего это меня сегодня заносит?

— Только сегодня?

— Не грубите… Скажите лучше, вы замужем?

— Очень даже.

— И где же ваш муж?

— В командировке, в Красноярске… А вы женаты?

— Еще как… И не раз.

— И где же ваша жена?

— Первая — понятия не имею. А вторая — дома. Ей не с кем ребенка оставить.

— Значит, это я вас с женой видела на Невском… несколько лет назад. Стриженная под мальчика, очень красивая, с веселым и дерзким взглядом…

— Это была Асетрина, моя первая жена. Теперь я женат на Лене. Она еще красивее, с загадочным, древним ликом, как сказала бы Ахматова. А кто вас сегодня провожает домой?

— Пока не знаю.

— Тогда на это претендую я. Постараюсь не напиться и произвести впечатление приличного человека.

…Мы вышли от Ефимовых около двух часов ночи. Было холодно и ветрено, моросил дождь. Ни автобусы, ни троллейбусы уже не ходили, такси в поле зрения не попадались. Довлатов поднял воротник и глубоко засунул руки в карманы. Мы, молча, пересекли Загородный и пошли по улице Рубинштейна.

— Оцените мое джентльменство, — сказал Сережа, показывая на дом 23, — я здесь живу, мог бы через пять минут лежать в постели.

— Вы сами вызвались, я вовсе не просила меня провожать, — вспылила я.

В этот момент около нас остановилось такси, пассажирка и шофер долго пререкались по поводу платы и сдачи. Сережа снаружи нетерпеливо дернул дверцу.

— Девушка, не беспокойтесь, я оплачу ваш счет. Выходите поскорей, а то моя дама промочила ноги.

Обрадованная девица выпорхнула из машины, а шофер почтительно пробормотал «во дает!».

Я назвала адрес, и мы помчались сперва по пустынному Невскому, потом по улице Гоголя.

— Скажите, Люда, возле вашего дома есть лужа? — спросил Довлатов, когда мы въехали на Исаакиевскую площадь.

— Не помню… А зачем вам лужа?

— Очень важная деталь. Если есть лужа, я выскакиваю из машины первый, снимаю пальто и небрежно бросаю его в лужу, и вы проходите до нему, как по ковру. Помните, в «Бесприданнице»? Этот жест входит в программу обольщения и действует безотказно. Проверял сотни раз.

— Сколько же у вас пальто?

— Одно, но ему ничего не сделается. Смотрите, какая царская подкладка! Нейлон под горностай. Только не вздумайте говорить, что это дешевый трюк. Будто я сам не знаю.

У моего подъезда лужи не оказалось. Сережа расплатился с

таксистом, и мы очутились в абсолютно безлюдном переулке Пирогова. Переулок наш, хоть и кажется невзрачным, таит один секрет, а именно, он — тупик. По-моему, единственный в Петербурге. Он упирается в стену задних строений Юсуповского дворца, и, если знать, в какую нырнуть калитку, окажешься в закрытом и незаметном с улицы дворцовом саду.

Желая продемонстрировать Довлатову, что я тоже не лыком шита и сфера моих интересов не ограничивается глиной, я рассказала ему, вернее, воссоздала до мельчайших подробностей картину убийства Распутина, которое произошло здесь 16-го декабря 1916 года. Я с удовольствием произносила: «И вот из этих самых дверей выбежал князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, в то время студент Оксфорда, а здесь стоял член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич, а тут…»

Тут Довлатов перебил меня и, не в силах вынести мою «образованность», рассказал содержание рассказа «Голубой отель». Счет сравнялся 1:1. Заговорили о поэзии. Я двинула вперед тяжелую артиллерию, декламируя наизусть Блока, Гумилева, Ахматову, Мандельштама… Боже, какая была память! Сережа вежливо молчал, но как только я на секунду замолкла, чтобы перевести дух, он занял площадку и рассказал две короткие новеллы. В тот же вечер, придя домой, я записала их почти дословно в свой дневник и поэтому уверена в точности пересказа. Но до сих пор понятия я не имею, есть ли в них доля правды, или они целиком плод довлатовской фантазии.

Новелла первая

«Знаете ли вы о странной дружбе Фолкнера и Эйнштейна? В самом деле, что могло быть общего у великого прозаика, южанина, сына плантатора из штата Миссисипи, с великим физиком-теоретиком, немецким евреем из Принстона? Над этой загадкой бились многие биографы и журналисты, но безрезультатно — оба гиганта ревниво охраняли свое «прайвеси». Было лишь известно, что они видятся несколько раз в год, всегда без свидетелей, наедине. Тайну их отношений удалось разгадать одному прыткому репортеру. Однажды разведка ему донесла, что Эйнштейн собирается к Фолкнеру в гости. Путешествие ученого на старом «шевроле» заняло несколько дней. В день приезда Эйнштейна репортер прикинулся водопроводчиком, проверяющим в фолкнеровском доме трубы. Он что-то там намеренно испортил или отвинтил и принялся «это» чинить.

Раздался звонок. Фолкнер, опередив прислугу, бросился открывать дверь. За окном бушевала гроза. На пороге стоял дрожащий от холода Эйнштейн в насквозь промокшем плаще. (Непонятно, правда, почему промокший, он ведь подрулил к фолкнеровскому дому на автомобиле. — *Л.Ш.*) У него не было с собой никаких вещей, только скрипка в потертом футляре. Гении молча обменялись рукопожатиями, Фолкнер помог снять, стряхнул и повесил на вешалку эйнштейновский плащ, после чего они проследовали к хозяину в кабинет. Через минуту репортер услышал звуки настраиваемой скрипки. И вот раздалась соната Моцарта для скрипки и фортепьяно. Писатель и ученый играли с упоением. Но в их исполнении не было ни величия, ни грации, ни радости, ни печали. Оба спотыкались, фальшивили и пропускали ноты. Через час эта мука закончилась. Служанка внесла в кабинет поднос с чаем и вазочку с печеньем. А еще через полчаса Фолкнер помог Эйнштейну надеть еще не просохший плащ, и старик Альберт отчалил через всю Америку домой, в Принстон».

Новелла вторая

«А знаете, почему Фолкнер вообще стал писателем? Чисто случайно, просто из ревности, или зависти, что ли…

А дело было так. В начале двадцатых годов Фолкнер и Шервуд Андерсон жили в одном городке. Они каждый вечер встречались в баре, выпивали, болтали, но даже фамилий друг друга не знали, а уж тем более кто чем занимается. Впрочем, Фолкнер ничем особенно не занимался. Как-то он приходит в бар, а Шервуда нет. Нет его ни на второй, ни на третий день, нет его неделю. Фолкнер спрашивает у бармена, не знает ли он, куда дружок его подевался. Бармен говорит, черт его знает, пойди к нему домой, узнай. И сказал Фолкнеру адрес. Подходит Фолкнер к этому дому и слышит стук пишущей машинки. Окно было открыто, Фолкнер подошел, облокотился на подоконник и заглянул в комнату. Его приятель печатает, ничего вокруг не замечая. «Чего это ты делаешь?» — спросил Фолкнер. «Рассказ сочиняю, — отвечает Андерсон. — Пока не кончу, не выйду из дому». — «Ну, извини, — говорит Фолкнер, — не буду тебе мешать».

Прошло дней десять. Шервуд Андерсон закончил свой рассказ и пришел в бар. А Фолкнера нет. Нет его ни на другой, ни на третий день. «Не знаешь, куда это дружок мой подевался?» — спросил он у бармена. «Откуда мне знать? Пойди да узнай, он живет за углом, второй дом налево». Андерсон подошел к дому,

позвонил. Фолкнер приоткрыл дверь и говорит: «Извини, я занят. Не могу уделить тебе ни минуты». — «А чего ты делаешь?» — «Роман пишу! А ты что же думаешь, только» ты один писатель?»

Так появился на свет первый роман Фолкнера «Солдатская награда».

И, не переводя дух, Довлатов рассказал мне содержание этого романа.

* * *

…Когда мы снова подошли к моему подъезду, было пять часов утра.

— Не уходите, — сказал Сережа. — Давайте вместе проведем остаток вечера. Я только должен сделать несколько звонков. — И он стал оглядываться в поисках телефона-автомата.

— Нет, нет, какие могут быть звонки? Скоро утро.

— Когда я хочу разговаривать с друзьями, время суток не имеет значения, — сказал Довлатов, заметно мрачнея. — Так вы едете со мной или нет?

— Сегодня я никуда больше не еду, я иду спать.

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Сегодняшний вечер кончился без остатка.

— Добрых снов! — Он развернулся и, не прощаясь, пошел прочь, огромный, как скала.

— Подождите, у вас есть клочок бумаги записать мой телефон?

— Ваш телефон? — Сережа остановился и смерил меня тяжелым взглядом. — Зачем, скажите на милость, мне ваш телефон?

— И правда, зачем? — Я умудрилась рассмеяться и войти в свой подъезд с величественно поднятой головой.

Довлатов задел меня за живое. Смотрите, какая цаца! Зачем мне ваш телефон! Конечно, красавец… Импозантен… Остер на язык… Весь прямо соткан из литературы… Блестящий рассказчик… Но гонор! Но самомнение! Ну, Довлатов, погоди! Если еще тебя увижу, просто не замечу… Даже не узнаю… Пройду, не поздороваюсь…

Наутро я позвонила Ефимовым поблагодарить за вчерашний бал.

— Вечерок на редкость удался, Мариша, — пела я в трубку. — Еда была отменная, никто не напился, не поругался… Я замечательно провела время.

— Как тебе понравился Довлатов?

— Кто, кто?

— Людон, не притворяйся. Сережа позвонил нам чуть свет, рассказал, что вы до пяти утра гуляли, что он распушил павлиний хвост и тебя очаровал. Признался, что исчерпал все свои знания по американской литературе.

— А что он еще говорил?

— Спрашивал про твою семью и обрадовался, что твою дочь зовут Катя, потому что его дочка — тоже Катя. И еще сказал, что хотел приехать к нам с тобой доесть, допить и договорить, но ты отказалась. Жаловался на твой упрямый, несговорчивый характер и попросил твой телефон. Я, конечно, дала… Надеюсь, ты не возражаешь?

Сережа позвонил через месяц и застенчиво, чуть ли не смущенно, пригласил нас с мужем в Дом писателя на свое первое публичное чтение. Помню, что приглашение сопровождалось бесчисленными оговорками, как-то: «Если вам в этот вечер совершенно нечего делать… Если это не нарушит привычного уклада вашей жизни… Если вам не отвратителен Дом писателя… Если не страшитесь потерять два часа…»

Помню, что чтение происходило не в Белом зале и не в гостиных, а в каком-то небольшом помещении на первом этаже, под эгидой секции молодых прозаиков. Председательствовал Давид Яковлевич Дар.

— Сегодня я хочу представить вам Сергея Довлатова, — сказал Дар, раскуривая трубку. В душную комнату поплыл голубой запах капитанского табака.

— Довлатов — мастер короткой формы. Он пишет уже несколько лет, но пока нигде не печатался, и это его первое публичное выступление. Подозреваю, что он очень волнуется. Поэтому я прошу вас сидеть тихо, не курить, — в зале раздались смешки и аплодисменты, — и не прерывать чтение остроумными репликами. Начинайте, Сергей.

Сережа открыл папку и перевернул несколько страниц. Сидя в первом ряду, я с удивлением заметила, как сильно дрожат у него руки.

— Я прочту вам несколько рассказов из моего военного прошлого. Я три года служил на Севере, точнее говоря, в Потьме… Впрочем, зачем я объясняю… — сказал он.

Не помню всего, что он читал. Но общее впечатление — строгой, точной прозы, без базарного шика, без жульнических метафор, без деревенских оборотов a la russe, помню прекрасно. А один рассказ — «Чирков и Берендеев» — до сих пор знаю почти наизусть. Он был такой смешной, что Сережин голос тонул в

шквале смеха.

После чтения Довлатова окружили в коридоре тесным кольцом, и я не сразу добралась с поздравлениями. А добравшись, попросила, если можно, почитать другие его рассказы.

— Да, да, конечно, я ужасно рад, сейчас принесу.

Он развернулся, огромный, как Петр I, и ринулся в зал, опрокинув на ходу стоящий в проходе стул. От его надменности и высокомерия не осталось и следа. «Боже, какой чувствительный», — подумала я. В этот момент Сережа появился со своей папкой.

— Вот, пожалуйста, только не порвите и не потеряйте.

— Буду обращаться с исключительной осторожностью, — засмеялась я. «Обращаться с исключительной осторожностью» — была цитата из популярной тогда книжки «Физики шутят». В этой книжке остроумно расшифровывались клише из научных статей. Например, фраза «слегка повреждены в ходе эксперимента» означала, что прибор уронили на каменный пол и вдребезги разбили. А «обращались с исключительной осторожностью» означало, что прибор не уронили на пол и не потеряли от него жизненно важные винтики. Довлатов, вероятно, этой книжки не читал, да и вообще, в этот момент чувство юмора его покинуло.

— Почему вы смеетесь? — Он вперился в меня тяжелым взглядом. — Что-нибудь не так?

— О, господи, все так. Буду беречь, как зеницу ока.

— Когда вам позвонить?

— Через неделю.

— Ну, нет, я позвоню вам завтра. Вы, может быть, не догадываетесь, но я не смогу нормально существовать, пока не услышу вашего мнения.

— Моего мнения? Бог с вами, Сережа! Я же не Белинский и не Добролюбов. Какое значение может иметь мое мнение?

— Вы, очевидно, не представляете себе, что литература, точнее, мои рассказы — это единственное, что имеет для меня значение… Меня совершенно никто и ничто больше в жизни не интересует.

«А женщины?» — хотела я спросить, но не решилась.

— Вы подумали сейчас, и зачем он мне голову морочит? — ответил на мои мысли Довлатов, и очень торжественно сказал:

— Я хочу, чтобы вы знали: я, кроме литературы, ни на что больше не годен — ни на политические выступления, ни на любовь, ни на дружбу. От меня ушла одна жена и наверняка скоро уйдет другая. Я требую постоянного утешения, но ничего не даю взамен. Ваше мнение о моих рассказах для меня важно, потому что я почему-то испытываю к вам доверие. Но упаси вас Бог

довериться мне… Я — ненадежен и труслив. К тому же пьющий…

Эта странная тирада в коридоре Дома писателя меня, признаться, озадачила. Согласитесь, мы не каждый день слышим от малознакомых людей подобные откровения. Я видела Довлатова второй раз в жизни, причем в первую встречу он показался мне совершенно Другим — самонадеянным, насмешливым, ироничным… Что же он на самом деле за человек?

…За двадцать три года близкой дружбы с Сергеем Довлатовым я так и не нашла ответа на этот вопрос. Блистательный, артистичный, остроумный, с безупречным литературным вкусом, он гармонично сочетал в себе несочетаемые черты характера. Он был вспыльчив и терпелив, добр и несправедлив, раним и бесчувствен, деликатен и груб, щедр и подозрителен, неуверен в себе и высокомерен, требователен, злоязык, сентиментален, жесток и великодушен. Для многих он был надежным товарищем, умел быть верным и преданным другом, и, в то же время, ради изящного укола словесной рапирой мог унизить, оскорбить, причинить боль. Потом всегда страдал, казнился и просил прощения.

Бог так много отпустил ему… Пожалуй, единственное, что в нем отсутствовало, — это желание и умение быть счастливым…

Евгений Рейн [180]
Несколько слов вдогонку

Мы жили по соседству, через дом, мой — 19, его — 23 по улице Рубинштейна в Питере, разделял нас только Щербаков переулок. В начале 70-х я перебрался в Москву, но моя комната еще несколько лет сохранялась за мной, я приезжал и жил подолгу, иногда месяц-два.

В эти времена Сережа приходил ко мне почти ежеутренне, он выходил гулять с фокстерьером Глашей прямо в тапочках на босу ногу (даже в осеннее время), добывал пару бутылок пива и появлялся в моей комнате. При этом Глашу неизменно нес под мышкой.

Я старался позабавить его какой-нибудь московской историей, но вскоре вступал Сергей и говорил долго и увлекательно. О службе в конвойных войсках, о литературных делах, о своей семье, особенно часто о похождениях Бориса, двоюродного брата; иногда истории уходили в детство, возникали актер Николай Черкасов, отец Сергея Донат Мечик, Зощенко, Алексей Толстой. Через тетку, сестру матери Мару Довлатову, одного из лучших литературных редакторов Ленинграда, Сережина семья была связана с литературной средой очень основательно. Во всяком случае, 40-е годы, война, 30-е — все это выплывало в рассказах Сергея.

Я сразу же обратил внимание на очень высокий профессиональный уровень этих рассказов. Это были не смутные разодранные клочки, нет, сюжет проводился изобретательно и отчетливо, характеры обозначались ясно и ярко, реплики стояли на точных местах, были доведены до афоризма, гротеска, пародии. Короче говоря, от этих рассказов было недалеко до рукописи, в них явственно проступал литературный силуэт.

Когда я сказал об этом Сергею, он, кажется, не удивился. Быть может, он проверял на мне свои заготовки, быть может, частично это уже было записано. Потом в довлатовской прозе я встречал куски этих рассказов, встречал и детали из них, перенесенные на другой, так сказать, «холст».

Как-то в Таллинне, уже несколько лет спустя, я выслушал замечательно яркий, захватывающий рассказ Сергея об одном его приятеле-журналисте, чудаке, неудачнике. Затем Сережа представил мне героя своего рассказа, и я на неделю остановился у того в комнатах какой-то заброшенной дачи в Кадриорге. Это был действительно чрезвычайно особый человек. Особый до

загадочности, до каких-то таинственных с моей стороны предположений. Это о нем написан замечательный довлатовский рассказ «Лишний», Сейчас мне очень трудно отделить фактическую сторону дела от общей ткани рассказа. Но здесь вскрывается один из механизмов работы Довлатова. Задолго до написания рассказа он создал образ, артистически дополняющий реальность. Прежде чем быть записанным на бумагу, этот рассказ состоялся дважды. Сначала в виде устной модели, художественно выразительной, почти гротескной, но сотнями нитей связанной с реальностью. А последующие события, произошедшие с героем, уже сами выводили канву повествования, действительность как бы сама писала этот рассказ, опираясь на то, что предварительно было создано Довлатовым.

Несколько лет подряд я ездил к Довлатову в Эстонию. Как я теперь понимаю, эстонские годы для Сережи были временами двойственными, одновременно и «способствующими», и «мучительными». Он стал профессиональным литератором (что было для него очень важно), был признан внутри своего цеха, окружен вниманием, даже своеобразным почетом. И в то же время его изводила лживая журналистская работа, проза его пылилась без востребования в издательских кабинетах, столичный литературный поток шел мимо него. Все надежды, все жизненные планы упирались в одно — в книгу, готовившуюся в таллиннском издательстве. По обстоятельствам того времени в этом не было ничего маниловского, сверхъестественного. События более подтвердили, чем опровергли основательность выбранного Довлатовым пути. Ведь книга дошла до «чистых листов», еще две-три недели — и она вышла бы в свет, и тогда, возможно, все бы сложилось в Сережиной жизни иначе.

Тем сокрушительнее была для Сергея катастрофа, постигшая книгу. Я не буду об этом рассказывать подробно. По роковой случайности (конечно же, в чем-то закономерной) в последний момент книга привлекла внимание эстонского КГБ, набор был рассыпан, над автором стали сгущаться тучи не только литературного свойства. Сергей покинул Таллинн и вернулся в Ленинград.

И все-таки эстонские годы, мне кажется, были благотворны для него. Я вспоминаю его на фоне симпатичной и немного игрушечной таллиннской старины, за столиками кафе, в баре редакции, в доме на Рабчинского, 41, где он жил, в маленьких городах Эстонии. Огромный, яркий, очень пластичный, он по какому-то закону контраста очень подходил к этой «декорации». Он хорошо знал Эстонию, относился к ней с симпатией, может быть чуть-чуть юмористически (что, впрочем, вообще неотделимо

от его ментальности). И эстонцы чувствовали в нем друга, до известной степени «своего» человека. Помню, как мы приехали с ним писать репортаж о съемках фильма «Бриллианты для диктатуры пролетариата». В Кадриорге была построена декорация. Летний ресторан имитировал светскую жизнь 20-х годов, за столиками сидела нарядная публика, среди статистов были знаменитые актеры — Кайдановский, Волков. Режиссер фильма был моим старинным знакомым и предложил нам сняться за одним из столиков. Для Сергея долго искали пиджак, галстук, трость — и сразу же он стал самым ярким, самым колоритным человеком на съемочной площадке. Все вокруг залюбовались им. Вел он себя ловко, свободно, выглядел великолепным денди «прекрасной эпохи». Панораму решено было начинать с крупного плана Сережи. Потом, как это всегда бывает, эпизодик этот оказался вырезанным, но кто знает, может быть, сам кадр где-то сохранился.

Удивительно, что этот бывалый, все повидавший в жизни, прошедший огонь, воду и медные трубы человек был самым «литературным» из всех тех сотен литераторов, что довелось мне повстречать в жизни. Часами он мог говорить о литературе; вывести его из себя, довести до ярости, до отчаяния мог только литературный спор. Почти дословно помню, как Сергей во время какого-то разговора разгорячился и закричал: «Ни одной минуты жизни не стану тратить на починку фановой трубы или утюга, потому что у меня полно литературных дел, и чтение — это тоже мое литературное дело!» Как свободно мог он цитировать Чехова, Зощенко, Платонова! Как тонко разбирался в стихах, отличая модное от истинного, вычурное от подлинного. Еще в самом начале он отметил, оценил, отличил поэзию Иосифа Бродского, стал почти маниакальным его почитателем и остался таким до конца.

Как он знал и ценил новую американскую прозу! Любовно читал Хемингуэя, Дос-Пассоса, Фолкнера, Чивера, Апдайка, Вулфа. Мы ведь и все в 50—60-е годы были увлечены ими. Но для него они были боги, учителя, старшие братья. Быть может, он подсознательно предчувствовал, что переберется на их землю, в Новый Свет, что именно там развернется его судьба.

Я трижды побывал в Нью-Йорке до Сережиной кончины, бродил с ним по Великому Городу, ночевал у него в Квинсе, вместе с ним выступал перед русской и американской аудиторией. Вместе с Бродским он был председателем моего первого американского вечера.

Когда я впервые увидел его после отъезда, перерыв в наших очных отношениях составлял десять лет. Я ждал его в садике, примыкавшем к квартире Бродского на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж. Раньше назначенного часа отворилась калитка и вошли Лена и Сережа. Если Сережа и переменился, то только в том смысле, что он стал еще (хотя куда бы!) больше, заметнее, красивее. От природы элегантный, он был со вкусом, даже как-то празднично, одет. Мне он показался свежим и сильным, каким бывает человек после купания или лесной прогулки. Все в его жизни было правильно, он был на месте, он был хозяином своей судьбы и своего дела. Вот чего недоставало ему, и теперь его новая жизнь так ему шла!

Мы отправились побродить по городу, сначала по Манхэттену, потом взяли такси и поехали на Брайтон-Бич. Меня поразило — он и здесь был известен, любим. Его весело приветствовали в магазинах, на океанском берегу, в барах, куда мы два или три раза заходили. Наступил обеденный час, и он повел Лену и меня в ресторан «Одесса», где снова оказался желанным и знаменитым гостем. Я замечал, как ему приятно все это, Здесь не было никакой показухи, никакого пижонства. Просто приехал старинный товарищ, и он вводил его в свою новую жизнь с ее лучшей стороны, ибо ведь не магазинами Рокфеллер-центра и не брайтоновской «Одессой» гордился он: нет, на фоне всего этого ошеломительного пейзажа он принимал друга, деликатно (да-да, деликатно) показывая ему, как может повернуться жизнь, как следует принимать эти новые обстоятельства.

И, кроме того (а может быть, это было важнее всего), за всем этим стояли уже вышедшие книги — «Зона», «Компромисс», «Наши», «Заповедник», «Иностранка» — и они говорили сами за себя.

Он гордился и успехом своих английских переводов, пересказав мне едва ли не в первый час нашего свидания забавный эпизод с Куртом Воннегутом. Сережа обратился к нему с какой-то весьма скромной просьбой, от выполнения которой Воннегут уклонился с такой мотивировкой: «Чем я могу помочь человеку, который постоянно печатается в «Нью-Йоркере»? Ведь сам я там не печатаюсь». Надо сказать, что журнал «Нью-Йоркер» действительно является вершиной мирового журнального Олимпа, и он многократно печатал английские версии Сережиных рассказов.

Мне трудно сейчас отличить, что в какой мой визит было сказано.

Уже пошли первые публикации довлатовской прозы на родине, и я пытался объяснить какие-то тонкости нового

положения дел. Сережа говорил об этом спокойно, без ажитации, — казалось, что его более всего беспокоит порядок и точность этих публикаций (аккуратность в делах вплоть до педантизма была важной чертой его характера, и это была профессиональная черта, свойство «добрых нравов литературы», как говорила Ахматова).

Но конечно же, в этом спокойствии было удовлетворение — знак того, что передо мной находился человек с окончательно состоявшейся судьбой. Дело было сделано, проза была написана, давний разбег вывел бегуна на дистанцию — результаты оказались закономерны. Я думаю, что именно так надо было понимать чуть показное спокойствие Довлатова.

«Когда человек умирает, изменяются его портреты» — теперь это общеизвестная сентенция. Может быть, они не вовсе изменяются, а становятся правдивее, точнее.

Вглядываясь в духовный портрет Довлатова из нынешнего дня, я вижу прежде всего поразительную цельность его дарования, оно объединяло его вкусы и образ жизни, поставленные им перед собой литературные задачи и взгляд на общие ценности бытия. Короче говоря, главным в его жизни была эстетика. Стиль прозы и идеал жизни — именно идеал во всех проявлениях — должны были быть достойными, осмысленными, значительными, ни в коем случае не претенциозными.

Такой должна была быть фраза в рассказе, но и общий замысел всей творческой судьбы его был основан на том же фундаменте. Как он добивался этого? Исчерпывающе ответить невозможно. Это его тайна. Не буду на нее посягать, скажу лишь, что артистизм, конечно, одна из главных составляющих ее.

Что-то угадывается на примере тех записей, которые сперва он назвал «Соло на ундервуде», а в поздних изданиях использовал в названии еще и марку компьютера. Наивно полагать, что это традиционная писательская записная книжка. В подавляющем большинстве этим новеллам (пусть и стесненным до нескольких строчек) не предшествовало никакого реального прообраза, фразы или ситуации. Все вымышлено, но опирается на глубокую подпочву. Из жизни брался характер, или тон, или очерк какого-нибудь действия. Они обдумывались художественно — до корня, до первопричины. И уже оттуда дар и мастерство Довлатова выращивали нечто новое, не эмпирическое, а необходимое по творческому произволу — и именно поэтому художественно истинное.

Но когда сейчас читатель Довлатова полагает, что все описанное им — «правда», что герои этих записей пойманы, как

бабочка на булавку, он по-своему прав. Истинное искусство уничтожает свой материал и становится единственным образцом в духовной вселенной. Сужу об этом не абстрактно, а на примере тех довлатовских отрывков, где действует некто, поименованный как «Евгений Рейн».

Я думаю, что тот же принцип — только разветвленный и детализированный — лежит и в основе иных (особенно зрелых) вещей Довлатова.

Почти все его вещи автобиографичны, иногда почти до буквальности. Ему не нужна была общеписательская «кухня» в смысле составления нового «обеда» из наблюдаемых обломков человеческого быта и бытия. Его собственная жизнь была абсолютно самодостаточна, и в каком-то смысле она ограничивала, оберегала его от мелкого растекания вовне. Из эмпирического он делал эстетическое на одной ограниченной арене — дело, в чем-то схожее с искусством тореро.

Итак, биография была внешней рамой, а замысел, ограничение, тема — внутренней. Такая конструкция очень характерна для его книг, — возьмите, например, «Чемодан», «Компромисс», «Заповедник». Из отдельных рассказов, как бы тематически втиснутых в этот двойной концентрический круг, складывается ощущение пространства, объемлющее нечто гораздо большее, чем заявлено первоначально. Все эти книги, по сути дела, — романы новой довлатовской марки, где сюжет не стелется по поверхности, а соединяет, как рисунок броунова движения, бесконечное множество микроэпизодов, иногда состоящих даже из одной фразы.

У Сергея Довлатова была мания. Он делал подарки. С любой оказией, с двумя-тремя пересадками настигал вас пакет, коробка, футляр.

Когда я узнал о его смерти, через день после умноженной идиотством расстояния тоски и боли, я стал разыскивать их и выложил на стол: стетсоновская шляпа, набор блокнотов, бумажники, швейцарский перочинный нож с тридцатью инструментами, замысловатые бритвенные приборы, какие-то уникальные саморежущие ножницы. Жемчужиной коллекции явился прибор для ночного чтения в постели — укрепляющийся на голове обруч с фонарем и регулятором силы света.

«Что отдал — твое», — кажется, за тысячелетия не было сказано ничего значительнее, мудрее.

Это можно сказать и о довлатовском творчестве. До последнего слова оно становится достоянием читателя. Сережино искусство тоже искусство подарка.

Сергей Довлатов скончался в Нью-Йорке в конце августа 1990 года. Прошло три года. Трудно сейчас назвать более любимое, более популярное имя в современной русской прозе. Я узнаю его книги в метро, вижу их на иных, совсем не богатых полках, где стоит только самое необходимое.

В нашей литературе со всеми ее эверестами есть отныне особое довлатовское место, теперь уже навсегда отвоеванное, добытое поистине высокой предельной ценой.

Ради него так много прожил и так рано умер Сергей Довлатов.

Анатолий Найман[181]
Персонажи в поисках автора

Никто не знал, чего кто стоит. И в первую очередь, чего ты сам стоишь. Заклинанием звучали слова «гамбургский счет». Даже те, кто не читал книгу Шкловского, твердили к месту и не к месту: «По гамбургскому счету…» Как правило, по гамбургскому, то есть по независимому от лежащих вне искусства обстоятельств и мотивов, по чистому счету выходило, что ты — гений и что ближайшие твои друзья гениальны, потому что вы, ваша компания — это компания гениев. Минутами, правда, налетал ледяной ветерок отчаяния, зарождавшийся от сомнения: а вдруг твой талант не оценен не потому, что публике недоступна гениальность, а потому, что ты — бездарность? Другого выбора не было: гений или бездарность.

Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Была видимость литературы, музыки, живописи, которые появлялись в виде книг, симфоний, картин, выполнивших ряд условий, никак с искусством не связанных. Так что какая-то точка отсчета была: что признано, то не искусство. А за этим, естественно, следовал нелогичный вывод: что не признано, то и гениально. Так было в середине 50-х; в середине 80-х, несмотря на коррективы, вносимые опытом новой эмиграции, все еще было так.

Я старше Довлатова на шесть лет, для молодых это, как известно, огромная разница в возрасте. Кроме того, в кругу непечатающихся, непризнанных то есть, своя иерархия, свои авторитеты, и в первые годы нашего знакомства Довлатов вел себя со мной так, как если бы я был одним из них. Вероятно, так же, как авторитет, держал себя я. Помню, меня пригласили читать стихи в университет. Вечер вел профессор и литературный критик Наумов, и он несколько раз произнес мою фамилию через «е» — Нейман, и тогда я стал называть его Неумов, и сидевший на задней скамье студент Довлатов, и до и после того жалимый перевиранием собственной фамилии, радостно фыркал и лыбился. Но настоящее знакомство началось, если не ошибаюсь, с переписки: он тогда попал в армию, общие приятели передали, что он нуждается в поддержке, я написал что-то, что казалось мне тогда ободрительным, он ответил, сюжетик отношений завязался. Когда он вернулся, нам уже было с чего начать, хотя за границы приятельства мы никогда не вышли: было взаимное расположение, но не близость.

Тогда он был женат на красавице — настоящей, а не из тех, которых большее или меньшее число знакомых называют так по негласной договоренности. Когда они шли по Невскому, оглядывались все, даже старики и старухи с затрудненными двигательными функциями. Он производил впечатление человека, которому доступно все, чего он ни пожелает: любая дружба, любая ответная влюбленность, свобода, деньги, элегантный костюм, беспредельная сила, любой талант. В действительности, однако, дела обстояли не так роскошно. Денег практически не было, влюблялись не только в него, друзьями становились, пусть на несколько дней, люди, которых он не знал по имени. Даже сила оказывалась достаточной лишь для перемещения в пространстве одного его могучего тела, и когда он помогал переезжать на новую квартиру моему брату, в ход пошли валидол и система длительных перекуров.

И талант. Он был наглядно талантлив, бесспорно талантлив, талантливо талантлив. Из всех своих возможностей проявить талант он выбрал литературу. Потому что это занятие ему в общем нравилось, потому что он литературу обожал, и еще потому, что талантливый человек, не привязавший себя ни к одному из предлагаемых ему стойл, считается «погубившим свой талант». Он был много одаренней писателя Довлатова, хотя он мог предъявить свои достижения «по гамбургскому счету» и в литературе. Подозреваю, что писательство было для него еще и средством отгородиться от порядков и людей, так или иначе терзающих каждого. Он был ранимый человек и своими книгами защищался, как ширмой. В конце концов всякая ширма берет на себя функции стены, как всякая маска — лица. Он ее украшению и укреплению отдавал почти все силы, публика таким его и воспринимала, таким и судила. Но жить ему было настолько же неуютно, как тем из нас, кто пользуется любой возможностью эту неуютность подчеркнуть и свою позицию отчужденности, то есть другую ширму, продемонстрировать.

Главный его талант был — гармоничность натуры. Каждый живой человек делает что-то привлекательное, что-то, что принято называть хорошим, — и что-то безусловно худое и дрянное. Свое худое и дрянное Довлатов не списывал за счет худости и дрянности мира, не сравнивал, как множество людей, в выгодном для себя свете с худостью и дрянностью других, а признавал, как-то весело сокрушался — и не извинял себя. Не называл это борьбой добра со злом или, еще более броско, борьбой плохого с худшим, а называл это своей жизнью. Его числитель, то есть представление о себе, был почти равен знаменателю, то есть его способностям. В этой цельности тоже

была гармония. В молодости он повторял с восторгом и надеждой: «Если бы я мог написать хоть один рассказ, как Куприн!» В другой раз он говорил о своем сверстнике, поэте, моем тогдашнем друге: «Мне позвонил Н. Представляете себе? Это как если бы вам позвонил Николай Угодник». Или: «Вы не знаете всех степеней низости ленинградской литературы. Вообразите, есть люди, которые, как я уважаю вас, уважают меня».

В этом «я уважаю вас», искренне обращенном ко многим знакомым и незнакомым, была основа и мера его самоуважения. Он выбрал быть своим среди уважаемых, а не лучшим среди неуважаемых. Из-за отсутствия рынка, о котором я упоминал в начале, были перевернуты не только цены, а и оценки. Хорошего журналиста начинали величать беллетристом, хорошего беллетриста — прозаиком. Мы разговаривали редко в последние годы, но в те, когда разговаривали, и судя по последним письмам и интервью, Довлатов предпочитал называться журналистом, а не литератором, литератором, а не писателем.

В Ленинграде мы жили в пяти минутах ходьбы друг от друга, иногда сговаривались по телефону и гуляли. Но чаще наталкивались друг на друга на Загородном, на Разъезжей или на Рубинштейна, на которую он выходил в шлепанцах, чтобы купить хлеб или поднять в квартиру коляску с грудной дочкой. Последний раз мы гуляли как следует уже после моего переезда в Москву. Я приехал на несколько дней в Ленинград, мы встретились на углу Невского и Литейного, дошли до Адмиралтейства, перешли по мостам Неву, Невку, на Большом проспекте Петроградской зашли в комиссионный магазин, погреться и прицениться. Хорошенькая продавщица, не спуская с Довлатова нежных глаз, проговорила почти умоляюще: «Есть пиджак на вас». Он примерил, отказался, и тогда она, как голубка, прогулила: «Вас зовут Сергей, да?» Когда мы приблизились к дому моих родителей на Карла Маркса, он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы прочли одну мою вещь, там есть про вас, а я собираюсь отправить это за границу…» — и достал из висевшей через плечо сумки картонную папку. Это было «Соло на ундервуде». Назавтра мы увиделись ненадолго, я вернул рукопись и сказал, что такое-то, такое-то и такое-то место необходимо изъять, потому что там есть слова, хотя и действительно мною произнесенные, но в частной беседе, а будучи опубликованы, они обидят живых людей. Он как-то дернул глазами вбок и ответил: «Конечно. Непременно… Хотя, вообще говоря, мне на днях сказали, что книга на Западе уже вышла».

Когда человек уезжает так далеко и так навсегда, как он, его смерть воспринимается не вполне реально. Я не смог пережить

его смерть болезненно и остро: тот давний отъезд присвоил часть боли себе, долгая разлука притупила остроту. Я, в самом деле, один из персонажей этой и не только этой его книги. И как персонажу мне говорить об авторе неуместно. И неуютно. И тем более неуместно, что он теперь не может ни принять, ни опровергнуть того, что я говорю. И тем более неуютно, что без него вообще стало неуютнее, чем когда он был где-то за горизонтом, где-то в Нью-Йорке, где-то в эфире.

Сергей Вольф [182]
Довлатову

Ай лайк джэзззз! Да и какой русский не любит быстрой езды?!

И как говорит Мастер Утиных Стад — Сережа Курехин, — «даешь налет легкого идиотизма». Простая, чуточку лирическая ситуация вдруг превращается в больную. Еще совсем недавно он подарил Андрюхе Арьеву пластинку, а тот привез ее из Штатов в Питер, а я переписал на кассету. Великий ансамбль с выдающимися музыкантами: Довлатян любил джаз. «Модерн Джаз квартет». На пластинке (как всегда почти в этом «случае») есть великая же хрестоматийная тема (и композиция) — «Джанго». Тема трагическая. В память (извиняюсь за разжевывание) Джанго Райнхарта, беспалого цыгана-гитариста, джазмена, серого человека, уснувшего перед уникальной возможностью — сыграть в концерте с Великим Дюком. А Джанго — подзадержался в отеле. Вот так…

Сережа любил, вероятно, эту пластинку, и так я ее, переписанную, и слушал, как некий изящный случайный привет. Потом — резко и навсегда — по-другому. Это, оказывается, был иной привет.

О том, *как* он, Сережа, писал (и в России, и в Штатах), говорить сейчас и рано, и поздно. Это наверняка важно, как он писал, но для меня не в эти дни, месяцы. Существуют, правда, минимум две точки зрения на то, что же дороже — жизнь или литература. Если я и ошибаюсь, не зная своего чертова подсознания, за которое потому и не отвечаю, я считаю, что жизнь дороже. По крайней мере — чужая. Для меня. Отсюда эти наши распрекрасные (сейчас вовсе уж спровоцированные) воспоминания, как, мол, все это начиналось. Эта литература. Эта жизнь. Эта собачья жизнь в литературе. Начиналась-то как? Да никак.

Царил еще в Питере, не зная заранее своей гибели от руки «Садко», великий «Восточный» ресторан. На Бродского. Я любил заходить туда каждый день, за вшивые 2 руб. 50 коп. выпить бутылку сухого с сыром, ну а вечером — чанахи, ничем не запивая, так как это следует делать наоборот. Впрочем, возможна аритмия.

Однажды подходит. Высокий, красивый, якобы застенчивый (да нет, застенчивый!) — огромный, право, на фоне портьеры между залом и, ну как его… не залом…

То ли поклонился, то ли улыбнулся, то ли скомбинировал. Мне пятнадцать, ему — десять. А я покурить вышел, за столиком, где я сидел, я, видите ли, стеснялся. А то накурено, и скрипача Степу, росточком чуть ниже холодильника (куда его однажды и засунули), не видно. То ли Сережа в университете тогда учился, то ли учился писать, — не знаю. То ли знакомы были в быту, то ли нет. Но вот так, о литературе применительно к себе — нет.

— Я, — говорит, — извините, простите, пишу, пытаюсь писать прозу, а вы…

Запнулся. Он-то — никто. А я — мэтр. Уже написал ранние рассказы. В Питере, по углам, из-за моей прозы — переполох. Джойса, говорят, узнают по шороху крыльев. Кому какое дело, что я тогда только фамилию его, Джойса, и знал.

— Я…. — говорит.

— Да, — говорю. — Так что же «я»?

— А вы — *уже*. Не прочли бы вы мои рассказы, так сказать, опусы?

По причинам не литературного, но пресловутого внутреннего литературного свойства, я, кажется, ответил — нет. Да что там! — просто «нет».

Отсюда, позже, окрепнув уже в некоторой наиболее общей технике свободного прозаического письма (это еще до дружбы с Воннегутом… или потом?), Сережа и родил мифчик, что-де я сказал ему «нет», так как на столе «Восточного» меня ждала рюмка водки и я торопился. Скромен был Сережа необыкновенно, осудил меня лишь за торопливость, а вовсе не за то, что я, наверняка польщенный вниманием юнца, его к этой моей рюмке все-таки не пригласил. Скромен и вариативен необычайно. Позже, когда откуда-то сверху, с малых небес, ему велено было называть иногда меня «старый дурак», он часто ловко уходил от общения, извиняясь по телефону, что — нет-нет-нет! — он занят, приглашен в гости к «приличным пожилым людям».

Он был действительно несколько великоват. Приятно пузоват (это в России. В Штатах — не знаю, там я не был). «Ты же знаешь, Серенечка, догадываешься, что я физически очень сильный человек, — говорил он три раза на день. — Меня обязательно приглашают двигать наполненные шкафы или чаще — на похоронах — нести гроб».

Однажды, как известно, он пер с лучшей почты Питера несколько странную (ящик, 80 кг) посылку с предполагаемыми джинсами, джерси, обувью и прочим из Бельгии. Там оказался после вскрытия нестоящий тогда продукт — сахар: Сережин батя, эстрадный человек с ощутимым бантом на груди, неосторожно послал пятиюродному брату в Бельгию старинную головку сахара

(синенькую, на буфета партобкома), а брат-бельгиец, миляга, решил сдуру, что в России плохо с сахаром.

Что они там, в Бельгии, все такие ясновидящие, а?!

Но больше, нежели вес сахара, сильный Довлатов любил держать на вытянутых руках — стул… или, присев, в одной руке, или — без рук. Он был почти неограниченно обаятелен. За это и за его силу и мощь часто его метелили на улице хорьки-комплексанты маленького роста.

Плакал ли он, оставаясь вдвоем с девушкой, приятелем, женой? Мне он, разумеется, такое не говорил, а писал ли в остраненной форме, но именно *о себе*? — не знаю, не думаю, иная природа дарования, мне кажется. Да нет, писал, наверное. Или я чего-то. — увы! — не читал.

Он ходил по Невскому проспекту в вольных брюках типа штаны, тапочках и «тенниске» (зеленой, вроде бы). В или без пиджака, старого, кожаного. С девушкой рука об руку, уже тогда воспринимаемой мною как американка. Не знаю, любил ли он ее (а она нет), она его (а он ее — нет), нет — друг друга или друг друга — да, но они любили ходить, взявшись за руки. При соотношении допустимой любви одного из них к другому 0,25 к 0,75 они составляли ощутимую *единицу*. Даже невольно для жильцов Невского и прочих проспектов, улиц и закоулочков это не было эротическим эпатажем. Но, похоже, никто и не «возбуждался», глядя на них, скорее — завидовал. Но позже и больше, чем та девушка-женщина, Эй Пи, мне нравилась его жена Лена. Я до сих пор помню и люблю ее характер.

А этот эпизод (не миф) не знает почти никто. Лена, скорее всего, его забыла. Эпизод в Пушкинских Горах, где Сережа был экскурсоводом (супертрио — Арьев, Довлатов, Герасимов). Благодаря покойному Дантесу и посреднику, мистеру Гейченко, Сережа поехал в Питер за зарплатой.

— Это не опасно? — спросил я у Лены. — Деньги, то да се…

— Ну, — сказала она, засмеявшись. — Это всегда опасно.

— Ведь он… — сказал я и закончил фразу, и это тогда (рядом — дочь Катя) был паскудный промах, цитировать который теперь стыдно. Позже мы шли к собственно Пушкинским Горам какими-то мягко горбатыми лугами. Сережа не возвращался на работу уже третий день. Перед нами, по ходу, был большой холмик, холм травы, и в траве, из травы, выпирал длинный горб немалого камня, снаружи по длине слегка согнутого.

— Смотри, Катя, — нежно хохотнув, сказала Лена дочке. — Это спит наш папа.

Конечно, все было истинно *тогда,* в ту минуту. Весело. И нечего морочить себе голову *сейчас, теперь.* Но сейчас это, как и в

случае с пластинкой «МДК», «считывается» по-другому.

Я не посвятил ему ни одного стихотворения. Глупо.

Я писал тогда трепливые стихи, а позже начало его «величия» (в отрыве меня рядом с ним) мешало посвящению. Я иногда думал, довольно вяло, что вот можно приехать в Штаты, или даже только в Нью-Йорк, более горячо — слегка побалдеть, клюкнуть с ним, — при чем тут посвящение? Посвящать же теперь — пока слишком значительно, да и тот свой облик, какой он увез с собой, он оставил и мне. Ведь сумел он сделаться оформившимся писателем, во многом, а то и целиком, оставаясь для меня «Серегой» и как бы вне его литературы, шутником, уже в России больным клаустрофобией во всех смыслах, хотя тогда — не глобальной, хохмачом не до конца «понятным», если он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры, например банный «Апдайк'а», который, кажется, принадлежит Эдику Копеляну. Ай, да что говорить!

Это ощущается не ново и не умно, повторно, но Нью-Йорк, где я никогда не был, обеднел для меня с уходом Сережи. И никакая заземленная тяжесть встречи с его отсутствием не восполнит тот треп, которого я втайне явно ожидал.

Сейчас идет снег, дождь в Комарове, мелкий бисер с небес, поет Леннон из моего кассетника, и, ей-богу, тяжело писать здесь об этом, и никак не хочется влезать в монументальность крупного Довлатова, в монументальность того, что с ним случилось в жизни и в смерти.

Огромный Сережа и его много повидавшая фоксиха временно парят в небесах не как герои или персонажи Шагала, но как уличные шлепанцы, брошенные когда-то в колющий идеологический ядерный вихрь.

Борис Рохлин [183]
Скажи им там всем…

Однажды Сергей сказал фразу, которая — вероятно, в силу некоторой непонятности для меня — сохранилась в памяти:

«Я вышел из «Голубого отеля» Стивена Крейна».

Почему Стивен Крейн, а не Хемингуэй, например, который и сейчас кажется мне автором, наиболее ему близким? Хотя рассказ, точнее, его начало, имеет прямое отношение к Сергею Довлатову, если не как к рассказчику, автору, прозаику, то как к человеку. «Голубой отель» начинается фразой:

«Отель „Палас“ в форте Ромпер был светло-голубой окраски, точь-в-точь как ноги у голубой цапли, которые выдают ее всюду, где бы она ни пряталась».

Сергей в жизни был, пожалуй, именно такой «голубой цаплей», спрятаться ему было невозможно и негде, впрочем, я думаю, он и не стремился к этому, а посему и доставалось ему больше, чем другим.

Изгнание из университета, служба в охране лагерей для уголовников могли бы сломать любого. У него же это обернулось прекрасной прозой. Но ощущение выброшенности из жизни, своего «отставания», «аутсайдерства» было, насколько я знаю, в те времена ему присуще.

Однажды, после возвращения Сергея в Ленинград, ко мне зашел приятель и сообщил, что Довлатов сидит дома, никуда не выходит и всех ненавидит. Последнее больше говорит о нашем общем приятеле, чем о Сергее. На что на что, а на ненависть он не был способен. Правда, было, пожалуй, и затворничество, и ощущение безвозвратно утраченного времени. Но здесь на помощь пришло творчество.

Не знаю, как в эмиграции, но тогда он писал очень много, по два-три рассказа в день, словно наверстывая упущенное не по своей воле. Казалось, это был бег на длинную, почти бесконечную дистанцию, где надо было во что бы то ни стало догнать и обогнать всех тех, кто, как ему казалось, ушел вперед.

И, в общем, так и получилось — дистанция длиной в жизнь, увы, слишком короткая, если складывать ее из дней и лет, но заполненная письмом, русским алфавитом… Как говорил сам Сергей: «Какое счастье, я знаю русский алфавит». Что ж, для художника судьба прекрасная — двенадцать изданных при жизни книг, успех у читателей, признание критики, — увы, американских читателей и американской критики… До издания

сборника на родине Сергей, к сожалению, не дожил.

Во второй половине шестидесятых, в семидесятые годы он, действительно, много писал. Как-то он сказал: «Я написал уже три тысячи страниц». Но, как ни странно при такой работоспособности, внешне Сергей жил скорее жизнью праздного гуляки. Труд был незаметен, был виден только результат: написанные рассказы.

Не знаю определенно, но навряд ли это был сознательный метод, во всяком случае, мне казалось, что рассказы пишутся, именно пишутся, в два приема. Вначале это было устное повествование, излагаемое за бутылкой водки, излагаемое с блеском, легкостью и остроумием. Что здесь можно сказать? Это было настолько талантливо, я бы сказал, расточительно, избыточно талантливо, что на этом все должно было бы заканчиваться.

Представлялось ненужным, да и просто невозможным переносить это на бумагу, все будет потеряно: точность каждого слова, детали, завершенность всего устного текста, и, пожалуй, главное — слова, перенесенные на бумагу, превратятся из живых звуков в мертвые буквы, правильно расставленные, и только.

Это ощущение или, точнее, боязнь была скорее всего связана с обаянием Довлатова-рассказчика. Ведь нельзя перенести на бумагу с помощью пишущей машинки жест, улыбку, гримасу или опрокидываемую стопку водки.

Но на следующий день происходило другое чудо. Вечером за тем же столом — или уже за другим — Сергей читал рассказ, а то и два-три рассказа, написанные непонятно когда, — и они были столь же блистательно остроумны, столь же завершенны, как их устные прототипы.

Только в нашей странной, перевернутой, поставленной на голову жизни эти рассказы могли остаться ненапечатанными, обречены были на почетное существование в столе писателя.

Мне кажется, что как художнику Довлатову в высшей степени свойственно чувство детали, подробности. Думаю, это его врожденное качество, хотя и знакомство с американцами, и любовь к ним не прошли даром.

Однажды при написании рассказа (названия его я не помню, но речь в нем шла об американском матросе, «арестованном» двумя блондинками в клубе моряков и влекомом ими по Новой Голландии) он увидел, что ему недостает деталей этого района старого Петербурга, и решил позаимствовать подробности в моем рассказе, который так и назывался: «Новая Голландия», — и был просто возмущен, не найдя там ничего, что говорило бы о том, что место действия и вправду Новая Голландия, а не, как он

выразился, к примеру, Новая Каледония.

Он пользовался словами не для создания некоего неопределенного ощущения, а для передачи плотности, вещности того, о чем рассказывается.

Как человеку Довлатову была свойственна острая рефлексия и одновременно боязнь обнаружить ее. Он удивительно болезненно реагировал на любой отзыв приятелей о написанном им, а отзывы частенько стремились быть не менее «художественными», чем сама проза. Скажем, поди догадайся, что значит такой отзыв:

«Гениальное неудачное произведение Довлатова» (о повести «Стена»).

Так какое же все-таки написал ты произведение: гениальное или черт-те знает что?

Он часто возвращался к старым рассказам и переделывал их. Одно это говорит о том, насколько серьезно Сергей относился к своей литературной работе, а внешне это часто казалось веселым балаганом на потребу публике, шутовством и балагурством. Он доказал, что не обязательно творить с серьезной физиономией, в молитвенной позе, показывая всем, что приносишь себя в жертву творчеству, хотя, возможно, его писательство и было жертвоприношением, незримым для окружающих.

Вообще Довлатов был совершенно чужд пафоса и восторженности. Он воспринимал и принимал людей — да и самого себя — такими, как они есть, не ожидая и не требуя от них подвигов, на которые — он это прекрасно сознавал — способен не всякий.

Реакция на события августа 1968 года у каждого, видимо, была своя. Наша реакция, будучи отрицательной, была, конечно, неадекватна событию, но она была такая, на какую мы были способны.

Наша реакция дала Сергею повод горько пошутить.

«Ну что мы за люди, — сказал он, — жена ушла — пьем, друг предал — пьем, танки в Чехословакию вошли — пьем».

Что правда, то правда. Мы, действительно, в тот день как-то одичало и безнадежно пили.

Сергей Довлатов был участником прекрасного сборника ленинградских прозаиков «Горожане», так никогда и не вышедшего в свет. В Таллинне, работая журналистом, он подготовил к печати сборник своих рассказов, — я помню, как вернувшийся из Таллинна общий наш приятель передал Сережину фразу, мне кажется, очень довлатовскую фразу:

«Скажи им там всем, что у меня книжка выходит…»

Но набор готового сборника, как известно, был рассыпан, и

книжка не вышла. Сергей вернулся в Ленинград. А через некоторое время уехал в Америку и стал там русским американским писателем, «русским американцем».

Свою попытку сказать несколько слов о Сергее Довлатове я начал с фразы самого Сергея о том, что он «вышел из «Голубого отеля» Стивена Крейна». Мне вспомнилась еще одна, впрочем, касающаяся не столько его, сколько меня.

Однажды мы случайно встретились на Невском, и уже вместе пустились на поиски не то персонажей, не то автора, не то водки. Вполне возможно, что, двигаясь вместе, мы перемещались в пространстве с разными целями. Относительно меня почти со стопроцентной уверенностью должно сказать, что моей целью все-таки была выпивка. Если не «Коленвал», «Белое Крепкое», «Ратевани» или «Агдам», то, на худой конец, пиво. Сергей, не исключая и такой возможности, явно надеялся на большее, скажем, на приключение, не столько лирического характера, хотя не отбрасываю полностью и такой вариант развития событий, сколько на приключение с сюжетом, которое завтра, вероятно, стало бы рассказом.

Мы перебрасывались незначащими фразами, скорее, междометьями. Каждый был занят собой и не скрывал этого. Вдруг совершенно неожиданно он задал мне вопрос:

«Чего ты не пишешь?»

Я был несколько ошарашен внезапностью, немотивированностью вопроса, да и отчасти некоторой его некорректностью. Что здесь можно сказать? Я что-то промямлил, вроде того, что не пишется, или такую же глупость.

Он помолчал, подумал, посмотрел на меня и неожиданно брякнул:

«Все равно не живешь, так пиши…»

Пожалуй, можно сказать, что если Сергей вышел из «Голубого отеля», то я в каком-то смысле из этой фразы.

Если у меня иногда и выписывается нечто, похожее на рассказец, то первичным толчком к его написанию всегда служит воспоминание об этой довлатовской фразе. Она бессознательно, вдруг, выныривает на поверхность сознания.

Я говорю себе:

«Чего ты не пишешь? Все равно не живешь, так пиши».

И начинаю писать. Иногда даже что-то получается, в пределах, как говорится, возможного.

Я написал об этом вот почему. Любой другой человек, сказавший мне нечто подобное, стал бы навсегда если не врагом, — слишком сильно сказано, — то человеком,

вызывающим неприязнь, или, точнее, какой-то мутный осадок неприязни, быть может, даже злобы. Но эти слова были сказаны не кем-то другим, а именно Сергеем, и поэтому, вспоминаясь, всегда непонятным образом улучшают мое настроение. Странно, но становится весело… более того, становится смешно. Возможно, это веселье отчаяния, пир наедине с собой во время персональной чумы. Почему нет? Но, как говорится, главное не в том. Действительно, отчего не писать, если все равно не живешь? Положение столь дикое и комическое одновременно, что ничего не остается другого, как рискнуть и на письмо. В таком состоянии ничего не страшно, никакой образец, никакой мэтр, никакой критик. Они перестают тебя связывать, пугать.

Но и это не то, во всяком случае, не главное. Главное в другом, трудно передаваемом, скорее всего, и не могущем быть переданным. Или мне, вне всякого сомнения, недоступном. Хотя, как я думаю, секрет моей реакции, — по крайней мере, на поверхности, — прост: обаяние Довлатова, Довлатова-человека, поведенческое обаяние… Понимаю, звучит чудовищно, но точно.

Удивительна его несвязанность, свобода при всех, видимо, достаточно многочисленных комплексах. Он как-то сказал мне, имея в виду тогдашних своих приятелей:

«Было время, когда я думал, что эти люди даже здороваться никогда со мной не будут».

До сих пор я чувствую какую-то боль в этих словах. Эти люди стали его приятелями, друзьями и даже почитателями, по меньшей мере, постфактум, посмертно.

Однако именно это смешение «неуверенности» и — я бы сказал — «дерзости», наподобие «дерзости» героя известного анекдота, выпавшего с какого-то этажа небоскреба, — «Как дела?» — спросили его, когда он пролетал сто первый этаж. «Пока все идет хорошо», — ответил он, — позволяло Сергею неосознанно, естественно избегать хамства, всего того, что, действительно, могло задеть, обидеть, оскорбить.

С другой стороны, его склонность к неврастении разрушалась именно этим «бретерским» отношением к самым малопочтенным и печальным обстоятельствам и позволяла преодолевать их, преобразуя или даже преображая — почему нет? — всю «дурноту» и «тошноту» жизни в маленькие печальные и смешные шедевры.

Пока жив, все идет хорошо, вопреки тому, что временами и не совсем живешь…

Это редчайший дар, — вероятно, души, — когда слова, по природе своей обязанные производить отрицательное воздействие, должные вызвать у человека обиду, раздражение или неприязнь, наоборот, к его собственному удивлению, действуют

совершенно обратным образом.

Говорят, стиль — это человек. Чтобы был стиль, должен быть человек. Довлатов им был.

Когда мы поступили в университет, нас еще до начала занятий послали в колхоз. Там почему-то была очень популярна глупая присказка:

«Только шведы и албанцы игнорировали танцы».

Сергей не игнорировал «танец жизни» даже тогда, когда он больше напоминал «пляску смерти».

Но одновременно в Довлатове была какая-то боль. В нем как-то естественно уживалась склонность к «танцу жизни» с болью. Возможно, «боль» вообще одна из составляющих дара, во всяком случае, дара слова. Если нет боли, это уже не художник, это — начальник…

Часто повторяемая Сергеем шутка:

«Обидеть Довлатова легко, понять его трудно».

Весьма незатейливый юмор, но если на мгновение остановиться и задуматься, то начинаешь понимать, что в нем много горечи и, похоже, правды. Наши, свои — это для стаи. Человек всегда один. Художник — один вдвойне. Это не похвала, это констатация.

Не случайно именно Довлатов, говоря о лагере, сказал, что «ад не вокруг нас, ад в нас самих». Добавлю: у каждого свой.

Но Сергей как раз обладал талантом превращать ад если не в рай, то по меньшей мере в трагикомедию. В его рассказах, даже при самых мрачных темах и сюжетах, всегда есть свет, свободное, открытое пространство, остается возможность дышать.

И даже его шутки, вроде таких, как «железный поток сознания» или «комплекс полноценности», отнюдь не свидетельствуют о монолитности. «Гетеанство» было ему явно чуждо.

Однажды Довлатов, как всегда очень смешно, рассказывал о своем знакомстве с Шевцовым, автором романа «Тля» (на самом деле это оказался другой Шевцов, журналист).

На каком-то литературном вечере отец подвел его к Шевцову и представил:

«Мой сын — пародист».

По-моему, Сергей был несколько обижен подобной рекомендацией. Но я думаю, что это определение совершенно непреднамеренно для его автора оказалось очень точным. И вот в каком смысле.

Жизнь, да и сам человек — не более чем пародия на изначальный план, идеальный образец, так сказать, первообраз, спущенный сверху.

Сергею Довлатову удалось в своих рассказах передать именно это искажение, извращение образца, реально существующее влечение к отчуждению от первообраза. Довлатов не сочиняет «пародию», она у него перед глазами. Он просто делает зарисовку с натуры. Виноват ли автор, если натура оказывается пародией на саму себя? Секрет довлатовского обаяния, обаяния мастера, в том, что он замечает это раньше других.

Любое слово сомнительно. Слово об умершем всегда неправда, результат обратного воздействия, воздействия смерти. Она накладывает свой отпечаток как на лицо, лик умершего, так и на рожу или харю вспоминающего.

Слово пасует перед фактом смерти. Смерть, возможно, преодолима, но сам факт — число, месяц, год, имя — это уже неизменно. Отсюда возможные неточности или несоответствия.

Ко всему сказанному мне хотелось бы добавить одну маленькую сценку. Двигаясь по Невскому, мы встретили у «Баррикады» Иосифа Бродского. Я не был с ним знаком. Довлатов меня познакомил.

«Мой приятель Боря Рохлин. Пишет рассказы».

Но Бродскому было в тот момент не только не до приятелей, но и не до самого Довлатова. Он пребывал в несколько экстатическом состоянии.

Оказалось, что в этот день, буквально вот-вот, у него родился сын. Бродский, не обращая никакого внимания на нас, практически не видя нас, уселся вдруг на ящик, валявшийся у кинотеатра, задрал голову и уставился в небо. Поток людей, на мгновение словно споткнувшись, затем плавно, неторопливо стал обтекать с обеих сторон это неожиданное препятствие.

Я думаю, это и был его звездный час. Жаркий летний день, высокое теплое небо с редкими облаками, легкими, почти прозрачными… Так мы и расстались с ним, сидящим на этом ящике, обращенным лицом к небу, двинувшись в поисках неизвестного, ожидавшего нас.

Как принято говорить, никто не знал своего будущего.

Один умер. Другой стал лауреатом. Скучная история.

Увы, невозможно оставить Бродского вечно сидящим на винном ящике с задранной головой, а Довлатова вечно идущим по Невскому проспекту…

Игорь Смирнов-Охтин [184]
Сергей Довлатов — петербуржец

Когда летом 1978 года в аэропорту «Пулково» он подряд всех обнимал, успевая каждому из нас сказать что-то, могущее принадлежать только «каждому из нас», мы знали, что больше не увидим его. Знали, что, конечно, письма своими пунктирами нас свяжут — но это ненадолго; связь прервется, и еще некоторое время будем слышать его в письмах самым близким ему здесь людям, и начнем ходить к ним в гости, читать его письма, но и это ненадолго, потому что все связи растают, размоются. И разделит нас бездна…

И уже тогда — летом семьдесят восьмого — я решил писать о нем воспоминания. Решить-то — решил, но писать не начал. Тормозила, вероятно, недопустимость подобной мемуаристики, когда, включив «Спидолу», можно услышать его голос, его — живого, здравствующего, лапидарно-ясного, естественного…

Ну вот, а теперь настало время…

Начну с одной рассказанной им чудесной истории: я ее не встречал в записи.

Довлатов получил от детского журнала «Костер» командировку в город Элисту — столицу калмыков. Командировочное задание имело этнографический характер — требовалось разыскать и описать для журнала детские национальные игры. Надо сказать, работая в журналистике, Сергей Донатович беллетриста в себе сильно не угнетал, полагая, что славная история ценнее постного факта. И уж конечно, ему и в голову не могло прийти отыскивать несуществующее средневековье, в то время когда все увлекательное можно придумать в поездке, по пути к калмыкам. Так он и поступил.

Но все же одно дело, непосредственно с командировкой связанное, для Элисты осталось — необходимость отметить командировочное удостоверение. Журнал «Костер» принадлежал комсомолу, а комсомол, как известно, со всеми потрохами принадлежал партии. Короче, командировку следовало отметить в Элистинском обкоме. Там Довлатову сказали, что ему нужен товарищ Нармансангов, но товарища Нармансангова нет, он должен скоро прийти. И только сказали, как идет товарищ Нармансангов — небольшого роста скромный человек. Великого роста артистичный Сережа Довлатов при виде товарища Нармансангова радостно и вальяжно раскинул руки и сказал: «О!

На ловца и зверь бежит!..» Товарищ Нармансангов вздрогнул, остановился, побледнел и спросил: «Это кто «звЭр бежит»? Это я — звЭр бежит?» Сергей понял, что малость оплошал, и принялся выправлять положение, объясняя, что есть такая русская поговорка. Когда кого-то ждешь и тот вдруг появляется, говорят: на ловца и зверь бежит.

«Это я — звЭр бежит?!» — не унимался товарищ Нармансангов.

«Да поймите, — объяснял Довлатов, — когда даже друга ждешь и друг вдруг появляется — говорят: на ловца и зверь бежит».

«Почему не сказал «друг»? — негодовал товарищ Нармансангов. — Почему сказал: звЭр бежит?! Пойдем со мной!»

И повел Довлатова в кабинет первого секретаря обкома. Вошли в огромный зал, в конце которого за большим столом сидел крошечный человек. Товарищ Нармансангов, обогнув стол, склонился над ухом первого секретаря, и Довлатов услышал, как тот шепчет в ухо первого секретаря: «Крл-срл-брл-звЭр бежит!.. Брл-срл-крл-звЭр бежит!..»

И тогда первый секретарь Элистинского обкома говорит Довлатову:

«Почему вы моему ближайшему помощнику сказали: «ЗвЭр бежит»?»

Довлатов заново начал: что — нет обиды, что — поговорка!.. — но все яснее становилось при виде партийного чиновника, что доводы и объяснения в эту голову проникнуть не могут, и тогда он… плюнул и пошел, отметил командировку в другом месте.

Потом Довлатов, конечно, выяснил, что нет у калмыков большей обиды, чем сказать человеку: зверь. Поди знай!

А в Элисте случилось с ним еще одно приключение… Его поселили в гостиничный номер, где лежал покойник — тихий покойник, под простыней. Правда, на отдельной кровати.

— Это что такое?! — сказал Довлатов администратору.

— Человек умер, — спокойно сказал администратор. — Должны за ним приехать, забрать.

— Ладно, — сказал Довлатов.

Покойник не приванивал, и он стал жить с ним по соседству.

Довлатов уверял, что в его жизни это было самое спокойное, а потому и самое приятное соседство.

Неудобств «наружной» жизни Сергей Донатович как будто не замечал. В семье жила легенда о том, как однажды Нора

Сергеевна — его мама, — одевая маленького Сережу, по рассеянности пропустила обе его ножки в одну штанину. Штанина была широкая, короткая, и все же мальчик испытывал большое затруднение при ходьбе, но за трехчасовую прогулку ни разу не пожаловался. Родители удивлялись.

Уже будучи взрослым, Сергей Довлатов однажды отбегал по городу день, не обратив внимания на здоровенный гвоздь в башмаке, который основательно продырявил ему пятку.

И вот я его обидел.

Хотя обижать не стоило.

Пригласил на вечеринку. Публика — технари, мышление — клишированное. Довлатов — прима застолья, и все ему в рот смотрят. Искусство подчинять людское внимание, которым Довлатов прекрасно владел, основано на жестких канонах и не прощает малейшего сбоя. А тут получилось, что качество зáкуси поощряло выпивку. Сергей расслабился, упустил поводок, и разговор без его присмотра сбился. Сергей Донатович попытался восстановить позиции. Пошло еще хуже. И в связи с этим он стал пить еще больше. В благородном порыве хоть малость выправить положение он назвал собравшихся «бухгалтерами». Что из всего затем сказанного оказалось не самым обидным.

Через несколько дней на занятии литературного объединения я выказывал ему свое неудовольствие тем, что избегал всяческого общения и старался даже на него не глядеть. И тогда, в перерыве, он подошел ко мне и публично — то есть многие слышали — принес свои извинения. А произошло это так… Я полулежал на каком-то канцелярском диване, а эта громадина встала передо мной и сказала: «Игорь, я хочу принести вам и вашим друзьям свои извинения! Я понимаю, что вел себя безобразно».

И тут я сказал: «Бросьте переживать, Сережа! Вы были такой незаметный…»

Лицо Сергея Донатовича исказилось, и хотя он попытался сохранить спокойствие, но с оторопью не справился и в растерянности ретировался.

Я поступил, конечно, дурно — тому подтверждение, что память моя этот эпизод сохранила. А вот Довлатов, я думаю, о нем вскоре и забыл. Если только не включил его в байку или в рассказ.

Ему было свойственно откровенно рассказывать о своих безобразиях, давая им вполне жесткую оценку. Он старался ничего не скрывать, все называть своим именем. Не хвастался, но особенно и не печалился. То есть как бы — что есть, то есть. Мужественно и мудро сознавал собственное несовершенство. И

это имело у него идейный фундамент.

Сергей Донатович, видите ли, считал, что художник, творя свою вторую художественную реальность, в подсознании освобождает себя от законов первой реальности, которые оказываются для него как бы неписаными, — и тому в подтверждение любил приводить компрометирующие факты из жизни корифеев — служителей муз. Спотыкался, правда, на Антоне Павловиче Чехове.

В молодые годы писатель Владимир Марамзин настоятельно советовал мне не бросать инженерную деятельность, которая меня кормила, а писать по вечерам… «Иначе, — говорил он, — тебе все равно придется зарабатывать на жизнь, но уже тогда какой-нибудь литературной поденщиной, а это для писателя плохо, потому что и «литература» и «литературная поденщина» из одного места берутся». Сергей Довлатов, наоборот, считал, что настоящему писателю надо решиться на литературную судьбу и для этого первым делом уйти с государственной службы.

«Но, Сережа, — возражал я, — у меня нет жировых запасов, а уже на следующий день мне приспичит делать шам-шам и нужны будут деньги». — «Вы знаете, Игорь, — говорил мне важно Довлатов, — это невозможно объяснить, но еда как-то образуется: то соседи нальют тебе супчик, то приятель… иногда Глафира («Глаша», терьерчик Сергея) с тобой поделится…»

Об обстоятельствах и перипетиях своей нищей жизни Довлатов размышлял часто. Его всегда искренне поражало, как это получается, что денег на еду никогда нет, но случая не упомнит, чтобы не раздобывались деньги на выпивку. Поражало его и собственное отношение к деньгам: «Я вот иду по Невскому, хочется пить, но жалко трех копеек на газированную воду, а вечером буду легко расставаться с пятерками, десятками!» Такое «сожительство» в себе аскета и лихого кутилы Довлатова всегда удивляло.

Однажды, купив водку и хлеб, мы пошли за колбасой. Из бывших в магазине двух сортов вареной я выбрал ту, что на двадцать копеек дороже. Довлатов пришел в ужас: «Заче-е-ем?! Вы же все равно ее съедите!» Впрочем, возможно, эту замечательную шутку он прокатывал неоднократно.

Довлатов славился тем, что всегда пунктуально возвращал долги, вел тщательный учет. Он очень дорожил своим имиджем и постоянно перезанимал деньги. На все такое уходила уйма времени и сил, так что вполне можно считать, что финансовые

манипуляции составляли существенную часть его жизнедеятельности.

Когда Довлатов брал долг целевого назначения — то есть на выпивку, то всегда поил водкой и заимодавца, не ставя расходы в зачет при возвращении долга.

О чем бы Довлатов ни рассказывал — о себе, о тебе, о собачке Глаше, о домике Арины Родионовны, — слушать было не только безумно интересно (даже если ты знал наверняка, что он врет), но и огромное эстетическое наслаждение испытывал всякий от замечательной его речи. Так что знание экскурсионного материала, которое в необходимом минимуме Довлатов, конечно, имел, было вовсе не главным в его экскурсии… Нокаутирующее воздействие на публику оказывало появление перед ними огромного супермена, в строгом лице которого ничего приятного экскурсанты для себя обнаружить не могли — к экскурсиям, экскурсантам, как ко всему коллективному и массовому, Довлатов относился с великим отвращением. Служебная необходимость, правда, заставляла это чувство прятать, но краешек его всегда оказывался виден. Возможно, отчасти и преднамеренно. Ну, а затем начинался его экскурсоводческий монолог. И тут с аудиторией происходило то, что называется *катарсисом.* И тогда, овладев публикой, Довлатов уже мог перегонять покорную отару от объекта до другого (а расстояния значительные!) в очень быстром темпе, не рискуя ни бунтом, ни кляузами.

Помню финал экскурсии… Довлатов «отработал» село Михайловское и вывел людей за околицу — к реке Сороть…

— Перед вами, — сказал он, — вон там на холме, наш последний экскурсионный объект — Савкина горка. Что вы можете увидеть на Савкиной горке? — тут Довлатов с нарочито пренебрежительным оттенком упомянул два или три могильника. — А также вид на Сороть, — продолжал он, — уступающий своей живописностью пейзажу, наблюдаемому нами с этого места. Желающие могут пройти на Савкину горку вот по этой тропинке.

Экскурсанты после такой оценки на Савкину горку не ходили, а Довлатов получал в личный досуг тридцать минут экскурсионного времени.

Однажды я помог Довлатову переправить в Америку фотопленки текстов всех его сочинений. До этого он уже дважды пытался с какими-то архинадежными «почтальонами» передавать за кордон рукописи, но всякий раз бандероль до адресата не

доходила. А тут — полное собрание сочинений в шести (или в восьми?) крошечных рулончиках!

Довлатов волновался! Волновался очень! Тем соблазнительней, для бесовского раздела моей души, показалось разыграть вот такую сцену… фоторулончики — каждый завернутый отдельно — лежали передо мной на краю стола. Довлатов, находясь в каком-то панически-стрессовом состоянии, бормотал, насколько важно для его судьбы, чтобы *это* все не сгинуло!.. И тут я, ловко переведя разговор на совершенно другую тему, раскрыл и поднял громадный пустой портфель, одним небрежным движением руки смахнул в его чрево все собрание сочинений моего друга и, как бы не замечая ужаса в расширенных глазах, портфель захлопнул, попрощался и ушел.

Уже когда Довлатов получил сигнал из Америки, что все пленки благополучно прибыли, Сергей сам рассказал мне о том, что пережил, когда увидел мой небрежно-смахивающий жест, уносящий в «никуда» всю его жизнь!

А вот когда его «Невидимая книга» стала *видимой* и оказалась, к моему восторгу, в моих руках, в очередной раз стало мне очевидно всеми знаемое: всякие наши услуги услужают и нам самим.

«Почтальоном» же была гражданка Франции, ныне покойная, Катрин Яконовская — уроженка Ленинграда, славная русская женщина Катя. Во многом благодаря ее самоотверженности читающий мир знает теперь писателя Сергея Довлатова.

Когда кагэбисты стали выпихивать Довлатова из Союза и Довлатову ничего не оставалось, как забрать маму — Нору Сергеевну — и собачку Глашу и отправиться в Америку, выяснилось, что всякой собачке полетать на аэроплане — стоит хозяевам хлопот бóльших, чем собственное путешествие. Особенно возмущал Довлатова предписанный собачке Глаше объем медицинского обследования. «Безобразие! — негодовал Сергей. — Ее мочой интересуются, а моя моча никому не интересна!» Надо сказать, он был ревнивый.

Зачем живет человек?

Довлатов часто говорил, что цель его жизни — это то, чтобы его внук (тогда еще не было сына) мог бы снять с полки книгу и сказать: «Вот! Эту книгу — все слова, все фразы в этой книге — написал, сочинил, придумал… мой дед, Сергей Донатович Довлатов!» Наивно понимать такое лишь как честолюбивую программу. Это — метафора, главенствующий смысл которой — страстное желание писателя не кануть в забвение, не только

«родить», но и «вывести в люди» свои тексты, произведения…

Это Наполеон сказал: «Я чувствую, что меня что-то влечет к цели, мне самому неизвестной. Как только я ее достигну, как только я перестану быть нужным, будет достаточно атома, чтобы меня уничтожить. До того времени никакая человеческая сила ничего со мной не сделает».

Никакая человеческая сила не могла ничего сделать с Довлатовым, и сам он не мог ничего непоправимо-разрушительного с собой сделать — до того времени, когда… Когда вышли в свет его книги, когда самый престижный литературный американский журнал стал регулярно печатать его рассказы, когда сбылось кем-то предсказанное и он узрел либеральные перемены на своей родине, когда уже в его отчизне престижные литературные журналы стали печатать его произведения…

…и тогда он умер.

Виктор Соснора [185]
Сергей

Мы подружились в Нью-Йорке.

Живя бок о бок, ходя нога к ноге по Невской першпективе, звеня рюмкой в разно-тех же компаниях, встречаясь с теми же восточноглазыми красавицами, выходя по утрам из одних и тех же полудомов, полубольниц, читая в одних и тех же аудиториях, в Ленинграде мы не были близки.

В Нью-Йорке же началось не с Довлатова, а с Вашингтона. 11 ноября 1987 г. ночью выпал снег, ударил гром и все замерзло. Самолеты остановились. Теледиктор говорила, водя глазами, что это случается раз в сто лет. Но это случилось со мною, и пришлось сидеть у моего Львовского друга Василия Аксенова, пить лжепиво без градусов, есть сосиски сталинского периода, красную икру и др. предметы, которыми прелестные хозяева меня угощали.

Я пишу сию балладу, ибо пища у нас сейчас — область снов.

Я перечитал 16 романов Аксенова, мы осмотрели его рабочий кабинет с компьютерами и ксероксами. Майя подарила мне шубку и звездочки для холодильника, ошейник для пса и ежика с писком и, наполненный едою и идейно-художественным содержанием творчества мною любимого писателя, я спросил Васю:

— Что делать?

— Да, — сказал Грустный Бэби, — самолеты заморожены. Читай Довлатова.

Я стал читать.

Наша литература в основном угрюма, дидактична и для чтения неинтересна. Неинтересно читать формалистическую прозу Пушкина и Толстого, бездуховных скучноносых Чехова или Тургенева — все учат, как тучи, нависая надо мною своими бородами, бакенбардами и пенсне. Это эпическое отступление я перечеркиваю и читаю Довлатова.

Мне не нужен Курт Воннегут, что повсюду хвалит С.Д., называя его вундеркиндом. Я слишком хорошо знал это буйное и длинное существо, как мне казалось. Так всегда кажется, когда смотришь в лоб, а не сбоку. Книги Довлатова написаны в профиль, его герой Долматов — такой же двойник, как у Чаплина — Чарли. Сергей Довлатов — уникальный случай в русской литературе, когда создается всеми книгами — единый образ.

Его герой — двухметровый чудак, неудачник, то фарцовщик

без денег, то конвоир спецвойск, упускающий заключенных, то неожиданный муж, влюбленный и не знающий, где его жена, то русский в Америке, которого шпыняют люди намного ниже его и ростом, и умом. Это Долматов. Но Довлатов, пишущий, пристален, жесток, непрощающ, он создает себе множество щитов то грубого, то изысканного юмора и иронии, и за всем этим стоит тот мальчик, ранимый, добрый, чудесно-умный и чистый, которого я впервые увидел на университетском балу в новый, 1962 г., на елке, где он стоял в галстуке, под потолок, и думалось: как жить тому, у кого головы всех друзей — под мышкой, а женщины — по пояс?

Они встретили меня на ж.д., на вокзале в Нью-Йорке, и Сергей взял мой гигантский чемодан и понес, помахивая, как дамской сумочкой. Он бы и меня взял как тросточку, но я шел с Еленой (в роскошной шубе!), и оказалось, что ее тетя, да и она, были дружны в Ленинграде с моею мамой (на почве книголюбия!). Меня поразила юность Елены и цветущий вид Довлатова. Такая красивая и дружная пара, отличный автомобиль, начало заграничной славы Сергея, начало денег, «все в будущем, за морем одуванчиков»!

Верный товарищ, он взял на себя все мои передвижения по Нью-Йорку, он плохо водил машину, тыкался в бамперы, но, слава богу, не разбились. Он был бодр и деятелен, выдумывая новые приключения. Ел я как божество в их доме. Он страшно радовался, что я первый советский ч-к, выступивший по радиостанции «Либерти», и это сделал он. Интервью со мною вел он, весело и виртуозно. Мои вечера в отелях вел он — лихо и тактично. Он был очень артистичен. У него не было пустых амбиций, он никогда не говорил о своих книгах, он любил книги сверстников — случай редчайший и драгоценный.

Его книги — изящно ограненные серии-бриллиантики, миниатюры.

Он учился живописи.

ХОРОНИМ.

Мы прощались — он улетал в Вену, я в Техас. Стояла ночь и чернота, кафельный Нью-Йорк. Мы обменялись часами и очками. Больше мы не встречались. Я ношу часы Довлатова и хожу в его очках, мир притемненный. Узнав о его смерти, я запил и пил 12 дней стакан за стаканом, яд за ядом (по талонам), пока не свалился в руки медиков института им. Бехтерева, 5-е отделение, хорошо хоть, врачи были друзья, откачали. Русские банальности. НЕ ПЬЮ.

Владимир Уфлянд [186]
Мы простились, посмеиваясь

— В Америке человеку не возбраняется управлять автомашиной, если он перед этим выпил не больше двух дринков, — не сдержал рокочущего удовольствия в голосе Сережа Довлатов. — Это примерно пятьдесят шесть граммов крепких напитков.

— Ты, конечно, не забываешь перед тем, как сесть за руль, выпить эти два дринка? — спросил я.

Сережа, одним глазом продолжая глядеть на дорогу, краем другого взглянул на жену Лену.

— Иногда заставляю себя забыть. Но не сегодня.

Он затормозил перед огненным задом предыдущей машины. Вытащил два безымянных пакетика темной упаковочной бумаги и стопку одноразовых стаканчиков.

В одном пакетике оказались охотничьи колбаски из русского магазина. В другой он конспиративно запустил широкую привычную ладонь. Щелчок винтовой пробки заставил нас с Аллой и Мишей насторожиться.

— Из такого анонимного пакета в Америке вы можете пить все, что вам угодно, — с бархатной гордостью в баритоне объяснял Сережа, — прямо перед носом полицейского. И он не может нарушить вашего права на частную жизнь и поинтересоваться, что вы пьете и сколько. Кто умеет держать стаканы, чтобы рука не дрогнула, если машина вдруг тронется?

Наши руки не дрогнули.

Тем временем рядом с нами затормозила еще более длинная, чем довлатовская, машина, и четверо чернокожих с нескрываемым интересом начали нас разглядывать.

— Что это они так смотрят на нас? — вдохнул я аромат отменного виски без льда и прочих американских прибамбасов.

Сережа, взглянув влево, застыл с поднятым стаканчиком. В нем плескалось граммов шестьдесят-семьдесят.

— Это полиция, — как всегда ровно и успокоительно сказала Лена. — Они ждут, когда мы выпьем, а потом остановят нас и проверят концентрацию алкоголя в дыхании водителя.

Держа одной рукой стаканчик, Сережа другой рукой пустил машину следом за дернувшейся с места вереницей.

Закусили охотничьими колбасками при скорости, измеряемой в милях.

На стоянке под опорами заброшенной ветки надземного

метро Сережа с Леной предупредили, чтобы не оставляли в машине недопитые стаканчики. Разобьют стекло и допьют.

Солнечный нью-йоркский январь был похож на удачный петербургский октябрь. Нью-йоркские платаны были вдвое толще и выше петербургских тополей.

— Кажется, это называлось «Вечера у камина», — вспомнил Сережа. — Мы три часа с пересохшим горлом слушали концерт для расстроенного рояля без оркестра композитора Гринблата.

— Была масленица, — уточнил я. — Значит, называлось «Вечера у самовара». Я помню на всех столах блинчики и чайники. А концерт модернового композитора Гринблата состоял из коротких музыкальных фраз и длинных пауз. В паузах я слышал бульканье и думал, что ты разливаешь под столом полбанки в чайные чашки.

— А я думал, это ты булькаешь. — Сережа шагнул внутрь ангара, где вибрировала воскресная барахолка. — У меня не хватило бы храбрости. Я в первый раз попал в Дом композиторов. Я думал, что там не принято пить водку из чашек.

— Может, это Ося Бродский булькал? — предположил я.

— Не смею утверждать, — здороваясь направо и налево, разворачивался в узких проходах Сережа. — Я видел только, как Иосиф во время особенно длинной паузы показывал из-за своего столика композитору Гринблату пальцем, что пора ударить по клавише. Дескать: зачем удовольствие затягиваете, маэстро?

Знакомый торговец подарил Сереже сувенир. На нем была надпись, виденная мной в американских автобусах: «В случае крайней необходимости — разбейте стекло». Стекло сувенира было крепковатое. Но молотком или каблуком разбить можно. Внутри стекла заключалось самое старинное и единственно надежное средство от злобного вируса иммунодефицита. Сережа переподарил сувенир мне.

Любуясь достижением западной культуры, я рассказал Сереже случай.

Мы с Осей Бродским пили в Лондоне пиво. В нужнике я обнаружил сверкающий автоматический ящик.

— Ося, — спросил я, — ты уже семнадцать лет живешь на Западе. Скажи, правильно ли я понял: на ящике написано, что если хотите спасти свою жизнь, бросьте туда сколько-то шиллингов?

— Так и написано, — подтвердил озадаченный Ося.

Коварные альбионцы. Хитрецы-англичане. Ящик молча хранил тайну.

Я предложил подождать, пока кто-нибудь бросит сколько-то шиллингов, и посмотреть, что выскочит. Но Ося уже не мог

сдержать любознательности. Он опустил монету. Выскочило то же самое изделие, что заключалось в моем непробиваемом стекле.

— Таких дикарей, как ты с Бродским, я бы к цивилизованному Западу ближе, чем на тысячу километров, не подпускал, — рассудил Сережа, покупая и преподнося мне то авторучку, то набор фломастеров, то универсальный нож.

— Ты же сам знаешь, в какой дикой стране мы прожили лучшую часть жизни, — сказал я в наше оправдание.

— Знаю, — не стал отрицать Сережа, заказав всем по огромной американской порции разноцветной еды. — У вас там сейчас, говорят, в очередях за водкой задавливают насмерть старушек.

— Бывает, — подтвердил я. — Но некоторые гибнут возле кассы просто от недостатка кислорода. Это у вас в Нью-Йорке воздух чист, как выдох после водки «Абсолют». У нас в питерских магазинах воздух — как перегар после настойки горелых портянок на дезинсектале.

Мы сидели в лакированно-никелированном кафе и пользовались свежестью утра, еды и мыслей. Я тянул время в надежде, что американская еда утрамбуется и освободится место для следующего куска.

— Кажется, это называлось «Вечер молодых писателей и поэтов Ленинграда», — вспомнил я. — На лестничной площадке Дома писателя такая же давка, как в винном отделе. У нашего соседа за пазухой тосковала бутылка водки. Но он не мог из-за тесноты поднять руку на уровень лацкана, чтобы вытащить ее из кармана.

— Если бы я тогда знал, что у нашего соседа за пазухой бутылка водки, — мысленно открутил двадцать два года назад Сережа, — я бы запустил голову ему за пазуху, открыл зубами пробку и выпил свою треть.

— А чем бы занюхал? — задним числом забеспокоился я. — Как бы ты поднял к носу руку с рукавом?

— Я бы занюхал воротником, — не растерялся Сережа.

Я внутренне содрогнулся:

— Водка, нагретая до температуры человеческого тела! Из горла! Занюханная воротником! Это чрезвычайно чревато.

— Особенно для печени, — согласился Сережа. — Хорошо, что я тогда не выпил. И пусть патриотический клуб «Россия» послал в обком донос, что мы во главе с Иосифом Бродским устроили сионистский шабаш. Зато он не посмел обвинить нашу еврейскую половину хромосом в том, что она спаивает нашу русскую половину души и тела.

Трофеи, взятые при открытии Америки, были умяты,

уплотнены и увязаны до разумных габаритов и успешно сданы в багаж. Мы с Сережей сушили пот ветрами аэропорта имени Джона Кеннеди.

— В следующий ваш приезд мы не будем так самозабвенно ностальгировать, — сказал Сережа. — Мы обратимся мыслями в будущее.

— В следующий наш приезд мы застанем тебя на твоей вилле возле камина, читающим Марселя Спрута, — уточнил я.

— Марселя Струпа, — поправил Сережа.

Мы простились, посмеиваясь.

Кладбище в Квинсе, где лежит Сережа Довлатов, называется «Маунт Хеброн». Деревья кладбища видны из окна квартиры, где жил Сережа. Завершилась вереница невероятных и в то же время совершенно обыкновенных совпадений, из которых составлялась жизнь.

Читая книги Сергея Довлатова, удивляешься, до чего же стремительным, непредсказуемым и увлекательным может выглядеть на бумаге повседневное бытие. Если, конечно, не грызть перо в Доме творчества, натужно выгрызая сюжеты. У Довлатова был иной метод: быть всегда искренне замешанным во все благополучные и катастрофические происшествия с ближними и не очень ближними.

Писал он ежеутренне с рассвета после любых неумеренных поздневечерашних разговоров и распитий. Встречные едва успевали осознать, что стали очередными персонажами сверхмастерской прозы Довлатова. Жизнь была неиссякаемым источником литературы. Литература была часто иссякавшим источником средств к жизни.

Сережа Довлатов без устали балагурил, перешибая самых высокоавторитетных острословов. И тут же превращался в ненасытного слушателя. Ловил собеседника на слове и делал из этого слова прозаический маленький или не очень маленький шедевр.

На надгробном камне Сережи Довлатова выгравирован его автопортрет. Одна непрерывная, изящная, смешная, артистически завершенная линия.

Я с трудом представляю, чтобы Сережа анализировал или теоретизировал на тему, как он пишет или рисует. Он просто писал и рисовал.

Еще труднее мне сравнить Довлатова с каким-нибудь другим писателем. Легче других писателей сравнивать с ним.

Валерий Попов [187]
Кровь — единственные чернила

Помню ранний, пустынный коктебельский пляж, быстро идущего по тихой, безлюдной жаре московского критика Чупринина:

— Вы слышали? Ночью передавали: Довлатов умер.

— Как?! Мы ж только встретиться собрались!..

Последнее (во всяком случае — ко мне) письмо Довлатова:

> «Дорогой Валера! Твое поручение я выполнил сразу, но отвечаю с опозданием, потому что, извини, у меня был запой, и говорить по телефону я мог, а писать было трудновато… Сборник может получиться замечательный…»

Обсуждали с ним сборник — из уехавших и оставшихся. Океан между нами — но есть ли на свете люди более близкие, чем те, что подружились в конце пятидесятых на общем подъеме, общем веселье, пьянстве, на общих страданиях, и главное — на ощущении своей запретной для того времени экстравагантности, талантливости, почему-то вдруг оказавшейся не одинокой, а окруженной близкими, такими же веселыми и гонимыми талантами. Такое братство едва ли еще возникнет где и когда.

Да, наверное, смерть Довлатова не была уж такой неожиданной, и для тех, кто жил с ним рядом, и даже для тех, кто жил здесь. Вся его жизнь — словно специальный, умышленный набор трагикомических происшествий. Он, словно стыдясь своей физической роскоши, разбивал свое прекрасное лицо знойного красавца о первый встречный корявый столб. Все вокруг, постепенно набираясь здравомыслия, с ужасом и восхищением следили за довлатовскими зигзагами. Как? Вылететь из университета?! И сразу — в армию?! И сразу — в лагерные войска?! Ну — это может только он!.. Да — это мог только он. Довлатов сразу и до конца понял, что единственные чернила писателя — его собственная кровь. И тот, кто пишет чем-то другим, просто обманывает: или служит, или — развлекает. Ну что ж! Довлатов не осуждал никого. Наоборот — чем более лукавую, ничтожную жизнь вел человек, тем больше Довлатов уделял ему таланта и любви (талант любит тех, с кем он может проявиться наиболее ярко)… Помню давний звонок Сергея: «Валера! Нужно бы поговорить. Я как раз сейчас на Невском — фланирую по той стороне, куда прежде не допускались нижние

чины».

Несколько чопорный, изысканный стиль говорения всегда выделял его из окружающего хлама. Издалека вижу его фигуру, возвышающуюся над всеми на Невском, иду туда. Но вблизи с некоторой досадой замечаю, что он движется среди слегка опухшей свиты, соединенной легким ароматом давней гульбы. Я понимаю — это работа, эти люди будут в его рассказах очаровательны — смехотворно-абсурдны, нелепо-остроумны. Здесь — его кабинет, в котором дышит литература, в отличие от чопорных кабинетов «нормальных писателей», где не дышит давно ничего. Но — тяжеловато. Я исчезаю.

Перед отлетом в Нью-Йорк я шатался в тех самых местах, где когда-то шатались все мы, где, просто выйдя из дома выпить кофе (или лучше пива), можно было в один час встретить и Осю Бродского, и Сашу Кушнера, и Глеба Горбовского, и Серегу Довлатова. Все почему-то жили рядом, в небольшом, но прекрасном пространстве между Невой и Кузнечным рынком — и все дружили, все любили друг друга… Такого — больше не будет никогда. И даже те, кто сейчас в России, порой все равно дальше, чем житель Нью-Йорка, — и только та близость, то золотое время соединяет нас.

…Увидел пьяного, расхристанного солдата — и тут же улыбнулся благодаря Довлатову: вспомнил его рассказ о солдате, который проломил ему бляхой голову и для которого сам же Сережа потом сочинял оправдательную речь. Кто так может еще? Кто для создания прелести жизни сделал больше, чем Довлатов?

Бессмысленному обществу высокоэрудированных пьяниц, окружающему его, он дал жизнь, полную смысла и остроты, создал для них быстрый, изящный язык — другого тем было бы просто не осилить. Многие, многие наши общие знакомые стали по Довлатову жить и говорить. Он дал жизнь нашей аморфной среде, которая без него задохнулась бы в псевдоинтеллигентных банальностях.

Вспоминаю еще одну нашу встречу: мы сидим на кухне полуподвальной квартиры у бывшей Серегиной жены красавицы Аси. Она куксится, болеет, но мы почему-то сидим, не уходим. Приходит врач, разговаривает с Асей; заглянул к нам на кухню, уходит. Возвращается Ася, и в болезни сохраняющая главное свое качество — иронию, придерживая рукой простуженное горло, смеется: «Знаете, что врач сказал?.. Сочувствую — у меня соседи такие же скобари!» Серега мрачно усмехается. Я понимаю, что, как и всегда, — идет работа по добыванию слов из хлама жизни… и где же их еще добывать — не в библиотеке же? Но — тяжеловато. Я исчезаю.

И вот я в Нью-Йорке. Общие наши друзья горестно сообщают подробности его гибели. В этом городе почему-то сильней, чем в Питере, ощущаешь тяжесть. Даже я, приехавший сюда невсерьез и ненадолго, чувствую, как Америка давит, словно тугой воротничок: не так открываются окна — а форточек вовсе нет, не так идет вода из душа… Марина Ефимова, заменившая Довлатова на радио, лихорадочно печатает, поглядывая на часы… в России я ее не помню такой — но здесь и не Россия.

В общем, ясно, чего Сережа не выдержал. Но еще ясней — что́ он сделал и что́ здесь сделалось с ним. Вика Беломлинская — петербургская, теперь нью-йоркская писательница — говорит мне: «Да, неслабая у тебя, Валера, записнуха — но у Сереги в четыре раза больше была, приблизительно на половину стола, и в ней был расписан по минутам каждый день — с кем встретиться, кому позвонить, что и как сказать…» Ну, ясно. Здесь иначе не проживешь — и спасибо Америке за это. Приехав сюда талантливым разгильдяем, таким и оставшимся в наших глазах, Довлатов стал именно здесь серьезным и, главное, состоявшимся писателем. Вдруг представил себе его двойника — оставшегося и до сих пор жалующегося по пивным на козни обкома. И таких — большинство. А он — уехал. А в Америке — как-то более принято работать, чем скулить, хотя и местные «антикоммунистические обкомы» тоже душили его как могли, — но в Америке как-то не принято подолгу сидеть в луже, это только у нас. Спасибо Америке за Довлатова — но и ей есть за что благодарить: Сергей вернул этой стране забытую прелесть русской прозы — стране, влюбленной только в американское (как, впрочем, влюблена в американское и наша страна). Довлатов показал умной Америке (а заодно, кстати, влюбленной в Запад России), что и по-русски можно писать легко, изящно и в то же время глубоко, что русские люди посвободней и позатейливей будут всех прочих! Именно при нем — и его друзьях — и «Свобода» заговорила по-нашему, нашим языком, а не мертвым советским-антисоветским. Вся вольная, озорная (его читатели — словно специально переселились за ним!), вся цинично-сентиментальная русская Америка заимела наконец своего писателя — и как они любили его! Говорят, в последние годы официанты на Брайтоне не подавали ему счетов: «С русских писателей денег не берем!» Души его, разместившейся в гигантской его фигуре, хватало на то, чтобы любить тех, кого мы презираем, — поэтому и его любит больше народу, чем нас. Это отчасти и погубило его, но дай бог каждому такой гибели — от всеобщей любви! Поэтому и очередь машин, въезжающих под дождем на кладбище, была бесконечной.

И через месяц после смерти Довлатовым был полон весь

русский Нью-Йорк. Дух его присутствовал всюду. В редакции «Свободы» висели его карикатуры на друзей-сотрудников: Вайля, Гениса, Парамонова, Гендлера — я и не знал, что он так точно рисует… верней — рисовал! И чуть подальше на стене огромное собрание некрологов. В любви к Сереже сошлись самые разные люди — и советские, и антисоветские, и русско-монархические, и космополитические… все было в нем! Поэтому и Пушкина не могут поделить самые разные политические течения, что он улыбался людям, а не течениям, — а к людям себя причисляют все. Любовью Довлатова мы любим всех — и охранников, и зэков. Довлатов, рискуя собой, брал крайности жизни и соединял, очеловечивал их, наполнял прелестью. А без этой прелести — снова вражда, снова война… Кроме Довлатова, никто уже не сможет заставить улыбаться одному и тому же и охранников, и зэков.

Помню, однажды в молодости мы пели в саду, закрытом на просушку, — к тому же ночью. Естественно — Высоцкого. Милиционеры отвели нас в свою будку, и их магнитофон, естественно, тоже был полон Высоцким. И наступил мир, пошли шутки. То же самое делал и Довлатов — и никому сейчас это больше не дано. Эх, занять бы это место — да души не хватит, «терпения к людям», как говорят.

Особенно было видно, как он нужен там, в Нью-Йорке, — только его широкая натура, всех прощающая — но не всепрощающая, — могла соединить, примирить. И он сделал это. Самые разные русские теперь скажут «Довлатов» — и улыбнутся.

Шастая по Нью-Йорку, я ощутил, что не в меньшей степени объединяет русских и Бродский — но, конечно, далеко не всех. Официантов с клиентами ему не соединить, да и не ставит он такой задачи. Бродский соединяет нас — но на горных вершинах, а для нашей грешной жизни — Довлатов.

Потом было мое выступление в Русском центре — его собирался вести Сергей, а теперь вели его друзья, Генис и Вайль, веселые, добрые, остроумные. Какой человек, такие у него и друзья, и таких, оказывается, немало — целый зал. На столе сбоку лежала пачка красивых журналов Русского центра, последний номер был целиком посвящен Сергею. Вся его жизнь — и даже за жизнью: его мрачный армянский дедушка, бабушка, портрет младенца Сережи. Да — прошла жизнь, начавшаяся в эвакуации в Уфе, расцветшая в Петербурге, определившаяся здесь.

И вот — кладбище в Квинсе, недалеко от дома, где он жил…

В последнюю свою ночь, в последнем загуле он оказался не дома. Стал задыхаться, умирать. Сперва звонили каким-то модным русским знахаркам, лечащим по телефону, теряли время

— он даже тут великодушно терпел и прощал. Потом — была «скорая», и последний привет от правильной Америки, которая на этой правильности и стоит: «Икскьюз ми! Без страховки не принимаем!» — «Но он же умирает!» — «Сорри!» У другого, конечно же, оказалась бы в кармане страховка, и он бы спасся — но то был бы другой какой-то человек, не Сережа, которого мы так горячо любим за то, что он прожил и описал нашу жизнь, полную комических — и не только комических — нелепостей. Он даже смертью своей показал, что он наш, из нашей общей трагедии.

Но нужно добавить кое-что… Какой-нибудь лохматый его знакомец, почесывая пивной живот, скажет с внутренним удовлетворением: «Эх, не выдержал Серега! Сломался!» Смерть Сергея в загуле как бы делает их равными, а этот теперь даже «равнее» — потому как живой. Нет, не равные вы! Он книги писал. А тебя «обком загубил». Не равные вы.

Вспоминаю еще: я перехожу Инженерную, навстречу идут два красавца: изящный — Толя Найман, огромный — Сережа Довлатов. Лето, тепло… Левой мощной рукой Сергей грациозно-небрежно катит крохотное кресло с младенцем (с детьми Довлатова всегда была некоторая путаница — во всяком случае, для меня).

— Привет!

— Привет! Ты куда?

— В Летний сад.

— А я на Зимний стадион.

Улыбаясь, расходимся. И даже язвительный Толя усмехается. Быстро, на ходу, сверкнули слова, может быть, не алмазные, но для мемуаров вполне пригодные — а это не каждому дано.

И вот уже теперь я прохожу по Кузнечному и слышу, как один книжный жучок говорит другому:

— Слышал, у Сереги новая книжка вышла?!

Я с завистью вздрагиваю… «У Сереги»! Какая любовь!.. фамилию уточнять не надо — все прекрасно знают, о ком речь.

Заканчивать это все надо весело, в его духе.

Нет, тоталитарная система не погубила Довлатова. Скорее, он ее погубил.

Игорь Ефимов [188]
Неповторимость любой ценой

На вечеринке в Ленинграде:
— Где Довлатов?
— Ушел, кажется.
— Как? Никому не сказав?
— Что-то пробурчал про «расплясавшихся старичков» и ушел.

Это случалось часто. Потом появится снова, насмешит до слез, сам исхохочется, прикрываясь ладонью, свергнет с полдюжины литературных кумиров, опять исчезнет, сгинет в многонедельной гулянке. А когда позвонит через месяц, от первых же его слов, еще до осознания их смысла (принести новый рассказ? денег в долг? запрещенных книжек почитать?), в душе предощущение: вот сейчас опять будет смешно, талантливо, горько.

Откуда шла эта постоянная горечь? В России нам казалось, что причины ясны: не печатают талантливого человека, вот он и бесится. Не только пьет, а еще и вечно куда-то убегает: от друзей, от семьи, из города в город, из одной компании в другую, с работы на работу. Но вот он добежал в этом своем бегстве до Америки, добился признания, потоком пошли книжки на разных языках, публикации в престижных журналах, обеспеченность… А горечь оставалась. Вот отрывок из его письма 1984 года:

> «Пьянство мое затихло, но приступы депрессии учащаются, именно депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни. Лечиться не буду и в психиатрию я не верю. Просто я всю жизнь чего-то ждал: аттестата зрелости, потери девственности, женитьбы, ребенка, первой книжки, минимальных денег, а сейчас все произошло, ждать больше нечего, источников радости нет. Главная моя ошибка — в надежде, что, легализовавшись как писатель, я стану веселым и счастливым. Этого не случилось. Состояние бывает такое, что я даже пробовал разговаривать со священником… но он, к моему удивлению, оказался как раз счастливым, веселым, но абсолютно неверующим человеком» (27.07.84).

Конечно, можно продолжать искать причины этой тоски в обстоятельствах эмигрантской жизни. В тех же письмах найдется немало горько язвительных пассажей о нью-йоркской

литературной среде:

> «Тоска в Нью-Йорке смертная. Хоть из дома не выходи. Все русские сообщества, начинания и круги проникнуты каким-то очевидным неблагородством. Идеализм полностью и окончательно заглох, даже от С. можно услышать: „лишь бы деньги платили“» (19.11.84).

> «Общаться с людьми почти совсем невозможно, никто не в состоянии произвести ни одного разумного и точного действия, на свидания являются произвольно, ничего не записывают, ничего не запоминают, обидчивые, веселые, шутят беспрерывно. Может быть, это антисемитизм, но я не готов воспринять такое количество чистокровных евреев — и ни одного человека, хотя бы на секунду усомнившегося в своем совершенстве» (6.04.83).

> «Жизнь осложняется тем, что из этнического курьеза, который вызывает только презрительную симпатию, я перешел в категорию, где тебя уже можно не любить, враждовать с тобой, где идет борьба, где все разделено на лобби: западный берег, восточный берег, левые, правые… и даже, я не шучу, гомосеки и не гомосеки» (24.02.84).

> «К сожалению, я убедился, что в мире правят не тоталитаристы или демократы, а зло, мизантропия и низость. Конфликт А. с Б. — это не конфликт авторитариста с либералом, а конфликт жлоба с профессором, конфронтация А. с В. — это не конфронтация почвенника с западником, а конфронтация скучного писателя с не очень скучным. Разлад А. с Г. — это не разлад патриота с «планетаристом», а разлад бывшего уголовника с бывшим политическим. И так далее… Извините за мысли» (15.08.84).

Не одни русские попадают под огонь — достается в письмах и американцам.

> «Рассказ, который появился в «Ньюйоркере» буквально на днях, исковеркан ЦЕНЗУРОЙ, самой настоящей. Еврей плохим быть не может, коммуниста ругать не надо — все это у них называется «не потакайте

стереотипам». Из одного моего рассказа в «Ньюйоркере» выкинули «резиновый пенис», такая у них стыдливость, причем этот пенис фигурировал, как Вы догадываетесь, в самом невинном и юмористическом контексте, а вовсе не по прямому назначению» (28.11.84).

«Единственное, что примиряет меня с американской славистикой, это то, что они покупают Ваши книги. Все остальное — малоинтересно. Каким-то странным образом в славистике развились все пороки этнического меньшинства: обидчивость, бедность, нервозность, мнительность в сочетании с заносчивостью и даже хамством. Это — единственные знакомые мне американцы с выпирающими комплексами. Должен сказать, что лишь среди слависток попадались мне в Америке женщины с недостающими передними зубами» (4.01.85).

Нет пощады даже литературным классикам:

«Читали ли Вы книгу какого-то шведа «Переписка Маяковского и Л. Брик»? Это нечто уникальное по пошлости! Он дает несколько факсимильных копий, а в остальном сохраняет грамматику и пунктуацию оригиналов: это кошмарная переписка двух безграмотных ничтожных существ. Абсолютно невозможно поверить, что Маяковский написал хотя бы «Левый марш»…» (23.12.83).

«Сообщаю Вам, что я перечитал два романа Достоевского, а также «Войну и мир» и 5 рассказов Толстого и отдаю Толстому (впервые) явное предпочтение за полную безыскусность: «Вслед за глупой жизнью придет глупая смерть». Все же Петр Верховенский — явная и неправдоподобная карикатура, Кириллов — тоже, а Ставрогин — роковая нарисованная на фанере личность. Если бы все было театрально и фантастично, как у Гоголя, тогда другое дело. А так — Верховенский и Кармазинов — придуманные, а Степан Трофимович — живой, получается разнородный мир. Все властные, богатые старухи у Достоевского — близнецы, все мальчики и юноши — родные братья. И так далее. Извините замысли» (19.06.84).

Но в одном из таких комментариев к прочитанному есть

признание, приоткрывающее, мне кажется, источник внутренней трагедии Довлатова:

> «Книжку Д. я читал сначала с воодушевлением и благодарностью, потому что она вполне доступная и простая, а затем по тем же причинам ее невзлюбил. Видно, подлость моей натуры такова, что абсолютно доступные книги меня не устраивают. Раз я все понимаю, значит что-то тут не так» (4.10.84).

У Вуди Аллена есть такая шутка: «Я никогда не вступил бы в клуб, который был бы согласен терпеть меня своим членом».

Главной страстью Довлатова была страсть к талантливому — в искусстве, в людях, в отношениях, в себе. Талантливое всегда неповторимо и непредсказуемо. Но если слишком увлечься этой формулой, легко поверить, что и в перевернутом виде она сохраняет свою истинность. То есть, что только неповторимое и непредсказуемое — талантливо. Или: «Все неповторимое и непредсказуемое — талантливо». А чуть проступит где-то рутина, повтор, узнаваемость — можно зачеркнуть и отбросить. Книгу, чувство, человека. В том числе и самого себя.

Жажда неповторимости доходила в нем до курьезов. Например, он придумал себе такие «литературные вериги»: чтобы ни в одной фразе не было у него двух слов, начинающихся на одну и ту же букву. Он уверял меня, что подобный искусственный прием помогает ему искать незатертые слова. Я соглашался, что в какой-то мере это могло срабатывать. Но все же такая сосредоточенность на мелочах литературного ремесла тревожила меня. Писатель здесь начинает напоминать влюбленного, который явился на свидание принаряженным и без конца поправляет галстук, прическу, складки на брюках, и так сосредотачивается на этом, что забывает и о возлюбленной, и о своем чувстве к ней.

Но, с другой стороны, только эта страсть к талантливому и неповторимому позволяла Довлатову реагировать с такой убийственной точностью на все проявления шаблонности, пошлости, душевной лени в окружавшей его жизни. Как он умел смешить друзей своими рассказами! И даже мысль о том, что завтра, в другой компаний, он так же смешно и беспощадно изобразит тебя, не отравляла удовольствия.

Вот о литераторе, получившем из типографии свою новую книгу:

> «— Цвет обложки мне не нравится, — сказал он. — Но внутри книга — великолепная, искренняя,

темпераментная» (18.08.84).

Вот о двух друзьях-эмигрантах:

> «Е.Ж. разбился, пьяный, в автомобиле, и к нему в больницу пришел З.И. Пришел, взглянул на специальный лист с клиническими показателями и сказал с загоревшимися глазами:
>
> — Ты очень плохо себя чувствуешь!
>
> Е.Ж. говорит:
>
> — Да нет, вроде бы ничего.
>
> А З.И. в ответ:
>
> — Что ты мне сказки рассказываешь?! У тебя жуткое давление. Пульса фактически нет. Ты одной ногой в могиле…
>
> И так далее. Е.Ж. говорил потом, что никогда не видел З.И. таким счастливым…» (18.08.84).

> «Есть у нас такая новость — повредился в рассудке К.Л… Вообще, он и был человеком нездоровым. Года два назад он предлагал мне заняться коллективными половыми утехами, меняться женами и т. д. Я чуть не умер от страха… Будучи человеком пузатым и тонконогим, я гарцевать перед посторонними без штанов не люблю. К.Л. тоже не Роберт Рэдфорд, но, как видите, пылкий» (2.10.83).

Пошлость и рутина, которую удавалось прикосновением иронии превратить в искусство, ненадолго веселила. Но из пошлости и рутины соткана жизнь человеческая. Если ты не умеешь уживаться с ними, ты обречен на непрерывное страдание. Здесь, мне кажется, и таится источник постоянной довлатовской горечи. Горечь эта была тем более искренней, что он и к себе был беспощаден. И лирический герой его опубликованных повестей и рассказов, и он сам — герой его устных историй — всегда были объектом постоянных насмешек, порой весьма жестоких, Так же беспощадно требователен он был и к своему литературному стилю.

> «Рассказ, то есть гранки, вышлю не позднее, чем завтра. Оцените, что я не стал почти ничего вписывать, исправлять и усовершенствовать. Но вообще-то, читая гранки, я всегда испытываю одно и то же желание — все заново переписать» (18.08.84).

С детства Довлатовым был усвоен какой-то неписаный код благородного человеческого поведения. И каждый раз, когда близкие нарушали его, он страдал. Не меньше страдал он и тогда, когда сам нарушал его. Никакие уговоры друзей, никакие уверения в том, что близкие относятся друг к другу и к нему гораздо снисходительнее, что они любят его и восхищаются им таким, каков он есть, не помогали. «Я не хочу вступать в ваш клуб, если он готов принять меня — таким, как я есть, — в свои члены». Не помогали и литературоведческие рассуждения о том, что всякий хороший писатель в чем-то повторяется, то есть имеет какой-то устоявшийся набор ходов и приемов, и это называется свой стиль. Тщетно было указывать Довлатову и на то, что в жизни абсолютно неповторимыми и непредсказуемыми могут быть только сумасшедшие, пьяные и непризнанные гении. (Не потому ли он всю жизнь тянулся к таким?)

Описывая мне в письмах назревающий разрыв со старым другом, он писал:

> «Рвать отношения с ним по собственной инициативе я никогда не буду, но боюсь, что он сам эти отношения заморозит или уже заморозил» (4.10.84).

И в другом письме про того же друга:

> «Все это очень грустно, потому что он мне очень нравится, и как писатель, и как человек, и разрыв отношений с ним был бы большим огорчением… Скоро, Игорь, Вы останетесь единственным человеком, с которым я вижусь и беседую добровольно и по собственному желанию» (27.09.84).

Увы, два года спустя дошла очередь и до меня. Наш разрыв был для меня большим и долгим горем. Но все же дружба, доставившая мне столько радости, была длиннее — больше двадцати лет. И я рад, что он написал нам в письме, приуроченном к серебряной свадьбе:

> «Дорогие Игорь и Марина! От души поздравляю вас обоих и благодарю за многолетнее ощущение приязни с вашей стороны, которое так помогло мне когда-то обрести минимум уверенности в себе и помогает сейчас защититься от чувства одиночества и безнадежности» (15.05.84).

Можно сказать, что Сережа Довлатов искренне хотел любить

нас всех — своих друзей и близких, — но неизбежная предсказуемость, повторяемость, рутина, обыденность проступали в каждом из нас — и его любовь, так нацеленная только ну талантливость, умирала.

Он очень хотел любить себя, но и в себе обнаруживал те же черты, — и не мог полюбить себя таким, каким видел, каким знал.

Поэтому что бы ни было написано в свидетельстве о его смерти, литературный диагноз должен быть таков: «Умер от безутешной и незаслуженной нелюбви к себе».

Петр Вайль [189]
Без Довлатова

Без Довлатова оказалось труднее, чем я думал.

Я думал, что и к смерти его готов. Во всяком случае, хорошо помню, что ехал на работу в пятницу 24 августа 1990 года в полной готовности. Я говорил с Сергеем по телефону в половине восьмого — насколько известно, был последним, кто говорил с ним, — а в десять он умер в машине «скорой помощи» по пути в больницу. Сейчас даже трудно выговорить, но выговорю — в девять, сидя в метро, я знал, что скажу в эфир: умер Сергей Довлатов.

Сергей не появлялся на радио неделю, звонил мне в этот свой период каждый день по несколько раз — все шло, как обычно, — докладывая о степени погружения: уже нет сил и охоты вставать, уже и лица на потолке кривляются, уже пьет только молоко, но дикая боль в животе (потом оказалось, что боль в животе — фантом, это уже был инфаркт). Так уже бывало, и не раз за последние годы. Единственное, что могло насторожить — некое подведение итогов.

Он словно диктовал. Для памяти — свою литературную иерархию.

Лучший поэт — Иосиф Бродский. Его Сергей боготворил. В 78-м, когда приехал в Штаты, тут же позвонил и сразу нарвался: «Привет, как ты, Иосиф?» — «Мы, кажется, были на „вы“». Довлатов объяснял очень убедительно, что познакомился с Бродским в таком нежном возрасте, когда про «вы» никто просто не знал («Я перед ним так преклонялся, что мог даже «на их», но нам было по двадцать лет»). Правда, Бродский на «вы» даже с Найманом и всегда был так.

Нормальная особенность Довлатова заключалась в том, что он и из этого эпизода сделал рассказ, только не оформил. Благоговения же перед Бродским со временем у него только прибавлялось, хотя эту историю он усугублял и приукрашивал.

Сейчас как-то глупо повторять — «жаль, что не записал за ним». Все равно глупо, конечно, — не записать. Кто ж знал.

Знать, вообще-то, можно было, отсюда и готовность. Да и знали все близкие. Знал и сам Довлатов. Удивительным образом его не напугало даже лживое, сделанное по настойчивым уговорам родных, сообщение врача о циррозе печени. (Довлатов говорил: «Цирроз-воевода дозором обходит владенья свои».) Сергей в своем сознании как-то проглотил этот приговор, точнее

— включил его в общий синдром. Водка — это естественно для русского писателя, а уж последствия — дело Божье.

Да, так лучший поэт — Бродский. Только его читал наизусть загулявший Довлатов. Помню, как знающая мельчайшие подробности его жена Лена звонила нашим приятелям, где находился Сергей. «Что он делает? — Стихи читает. — Какие? — Сейчас послушаю. Что-то про драхму. — А, минут пятнадцать еще есть».

Это было самое любимое стихотворение — «На смерть друга», сейчас уже и на эту смерть.

> …Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
> Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
> вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
> чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
> Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
> тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
> Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
> с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

Лучший прозаик — Куприн. Об этом уже тонко и умно написал Лев Лосев: что Довлатов считал неприличным иметь в кумирах Толстого или Достоевского, Куприн — это он полагал соразмерным. Добавлю: кроме того, Куприн был в первую очередь рассказчик, а больше всего в своих сочинениях Довлатов ценил как раз это — рассказывание историй, увлекательность, он гордился тем, что его всегда дочитывают до конца.

Лучшая вещь — «Капитанская дочка», что меня удивляло, пока я не понял, что все дело в слезе: Довлатов хотел, чтоб и его читали со слезой, как слова Пугачева: «Кто смеет обижать сироту?» Он для того и вставлял часто неуместные и чуждые тексту всхлипы в свои рассказы: кто я, зачем я, отчего?

Тут ему вкус мог отказывать — он, повторяю, мечтал о читателе плачущем. Смеющегося знал и оттого, наверное, ценил мало. Обладая редким чутьем на юмор (например, у Достоевского любил больше всего смешное и виртуозно находил уморительные места в «Братьях Карамазовых»), Довлатов, в общем-то, не выходил из рамок российской традиции, в которой смех — это низость. Желая уязвить, он говорил про нас с Генисом: «Они делят литературу на смешную и плохую». Думаю, все дело в том, что Сергей очень желал массового читателя и понимал, что тому нужен именно всхлип рядом со смешком.

Тут, пожалуй, единственная точка, где Довлатов поступался вкусом. В остальном он был целен и практически неуязвим.

Эта цельность производила впечатление сразу и на всех, иногда обманчивое. Так, его неведомую мне человеческую безупречность я обнаружил в некрологах и подивился, что они написаны про другого человека, которого я не знал. А я рядом с Довлатовым прожил двенадцать лет тесно и многообразно — три года в друзьях, два во врагах, два в нейтралитете, пять снова в друзьях.

На самом деле, если говорить об идеальности, то она у Довлатова проявлялась разве что в единстве стиля. Он-прозаик был равнозначен себе-рассказчику. Завораживал. Не раз он говорил мне, что если б не писателем, то хотел бы быть музыкантом: «Представляешь — выходишь, поднимаешь саксофон, и все умирают». Сам он так обмирал от Чарли Паркера, бесконечно готовый слушать «Раунд миднайт» или «Лавермена». Довлатов мечтал о немедленном воздействии — и производил его. Сколько раз я наблюдал, как цепенели, слушая эту сирену, даже самые страстные его недоброжелатели.

Он появлялся репризой, фейерверком, устанавливая особую атмосферу остроумия и изящества в любых мелочах. В последние недели его жизни мы с ним завели обыкновение завтракать вдвоем на радио, и Довлатов никогда не обходился взносом банальной колбасы, непременно доставая какую-нибудь конфету с бахромой. Просто так ему было неинтересно.

Достаточно было произнести при нем вялую пошлость типа «жизнь прожить — не поле перейти», чтобы Сергей занудно приставал весь вечер: «Зачем ты это сказал? Что ты имел в виду?»

Он был носитель стиля. Но, как это часто случается, дорожил в себе другим. Я хочу сказать, что ему некрологи и посмертные воспоминания понравились бы. Такой примерно — подрумяненный — свой образ он создавал в рассказах.

Однако себе-герою — авторскому персонажу — Довлатов был не то что не равен, не мог даже приблизиться. Как-то не то я, не то Саша Генис сказал ему: «Единственный недостаток твоего лирического героя — излишняя душевная щедрость». Довлатов обиделся.

Он, как и все мы, заблуждался на свой счет, полагая себя в первую очередь психологом, инженером человеческих душ — это без иронии. Он погружался в хитросплетения взаимоотношений своих знакомых с вожделением почти патологическим — метастазы тут бывали жутковатые: погубленные репутации, опороченные имена, разрушенные союзы. Не было человека — без преувеличения, ни одного, даже среди самых родных, любимых и близких, — обойденного хищным вниманием Довлатова. Тут он был литературно бескорыстен.

Впрочем, как почти все доморощенные интриганы, Сергей был интриганом простодушным: ему больше нравилось мирить, чем ссорить. Ссорил и обижал он часто — но в силу того, что рассказывал о людях смешное, а смешным быть всегда обидно.

Может быть, именно этого его погружения в человеческие связи, с подлинной, ненадуманной, настырной, честной заинтересованностью в чужой судьбе, мне больше всего и не хватает без Довлатова.

Мы-то все орлы, супермены хемингуэевского помета, мы давим чувства, и цедим слова, и уже не замечаем, как за нашей скупой мужественностью утверждается хамское равнодушие. Довлатов был вскормлен той же суровой поэтикой умолчания, но слишком силен был в нем темперамент, и слишком он сам был литературой, чтобы относиться к своим будущим персонажам бесстрастно. Он на самом деле переживал, по-кавказски непомерно, неурядицы близких и даже дальних, иногда искренне забывая о том, что сам был причиной бед и расстройств. Я знал его достаточно хорошо, чтобы не называть человеком высокоморальным. Но он не умножал дикость бытия.

Он разумом понимал, что надо страдать, чтобы получалось творчество, но наслаждался каждой минутой жизни — хорошей и плохой. С его появлением день получал катализатор: язвительность, злословие, остроумие, едкость, веселье, хулу, похвалу.

Довлатов был живой, чего не скажешь о большинстве из нас.

Сейчас он мертвый, что глупо. Хотя жил он хорошо, можно позавидовать, да и умер хорошо — в том смысле, что логично.

Сколько я за это время выслушал и прочел версий довлатовской смерти, из коих самая распространенная — оттого, что не требует умственного усилия, что укладывается в расхожий стереотип — пил от тоски на чужбине. А от какой тоски пьет весь ЦДЛ и еще несколько десятков миллионов? Довлатов пил и на родине, а возраст сил не прибавляет. Когда умер добивший себя алкоголем и наркотиками Чарли Паркер, врач, не знавший биографических данных, записал: возраст — 55–60 лет. Паркеру было тридцать пять. Можно себе представить, что наделала водка в Довлатове за четверть века.

Отчего пил — вопрос, как говорят в шахматах, некорректный: неверно поставленный, не предполагающий ответа. Сергей очень любил историю об известном американском прозаике, который возмущался постоянным вопросом к его коллегам — как вышло, что они стали писателями; он кричал: это бухгалтера надо спрашивать, как так вышло, что он стал бухгалтером. Сергей сказал мне как-то, что с питьем — то же самое: надо удивляться,

почему человек не пьет, настолько это ни с чем не сравнимое ощущение.

При всей этой тяге к погружению в безумие, Довлатов вообще был человек рациональный, практичный, даже педант, день его начинался со списка дел по пунктам с последующим вычеркиванием, и все мы изощрялись в издевательствах, предлагая пунктом четырнадцатым внести: записать пункт пятнадцатый. Так что, начиная очередной запой, Довлатов, конечно, вносил в некий свой реестр тяжелые последствия, четко осознавал их. Но это не останавливало. Точнее, останавливало, мешало, но только отчасти.

Что до чужбины, то Сергею в Америке нравилось. Плюс к его преданной любви к американской литературе, плюс к тому, что только здесь он утвердился как писатель, выпустив два десятка книг на двух языках, Довлатову тут нравилось по-настоящему.

Когда-то, сравнительно недавно, была такая популярная передача на радио «Свобода», 49-минутная американа, составленная из интервью, репортажей, коротких комментариев, музыкальных фрагментов — пестрая и динамичная. Все уже было готово к пробному выпуску, так называемому pilot'у — продумана общая концепция, выбрана главная тема, даже записаны отдельные куски — но названия не было. То есть, варианты, конечно, предлагались дюжинами — все не то. Появился Довлатов — он приходил на радио обычно два-три раза в неделю, участвуя в общей культурной программе «Поверх барьеров» и в персональной «Писатель у микрофона». Обещал тоже подумать, наглядно подумал и сказал: «Бродвей, семнадцать семьдесят пять».

Это было до обидного просто: назвать адрес редакции — Broadway, 1775.

Всегда кажется ответственным — придумать заглавие. На самом деле, это важно только в быстрой — газетно-журнальной — публикации, когда заголовок есть часть текста. На долгой дистанции он живет сам по себе, точнее, и не живет вовсе, превращается в сочетание букв и звуков, вполне бессмысленное. Взглянуть на отечественные газеты: в популярнейших любимое слово «комсомол» — ну и что? И раньше это значения не имело, и теперь.

Я как-то придумал название еженедельника, одного из тех, в которых мне пришлось работать вместе с Довлатовым, — «Новый Свет» — и страшно гордился его красивой многозначностью. Когда вышел первый номер, оказалось, что в китайской типографии перевернули клише, и заглавие можно прочесть, только держа газету наперевес перед зеркалом. И вообще издание

просуществовало восемь недель. А не гордись.

«Новый Свет» был кратковременным ответвлением от еженедельника «Новый американец» — вот это название принадлежит опять-таки Довлатову. Тут все оказалось куда более долговечным — и сама газета, и ее имя. Хотя в начале, в 80-м, это словосочетание — «новый американец» — выглядело не только претенциозным, но и попросту уводящим в сторону. Газету делали как раз те, кто не намеревался, строго говоря, становиться американцами — то есть ассимилироваться. Для того и затеяли русский еженедельник. Но выяснилось, что мы были одними из тех, кто — о том не подозревая — разрабатывал новую социокультурную концепцию Соединенных Штатов.

Делая основной упор на «новый», Сергей, конечно, не предполагал, насколько был прав, уверенно называя «американцами» нас, которые многим окружающим, да и самим себе, казались социальными инвалидами. Начать с того, что большинство собравшихся под знамя «Нового американца» — и прежде всего, главный редактор Довлатов — английским тогда владели в постыдной степени.

Это, кстати, главный побудительный мотив возникновения этнических бизнесов — будь то газета или химчистка. Или даже их экзотическое сочетание: в Нью-Йорке есть 48-страничный еженедельник, издающийся для нужд корейских химчисток города — по-корейски, разумеется. Я узнавал: для корейских прачечных — совершенно иное издание, ничего общего.

Этническая специализация — норма нынешней жизни; в газетных киосках сидят индийцы, медсестрами служат филиппинки, такси водят арабы и гаитяне (я однажды ехал с лакированным, как телефон, водителем по имени Жан Лафонтен). Основная объединяющая идея конца века — национальная — и разрушила нарядную утопическую концепцию «плавильного котла». Американский melting pot покипел-покипел, но сплава не вышло — так, недоваренный супчик, в котором каждый ингредиент легко различим. Самый ход жизни привел к той идее, которую теоретическая мысль подхватила, дав точное уродливое имя — мультикультурализм.

Сработал англосаксонский здравый смысл — тот самый, который действует, скажем, в составлении словарей. Язык живет сам по себе, а словарь призван не нормировать, а фиксировать. Вот так социология запечатлела истинное положение дел в обществе: этносы не сплавляются в качественно новое единство под названием «американский народ» — он уже существует как качественно новое единство в виде сочетания множества разных этносов.

Так что Довлатов верно придумал название «Новый американец» для нас и наших читателей, опасливо бродивших вокруг «плавильного котла», — хотя тогда это и представлялось тем, что именуется wishful thinking: стремлением выдавать желаемое за действительное. Интуиция в очередной раз Довлатова не подвела.

Наверное, это было в нем самое поразительное — интуитивное, звериное чувство языка и стиля. В присутствии Сергея приходилось соблюдать языковую дисциплину. Я даже замечал тогда, что говорю — для большего самоконтроля — короткими фразами: какими Довлатов писал.

Его-то предложения укорачивались прежде всего для того, чтобы повысить удельный вес каждого, чтобы мысль или образ не смешивались с другими, чтоб поставить их на некий пьедестал из заглавной буквы и точки. Это американская писательская техника, их школа — более всего, Хемингуэя, я думаю, хотя именно его Довлатов в зрелости не слишком чтил: объяснимое отталкивание после слишком сильного юного притяжения.

Фраза делалась короткой поневоле и оттого, что в ней не должны были встречаться слова, начинающиеся на одну и ту же букву. Об этом довлатовском правиле искусственного замедления письма посвященные (я в том числе) рассказали уже давно. Но надо бы в таком писательском самоистязании выделить одно — безраздельное, разнузданное торжество стиля. Ведь Довлатов, всегда и все писавший по фактической канве, без колебаний менял факт — самым вопиющим образом — если факт начинался с неподходящей буквы.

Понятно, что чаще всего насилию подвергались числительные и имена собственные. Указывать места не буду. В этом есть что-то доносительское — да и пусть исследователи сами потрудятся. Но Довлатову ничего не стоило заменить, допустим, Лондон на Париж, если в предложении необходимо было присутствие героя по имени Леонид — пусть даже таким образом Париж становился столицей Великобритании. Семидесятые менялись на шестидесятые, внося нелепость и анахронизм, и без подсказки никогда не догадаться, что все дело в соседнем предлоге «с».

Стилистическая правда была ему куда дороже. То же — в устных рассказах. Сергей много и охотно сочинял про знакомых. Причем я не раз наблюдал, как он рассказывал небылицы про людей, тут же сидевших, развесивших уши не хуже прочих, будто речь не о них. Об одном основательном, самодовольном человеке, с медленной веской речью, Сергей сообщал: «Веня мне вчера сказал: „Мы с Кларой решили… что у нас в холодильнике… всегда будет для друзей… минеральная вода“». Довлатов

соблюдал то правдоподобие, которое было правдивее фактов, — оттого его злословию верили безоговорочно.

«Фактические ошибки — часть моей поэтики», — важно произносил Сергей, хотя вообще-то литературоведческих терминов не употреблял и не любил, даже как-то раздраженно не любил. Ему, по-моему, не нравилась сама идея анализа текста — как попытка с заведомо негодными средствами. Он не раз говорил, что лучшая из мыслимых рецензий — та, в которой кратко пересказывается содержание, а в конце написано: автор редкостно талантлив, книга выше всяческих похвал и прочесть ее должен каждый.

Он хотел конкретности и сам предлагал ее. Этот стиль тоже был воспитан любовью и пристальным вниманием к тем писателям, чьими классическими книгами XX века можно пользоваться как путеводителями, справочниками, практическими пособиями. Сергея это приводило в восторг: как-то полтора часа он мне говорил по телефону о точности деталей в «Великом Гэтсби».

Стремление к внятной простой конкретности — и в мелком примере с наименованием радиопередачи «Бродвей, 1775». Проще некуда — но это именно то, к чему неукоснительно шел Довлатов. В известной мере, такой путь — тупиковый для прозаика его желаний и возможностей. Он выбирал кратчайшие пути — потому в гипотетической перспективе здесь не эссе, конечно, а очерк. Не случайно Сергей хоть и бранился и сетовал на растрачивание сил — но газетной журналистикой занимался увлеченно. В ней его привлекала возможность немедленного наглядного проявления профессионализма.

В «Новом американце» Довлатов любил быстро придумать текстовку к снимку, поменять рубрику, на ходу отредактировать заметку — в Америке он приучился с почтением относиться к ремесленным обязанностям, требующим изобретательности и мастерства. Довольный собой Сергей полувопросительно говорил: «Профессионал?!» Это у нас было чем-то вроде авгуровской переклички.

Довлатов уехал в эмиграцию, чтобы стать профессиональным литератором, и очень гордился, что стал им. Корона с властителя дум не падала, когда он склонялся над заурядной работой, постигнув науку получать удовлетворение и от публикации в одном из престижнейших журналов мира, и от сочинения заголовка радиопередачи. Не говоря уж о том, что во втором случае реакция была мгновенная и на родном языке. Довлатов говорил: «Вот получишь Нобелевскую премию, запрыгаешь от восторга, как таракан, по всему миру интервью дашь, но хочется,

чтобы об этом узнал Моня из магазина на 108-й».

Было еще чистое стилистическое удовольствие от достижения. «Бродвей, семнадцать семьдесят пять» — фраза звучала упруго и динамично, с четким джазовым свингом. Можно представить толстую негритянку, кричащую в микрофон этот текст, и рядом — свесившегося над саксофоном пепельного старика, и тощего, кол проглотившего, барабанщика с неразличимыми от скорости руками.

За почти двенадцать лет жизни в Нью-Йорке Сергей ни разу не был ни в одном музее и, похоже, искренне удивлялся — что там делать, но Нью-Йорк как столицу джаза изучил неплохо. Слышал живьем Диззи Гиллеспи, Эллу Фицджеральд, Дейва Брубека, Арта Блейки. Мы вместе ездили на летний джазовый фестиваль в Ватерлоо, Нью-Джерси, ходили на концерт в дом Луи Армстронга в Квинсе, где грациозно играли трясущиеся ветераны, смотрели фильмы о довлатовских любимцах — Чарли Паркере и Телониусе Монке, и Сергей потом рассуждал о соединении таланта с самоубийственным безумством. В августе 90-го Сергей мне подарил диск с записью «My Favorite Things» Джона Колтрейна, а через неделю она пригодилась: я начал с нее траурный финал передачи «Бродвей, 17 75».

В названии, придуманном Довлатовым, — цифры. И в них — типичный Нью-Йорк, с его номерными стритами и авеню, что кажется таким скучным поначалу, но оказывается таким удобным. Здесь господствует здравый смысл и первобытная простота. Занятно, что в этом самом городском из городов возвращаешься к Колумбовым ориентирам: в Нью-Йорке все соотносят себя со сторонами света — «на северо-восточном углу», «двумя кварталами южнее», «на западной стороне улицы». Построенный без лекала, умышленный хлеще Петербурга, мечта Малевича и Мондриана, Манхэттен вырастает из океанских просторов и пионерских прерий, и язык никогда не даст этого забыть.

Следопытский жаргон горожан восхищал Довлатова, потому что был так хорошо знаком по Сэлинджеру или Дос-Пассосу. Потому что это была точность — не столько факта, сколько самоощущения, самоутверждения в окружающем мире. Это он больше всего ценил у великих американцев, и еще, конечно, — юмор.

Юмор самого Довлатова, как и у них, прост: никогда не эксцентричный, без гротеска и гиперболы, без иронической натуги, по сути антииронический — сдержанный и достойный. Впрочем, все это можно отнести к его стилю вообще.

В прозе он такого достигал, в жизни — хотел бы, но мешал темперамент: русский литератор армяно-еврейского

происхождения — гибрид чудовищный. Пока, в ожидании личного самоусовершенствования, Сергей проявлял благородную сдержанность в манере одеваться. Он обожал покупать дорогие неброские вещи, но, появляясь в обнове, желал признания, намекал, поворачивался, поводил плечами, и, разумеется, получал что-нибудь вроде: «Хорошая на тебе курточка. Долларов сорок отдал?» Тогда наслоения цивилизации слетали: «Плебей! Ничтожество! Жалкий провинциал! Пятьсот пятьдесят на Мэдисон-авеню!»

В прозе Довлатов распускаться себе не позволял: только короткий всхлип о заблудшей жизни — очень редко, строго дозируя. Ни напора на читателя, ни претензий на особую духовность, ни учительства, ни пафоса. Все словарные значения термина «understatement», фирменного знака американской словесности — «преуменьшение», «сдержанное высказывание», «умалчивание» — подходят ко всем элементам довлатовской прозы.

В нем это было с самого начала, но до превосходной степени развилось в последние нью-йоркские годы. И, переписывая свои прежние рассказы так, чтобы слова во фразе не начинались с одной буквы, Довлатов по ходу снижал и градус письма — сам при этом возвышаясь. Как бы осмеял Сергей этот незатейливый каламбур! Но он и вправду рос, словно тянулся за небоскребами, среди которых научился жить, выглядеть и быть своим — за те годы, которые разделили очень нового американца и солидного американского писателя. Первый раз я увидел Довлатова зимой 78-го на юго-западном углу Бродвея и 56-й стрит. Последний — летом 90-го, в квартале к северу, возле здания по адресу Бродвей, 1775.

Повторю: Довлатову в Америке нравилось по-настоящему. Он очень точно понял здешнюю неоднозначность, множественность, он безошибочно выискивал себе ниши, вроде ежесубботней поездки на блошиный рынок, где самозабвенно рылся в барахле, одаривая потом знакомых дурацкими диковинами, потом тех же знакомых выставляя с его же диковинами еще большими дураками.

Вот этого тоже не хватает. Оказывается, как ни обидно быть отрицательным персонажем — а каким же еще? — персонажем быть лестно. Попадая в поле зрения довлатовской прозы — устной или письменной, — ты вовлекался в высокий круг обращения, иначе не достижимый. Высота задавалась его мастерством.

Я уверен, что понятно уже многим, а пройдет еще несколько лет, и всем — надеюсь, всем — станет понятно, что в нашей

словесности утвердился писатель с почти безошибочным чувством языка и стиля. Там, где совпадают замысел и исполнение, — повесть «Заповедник», рассказы «Представление», «Дорога в новую квартиру», «Юбилейный мальчик», «Чья-то смерть и другие заботы», все знаю едва ли не наизусть, — невиданное с XIX века благородство простоты.

Самое глупое — усмотреть в довлатовских сочинениях выхваченные куски жизни. Убедительнее всего — попробовать и увидеть, насколько невозможно оркестровать даже самое простое интервью. Довлатову воспроизведение жизненного потока удавалось звериным чутьем, убедительно и органично, ни у какого деревенщика нет такой достоверно прямой народной речи.

В прозе Довлатова — та самая «неяркая степная красота», над клишированным образом которой мы так часто с ним хихикали. Он как-то позвонил мне утром в половине седьмого: «Ты подвергнешь меня насмешкам, но я два часа повторяю фразу, которую сочинил: „Завтра я куплю фотоувеличитель"». Суть восторга и теперь ускальзывает от меня, но я точно знаю, что ему, Довлатову, было известно больше, чем мне.

Вероятно, как раз оттого, что ему было известно что-то большее, при Сергее невозможно было произнести банальность. Насмешка становилась язвительной, переходя в издевательство и поношение. Я сейчас с ужасом вслушиваюсь в свою неаккуратную, одновременно стертую и всклокоченную речь: Довлатов бы не простил.

Распускаясь, я не ценю и утрачиваю дружеские, приятельские связи и думаю, что Довлатов именно в силу понимания вкуса и стиля людских отношений не допустил бы ссор, которые сам не спровоцировал, он помирил бы.

Он ухаживал за женщинами — тоже осознанно, литературно, с убеждением в том, что они ответят и воздадут. И они отвечали и воздавали. Донжуанская репутация тешила Довлатова, но он не позволял себе похвальбы, с увлечением рассказывая, как был бит малолетними хулиганами на глазах барышни (довлатовское словечко). Он, с его внешностью латиноамериканской кинозвезды, при росте 196 см, мог себе такое позволить.

Ему прощалось это. Как и все. И сейчас я думаю — ну, ладно, тогда, при звуках сирены, понятно, но почему сейчас? Талант — да, конечно, за дар простишь и прощал все: два года вражды, с его стороны несправедливой, изощренной, талантливой, довлатовской, — это не просто. Но почему так остро не хватает Довлатова теперь, когда на полке все его тексты, их можно перечитывать, и я перечитываю, о ком из нынешних такое можно сказать?

Зачем человек, когда есть его книги? Текст ведь всегда лучше его сочинителя. Да, наверное, лучше: спокойнее, предсказуемое, безопаснее — но не полнее. Не сложнее. Не многообразнее. Не восхитительно противоречивее.

Нет Довлатова, одергивающего: «Зачем ты это сказал?» В таком смысле он в собственный текст не помещался, ему было дело до всякого текста, ошибок он не спускал. Он различал людей по способу словоизъявления, то есть чисто эстетски, никак не совпадая со своим авторским персонажем, идеализированным интеллигентом с рефлексией, которого Довлатов на самом деле носил в себе лишь в небольшой степени, но пестовал, зная, что так принято, надо. Точное слово об уличном бродяге (сказанное им самим) было ему ценнее музея Метрополитен, в котором он так ни разу и не был.

Не хватает Довлатова смешащего: он был мастером острой беседы, бормотал, проигрывал в споре, забавно терялся в стандартном разговоре, но царил — рассказывая. Взяв слово, он не уступил бы его Свифту. Лицевые мышцы мои — застоялись.

Слух — тоже, мне нужны ежеутренние звонки Сергея с неизменной несуразностью: «Привет, это Довлатов», как будто можно было спутать с кем-нибудь этот голос.

Нужно, чтобы возникал литературный праздник, свершавшийся всегда, когда появлялся Довлатов: очередное открытие, вроде обнаруженных смешных слов Смердякова.

Нужно, чтобы он следил за каждым моим словом, чтобы не позволял произносить «пара дней», чтобы со всей серьезностью устраивал долгие дурацкие дебаты об ударениях в словах «торты» и «тефтели», чтобы было на кого равняться в этаком соревновании.

Мне нужно это. Речь не о «делать жизнь с кого», с Довлатова делать жизнь нельзя и не надо ни в коем случае, — но его не хватает, не знаю, сумел ли хоть что-то объяснить. Если нет — опять-таки довлатовская насмешка: те нюансы человеческих чувств, постигнутые и описанные им в рассказах «В гору» или «Блюз для Натэллы», мне, значит, в словах недоступны.

Значит, просто не хватает его, причем не хватает куда больше, чем я предполагал. И чем дальше, опасаюсь, страшусь думать, — тем больше.

Александр Генис [190]
На уровне простоты

Третьего сентября 1991 года исполнилось 50 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Это только так говорится, на самом деле — «исполнилось бы». Довлатов не дожил до своего первого юбилея, к которому он, надо сказать, готовился. По-моему, это был его первый день рождения, который он собирался отмечать соответственно.

К своему пятидесятилетию Сергей загодя приготовил книгу избранных рассказов. Лена, его жена, даже набрала и вычитала этот необычно толстый для довлатовских книг том. Туда вошло все лучшее — «Представление», «Юбилейный мальчик», «Лишний», «Дорога в новую квартиру» и многое другое. Ради этого сборника Сергей даже расформировал свои старые книжки — изымал рассказы из других циклов. К пятидесятилетию он хотел издать свое малое собрание сочинений. Эта книга задумывалась как отчет перед собой и читателем. Назвать он ее хотел так: «Рассказы». Мы с Петром Вайлем еще его отговаривали — мол, такое заглавие годится только для посмертного издания. Накаркали.

Эта книга наконец вышла в свет, как он и мечтал, в России. Его рассказы обошли лучшие советские еженедельники и толстые журналы. Довлатова цитируют то там, то здесь. О нем пишут. Идут разговоры об экранизации каких-то произведений.

Появилось и множество его книг. Изданы они неважно, с ненавистными Сергею опечатками, но в каждой из них есть строчка, которая окупает все огрехи. Та строчка, где указан тираж. Одна книга — сто тысяч, другая — даже сто пятьдесят.

Довлатов всегда стремился именно к этому — обрести *массового* читателя. Он был искренне убежден, что пишет книги для всех, что только такие книги и стоит писать. Довлатов не доверял эзотерическому творчеству, морщился, встречая заумь, невнятицу, темное многословие в чужом тексте. Сам Сергей, жестоко высмеивая интеллектуальный снобизм, писал предельно просто.

Проза Довлатова действительно образец той массовой культуры, которую так часто презирают в России. Я бы сказал, что это самый достойный образец из всех, которыми может похвастаться сегодня русская литература.

Уверен, что Сергея такой титул — автор массовой литературы — нисколько бы не покоробил. Он любил быть

популярным, был им и будет.

Однако я отнюдь не считаю, что судьба довлатовского наследия в России складывается удачно и безмятежно. Уж в слишком бурные времена возвращаются его книги на родину. Сейчас, когда и Солженицын с Бродским лежат на прилавках, камерного Довлатова легко не заметить. В эпоху, когда бестселлерами стали первые полосы газет, скромные — я еще скажу, что вкладываю в это понятие, — сочинения Довлатова могут потеряться в потоках уже не гласности, уже в свободной речи.

Впрочем, любому писателю трудно конкурировать с политикой в критические минуты истории. Но в случае Довлатова есть своя специфика, еще и своя особая опасность: его могут принять за другого. Несмотря на всю простоту, а вернее, именно благодаря этой простоте, в Довлатове могут увидеть писателя не того уровня, которого он заслуживает. Его могут принять за юмориста, за хохмача, за эстрадника, за незатейливого обозревателя нравов. Могут перепутать его простоту с поверхностностью. Могут не заметить в его поверхностности продуманной позиции. Могут эту позицию счесть безответственностью. Могут назвать безответственность легковесностью и бездумием. Короче, к Довлатову могут отнестись невсерьез. И если это случится, то русская литература — не в первый, между прочим, раз — пройдет мимо важного и яркого явления, заслуживающего пристального внимания, глубокого изучения и сочувственной благодарности.

В таких случаях говорят: история рассудит. Но Довлатов, не доживший до своего пятидесятилетия, уже принадлежит истории. Преждевременная, такая недавняя смерть Довлатова превратила нас, его современников, в тех самых судий, которым литература доверяет выносить свой вердикт.

Близкие отношения критиков с писателем всегда затрудняют задачу анализа: тут слишком легко перепутать жанр — впасть в мемуарное настроение. Это и понятно — довлатовские сочинения рождались на наших глазах, замыслы обсуждались за дружеским застольем, мы были первыми читателями его произведений. В такой ситуации непросто добиться необходимого разделения между текстом и его автором, а значит, ответить на вопрос — кто такой Довлатов и что он принес в русскую *словесность*?

Это непросто еще и потому, что для тех, кто его знал, сильно искушение свести творчество Довлатова к искусству устного рассказа. Однако стихия устной речи, великим мастером и ценителем которой он был, имела лишь вспомогательное значение в его прозе.

Довлатов действительно внимательно прислушивался — именно прислушивался — к происходящему вокруг него. Много раз я встречал в его рассказах фразы, выхваченные из нашего быта. Однако за этим документальным повествованием, за этим псевдокопированием речевой реальности стоял особый художественный принцип, превращающий анекдот или зарисовку в законченное литературное произведение высокой пробы.

Можно назвать этот принцип эстетством. Да-да, Довлатов исповедовал известную концепцию — искусство ради искусства. Впрочем, в его случае лучше сказать: слово ради слова.

Сергей очень любил говорить о литературе — но о чужой, а не о своей. Тем не менее можно попытаться реконструировать его художественные принципы. Для этой цели идеально подходят «Записные книжки». Он издавал их три раза, каждый раз дополняя и перерабатывая. Так что в конце концов все эти «Соло на ундервуде» и «Соло на IBM» превратились в документ, в свидетельство, в интимный писательский дневник. Давайте же заглянем в довлатовские записные книжки: «Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик — на уровне сердца, ума и души. Писатель — на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди».

Себе Довлатов всегда отводил самую скромную роль — роль рассказчика. Однако это уничижение паче гордости. Вся его проза была скрытым вызовом двум другим литературным позициям — прозаика и писателя. То есть, по сути, всей русской традиции, которую Довлатов глубоко ценил, но которую он отказывался продолжать.

Довлатовская литература проста, но простота эта обманчива. Хотя проза его прозрачна, эффект, который она производит на читателя, загадочен. Я еще не встречал человека, который мог бы отложить книгу Довлатова, не дочитав ее. Но мне приходилось встречать немало и тех, кто, проглотив тоненькие книжки Довлатова, с разочарованием констатировал: занятные пустяки.

Что ж, и в самом деле — пустяки. Из сочинений Довлатова не вынесешь выводов — тут уж точно не написано ни «как надо жить», ни «ради чего надо жить». На месте ответов у Довлатова только вопросы: «Что все это значит? Кто я и откуда? Ради чего здесь нахожусь?»

Чуть ли не в каждом рассказе мы встречаем это «жалкое» место, этот знак обязательной интеллигентской рефлексии, связывающий авторский персонаж Довлатова с российской традицией. Но самого автора эти вопросы не связывают: он и не обещал на них отвечать.

В этом отказе я вижу бунт Довлатова против литературы идей, против любого метафизического подтекста, против глубины вообще. Довлатов скользил по поверхности жизни, принимая с благодарностью и доверием любые ее проявления. Он стремился, так сказать, очистить словесность от литературы. В результате этой операции у него осталась чистая пластика художественного слова.

Простота Довлатова — не изначальна, она является результатом вычитания, продуктом преодоления сложности.

Об этом говорит еще одна фраза из «Записных книжек»: «Сложное в литературе доступнее простого».

Простое — по Довлатову — это сама жизнь, отраженная в словах. Слово и есть главный герой Довлатова. К приключениям слов сводится и весь сюжет его рассказов. В принципе ему не важно, о чем рассказывать. У него почти не остается самой категории содержания, разве что какой-нибудь мелкий анекдот, забавный случай. Это даже не фабула, а ее тень, предлог к повествованию. Поэтому Довлатов из раза в раз повторял одни и те же истории — о себе, своих родственниках, своих друзьях и коллегах. Суть их давно известна его читателю, но важно не что, а как рассказано. Это как музыкальная, конечно же джазовая, пьеса, в которой разворачивается, аранжируется, трансформируется одна и та же тема. Темой этой была жизнь Довлатова, все остальное — искусство выбирать и расставлять слова в нужном, единственно возможном порядке.

Именно в этом искусстве — вся соль. Довлатовский сюжет нельзя пересказать. Ей-богу, сегодня есть очень немного русских писателей, которым можно сделать подобный комплимент.

Сергей не раз пытался осмыслить природу своего ремесла. И каждый раз у него получалось что-то странное. Ну, например: «Чем дальше я занимаюсь литературой, тем яснее ощущаю ее физиологическую подоплеку». Или так: «Талант — это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее — симулировать».

Грубое снижение темы тут оттого, что Довлатов переносит литературу в иную категорию. В России всегда существовало привычное сочетание — «литература и искусство». У Довлатова литература и есть искусство — важное, принципиальное различие, которое подчеркивает интуитивную, если угодно — животную природу словесного дарования. Если литература умеет говорить, это еще не значит, что она способна к самопознанию. По Довлатову, искусство рассказчика сродни другим искусствам, не владеющим членораздельной речью, — музыке или живописи.

Рассказы Довлатова не объясняют жизнь, а покорно следуют за ней. Нет у него того момента истины, который позволяет

критику анализировать «идейную» позицию автора.

Именно поэтому у Довлатова еще нет своего места в современном литературном процессе. Он сознательно отрекся от позиции, и в свое время великой позиции, писателя-идеолога, писателя-учителя. Далек он и от авангардистской литературы, хотя и прошел через ее школу. В ранних произведениях у Довлатова были и гротеск, и фантастика, и опыты ритмической прозы, и ломаные, как у Платонова, фразы, вроде: «я отморозил пальцы ног и уши головы». Но в зрелом творчестве Довлатов нашел свой, пока одинокий в России, путь — путь к литературе как словесному искусству.

Не меньше, но, главное, — не больше.

Никто не снится мне чаще Довлатова с тех пор, как он умер. Я так привык к этим снам, что уже считаю их чем-то вроде потустороннего телефона.

Внятного, правда, в них немного. Прямо спросить даже во сне неудобно, а вскользь — не получается. Только однажды Сергей сказал, что там как в армии — веселого мало, но жить можно.

Незадолго до смерти Довлатов рассказывал, что ему звонил один внезапно спятивший знакомый. Его увезли в сумасшедший дом, и он обзванивал оттуда приятелей, объясняя, что попал на тот свет. Сергей, конечно, опешил и, не зная, что сказать, спросил, как там. «Хорошо, — отвечает, — но тут про вас все спрашивают».

За что купил.

Но у меня и сны — заурядные, без мистики. Недавно, например, о новых книгах речь зашла, а я не успел сказать про его трехтомник. Проснулся и со злости на себя стал читать прямо с первой страницы. А то я его раньше не читал. Но залпом Довлатов производит оглушительное впечатление. И неудивительно, если учесть, сколько у него пьют. Если цедить понемножку, то можно еще придираться — тут лишняя слеза, там абзац, здесь — даже целый рассказец. Но трехтомник, как пальто, — жать не должен.

Пальто сюда попало из другого контекста. Как-то зимой, что важно, Довлатов собирался за границу и расспрашивал, где ему получить нужные бумаги. Я нудно объяснял. Раздраженный перспективой Сергей с претензией говорит: «Ну и как же я найду в толпе просителей чиновника?» — «В американской конторе, где нет гардеробов, он один будет без пальто», — сказал я, и впервые удостоился довлатовского одобрения.

Второй, и последний, раз это случилось летом. Закуривая (тогда мы еще оба курили), я пожаловался, что в жару карманов

мало — спички некуда деть, а зимой карманов так много, что их и не найдешь.

Подозреваю, что в этих незатейливых репликах Довлатову понравилась наглядность.

Этим качеством литература склонна пренебрегать, потому что оно ей с трудом дается. Попробуйте пересказать своими словами инструкцию к будильнику. Не удивительно, что если в Америке и не хватает писателей, то только тех, кто умеет писать внятные памятки для эксплуатации видеомагнитофонов.

И ведь действительно, изложить на письме правила игры в дурака сложнее, чем описать пейзаж.

К слову, о пейзажах — мой сын, которого мы с женой обязываем читать по-русски из педагогических соображений, недавно решительно предпочел Довлатова «Отцам и детям». У Тургенева, говорит, абзац прочту, в окно посмотрю, и все надо начинать сначала. А вот Довлатова читает безропотно — видимо, нашел, за что зацепиться.

Я так себе это и представляю: летишь вдоль страницы, пока не наткнешься на что-то выпирающее. Причем замаскировано это архитектурное излишество так, что различить можно только на ощупь.

У нас в школе перила были такие, с шишечками. Издали будто гладко, но съехать не дай бог.

Деталь у Довлатова иногда достигает такой наглядности, что становится жестом. Вот, например, мой любимый эпизод: герой пьет из горлышка на заднем сиденье, а таксист ему говорит: «Вы хоть пригнитесь». — «Тогда не льется».

То ли это уже не литература, то ли еще не литература, но забыть эту сцену уже нельзя.

Мне кажется, что из всех искусств Довлатову ближе всего скульптура. Не театр, несмотря на диалоги, и не кино, несмотря на все остальное. Динамики он, в сущности, избегал. Да и сюжет тут не разворачивается, а рассказывается. Книга — портретная галерея, где автор бредет мимо персонажей. У каждого из них есть прошлое, но не будущее. Этакий сад камней.

Скульптура — медленное искусство.

Ну какой может быть импрессионизм в мраморе? Поэтому Довлатов и говорил, что предпочел бы свои рассказы высекать на камне. Не чтобы навечно, а чтобы не торопясь.

Недавно в гостях я видел новую картину Олега Целкова: обычный уродец в зеленой гамме. А когда сели за стол, оказалось, что в другом ракурсе бутылочный череп светится золотом. Этот ободок, как я понимаю, уже не часть замысла, а лихая добавка, знак усердия, материализация вложенной энергии.

Избыток мастерства есть и у Довлатова. В его предложении слова крутятся до тех пор, пока они с почти слышным щелчком не встают на свое место. Зато их потом оттуда уже не вытрясешь.

Признак хорошей скульптуры — сдержанность, чтобы ничего не торчало. Статуи Микеланджело можно скатывать с горы.

Мука для критика — округлая ладность довлатовской прозы. Ее можно понять, но не объяснить. Чем сложнее автор, тем легче его толковать. На непонятных страницах есть где разгуляться. Зато простота неприступна, даже та, что пишут на заборах.

Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При этом одни подбирают шифр, другие — отмычку, третьи орудуют фомкой.

Вот как, например, объяснил Сергея его тезка (они и внешне похожи) Каледин: «Сергей Донатович Довлатов умер осенью девяностого. Официальная причина смерти: сердце. Я же думаю, дело проще: одиночество, тоска, ностальгия. Все как обычно. Как у всех больших писателей».

Что ж тут такого уж обычного? Набокова ностальгия не смогла добить до 78 лет, Бунина до 83. Пожалуй, для русских писателей, особенно больших, ностальгия безопаснее пребывания на родине.

С одиночеством тоже не все просто. Сергею его скорее недоставало — по эту сторону от Евтушенко он был самым популярным в любой компании.

А вот тоски хватало, но не больше, чем положено. Довлатов писал: «Мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков. Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу. Потому что результат всего этого — литература».

Нам с Вайлем эту же мысль он излагал короче: «Хоть бы зубы у вас заболели, что ли».

Калединская триада, как и другие универсальные банальности — от «ум, честь и совесть» до «трех звездочек», — годится на все случаи жизни. Но именно поэтому к Сергею она подходит не больше, чем к другим. Что, конечно, не меняет дела. Неуловимость довлатовского образа — лишь частный случай общей загадочности человеческой натуры; необъяснимый остаток — это ее золотой запас.

Сергей панически любил порядок. Он оправдывался тем, что безалаберность для пьющего человека — непозволительная роскошь. Но еще больше он наслаждался всем, что нарушает порядок.

Довлатов любил слабых, с трудом терпел сильных, презирал

судей и снисходительно относился к самым диким выходкам, включая и собственные.

Видимо, он считал, что стоит только начать отсекать необходимое от ненужного, как жизнь сделается невыносимой. Ему страшно понравилась фраза Платонова: «Без меня народ не полный».

Подозреваю, что втайне Довлатов, как все писатели, мечтал о гармонии, но понимал, что родиться она может только из противоречий.

Все его сочинения — это оправдание постороннего. Успех тут зависит от чувства меры: максимум лишнего при минимуме случайного.

Надеюсь, в этой формуле достаточно безответственности, чтобы она не превращала Довлатова в героя гипотезы.

Впрочем, Сергей начал первый — он ведь авансом со всеми сквитался, вставив нас в свои сочинения. Каждый раз, встречая свою фамилию в его записных книжках, я поражаюсь предусмотрительности Довлатова: он заранее раздал критикам роли — персонажи в поисках автора.

Елена Скульская[191]
Перекрестная рифма

Письма Сергея Довлатова

— В этих письмах нет ничего личного, кроме стиля, — так, мне кажется, сказал бы о них Сергей Довлатов, разрешая публикацию.

И вот спустя одиннадцать лет[192] мне передают коробочку темного цвета шиповника, на боку которой нацарапано «Лиле Скульской»: флакончик духов с запахом розового гербария, прибывший с оказией или какой-нибудь посылкой; о таких посылках рассказывал мне Довлатов в середине семидесятых: как в Ленинграде, на конспиративной кухне пошире собирались тайно избранные опалой, держались отрешенно и страстно, читали стихи, грозили кулаком милицейским окнам, хотели голодать и гибнуть (да так оно и было), а потом вносили ту самую американскую посылку — бедствующим друзьям — с дорогим барахлом (я представляла себе деревянный ящик из детства, вечно не хватало терпения полностью отодрать крышку, она вырывалась, гвоздями прикусывала пальцы, протиснутые за киевскими яблоками), и медленно, как во сне, все кидались к ней, запускали руки… начинался целый пир персонажей; он не написал о нем позже, не написал, думаю, от той последней жалости, которую всегда помнил и которой всегда успевал пощадить. Итак, темная коробочка, золотая рыбка из стаи — рябью поперек течения — без записки, письма, через одиннадцать лет молчания вдруг оказалась в руке. Я писала тогда книгу об отце, вспоминала в ней Довлатова и поясняла его словом «писатель», потому что еще ни одной публикации его не было в нашей стране.

«В 1975 году, незаметно, будто отлучились врачи с праздника к больному, перегрызли в редакции «Советской Эстонии» горло писателю Сергею Довлатову…»

После ТОЙ редколлегии[193] Сергей шел по огромному, ему под стать, редакционному коридору, отстранял нас руками, как в фильмах знаменитость отстраняет в аэропорту, что ли, назойливых репортеров, и шептал каждому: «Отойдите, это может быть теперь небезопасно», притом он продолжал смотреть прямо,

в некий объектив, пуская слова осторожно вбок, чтобы не повредить строгости снимка. Дальше, выходя уже из Дома печати, подошел к Михаилу Бушу (он есть в одном из рассказов Довлатова, его никак не принимали на работу в нашу газету): «Миша, я надеюсь, мое изгнание хоть вам принесет пользу. Освободилось место… Вас должны взять…» Сказал без иронии и даже горечи, что почти непредставимо, если не признать за ним доброжелательность как безумную норму.

Через несколько дней после того, как Сергей уехал из Таллинна в Ленинград, пришла открытка:

> *«Здравствуйте, Лиля!*
>
> *Пятый день я в Ленинграде. Занимаюсь ремонтом. Местные «пикейные жилеты» вникли в ситуацию и утверждают, что за книжку обидно, прочее — ерунда. Работой пока не интересовался. У Джойса один рассказ начинается так: «Он вернулся назад той же дорогой, которой ушел…» С другой стороны, Томас Вулф назвал один из своих романов «Домой возврата нет». Короче — неопределенность».*

И тут же приписка моему отцу:

> *«Дорогой Григорий Михайлович! Хочу попрощаться с Вами. Спасибо за доброе отношение. Простите за возможные хлопоты. Желаю Вам здоровья, мужества и вдохновения. Ваш С. Довлатов».*

И еще через несколько дней:

> *«Милая Лиля! Я направил в Таллин десяток писем. Отреагировали только Вы. Я не сержусь, я беспокоюсь, что письма могли не дойти.*
>
> *Понемногу начал сочинять, ходить по редакциям. Люди здесь смелее, циничнее. У каждого неприятностей втрое больше, чем у меня.*
>
> *Поэтов развелось ундициллион (см. энцикл.). Самый талантливый <…> и тот никуда не годится.*
>
> *Все свои решительные действия я отложил до той поры, когда будет готова злополучная экспертиза*[194]*. Знатоки утверждают, что резко отрицательной она не может быть, а если окажется таковой, ее надо доказательно опровергать в Ленде и Москве. А нет, то и подальше.*
>
> *Мне показали новые стихи И<осифа> Б<родского>.*

Запомнились такие строчки:

Я твердил, что лес — это часть полена,
И зачем вся дева, ведь есть колено…

Встретился мне худощавый Ширали, который уверял, что сочиняет теперь просто, впал, как в ересь, в неслыханную простоту. И в доказательство громко выкрикнул следующее:

Вот летает птица моль
И садится на бемоль.

Я немедленно с ним попрощался.

Трусливого, угодливого, мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша холуйская редколлегия, я никогда не забуду и не прощу. Нужно время.

А о главном я рассудил так: «Ты мечтал о великом романе? Напиши его. Вряд ли тебе это удастся. Но сама попытка написать великий роман в моральном отношении равна великому роману».

Вот так гордо звучит мое кредо!!!

Пожелания литературного неудачника с большим (12 лет) стажем:

Будьте здоровы, пишите, страдайте и верьте своему сердцу!»

Так началась наша переписка, длившаяся с перерывами на встречи три года — до 1978[195].

Зажав в кулаке темную душистую коробочку, я перечитала три страницы из своей книжки, посвященные Сергею, строчки из его писем, и решила пока оставить все как есть, а когда рукопись опубликуют, то послать ее ответным знаком дружбы и памяти. Через год пришло известие о его смерти.

Незадолго до отъезда за океан, в Ленинграде, Сергей привел меня в гости к своим знакомым — художникам. Огромные, как понятно в мастерской, окна были неожиданно затенены шелковыми шторами с вытканными на них трепещущими и сытыми многоцветными фазанами. Один фазан стоял на блюде на дубовом боярском столе, мы так и не узнали, настоящий он или только прототип шелковых — из папье-маше; Сергей говорил:

— Уезжать нельзя. Любое наше движение здесь, малейшее шевеление, хоть пальца на ноге (для какой-то наглядной

честности он выдвинул ногу из-под стола, хозяева перегнулись и тоже рассмотрели ботинок) …громом отзовется на Западе. А что бы на Западе ни делать, как ни шуметь, здесь и шепота не вызовет!

Сергея слушали, как больного ребенка, нудно повторяющего свое «пить, пить, пить».

Мы вышли из боярской трапезной, на ближайшем углу, в рюмочной, отвернувшись и пересчитав мелочь, Сергей выпил полстакана портвейна, а меня решено было накормить, и я согласилась, проклиная вечную свою прожорливость. В подвальной и полутемной столовой двигались с подносом, я потянулась за кошельком, бормоча какие-то правильные и веселые слова, и тут же получила:

— Прекратите! Не до такой же степени!

Но сам он есть не стал, вторых 67 копеек на комплексный обед у него не было.

Вечером ехали в троллейбусе домой к Довлатовым. Освободилось место. Сергей предложил мне сесть. Я попросила: сядьте лучше вы, а то невозможно все время разговаривать с задранной головой. «Вот вам не нравится мой рост, — ответил он, — а один знаменитый наш современник сказал мне недавно: если бы я, Сережа, был таким высоким и красивым, то все ваши беды мне казались бы игрушечными».

На плите стояла кастрюля с супом, в нем лежала громадная, во все кастрюльное дно, кость. Непомерную эту кость пытались уместить в моей тарелке, что было невозможно, суп выплескивался по бокам; опять обсуждали отъезд; Лена снимала плащ и говорила тихо, без раздражения: «Хуже уже быть не может, значит там точно будет лучше».

В августе 90-го моя книжка была в гранках[196], и еще можно было что-то вычеркнуть или дописать, но можно было и теперь оставить все как есть: тексты Сергея, его письма — не менялись. А еще через год следовало бы вычеркнуть только одно слово «писатель» — об этом уже знали все.

А пока, в 1975—76-м:

> *«Дорогая Лиля!*
>
> *Спасибо за внимание и дружбу. Московское письмо, которое я алчно распечатал, денег не сулит. Хотят использовать на радио мой bestseller в «Юности». В такой же ситуации алма-атинское радио заплатило 200 рублей. Хаос и беспорядок…*
>
> *Новостей мало. На работу не берут. Первые заработки ожидаются в сентябре. Зато сочиняю много,*

от отчаяния. Написал мстительный рассказ о журналистах «Высокие мужчины». Заканчиваю третью часть романа. Ну и кукольную пьесу с лживым названием «Не хочу быть знаменитым». Она лежит в трех местах. Пока не вернули. Не могу удержаться и не напечатать для Вас финальную песню оттуда:

За право быть самим собой
Отважно борется любой,
Идет на честный бой, лица не пряча,
Чужое имя не к лицу
Ни моряку, ни кузнецу,
А каждому свое, и не иначе.

Нет двойников, все это ложь.
Ни на кого ты не похож,
У каждого свои дела и мысли,
Не могут даже близнецы
Похожи быть, как леденцы
Или как два ведра на коромысле.

Наступит час, в огонь и дым
Иди под именем своим,
Которое ты честно носишь с детства,
И негодуя, и любя,
Мы вспомним ИМЕННО тебя,
И никуда от этого не деться!

Будем сочинять, держаться. Нужно гордиться тем, что тебя считают достойным пострадать за свои взгляды и тот проблеск дарования, которым тебя наградил Господь».

И почти сразу, не дожидаясь:

«Здравствуйте, безмолвная Лиля! Чего наглухо замолчали? Пришлите хотя бы два многоточия. Если не ответите, я буду думать, что Вы стали партийной журналисткой и чураетесь меня. Изображу в романе!
Приезжайте в Ленинград. Покажу адскую богему.
Все будет хорошо. Или наоборот».

И чуть спустя:

«Милая Лиля! Вопреки обыкновению, реагирую не сразу, погрязнув в запое, контрах и литературе.

На совещании Северо-Западной молодежи я непременно появлюсь где-то в кулуарах, как ветеран этих мероприятий и как наглядное живое свидетельство всей их практической бесперспективности.

Я закончил новую вещь («Невидимая книга») — безусловно лучшее из того, что сочинил. Это совершенно документальный материал (журнально-издательская, литературная обстановка), то, что на Западе обозначают — nonfiction. В плане же синтаксиса я хотел добиться некоторого эффекта от усредненного неокрашенного языка. Мне давно кажется искусственной гальванизация народных, профессиональных и даже жаргонных речений.

Я жду от этой вещи большого морального удовлетворения.

Из ленинградских новинок обратите внимание на книгу Инги Петкевич «Большие песочные часы». Это такая петербургская вещь с благородным налетом бреда. Любопытно, что там выведен Валерий Попов, очень хороший молодой писатель и <…> действительно красивый парень.

Прочтите. Прочтите и «Лаборантку» Игоря Ефимова. Это скучно, но здорово.

Большой привет всем, кто меня помнит и не проклинает».

Моему отцу всегда хотелось, чтобы у меня были нормальные детские увлечения: спорт или хотя бы марки. Марки покупали долго, заманивая. Потом поднесли красивейший, из кожи, альбом; надлежало разместить коллекцию по темам. Я засунула липкие, тонкие кусочки бумаги — держать их в руках было неприятно, как живую бабочку, ухваченную пальцами за слишком мягкое и податливое тело, — в прозрачные полочки, а те марки, что не вместились (может, и самые ценные), скомкала и спрятала за диван. Ничего не вышло…

Спустя много лет Сергей Довлатов укорял меня:

— Лиля, горба у вас нет, точно нет, я вижу. Вы не хромаете, глаза не косят — это для поэта большая потеря. Ну хоть спивались бы вы, что ли, или шумно развратничали. Не оправдывайтесь. Что-то надо придумать, А пока вы живете в четырехкомнатной квартире, пьете по рюмочке дорогой коньяк и ходите на свидания с мужчинами в синих бостоновых костюмах

— ничего не выйдет.

Как ни странно, в эксцентричной шутке грустного пророчества оказалось больше, чем иронии.

Я очень долго дорожила уютом и благополучием. Мне казалось, устроенность позволяет не тратить себя на второстепенное. На самом же деле благополучию нужно либо отдать всю жизнь, либо разом и вдруг оно теряется — легче заниматься главным от этого не становится, но как-то опрятно все расставляется по местам, и видишь, что устроенность была незаслуженной и не тебе предназначавшейся.

Со своей же жизнью, мне кажется, Сергей поступал, как ребенок с тем альбомом для марок, — все, что не годилось в литературный текст, комкалось и отбрасывалось (может быть, самое ценное!). А еще точнее — попросту не случалось. А если и происходило нечто побочное, то и это хотел он подчинить законам своего текста, чтобы и воспоминания о нем, слухи, сплетни — все было им же написано и отредактировано.

В Таллинне он придумывал себе название. Писатель — дерзко, прозаик — заносчиво, литератор — для знаменитостей, буду называться «автор текстов». Так обозначив себя, он и пришел в Союз писателей с рукописью «Зоны». Тогдашний литературный консультант, поэт и прозаик, жал руку Сергею и произнес в конце похвальной речи:

— Я верю, Сергей Донатович, настанет день, когда мы с вами сможем разговаривать на равных!

Сергей выслушал с благодарностью, пересказал с отвращением.

В Союзе писателей готовился вечер молодых литераторов. Сергей обратился к тому же консультанту:

— Я надеюсь, что наряду с… — шел длинный перечень имен, — и я в некоторой степени могу представлять…

Его выпустили, отрекомендовав залу начинающим юмористом.

Волновался он ужасно, до сонливости, бедной улыбки, сосредоточенно-отсутствующего взгляда. Потом вышел с каким-то лиственным шумом, задевая ряды, на сцену и безошибочно — как это делает ритм в стихах — произнес:

— Я был женат два раза, и оба раза счастливо.

Зал замер.

— Как? Вас не интересуют подробности моей личной жизни? Тогда о юморе. Самый смешной рассказ, который я прочел во всю мою жизнь, — «Бобок» Достоевского, но его написал не я.

Такие фразы не всегда рождались у него от легкости жеста, быстроты отскока, скорее вымучивались и долго обдумывались,

примерялись на знакомых, звучали в первом чтении в письмах и лишь затем переходили в прозу.

Впрочем, вот как мы познакомились. Субботним вечером я заглянула к своим приятелям. Заглянула случайно: спустилась на этаж с другой вечеринки, где, скажем, не хватило вилки или тарелки. Хозяйка пошла к буфету, я потянулась за ней в комнату. Горела одна настольная лампа, и та прикрытая шалью, будто клетка с птицами. Довлатов сидел на диване, на него был надвинут длинный стол — барьер, чтобы близко не подходили. Увидев меня, он заслонился рукой и прокричал:

— Господи, зачем вы стреляли в Ленина?!

Но чаще между ним и фразой пролегала застенчивость, многословная вежливость, хочу написать: робость, растерянность, та беззащитность, которая мгновенно улавливается собеседником, скорым на расправу. Получается чуть ли не князь Мышкин? Но как он мстил самому себе за все слабости, садясь за письменный стол! Как сжимал пропасть между собой и литературой, — резче, ироничней, беспощадней, чем все это могло быть.

(Однажды, лет семь-восемь назад, Евгений Рейн вызвался представить меня знаменитому московскому поэту, с которым вместе приехал в Таллинн.

— Знакомьтесь, замечательный поэт Елена Скульская.

Знаменитость сначала обвела взглядом своих провинциальных поклонниц, затем тускло скользнула по мне и наконец мрачно произнесла:

— Я не знаю такого поэта.

Рейн отреагировал, не дожидаясь точки:

— Помилуйте, так ведь и она вас видит впервые!

Мне кажется, вот такой легкости, блеска требовал от себя Довлатов и часто страдал от затянувшейся паузы, от того, что все смешное было им как бы подстроено, придумано, подставлено и только трагичное и горькое всегда выходило естественно.)

1976—77:

> *«Милая Лиля! Получил Вашу неинтеллигентную записку, Начинается она словами: «…гриппую, вот и пишу». Болейте почаще, раз вы такая («вы» — с маленькой буквы), раз это стимулирует нашу переписку. Я думаю, неплохо бы сказался левосторонний паралич. А может быть, Вы левша? Тогда правосторонний.*
>
> *Я работаю в «Костре», где официально являюсь единственным порядочным человеком. Мой гл. редактор*

(морской писатель Слава Сахарнов) публично и доказательно объявил, что дельфины лучше и важнее людей. Не говоря уж о Лохнесском чудовище… Есть и другие. Есть старая дева (Вы бы ей не понравились), которая, упрекая меня на редсовете, сказала: «К нему заходят люди!» Тогда я возразил: «Кому же заходить, вшам» Она обиделась и справедливо решила, что я ее обозвал вшой.

Из Ленинграда все куда-то едут. Все, кроме алкоголиков. Это отражается на моем стиле жизни. Я очень много пью водки и вина.

Писатель <…> принес нам рассказ из дореволюционной жизни. Там сказано: «В комнату вошла горничная. Густые каштановые волосы выбивались из-под ее кружевного ФАРТУКА». Он перепутал с чепчиком.

А поэт <…> долго рассказывал в нашем отделе, как у него в нужную минуту не оказалось презерватива. Затем ушел, оставив стихи. Они кончались словами: «Адмиралтейская игла сегодня будет без чехла». Как Вы думаете, это подсознание?

У меня все хорошо. Главная неприятность моей жизни — смерть Анны Карениной».

«Милая Лиля! Известия от Вас на фоне мрачной жизни так неожиданны в своей чудной дурашливости. Порочные ланиты воскресшего Буша — целую.

Я необычайно деловит, угрюм, трезв. Работаю в «Костре», но все еще не оформлен. Мелких рецензий опубликовал повсюду четыре штуки. В «Слоне» — маленький рассказик. Что же касается серьезных произведений, то Вильям Федорович Козлов, нынешний зав. в «Авроре», реагировал на них однозначно и мужественно. Он физически выбросил девять моих рассказов в помойный бак! Клянусь, это правда. Утешаю себя тем, что в этот же бак полетел роман Сосноры о Екатерине II (652 стр.).

Главный поэт Ленинграда <…> (он же городской сумасшедший) избрал новую тактику. Он восклицает: «Я — посредственный, советский литератор! Отчего бы меня не издать?!» Правда, иногда он забывает и внятно говорит: «Очередное заседание Пен-клуба посвящено мне».

Занимаюсь английским языком. Девушку завижу — отворачиваюсь.

Множество планов, о которых при встрече.

С алкоголем завязал. Для Вас готов сделать исключение. Не нужно ли чего в Ленинграде? Вам надо бы приехать сюда! Тут Эрмитаж, знаете ли…»

«Милая Лиля! Спасибо за гостинец и добрые пожелания. Фляжка прибыла в разгар запоя. И кажется, мы напугали с братом Вашу приятельницу. Мы ехали со студии, украшенные реквизитом. Это от скудости и безумия…

Мне посвятили такие стихи:

ПЕСНЯ РУЛЕВОГО

Возвратите мне душу, Летучий Голландец!
Сер Ван Страатен, тошно молчать у руля!
Этот чертов Мальштром и морей этих танец
В этой стуже всегда где-то возле нуля…

И так далее.

Как вы думаете, тартуская студентка, что это может означать?

Пишите мне обязательно, хотя бы коротко. Вы мне чрезвычайно симпатичны в пору глубокого разочарования и апатии.

Хорошо, если бы Вы приехали. Я натру пол…»

Сергей написал, что увидеться нужно непременно. Я поехала. Лето стояло прогорклое и пыльное, в солнечной паутине, как на чердаке. Сергей был весел маскарадной утренней усталостью, повторял, что я человек невежественный и уж коли явилась всего на один день, то мы сейчас же устроим настоящий праздник искусств: вот наберем еды, поедем на дачу к Андрею Арьеву, будем говорить о литературе, сядем на поляне — «Завтрак на траве».

В квартире лежали зеленые бутерброды, изумрудные, с переливами, покрытие их называлось рокфором, так во всяком случае уверяли вчерашние гости, которые и нанесли эту зеленую слякоть в дом, намазали ею хлеб, но сами есть категорически отказались.

«Тем лучше, — кивнул Сергей Лене, — тем лучше. Теперь и траву не придется придумывать».

Ехали долго в электричке, пиво плескалось в молочном бидоне, трясло; Сергей сидел, прислонившись к окну, стукался о

него, окунался лбом в стекло, в сосны, бегущие к насыпи с подобранными подолами.

Существовал какой-то особый умысел тоски для него в этой поездке со мной — в общем-то чужим человеком, — надо было быть с близкими, раздражаться, может, на них срывать неудачу, выкричаться, но не терпеть эту жизнь вполголоса, не быть неприхотливым в ней, как в еде, не помогать, не оберегать, не бояться обидеть собой…

Сергей протянул мне рукопись «Невидимой книги». Там — несколько абзацев о моем отце. Сергей предложил вычеркнуть их, если они покажутся мне обидными.

> «Я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы мог дать полезный совет.
>
> Григорий Михайлович сказал:
>
> — Вам надо покаяться.
>
> — В чем?
>
> — Это неважно. Главное — в чем-то покаяться. Что-то признать. Не такой уж вы ангел.
>
> — Я совсем не ангел.
>
> — Вот и покайтесь. У каждого есть в чем покаяться.
>
> — Я не чувствую себя виноватым.
>
> — Вы курите?
>
> — Курю, а что?
>
> — Этого достаточно. Курение есть вредная, легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите… Покайтесь в туманной, загадочной форме…»

Так разговор выглядит теперь, в окончательной редакции. А тогда, в рукописи, в 1977-м, отец говорил:

«— Нужно пойти прямо к Кэбину. Первому секретарю ЦК. Он человек глупый, но добрый…»

Через пару лет именно эти слова прозвучали по «Свободе», передававшей главы «Невидимой книги». Забавно: сначала следовало волноваться из-за того, что отец назвал Первого Секретаря ЦК КП Эстонии глупым, а потом — с приходом Перестройки — из-за того, что назвал его добрым. Наконец, и вовсе это стало неинтересным. Довлатов написал новый диалог, почти не стареющий.

Но в электричке. Еще были живы настоящие разговоры с отцом, их прогулки по Вышгороду (не то чтобы Сергей как-то отдельно и лирически их выделял. «Понимаете, Лиля, все выстраивалось замечательно. Идем неторопливо по Вышгороду, два писателя, беседуем, естественно, о литературе: Чехов, Джойс,

то-се, колышется листва. И вдруг, вообразите, из кустов эдакий разбухший микроб, сизый, полная гадость, и — ко мне: «Серега, ты что ж это, и опохмеляться не будешь?!» Позор. Невозможно быть писателем в маленьком городе» и т. д.), и жив был тот страшный день после редколлегии, когда они с отцом бесконечно перебирали безнадежные варианты спасения…

Но отцу не предложил прочесть, тот бы только пожал плечами и улыбнулся: «Пишите как вздумается». А именно дал возможность решать и вмешиваться мне. И не потому только, что отец составлял бóльшую часть моей жизни, не потому только, что Довлатов сам умел плакать от грусти и любви, не потому только, что в его собственной жизни было не так уж много святынь, которые невозможно разрушить словами…

«Милая Лиля! Получил Вашу досужую записку. Спасибо. А теперь позвольте сказать Вам резкость. В течение двух лет мы переписываемся. Вы отвечаете мне произвольно. То есть, в зависимости от неких косметических причин. Я же нуждаюсь в таллинских связях и дорожу ими. Образ жизни моей исключает переписку в ритме спертого дыхания. А значит, либо мы дружим (пионерский термин, извините), либо нет.

Что касается стихов. Поэзия есть форма человеческого страдания. (Гертруда Довлатов в разговоре.) Не уныния, меланхолии, флегмы, а именно — страдания. И не в красивом элегантном смысле, а на уровне физической боли. Как от удара лыжами по голове. То есть альтернатива: плохая жизнь — хорошие стиха. А не: хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант (это были бы так называемые литературные способности), а талант плохой жизни. Не будет лыжами по морде, стихов не будет. И человек станет автором книг: «Биссектриса добра», «Гипотенуза любви», «Сердце на ладони», «Солнце на ладони», «Чайки летят к горизонту», «Веди меня, Русь», «Дождь идет ромбом», «Верблюд смотрит на юг» и т. д.

Не сердитесь.

Моя притеснительница в «Костре» вновь себя уронила. Заявила в беседе среди прочих доводов:

— У него ж опыта нет.

Повторите вслух.

А в Пушкинских Горах я слышал, как девушка орала в трубку:

— Алка, здесь совершенно нет мужиков. Многие

женщины уезжают, так и не отдохнув…

И последнее. Дружба между юношей и девушкой, дружба, а не шашни, величайшая редкость. В наши преклонные годы — тем более. Не лишайте меня этого удовольствия.

Приезжайте в Ленинград. Живите у нас в плохих условиях. Берите командировку в Нарву с заездом сюда».

«Здравствуйте, милая Лиля! Что, напугал я Вас своими обидами?..

Фраза Достоевского, насмешившая три поколения журналистов, — буквальна. Не «каторга духа», одиночество и тому подобные элегантные мучения, а реальная баланда. Путей искать не стоит. Честного и доброго они сами найдут.

Только не думайте, что в разговоре о «плохой жизни» я имел в виду финансовое бессилие. Тут мы все живем одинаково. Плюс-минус шесть котлет значения не имеют. Речь шла о гражданском поведении, оптимизме, слепоте и дурости.

Но… обо всем этом еще поговорим.

Дела мои обстоят… как бы это выразить. Представьте человека, который обокрал сберкассу. И еще не попался. То есть дела его как бы хороши. Вот и у меня такая же история.

Господь Вас прости, если считаете жизнь Тютчева благополучной. (Заработки, действительно, были хорошие.) А страшные бабы? А пожизненный конфликт с Россией? А карликовый рост? И т. д. Может быть, Вы какого-нибудь другого Тютчева имеете в виду? Какого-нибудь Феликса Тютчева? Анатолия?

Известил ли я Вас, что нашел себе псевдоним? По-моему, замечательный:

ШОЛОХОВ-АЛЕЙХЕМ

Пишу я много, и все не то, что надо. Но об этом — при встрече… В Ленинград не собираетесь?

Мне прислали фантастическую американскую одёжу. В ответ на это у меня выскочил передний зуб.

Целую Вас и люблю».

Еще в Таллинне. Звонок поздно вечером:

— Вообще-то следовало звонить ночью, но я не утерпел. Весь

день читал гранки своей книги. Один раз рассмеялся и два раза заплакал…

Потом встретились в городе, на площади Победы.

— Вокруг меня происходит что-то странное. Мне советуют поменьше болтать. Но, — оглянулся, взмахнул рукой, как памятник, — но я пришел в этот мир, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ!

«Милая Лиля! Спасибо Вам за интерес к моим занятиям. С романом уже все ясно. В третьей части нужно переписывать финал, страниц шестьдесят-восемьдесят. Сейчас лень, а в мае я займусь.

Рукопись эта (целиком, 3 части) давно уже находится в «Сов. писателе». А. Урбан написал положительную рецензию. Все очень медленно тянется и, конечно, заглохнет, однако есть иллюзия жизни, стимул…

Сейчас у меня появилась одна идея. Это будет лучшее из того, что я сочинил. Только нельзя спешить. Этим я все порчу. Смотрю на мир глазами человека, упавшего в лестничный пролет.

Мне кажется, основные нынешние лит. тенденции — документ и свободная манера. Их надо увязать. Далекие тенденции рождают поле, напряжение.

Вот я написал роман о литературе. Испортил его какими-то жалкими модернистскими шрами в финале. Там есть и хорошие куски: ипподром, журналистка, Ритин дневничок, сочинительство. Как выразился один мой товарищ: «Честность у тебя — почти сюжет».

Есть и очень плохие. Весь финал, кроме дневника. Но это была школа. Школа свободной манеры. Школа интеллектуального комментария. Пусть мои соображения наивны (это так), но раньше я вообще их избегал.

Интеллект — такой мощный фактор прозы, что его совершенно необходимо подключить. Пусть вышло короткое замыкание, дальше будет лучше. Еще эрудиция в запасе (которой нет, но будет).

И хватит об этом.

Живу я сносно. В апреле меня погонят из «Костра» за благородство и аполитичность. В перспективе — дубляж и кукольный театр. Столица Удмуртии — Ижевск, а также Ульяновск и Иванова заинтересовались моей кукольной драмой. Но все это адски долго тянется. Подал заявку в Детгиз. Поставят в лучшем случае на 79 год

(зима). Друзья разъезжаются. Шлют портки и ботинки.

Много разных новостей. Сообщу их устно, когда (когда?) увидимся.

А теперь один существенный вопрос: ненавидите ли Вы статую «Лаокоон»?»

«Дорогая Лиля! Простите за молчание. Молчал я в силу кутерьмы, разъездов и потрясений. Приеду — расскажу. Когда приеду — все еще не ясно. Поездка эта — звено в цепочке дел. Ваше приглашение ценю. Ольман (солнце!) тоже звал когда-то. Выберу — где этичней и лучше. Спасибо.

Беккет — серьезный человек. Знаете ли, что он начинал как секретарь Джойса? Джойса прочли в ИЛ? У Беккета замечательная внешность. Похож на люмпена, худой, с белыми глазами. Лицо порочного волка.

Приставкина читать не буду. Я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров. Выразить мое отношение к этому делу трудно и небезопасно. И я сочинил конспиративную притчу. Для Вас. Ответ на все доводы читателей Приставкина.

СКАЗКА О ГОЛУБОЙ ИНФУЗОРИИ

Жил-был художник Долмацио. Раздражительный и хмурый. Вечно недовольный. Царь вызвал его на прием и сказал:

— Нарисуй мне что-нибудь.

— Что именно?

— Все, что угодно.

— То есть как?

— Все, что хочешь. Реку, солнце, дом, цветы, корову… все, что угодно. Кроме голубой инфузории.

— Ладно, — сказал Долмацио. И удалился в свою мастерскую. Целый год пропадал. За ним послали.

— Готова картина?

— Нет.

— Но почему? — воскликнул царь.

— Я все думаю о голубой инфузории, — ответил художник, — только о ней, о ней, о ней, о ней… Без инфузории картина мира — лжива. Все разваливается. Я плюю на такое искусство. (Дальше идет нецензурная

брань).

Надеюсь, милая Лиля, Вы издадите первую стоящую книгу стихов в Таллине. В нашем огромном Таллине. Искренне желаю Вам этого».

«Не обижайтесь! Сумбур в переписке вызван моим хаотическим бытом. А хаос — объективными причинами. Увидимся — все расскажу. Все, что Вы говорите о Джойсе, мне понятно. И верно, как минимум, в стилистическом аспекте. Тут же и Хлебников вспоминается. И даже Платонов, растворившийся в Марамзине и его клике. Но Хемингуэй плоский. Фолкнер объемный, но без рентгена. А у этого — душераздирающие нравственные альтернативы. Иезуит, национальное самоопределение, хуе-мое…

Жизнь чрезвычайно обострилась, и скоро все решится.

Наш паровоз, вперед лети,
В означенную даль.
Другого нет у нас пути,
Чего немного жаль.

Всех целую и люблю».

«Все идет нормально. Много хорошего, много плохого. Пропорции соблюдаются. Сочинил документальную книжку о журналистах. Много знакомых Вам имен. Не принимайте интервалы общения за спад интереса, дружбы и благодарности к Вам.

Передавайте привет <…>. Пишет и хорошо. Хуже, если б воровал».

Таллинн — это и была первая, настоящая эмиграция. Постоянный привкус фальши и множество мелких удобств, от которых невозможно отказаться. Невыбранные люди, но не как случается в коммуналках или купе поездов, а со взглядом, застегнутым на все пуговицы, с недоразвитым жестом. Топографическое отчаяние. Добровольная несоразмерность. И самое главное — нужно понравиться.

Сергей служил в отделе информации «Советской Эстонии», где контрольные шедевры выглядели примерно так: «Удивительный подарок сделали строители IV СМУ жителям II микрорайона: на 3 месяца раньше срока открылся новый магазин

АВС-5». По желанию добавлялось: «Есть особая магия цифр». Называлась же заметка непременно: «И мастерство и вдохновение». Если автор возражал, мол, такой заголовок был уже в предыдущем номере, его мягко шлепали по руке: «Ничего страшного, это Пушкин, это не стареет».

Через коридор лежал отдел культуры, на который Сергей посматривал, но куда его пока не пускали. Контрольные шедевры здесь были сложнее и богаче, что-нибудь вроде: «Мы сидим на даче писателя, такой же добротной и поместительной, как и сам хозяин…»

И вдруг предложили написать положительную рецензию на спектакль Русского драмтеатра «По ком звонит колокол?».

Мария говорила по-испански, Роберт Джордан в минуты задумчивости переходил на английский, а Пилар на собрании хватала молодых за грудки с криком: «Плыла земля? Отвечайте, плыла?!» В конце все сгорали в символическом огне, похожем на пионерский костер, и выходили оттуда обновленной скульптурной группой из рабочего и колхозницы.

Сергей написал о Хемингуэе. Написал с той прощальной перронной нежностью, когда любезное лицо уже осталось за ворохом чужих платков и шапок, и кажется, ничего не хочется больше, как только вернуться назад, хотя и ясно, все кончено, и притом навсегда.

Середина семидесятых. Разлюбленный Хемингуэй.

Рецензия вызвала шок и восторг. Сергею позволили быть талантливым, и он принял разрешение с признательностью, словно получал выигрыш по лотерейному билету. Благодарил и кассиршу, и контролера, и улыбался зевакам, стараясь и их чем-нибудь одарить и обрадовать. Что из этого вышло — известно.

Последние письма:

«Милая Лиля! Пишу Вам редко и лапидарно. Дело в том, что моими письмами интересуются разные люди. Ощущение — как будто читают из-за плеча. Тут не до откровенности. Тем не менее: а. Я жив. б. Сочиняю в. Обильно и невкусно ем. г. Широко известен среди неизвестных писателей. д. Много пью (исключительно за чужой счет). е. Познакомился с теледикторшей, которая уверена, что есть самостоятельный американский язык. Похож на венгерский, ж. Читаю поразительные книги… и т. д.

Сообщил ли я Вам мой новый псевдоним:

Михаил Юрьевич ВЕРМУТОВ

Моя жена с дочкой Катей уезжают. Это уже вторая из моих жен покидает страну чудес. Видно, я таков, что они бегут-бегут прочь и остановиться не могут…

Поверьте, Лиля, вы еще будете мной гордиться. Все к этому идет».

«Ваше письмо благополучно дошло. Надеюсь, будут доходить и последующие. Хотя почта работает скверно. Иностранная еще хуже. Что поделаешь?..

То, что выгнали с работы — замечательно. Какой из меня на старости лет — рабочий?! Завязываю с этим делом. У меня проблемы заработка нет. Есть проблема алкоголизма. Мои долги — следствие пьянства. Без шнапса я трачу на себя двадцать пять рублей в месяц. Не больше. Есть какие-то халтуры. Какие-то бандероли… Есть четыреста друзей и приятелей…

Обстоятельства развиваются так стремительно, что думать о заработках, калориях, полуботинках — безумие.

У Лены и Кати все хорошо. Они в Риме. Купаются в море. На днях едут в Бельгию. Оттуда в Париж. Мы четыре раза говорили по телефону. Узнал много любопытного…

Очень хочется в Таллин. Постоянно что-то мешает. Подготовил для Вас несколько замечательных историй.

С книжкой поздравляю. То, что Вас издали — большая радость для меня…

Я поэзией не занимаюсь и люблю целиком только двух поэтов — Бродского и Мандельштама. Еще мне нравятся несколько стихотворений Вийона, Пушкина + «Медный всадник», отдельные строфы Ахматовой, Языкова («Не вы ль услада наших дней…»), Тютчева («Эти бедные селенья…»), Пастернака («Когда случалось петь Дездемоне…»), Вяч. Иванова («Когда ж противники увидят…»). И кажется, все. Все мои любимые стихи я готов воспроизвести за один час…

Книжку пришлите обязательно!

В Ленинград не собираетесь? Тут рядом поселился <…>. Он называет бормотуху коньяком, а коньяк — отравой. Достигая, таким образом, полного блаженства. Истинно литературное отношение к жизни. То есть слово как бы важнее предмета…

Лиля! Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо патетическая. Любой дружелюбный жест волнует

меня чрезвычайно. Этим я, как правило, и ограничиваюсь.

Спасибо за все. За добрые слова и приглашение. Все помню…

И если жизнь — выявление опытом путей добра и зла, то я к чему-то пришел. Думаю, не к разбитому корыту. Хотя толстею, седею, зубы начисто вываливаются — голубые, розовые, беж…

Наши письма в общем-то лишены содержания. Они — лишь сигнал приязни. Попытка сохранить температуру отношений до будущей встречи».

«Милая Лиля! Спасибо за книжку. Автографом хвастаю.

Моя же книжка вышла черт знает где. Жена и дочь уехали черт знает куда.

Я не пью. Немедленно напишите ответ. А то у меня случится запой.

«Гетсби» — один из самых любимых моих романов. Я бы их так расположил: «Деревушка» Фолкнера, «Преступление и наказание» (угадайте, кто автор), «Портрет» Джойса, «Гетсби», «Путешествие на край ночи» Седина, «Арап Петра Великого», «Гулливер», «Бовари»… а дальше уже идет всякая просто гениальная литература. Пропустил «Милого друга», «Мастера и Маргариту» и «Воскресение». И «Постороннего» Камю.

Я ношусь по инстанциям, оформляю документы. В Таллин приеду обязательно. А Таллин без Вас — это Лайде, а не Таллин. Значит, встретимся.

Вот еще что забыл сказать. Загадка, тайна «Гетсби» в достижении большого эффекта исключительно малыми, невидимыми средствами. Такой стилистикой владеет любой наш коллега по «Советской Эстонии». У коллег стилистика даже обильнее и прекраснее.

Посылаю Вам единственную цитату, которую выписал за всю мою жизнь. Лилька, задумайся! И «приходи в ужас»:

«…Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего

внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала…» (Пастернак)».

30.05.1978:

«Милая Лиля! Есть оттенок чеховской драматургии в нашей переписке. Происходит что-то важное, а мы обмениваемся репликами, как два участника ЛИТО.

Теперь, бля, о Лермонтове. Во-первых, исказили хрестоматийную цитату. Надо: «Есть речи — (Вы пропустили тире) значенье темно иль ничтожно, но им (а не ей, как у Вас) без волненья…» и т. д. Но это мелочная снобистская придирка. Дальше. Подобные «речи» в стихотворении Лермонтова — образ, фигура. Даже некий синдром. Сам же он изъяснялся довольно внятно. Нет? Если обнаружите у Лермонтова строчку ничтожного значения, я буду абсолютно раздавлен. А если уж долю безвкусицы («необходимую») (Е.С.), то я откажусь от намерения эмигрировать и остаток дней (дней восемь) посвящу апологетизации безвкусицы. Надену малиновые эластиковые дамские брюки, вышью на жопе Христа, вытатуирую на лбу слово «Евтушенко» и сфотографируюсь группой у памятника «Русалка».

Лиличка. Целую Вас.

Хотелось бы кончить могуче, эпохально, роково. Как-то обобщить жизнь. Лиля! Все — прах, тлен и суета, как выразился один таможенник, просматривая антикварные книги моего отбывающего друга — библиофила…»

Недавно мой друг, уезжая в Америку, на проводах-поминках оговорился спьяну: «Все мы умрем своей жизнью!»

Сергей Довлатов сказал мне как-то: «Я только очень боюсь за вас: а вдруг вы проживете всю жизнь в этом городе, в этой газете…»

Только кажется, что получится целый венок сонетов. Жизнь довольно быстро запахивается в перекрестную рифму. Хотя еще некоторое время жмется и передергивается, как в любимом рассказе Довлатова «Бобок».

Таллинн
1992

Нина Аловерт[197]
Нью-Йорк. Надписи и фотографии

Сергей Довлатов надписывал свои книги друзьям и знакомым с охотой и без малейших затруднений. Почти все посвящения, которые мне приходилось читать, остроумны и смахивают на экспромты, хотя, как я знаю, большая их часть тщательно обдумывалась заранее.

По автографам Довлатова на подаренных мне книгах можно судить не только о галантности автора, но и — до некоторой степени — о стиле отношений в среде нью-йоркской русскоязычной эмиграции в 1980-е годы. Речь идет, разумеется, о художественной интеллигенции, то есть о людях свободных, мало кому в мире подходящих, но и не слишком доступных, профессий. Поскольку обращены эти маленькие, чаще всего шутливые, послания ко мне, без моей персоны в рассказе тоже не обойтись.

Итак, надпись первая — на «Невидимой книге»:

«О! Если б мог в один конверт
Вложить я чувства, ум и страсти
И отослать его на счастье
Милейшей Нине Аловерт!..
Тогда бы дрогнул старый мир
И начался всеобщий кир!

15 ноября 79. New York. С.Д.»

«Кир» и без пожеланий Довлатова охватил все слои богемно-художественной интеллигенции, широкий поток которой хлынул в Нью-Йорк в 1977-79 гг. Несмотря на неустроенные, мягко говоря, житейские проблемы, настроение у всех — близкое к эйфории: мы — в Америке, мы — свободны… Вот немного еще повеселимся, и весь цивилизованный мир — у наших ног. «Кир» идет по каждому поводу, а поводом служит любой предлог, например, отсутствие очередей и разнообразие этикеток в бесчисленных винных лавках, «ликер-шопах». Но дело даже не в обилии и дешевизне выпивки. В частных домах (иногда — в галереях) открываются выставки русских художников, читаются стихи и, что редкость в любые времена, проза. Каждый божий день — куда-нибудь толпой, затем — к кому-нибудь завершать это дело праздником. И каждый знает о себе достоверно: он —

единственный, ему уготована исключительная судьба!

На одном из таких сборищ я и познакомилась с Довлатовым, о котором в Ленинграде знала понаслышке.

В апреле 1979 года на квартире у милейшей Татьяны Ретивовой (дочь эмигрантов «первой волны», родилась в Америке) в большом лофте (обширное, со снятыми перегородками, помещение в доме) европеизированного нью-йоркского района Гринич-Виллидж мы собрались на встречу с авторами парижского журнала «Эхо», издававшегося Владимиром Марамзиным. Из Парижа прилетели Олег Целков и Александр Глезер. Рядом с ними сидел милый скромный юноша Эдик Лимонов. Прочитал свой рассказ, кажется, под названием «Красивые девушки со мной не е…» (извините). Во всяком случае эта фраза в рассказе постоянно возникала. Выслушали мы его без раздражения, скорее — веселясь. Бурное и скандальное будущее многих присутствующих было впереди. Художественная нервность в ту пору еще не переходила в неврастению.

Довлатов в тот день читал свои «записные книжки», которые потом опубликовал под названием «Соло на ундервуде». Читал он с какой-то неуловимо агрессивной интонацией, вероятно, волновался и заранее готовил себя к отпору. Тогда я и сделала его первые фотографии (одна из них воспроизведена в первой книге питерского трехтомника, другая — в настоящем издании).

Сама я приехала в Америку осенью 1977 года, перед этим в России поменяла много профессий, снимала, в частности, балетные спектакли и актеров. В Нью-Йорке я почти сразу возобновила эту практику. И американских актеров и соотечественников я запечатлевала там, где заставала: в мастерской, на лестнице, в парке, во время публичных выступлений. Я решила: раз уж держу фотоаппарат в руках, то почему бы не оставить достоверное свидетельство о таком удивительном явлении, как русское зарубежье? Ведь когда-нибудь насильственно разъятая на части русская культура начнет рассматриваться как единое целое! Тогда мне и в голову не могло прийти, что мои снимки понадобятся в России при нас, при нашей жизни.

Нью-йоркский культурный ажиотаж конца семидесятых открыл и некоторые реальные перспективы. Появилась, например, газета «Новый американец». Она начала выходить в 1980 г. Ее финансовым директором стал Борис Меттер, главным редактором и центральной творческой фигурой — Сергей Довлатов. В газете в разное время сотрудничали Евгений Рубин, Наталья Шарымова, Александр Батчан, Петр Вайль, Александр Генис, Алексей Орлов, Лев Штейн, Любовь Федорова, Лена Довлатова… Я работала в

газете с первого номера как театральный (преимущественно — балетный) критик и как фотограф. Денег мы почти не получали.

«Новый американец», тем не менее, имел шумный успех. Это была газета «третьей волны», газета, выражающая ее чаяния о новой свободной жизни, но и не останавливающаяся перед соблазном эпатажа взглядов бывших советских граждан. Этим, по-моему, она нравилась им еще больше. На свободе не страшно взглянуть на свой быт, на свое существование как бы со стороны.

Все мы помнили, что такое «колонка редактора». Довлатов начал писать в подобной «колонке» вещи немыслимые для читателей, привыкших к «значительности» безликих, клишированных сообщений первых полос советских газет. Главное в его манере — это была интонация, основанная на не подлежащем сомнению доверии к читателю, интонация человека, с которым не стыдно поговорить о любом занимающем сегодня твое воображение предмете. В том числе о полнейших пустяках, о мелочах эмигрантского быта. Только Довлатов мог открыть очередной номер, скажем, рассуждением о нью-йоркских тараканах. В результате и те, кто восхищался его «колонками» (таких все-таки было большинство), и те, кто возмущался ими, одинаково спешили утром в киоск в день появления нового выпуска (газета была еженедельником). Впрочем, обо всем этом можно составить достаточно полное представление по довлатовскому «Ремеслу», а читатели этой книги найдут обширные свидетельства об особенностях довлатовской журналистской манеры в «Марше одиноких».

Приблизительно через два года в редакции разразился грандиозный скандал, и Довлатов ушел из газеты. Виноваты, я думаю, были все участники этой драмы амбиций и взаимного непонимания. Следствием этого раздора стало стремительное изменение направления газеты и… прекращение ее существования. Отпочковавшиеся или вновь возникшие издания на исчезнувшего «возмутителя спокойствия» уже не походили. Более поздние газеты и журналы стремились и стремятся угодить «своему» читателю. «Новый американец» выражал точку зрения — во всяком случае, чувства — его создателей, а тем самым и жизнь русского человека за рубежом, ее нерв.

Крушение еженедельника стало весьма ощутимым доказательством нашего общего неумения находиться друг с другом в нормальных деловых отношениях. Свободная жизнь развивала у нас поначалу склонность к «свободному» и категоричному неприятию чужих мнений и доводов. Я с огорчением убедилась на своем личном опыте, которым не могу гордиться, что все мы рухнули в Нью-Йорк как бы с разных

планет, у каждого были свои табу и заповеди, с которыми мы носились, ни на кого не обращая внимания. Я уже не говорю о вещах, как нам казалось, элементарных — неумении вести бизнес, etc… В общем, относительно самых существенных механизмов американской жизни мы долгое время оставались в инфантильном неведении.

Радость открытия нового мира с начала восьмидесятых пошла на убыль, рушились приятельские отношения, начались разочарования друг в друге, крупные ссоры по мелким поводам. Богемные связи распадались, новые, не столь огромные, как вначале, компании создавались чаще всего на частной основе…

Естественно, пока я сама не ушла из «Нового американца» летом 1981 года, я снимала все, имеющее для газеты значение события: переезд в новое помещение, празднование годовщины существования, саму редакционную жизнь (часть снимков этой поры публикуется в настоящем издании)…

Но вернемся к надписям. В первый же год работы в «Новом американце» мы с Сергеем успели и подружиться и поссориться. Так что, когда у Довлатова был издан «Компромисс», я не ждала, что он мне книгу подарит. Поэтому я послала по почте автору чек, желая книгу купить. В ответ я получила чек обратно — вместе с надписанным «Компромиссом»:

«Пусть соткан я из многих гнусных черт,
Но разве столь похож я на ханыгу,
Чтобы подруге Нине Аловерт
Продать за деньги собственную книгу.

С.Д.»

В начале восьмидесятых многие из нас, употребляя заветный оборот Чичикова, стали утверждаться «твердой стопой на твердом основании». Тексты Довлатова появились не только на русском, но и на английском языке. И не по мановению волшебной палочки, а во многом благодаря рассчитанным усилиям самого автора. Я тоже подписала договор на книгу «Барышников в России», начала печататься в американских журналах. Постепенно те, кто упорно продолжал заниматься своим делом, увидели и результаты трудов. Довлатов никогда не только не завидовал успехам коллег, а, напротив, как-то даже гордился ими и подчеркивал это. Его надписи восьмидесятых годов стали спокойными, дружескими:

«Нина, «Наши» — это не только семья, наши — это все милые и симпатичные люди, начиная с тебя» (на книге «Наши»).

Или:

«Эту книгу старый ферт
Дарит Нине Аловерт…

С любовью. С.Д.»

(на втором издании «Соло на ундервуде»).

«Заповедник» надписан моей матери, литературоведу Елене Александровне Тудоровской. Ее Довлатов очень уважал, постоянно говорил мне; «Надо приехать к тебе в гости, когда тебя нет дома. Поговорить с мамой о литературе и прошлом. Не то умрет старуха, а я не успею все спросить».

Мама умерла в 1986 году. Довлатов ее со мной хоронил.

Теперь у них обоих свободное время — вечность. И гуляют где-нибудь на Елисейских полях, не торопясь разговаривают о литературе…

«Иностранку» Довлатов писал и публиковал частями в газете «Панорама» (Сан-Франциско), затем издал отдельной книгой. Долго не хотел мне дарить, все канючил: «Зачем тебе? Не читай, книга плохая…» Подарил, наконец, с вежливой надписью:

«Милой Нине Аловерт с наилучшими пожеланиями».

А внутрь вложил записку: «Книга — говно, следующая будет лучше».

И вот, следующая надпись — на сборнике рассказов «Представление». Она мне особенно дорога:

«Нине Аловерт, вернувшейся на родину без потерь».

К этому времени началась «перестройка», и я в 1987 году съездила в Россию. Этот год, начиная с которого у «новых американцев» возобновились контакты с отечеством, положил как бы рубеж «второй», прожитой уже в Америке, жизни. Начался третий этап…

В далеком 1979 году, когда я впервые снимала Довлатова на квартире Ретивовой, Сергей (как он мне сам рассказывал позднее) обратился к своей — и нашей общей — знакомой: «А это еще кто?» — «Не обращай внимания, — сказала моя ближайшая подруга, — это такая нищая, бедная, ну, пусть себе снимает…» Довлатов сначала так и относился: «Ну, пусть себе…»

Но, кажется, именно мое упорное желание заниматься своим не приносящим доходов делом в конце концов вызвало его

уважение. Что-то в этом роде. Как говорил кто-то из эмигрантов: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». Может быть, самое трудное и самое важное в нашей уже долгой американской жизни было сохранить себя. Мне приятно, что Сергей Довлатов понял и признал это мое стремление.

К этому же — 1987-му — году относятся мои последние фотографии Довлатова. Больше я его не снимала.

Из сделанных мной портретов Сергей выделил тот, где он изображен во время выступления с микрофоном в руке (фотография несколько раз воспроизводилась в печати и воспроизводится в настоящем издании). Этот снимок он вложил в оставшийся после него конверт с надписью: «Эти фотографии могут быть воспроизведены на обложках моих произведений, если таковые воспоследуют». А мне по-прежнему нравятся первые мои его снимки 1979 года…

Когда я видела Сережу последний раз, я только что опять прилетела из России. Я говорила ему, что его любят в Питере, что едва ли не в каждом доме, где я бывала, его цитируют наизусть.

«Я знаю, что я популярен, — сказал Довлатов. — Поздно».

Поздно — потому что все это нужно ему было тогда, в той далекой молодости, когда его не печатали, когда хотелось, так всем нам хотелось, печататься, быть известными и любимыми.

Что же оставалось теперь?

Выходит путник налегке,
Открылись скорбные ворота,
Где всех нас ожидает кто-то
С копьем и лилией в руке.

Это у меня сложилось 24 августа 1990 года.

Нью-Йорк,
Сентябрь 1994 г.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Настоящий том составлен из произведении, не вошедших в самое представительное на сегодняшний день издание сочинений писателя: Сергей Довлатов. Собрание прозы в трех томах. СПб., Лимбус-пресс, 1993 (второе, испр. изд. — 1995).

В завещании прозаика специально оговорен запрет на публикацию каких бы то ни было его текстов, созданных им в СССР до эмиграции в 1978 г., а составителю настоящего издания автор писал 2 декабря 1988 г.: «Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания и пр. Самое дикое, если что-то из этого хлама просочится в печать, это много хуже всяческого непризнания». Так что «академическое» издание «Полного собрания сочинений» Сергея Довлатова — дело отдаленного будущего, если это отдаленное будущее такую потребность ощутит. Тем не менее интерес современников к сочинениям прозаика в последние годы стабильно высок, и мы включили в «Малоизвестного Довлатова» разделы — «Две сентиментальные истории» и «Из ранней прозы», — составленные из произведений, возникших в бытность писателя на родине. Но и здесь не уклонились от прямых указаний автора «…допускать к печати либо что-то из моих книжек, либо то, что получено от меня лично, выправлено и подготовлено мной самим» (цитированное письмо). Все включенные в эти два раздела ранние произведения Довлатова заново переписаны или отредактированы им и опубликованы в русской зарубежной периодике, нам практически недоступной (так, полный комплект газеты «Новый американец», главным редактором которой был он сам, сохранился, кажется, только в его домашнем архиве; другие тексты во многих случаях можно обнаружить лишь в архиве нью-йоркского издательства «Серебряный век»). В художественном отношении некоторые из ранних вещей Довлатова, например, рассказ «Дорога в новую квартиру», не уступают произведениям эмигрантского периода. Их отнесение к «ранней прозе», как правило, означает лишь, что избранные в данном случае прозаиком коллизии были им уже использованы до 1978 г.

Известную трудность представляет собой также публикация эпистолярного наследия Довлатова. В его письмах душевная открытость, доверительность признаний сочетаются с беспощадным остроумием — часто по отношению к близким ему самому и достойным людям. В тех случаях, когда несдержанная яркость характеристик слишком задевает людей довлатовского круга, мы сделали в письмах небольшие купюры или заменили

имена и фамилии инициалами — с согласия наследников и адресатов.

В настоящем издании тексты печатаются по следующим источникам:

Марш одиноких. — Holyoke, Massachusetts, New England Publishing Co, 1983.

Ослик должен быть худым. — Новый американец, Нью-Йорк, 1980, №№ 30–33.

Иная жизнь (первоначальное название «Отражение в самоваре»). — ж. Семь дней, Нью-Йорк, 1984, №№ 41–42.

Солдаты на Невском. — Новый американец, Нью-Йорк, 1980, № 44, литературное приложение № 3.

Роль. — ж. Точка зрения, Нью-Йорк, 1984, № 2.

Дорога в новую квартиру. — Сергей Довлатов. Представление. New York, Russica Publishers, Inc., 1987.

Третий поворот налево. — Оттиск из архива изд-ва «Серебряный век», Нью-Йорк.

На улице и дома. — Там же.

Мы и гинеколог Буданицкий (вместе с «Ариэлем» и «Игрушкой» входит в цикл «Из рассказов о минувшем лете», 1988). — Там же.

Старый петух, запеченный в глине (последний рассказ С.Д.; вместе с «Виноградом» он должен был войти в задуманный сборник «Холодильник»). — Авторская машинопись с правкой из домашнего архива С.Д. в Нью-Йорке.

Мы начинали в эпоху застоя. — Оттиск из архива изд-ва «Серебряный век», Нью-Йорк.

Литература продолжается. — ж. Синтаксис, Париж, 1982, № 10.

Переводные картинки. — ж. Иностранная литература, М., 1990, № 9.

Рыжий. —ж. Эхо, Париж, 1979, № 1.

Соглядатай. — Оттиск из архива изд-ва «Серебряный век», Нью-Йорк.

Верхом на улитке. — Там же.

Последний чудак. — Там же.

Трудное слово. — Там же.

Это непереводимое слово — «хамство». — Там же.

Письма на моем столе. — Новое русское слово, Нью-Йорк, 18 апреля 1990.

Письма к Людмиле Штерн. — Автографы из архива Людмилы Штерн.

Письмо к Юлии Губаревой. — Автограф из архива Юлии Губаревой.

Письма к Науму Сагаловскому. — Копии автографов из домашнего архива С.Д. в Нью-Йорке.

Письма к Андрею Арьеву. — Автографы из архива Андрея Арьева.

Игорь Смирнов. Творчество до творчества. — ж. Звезда, СПб., 1994, № 3.

Виктор Кривулин. Поэзия и анекдот. — Там же.

Людмила Штерн. Эта неаполитанская наружность. — Рукопись, представленная для настоящего сборника.

Евгений Рейн. Несколько слов вдогонку. — ж. Звезда, СПб., 1994, № 3.

Анатолий Найман. Персонажи в поисках автора. — Там же.

Сергей Вольф. Довлатову. — Там же.

Борис Рохлин. Скажи им там всем… — Там же, с исправлениями и добавлениями.

Игорь Смирнов-Охтин. Сергей Довлатов — петербуржец. — Там же, с исправлениями.

Виктор Соснора. Сергей. — Там же.

Владимир Уфлянд. Мы простились, посмеиваясь. — Там же.

Валерий Попов. Кровь — единственные чернила. — Там же.

Игорь Ефимов. Неповторимость любой ценой. — Там же.

Петр Вайль. Без Довлатова. — Там же, с исправлениями и добавлениями.

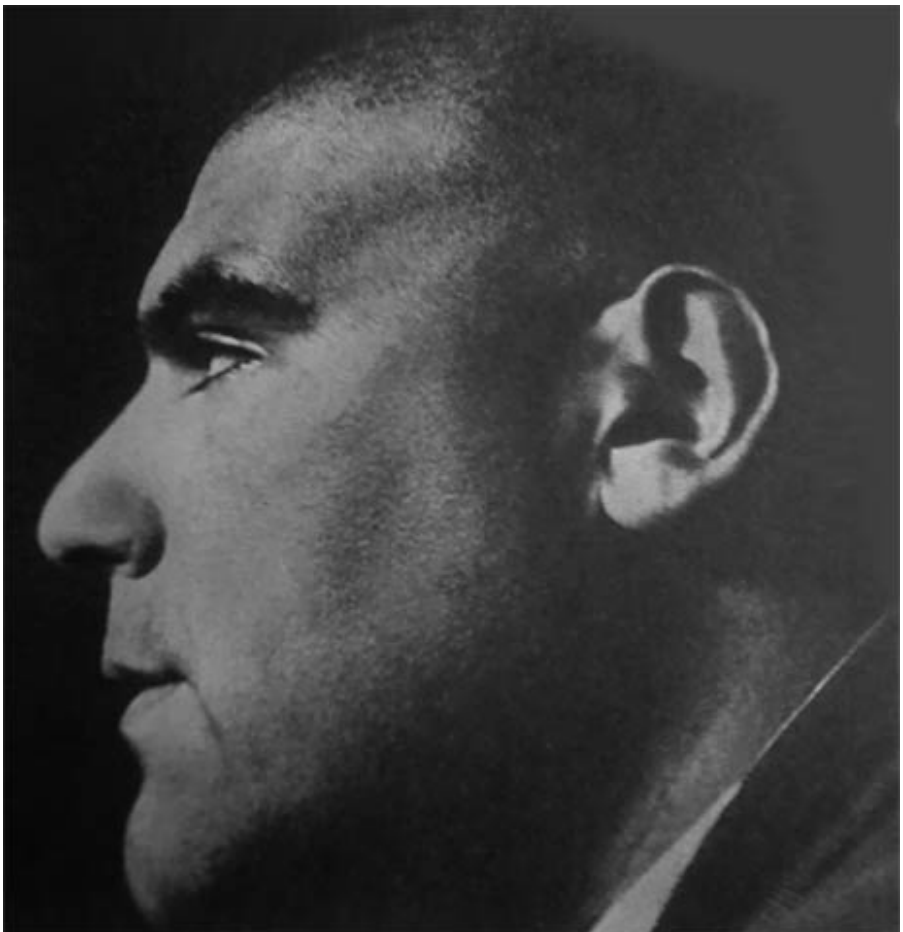
Александр Генис. На уровне простоты. — Там же, с исправлениями и добавлениями.

Елена Скульская. Перекрестная рифма (письма Сергея Довлатова). — Там же.

Нина Аловерт. Нью-Йорк. Надписи и фотографии. — Рукопись, представленная для настоящего сборника.

Редакция журнала «Звезда» сердечно благодарит Елену Довлатову, Нину Аловерт, Петра Вайля и Григория Поляка за консультации и предоставленные для издания материалы.

ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ И РИСУНКАМ



1. Один из трех снимков, присланных Сергеем Довлатовым в 1990 г. для возможной публикации на родине. Автор фотографии нами не установлен.

2. С Игорем Смирновым (Ленинград, начало 60-х).

3. Андрей Битов, Александр Кушнер, Рид Грачев, Яков Гордин (Комарово, зима 1961–1962 г.).

Фото *Л.Я. Гинзбург*.

4. С Асей Пекуровской (Новогодний университетский бал в Павловске, 1961 г.).

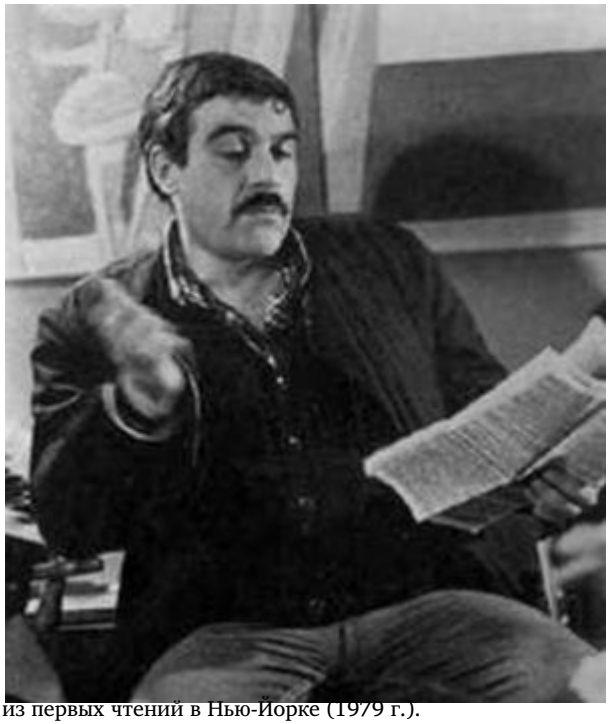
5. Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Глеб Горбовский (Комарово, март 1963 г.). Фото *Эры Коробовой.*

6. С Андреем Арьевым (Ленинград, 1967 г.).

7. С Яковом Гординым (Ленинградский Дом писателя, декабрь 1967 г.).

8. С Тамарой Зибуновой, Еленой Рогинской и Михаилом Рогинским (Таллинн, 1975 г.).
Фото *Иосифа Малкиэля.*

9. С Евгением Рейном (Таллинн, 1974 г.).
Фото *Иосифа Малкиэля.*

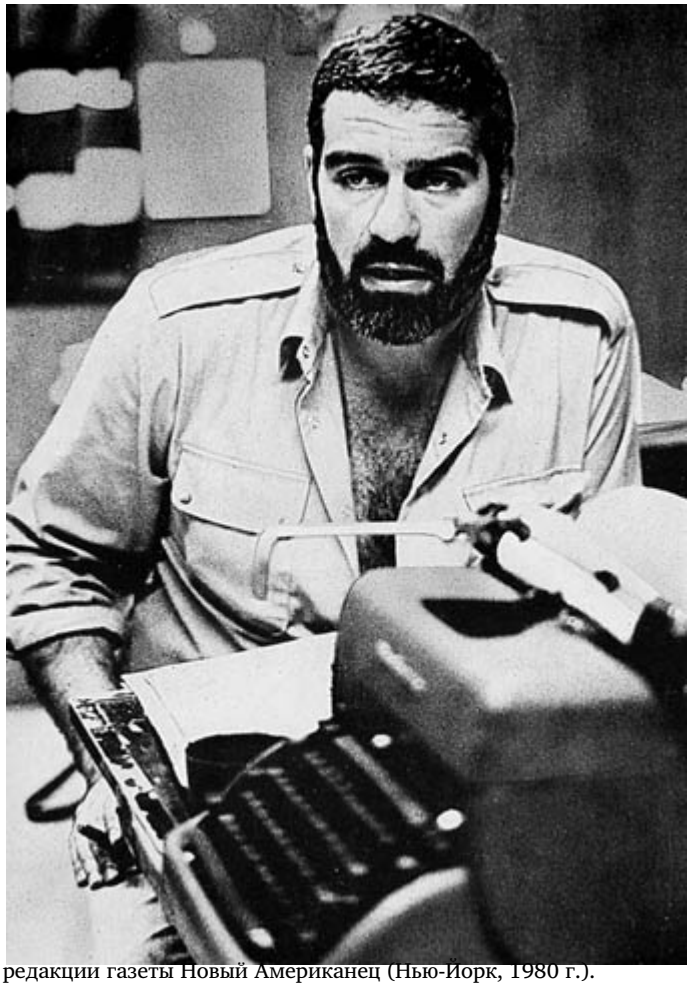


10. Одно из первых чтений в Нью-Йорке (1979 г.).
Фото *Нины Аловерт.*

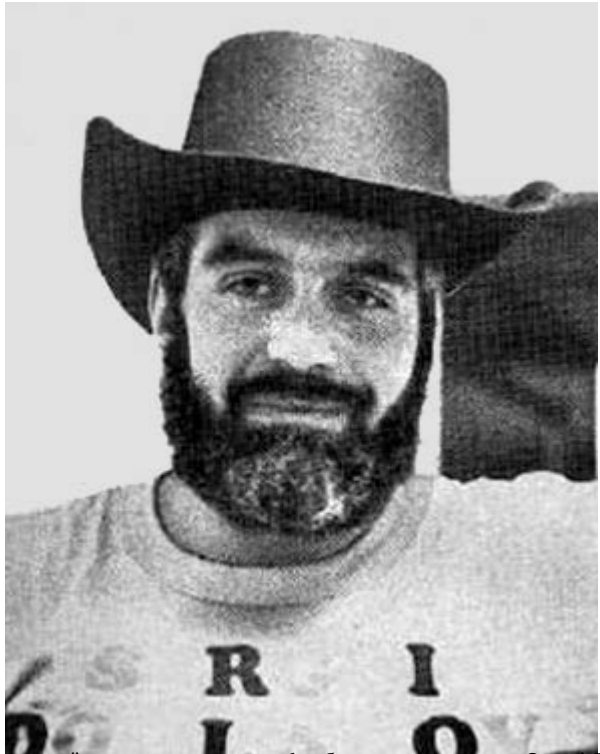
11. На выступлении с Петром Вайлем и Александром Генисом (Нью-Йорк, 9 октября 1979 г.)
Фото *Нины Аловерт.*

12. Борис Меттер, Любовь Федорова, Петр Вайль, Сергей Довлатов, Елена Довлатова, Наталья Шарымова, Катя Довлатова, Марк Розеншейн, Виталий Длугий (первая годовщина газеты «Новый американец», Нью-Йорк, ресторан «Сокол» на Брайтон-Бич, 14 февраля 1981 г.).

Фото *Нины Аловерт.*



13. В редакции газеты Новый Американец (Нью-Йорк, 1980 г.). Фото *Нины Аловерт.*



14. В подаренной на день рождения футболке с надписью «Sergei Dovlatov. Editor-in-chief» (Нью-Йорк, 3 сентября 1980).

Фото *Нины Аловерт.*

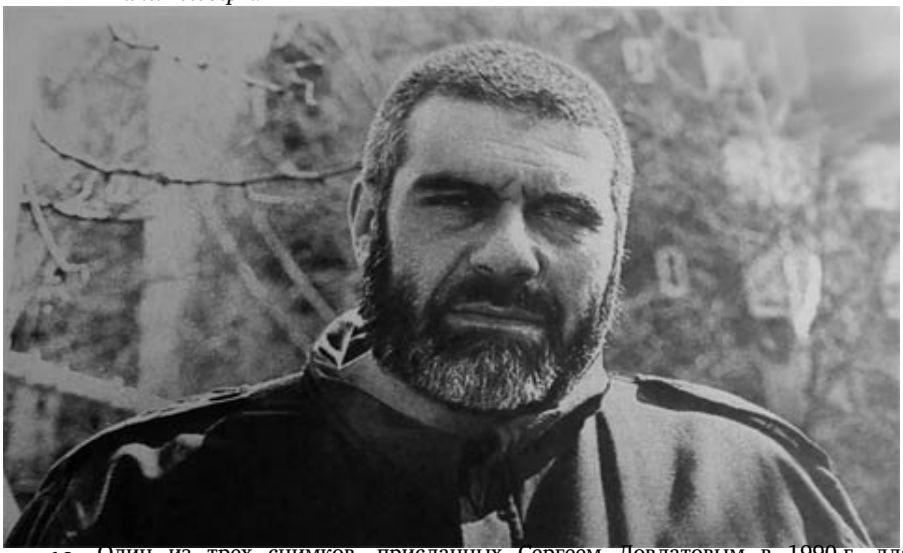
15. С Эдвардом Кочем, мэром Нью-Йорка, и Борисом Меттером (прием у мэра, март 1981 г.).

Фото *Нины Аловерт.*

16. На 14-й улице Манхэттена (Нью-Йорк, 1981 г.).
Фото *Нины Аловерт.*

17. С Петром Вайлем и Людмилой Штерн (Нью-Йорк, 1980 г.).
Фото *Нины Аловерт.*

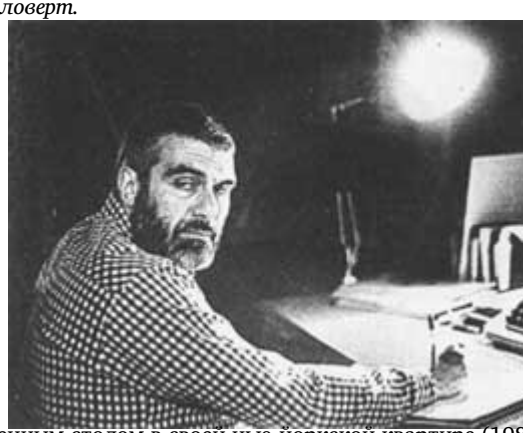
18. С дочерью Катей Довлатовой (Нью-Йорк, 1981 г.).
Фото *Нины Аловерт.*



19. Один из трех снимков, присланных Сергеем Довлатовым в 1990 г. для возможной публикации на родине (1982?).
Фото *Марка Сермана.*

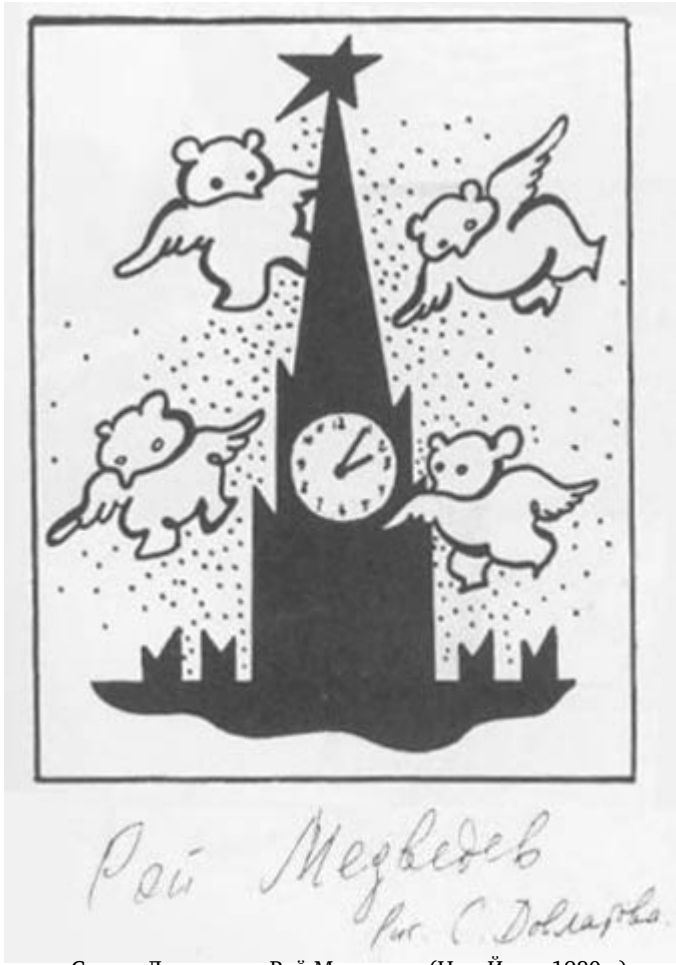
20. Нора Сергеевна Довлатова, Коля Довлатов, Елена Довлатова (Нью-Йорк, 1983 г.).

Фото *Нины Аловерт.*

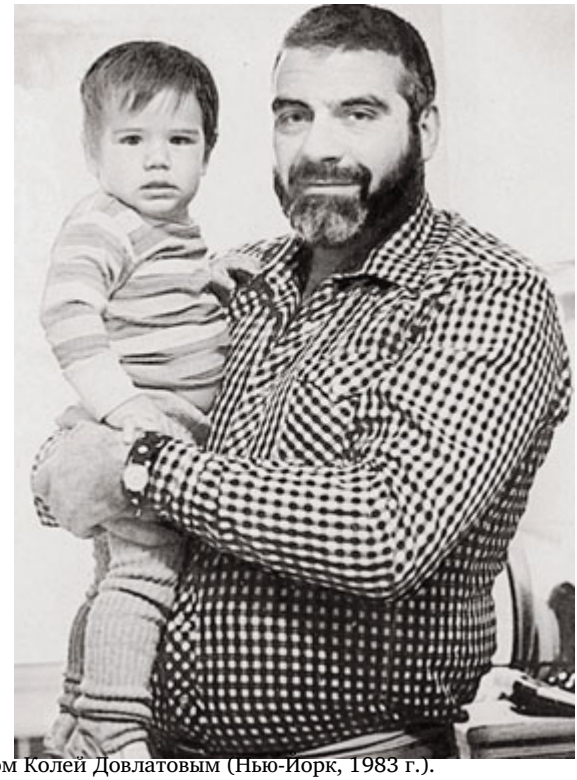


21. За письменным столом в своей нью-йоркской квартире (1983 г.).

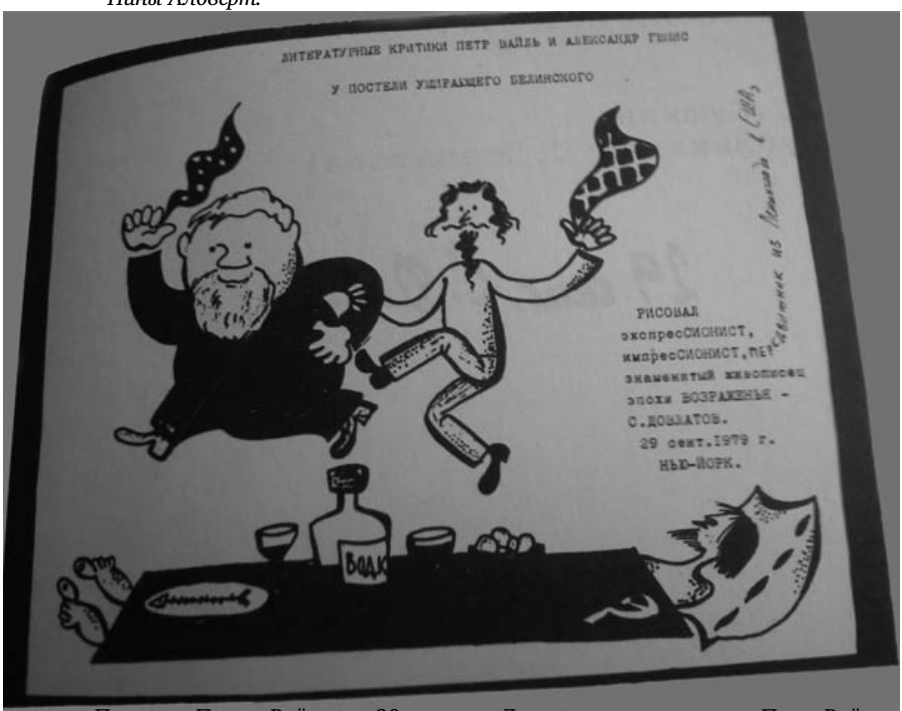
Фото *Нины Аловерт.*



22. Рисунок Сергея Довлатова «Рой Медведев» (Нью-Йорк, 1980-е).



23. С сыном Колей Довлатовым (Нью-Йорк, 1983 г.).
Фото *Нины Аловерт.*



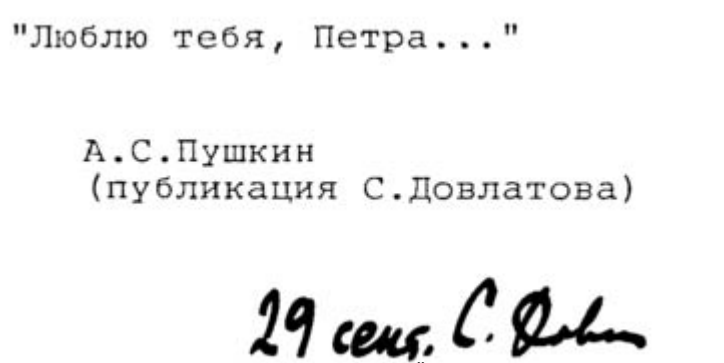
24. Подарок Петру Вайлю к 30-летию: «Литературные критики Петр Вайль и Александр Генис у постели умирающего Белинского. Рисовал экспресСИОНИСТ,

импресСИОНИСТ, передвижник из Ленинграда в США, знаменитый живописец эпохи ВОЗРАЖЕНЬЯ — С. ДОВЛАТОВ. 29 сент. 1979 г. Нью-Йорк».

Из архива Петра Вайля.

25. Подарок Петру Вайлю и Александру Генису (1980-е).

Из архива Петра Вайля.



26. Подарок Петру Вайлю к 40-летию (Нью-Йорк, 29 сентября 1989 г.).

Из архива Петра Вайля.

27. Обложка книги Наума Сагаловского «Витязь в еврейской шкуре» работы Наталии Тореевой (Dovlatov Publishing, Нью-Йорк, 1982 г.).

"The New American's Press"
★ Russian Weekly ★
Room 701, One Times Square
New York, New York 10036
Telephone (212) 840-2048

Прошу вернуть Халифа книгу,
Халифа книгу я прошу
Вернуть. Иначе город Ригу
Я в черный список занесу!

Верните книгу, Саша с Петей,
Иметь такую книгу – честь!
Я прославлял её в газете,
Теперь хочу её прочесть.

С. Д

28. Автограф шуточного послания Петру Вайлю и Александру Генису.
Из архива Петра Вайля.

29. Сергей Вольф (Ленинград, 1961 г.).

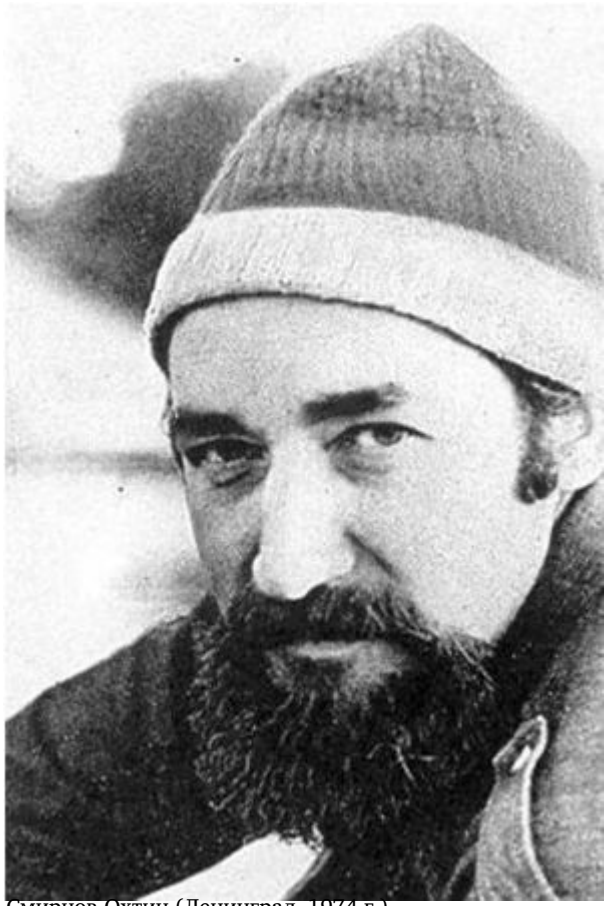
30. Анатолий Найман (сентябрь 1964 г.).
Фото *Льва Полякова.*

31. Игорь Ефимов, Иосиф Бродский (Норенское, октябрь 1964 г.).
Фото *Якова Гордина.*

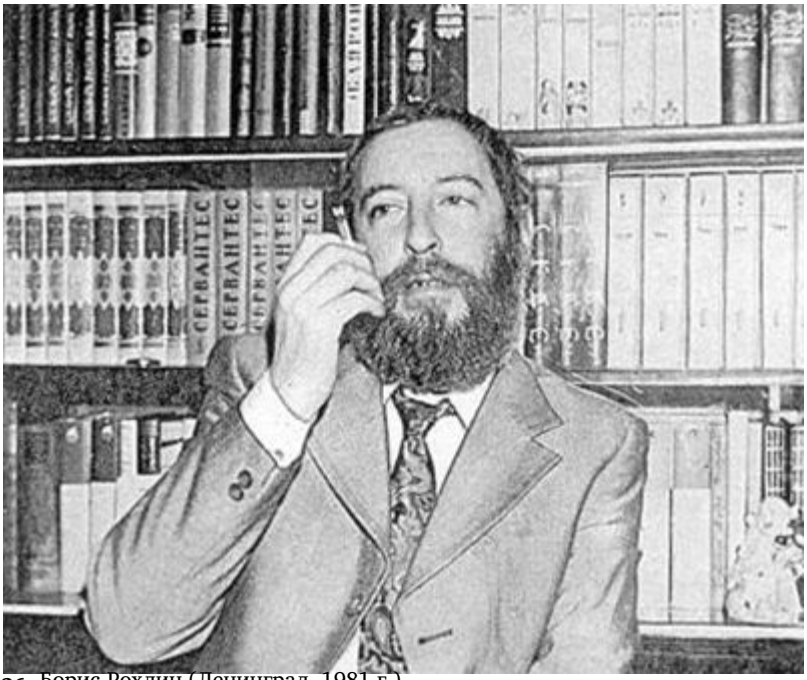
32. Владимир Уфлянд (Таллинн, 1973 г.).
Фото *Сергея Довлатова.*

33. Юлия Губарева (Ленинград, 1979 г.).
Фото *Владимира Сюзнева.*

34. Елена Скульская (Таллинн, 1975 г.).
Фото *Иосифа Малкиэля.*



35. Игорь Смирнов-Охтин (Ленинград, 1974 г.).
Фото *Инги Мейлунас.*



36. Борис Рохлин (Ленинград, 1981 г.).
Фото *Лидии Бутыриной.*

37. Нина Аловерт на своей выставке «Русские за рубежом» (Нью-Йорк, 1985 г.).

38. Виктор Соснора (Нью-Йорк, 1987 г.).
Фото *Марианны Волковой.*

39. Виктор Кривулин (1990 г.).

40. Валерий Попов (1993 г.).
Фото *Наталии Цехомской.*

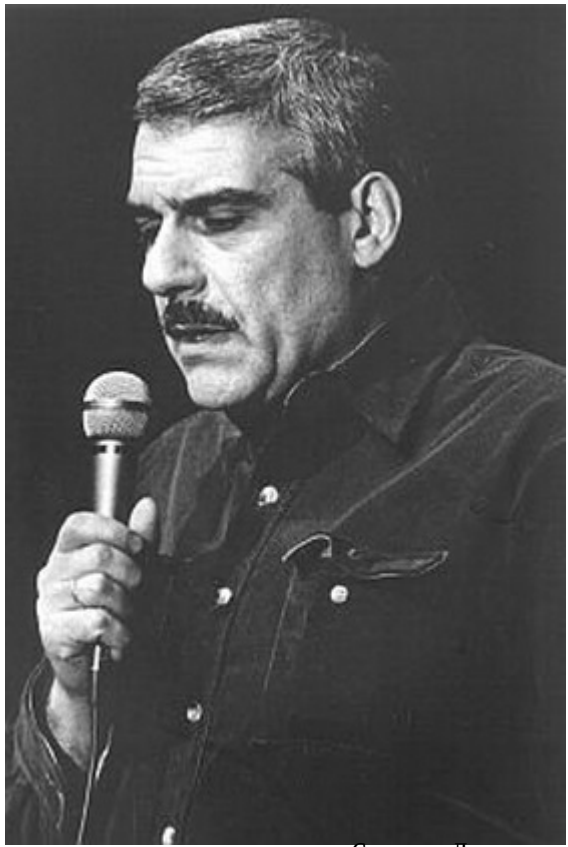
41. С Василием Аксеновым (аэропорт Кеннеди, Нью-Йорк, 10 сентября 1980 г.).
Фото *Нины Аловерт.*

42. С Владимиром Войновичем (нью-йоркская квартира Довлатовых, 1980 г.).
Фото *Нины Аловерт.*

43. С Львом Лосевым и Григорием Поляком (1980-е).
Фото *Нины Аловерт.*

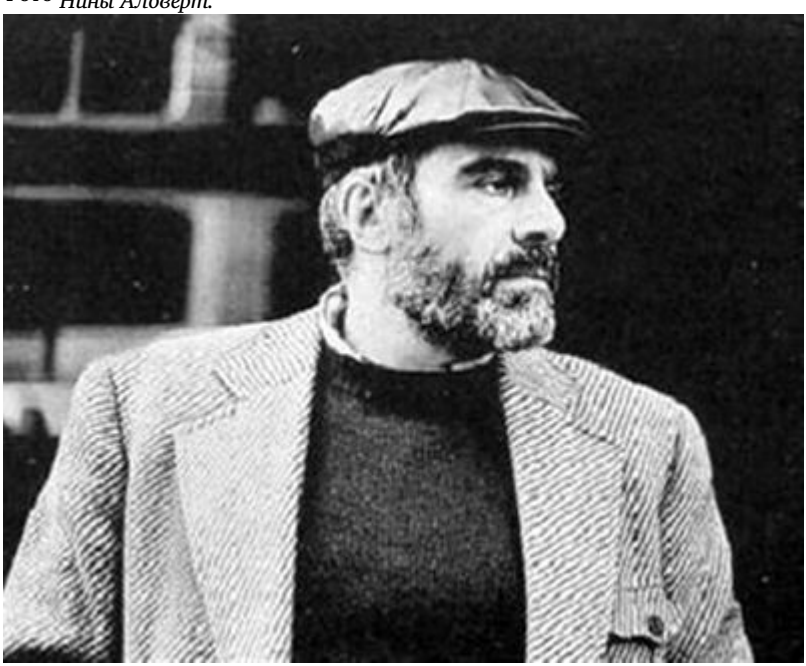
44. С Куртом Воннегутом (Нью-Йорк, 1928 г.).
Фото *Нины Аловерт.*

45. С Иосифом Бродским в китайском ресторане (Нью-Йорк, 3 декабря 1985 г.).
Фото *Нины Аловерт.*



46. Один из трех снимков, присланных Сергеем Довлатовым в 1990 г. для возможной публикации на родине (Нью-Йорк, зима 1986–1987 г.).

Фото *Нины Аловерт.*



47. В Нью-Йорке (1987 г.).
Фото *Нины Аловерт.*

48. С Анной Арьевой и Еленой Довлатовой в нью-йоркской квартире Довлатовых (ноябрь, 1988 г.).

49. Елена Довлатова (Ленинград, март 1991 г.).

50. Елена Скульская, Петр Вайль, Владимир Уфлянд, Сергей Вольф, Андрей Арьев, Валерий Попов, Владимир Губин, Константин Азадовский, Борис Зайцев, Самуил Лурье на вечере, посвященном памяти Сергея Довлатова, в Доме писателя (Ленинград, 20 декабря 1991 г.).

Фото *Нины Аловерт.*

51. Рисунок Иосифа Бродского на писательской конференции в Лиссабоне: «Серёжа Довлатов в Лиссабоне. 7-е мая 1988 г. Рисовал Иосиф Бродский».

notes

Примечания

1

Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак) — писатель, журналист, в 30-е годы секретарь И. А. Бунина, с 1973 г. владелец нью-йоркской газеты «Новое русское слово» («НРС»). — *(Ред.)*

2

В мае 1981 г. в Лос-Анджелесе проходила международная конференция «Русская литература в эмиграции: Третья волна».

3

Каверин родом из Пскова. Наверняка Довлатов знал это. Но не желал в одной фразе употреблять дважды букву «П»: «Правда из Пскова». *(Ред.)*

4

Газете «Новый Американец», которую редактировал С. Довлатов. *(Ред.)*

5

На первой странице *(англ.)*.

6

Первая и единственная в то время книга стихов Владимира Уфлянда: «Тексты 1955-77». Анн Арбор, «Ардис», 1978. *(Ред.)*

7

Мешали Азизбеков (1876–1918) — один из расстрелянных бакинских комиссаров. С.Д. в Баку не ездил, хотя, действительно, работал в это время камнерезом.

8

Ася Пекуровская, первая жена С.Д.

9

Университетский приятель С.Д., живущий в Кургане.

10

Сергей Довлатов, Интервью (рассказ). «Юность», 1974, № 6.

11

Прозаик Владимир Марамзин, составивший первое (самиздатское) собрание сочинений Иосифа Бродского, был арестован, осужден условно, после чего эмигрировал. Живет во Франции.

12

Моя дочь.

13

Ленинградский детский журнал, в котором С.Д. работал в 1975-76 гг.

14

Лев Лосев — поэт, критик, профессор Дартмутского колледжа, Нью-Хэмпшир.

15

Геннадий Шмаков (1940–1988) — переводчик, искусствовед, жил в Нью-Йорке.

16

Санди Харди — богатая дама из Майами, принявшая участие в судьбе моей семьи.

17

Ленинградский прозаик.

18

Карл Проффер (1938–1984) — американский филолог-славист, владелец издательства «Ардис» (Анн Арбор, Мичиган).

19

Дочь С.Д. Екатерина Довлатова, род. 6 июня 1966 г. в Ленинграде.

20

Кэтрин О'Коннор — профессор русской литературы Бостонского университета, перевела вместе с Дианой Баргин «Невидимую книгу» С.Д.

21

Тайп-принт бизнес — коммерческая организация, связанная с печатным словом *(англ.)*.

22

Тиви-гайд — Телевизионная программа *(англ.)*.

23

Дальше перечисляются сотрудники «Нового американца».

24

Валерий Вайнберг — заместитель главного редактора «Нового русского слова» по финансовым вопросам.

Комьюнити — община *(англ.)*.

26

Яков Моисеевич Цвибак — настоящее имя Андрея Седых, главного редактора «НРС».

27

Юлия Тролль — нью-йоркская журналистка, внештатная сотрудница «Свободы» и «Нового русского слова».

28

Виктор Перельман — главный редактор журнала «Время и мы».

29

Майя Каганская — израильский критик, литературовед. Наталья Рубинштейн (Альтварг) — литературовед, работник BBC, живет в Англии.

«Новый американец».

31

Жюльет Греко (род. в 1927) — французская актриса и певица. Снималась во многих американских фильмах.

«Часть речи» (Альманах литературы и искусства), № 1. Нью-Йорк. «Серебряный век», 1980. Ред. Григорий Поляк.

«Метрополь» (Литературный альманах). М., 1979. Издан: Анн Арбор, «Ардис», 1979.

34

Трак — грузовик (англ.)

35

Мед. лайсенз — разрешение на медицинскую практику (англ.)

36

Буся Гольдштейн — одесский вундеркинд, скрипач, эмигрировавший из России в США после революции 1917 г.

37

Трафик — автомобильная пробка (англ.)

38

Яков Бронштейн — кинорежиссер, эмигрант «второй», послевоенной, волны.

39

CBS — Columbia Broadcasting System — вторая по значению независимая телерадиовещательная компания США.

Ничего из этой затеи со сценарием, разумеется, не вышло.

41

Виктор Штерн, мой муж.

42

Майя Муравник — журналистка, живет в Париже. Воспользовавшись устными рассказами моей матери о ее встречах с Маяковским, без разрешения написала о них в «Новом русском слове», исказив смысл услышанного. Мать ответила на эту публикацию довольно резкой статьей. Позже она сама написала и опубликовала в «НРС» воспоминания о своих встречах с Маяковским.

43

Никки — сын С.Д. Николай Довлатов, родившийся 21 декабря 1981 г. в Нью-Йорке.

44

Людмила Барышева — пианистка, приятельница Юлии Губаревой, в одно время с С.Д. эмигрировавшая в США.

Александр Щедринский — искусствовед, эмигрировал в США.

46

Анатолий Яковлевич Каплан (1892–1980) — живописец, книжный график, скульптор.

Имеется в виду новое руководство Русского музея.

48

Анеля Степановна и Роман Степанович Довлатовы, тетка и дядя С.Д.

49

Лев Станкевич, приятель С.Д., его сосед по ул. Рубинштейна в Ленинграде.

Леонид Сагаловский — сын Наума Сагаловского, поэт.

51

Н. Градобоев, наст. имя Николай Дудин, ныне покойный журналист из нью-йоркской газеты «Новое русское слово».

52

Родион Березов, наст. имя Родион Михайлович Акульшин (1896–1988) — детский писатель, фольклорист, во время Второй мировой войны попал в плен и эмигрировал в США. Очень плодовитый автор стихов и прозы, много работавший как журналист, он выпустил в эмиграции более 20 книг, не отличающихся заметными достоинствами, во всяком случае — с художественной точки зрения.

53

Имеется в виду поэма Н.С. «Чужой в раю», вошедшая в «Демарш энтузиастов».

54

«Новая газета» — еженедельник, начавший выходить в 1980 г. в Нью-Йорке под редакцией ушедшего из «Нового американца» Евгения Рубина, в прошлом советского спортивного журналиста.

«22» — «общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле», издающийся в Тель-Авиве под редакцией Рафаила Нудельмана.

56

«Новости» — русская ежедневная газета, выходившая в Нью-Йорке менее года.

57

Вадим Консон — литератор, радиожурналист, автор частушек, издававший в Нью-Йорке сатирический журнал «Петух», в котором печатался и С.Д.

58

Наталия Тореева — русская художница, работала на киностудии «Ленфильм», живет в Чикаго. Она оформила и иллюстрировала книгу Н.С. «Витязь в еврейской шкуре».

59

«Этюд № 6 в тональности ре-минор», входит в «Демарш энтузиастов».

Рассказ «Представление», напечатанный в «Континенте» (1984, № 39), главным редактором которого был Владимир Максимов. В его журнале печатались и другие вещи С.Д.

61

Георгий Владимов был главным редактором «Граней» с 1984 по 1986 г.

62

Анатолий Анохин — литератор, журналист, недолгое время главный редактор газеты «Новости», живет в Нью-Йорке, женат на эфиопской принцессе.

63

Фудстемпы — заменяющие деньги денежные знаки, которые можно использовать только для покупки еды. С.Д. имеет в виду строчки из «Этюда № б…» Н.С.:

> А я надену праздничный пиджак,
> Пойду в собес и попрошу фудстемпов.

64

Одна из «Сентиментальных историй» С.Д. (см. настоящее издание); первоначальный вариант, написанный в 1968 г., назывался «Отражение в самоваре».

«Иная жизнь» заканчивается стихами, записанными как прозаический текст. Их каноническая форма была бы такой:

Кончается история моя.
Мы не постигнем тайны бытия
вне опыта законченной игры.
Иная жизнь, далекие миры —
все это бред. Разгадка в нас самих.
Ее узнаешь ты в последний миг.
В последнюю минуту рвется нить.
Но поздно, поздно что-то изменить…

66

Пьеса Василия Аксенова «Цапля» частично написана рифмованной прозой.

67

Журнал «Семь дней» выходил в Нью-Йорке под редакцией Петра Вайля и Александра Гениса в 1983–1984 гг. Вышло 57 номеров.

68

Валерий Вайнберг — заместитель главного редактора газеты «Новое русское слово» по коммерческой части. «Семь дней» субсидировались газетой. В настоящее время Вайнберг — владелец и издатель «НРС».

69

Игорь Липман — окололитературный бизнесмен. «Семь дней» ни «проданы», ни «переданы» ему не были.

«Атрактив» — «attractive» — «привлекательный» *(англ.)*.

71

«Точка зрения» — издававшийся в Нью-Йорке в 1984 г. «журнал для женщин» под редакцией Нины Аловерт, Марии Сван и Натальи Шарымовой. Гл. редактор Н. Шарымова.

«Точке зрения» напечатан рассказ С.Д. «Роль» (см. настоящее издание). Готовность занизить оценку собственной работы — одна из характерных черт литературного поведения С.Д.

«Демарш энтузиастов».

Григорий Поляк — редактор-издатель издательства «Серебряный век» (Нью-Йорк).

75

Игорь Ефимов — редактор-издатель издательства «Эрмитаж» (Тенафлай, штат Нью-Джерси). См. его воспоминания о С.Д. в настоящем издании.

Мария Розанова, жена Андрея Синявского — редактор-издатель журнала «Синтаксис» (Париж).

77

Карл Проффер (1938–1984) — американский филолог-славист, владелец издательства «Ардис», в котором вышла первая книга С.Д. «Невидимая книга».

Габи Валк — нью-йоркский представитель находящегося в Германии издательства НТС «Посев».

Ирина Кухарец — работница нью-йоркского магазина и издательства «Руссика» (Russica Publishers, Inc.).

80

Имеется в виду книга С.Д. «Ремесло» (Анн Арбор, «Ардис», 1985). В нее входит «Невидимая газета». Книга вышла уже после смерти Проффера с посвящением: «Памяти Карла».

81

Дорита Брайбург, поэт, прозаик, печатала стихи в СССР, с 1975 г. в эмиграции, псевдоним Рита Брай, автор книги «Правдивая история ее жизни» (Holyoke, «New England Publishing Co.», 1986).

82

«Панорама» — русский еженедельник, выходящий с 1980 г. в Сан-Франциско под редакцией Александра Половца.

83

Морис Фридберг — американский филолог-славист, профессор Иллинойсского университета в Урбане, Шампейн.

84

Соломон Шапиро — кинорежиссер из Минска, эмигрировал в США в начале 1980-х, нью-йоркский сосед С.Д.

85

Борис Сичкин — киноактер, известный более всего по роли Бубы Касторского в фильме «Неуловимые мстители», эмигрировал в США. С.Д. считал его одним из лучших устных рассказчиков.

86

Чеслав Милош — польский поэт, лауреат Нобелевской премии, живет в США.

87

Владимир Марамзин — прозаик, один из издателей парижского журнала «Эхо». В Ленинграде входил в литературную группу «Горожане» — вместе с Борисом Бахтиным, Владимиром Губиным и Игорем Ефимовым, — к которой очень тяготел С.Д.

88

Мара Столина — заведующая одним из русских культурных центров в Сан-Франциско.

Главным редактором «Граней» после Георгия Владимова была назначена Е.А. Самсонова-Брейтбарт.

В окончательном варианте «Иностранки» стихов И.С. нет.

91

Жорж Перек (1936–1982) — французский писатель, автор романа «Вещи» (1965) и принесшего ему мировую славу романа «Жизнь-инструкция» (1978), в 1969 г. написал роман «Исчезновение», ни разу не употребив в нем букву «е».

92

«Приключения Гольдензона Крузо» (небольшой роман в стихах) — входит в книгу Н.С. «Витязь в еврейской шкуре».

93

Андрей Мальгин — московский критик, работал в еженедельнике «Неделя» (приложение к «Известиям»).

94

Это письмо привезено моей женой, вернувшейся из поездки в США.

95

Саша (Александр Всеволодович) Соколов (род. в 1943 г.) — прозаик, с 1975 г. в эмиграции. Владимир Николаевич Войнович (род. в 1932 г.) — прозаик, с 1980 г. в эмиграции. Наум Моисеевич Коржавин, наст. фамилия Мандель (род. в 1925 г.) — поэт, с 1973 г. в эмиграции.

С.С. Аверинцева и Д.С. Лихачева на конференции не было.

97

Игорь Наумович Голомшток (род. в 1929 г.) — искусствовед, с 1972 г. в эмиграции.

98

В 1988 г. С.Д. купил на севере штата Нью-Йорк (около 250 км от Нью-Йорка) в Катскильских горах возле городка Монтиселло небольшой участок земли с домом, который он называл «бангало».

99

В «Иностранной литературе» (1989, № 3) появились ответы С.Д. на анкету, распространенную среди «писателей русского зарубежья»; в 1990 г. (№ 9) напечатано эссе «Переводные картинки» с именем автора в траурной рамке.

100

В таллиннском журнале «Радуга» (1989, № 5) напечатаны ранние (но заново переписанные автором в эмиграции) рассказы «Марш одиноких» (1967) и «Голос» (1968). Без названий они входят в книгу С.Д. «Зона» («Голос» — после письма от 23 февраля 1982 г., «Марш одиноких» — после письма от 19 марта 1982 г.). В свою очередь ликвидированное название «Марш одиноких» стало названием публикуемой в этом томе книги. Оба рассказа — с возвращенными названиями — вошли в сборник, подготовленный С.Д. к своему пятидесятилетию. Он вышел уже после его смерти: Сергей Довлатов, Рассказы, М., «Renaissanse», 1991.

101

Таллиннское издательство «Ээсти раамат» в 1975 г. не решилось выпустить в свет уже набранный сборник рассказов С.Д. «Пять углов (Записки горожанина)». Не был возобновлен договор и в 1989 г. Слово «раамат» («книга») С.Д. пишет неточно и с прописной буквы, следуя в этом сохраняющейся на Западе традиции начертания слов в названиях.

102

Марианна Матвеевна Волкова (род. в 1946 г.) — пианистка, фотограф, с 1976 г. в эмиграции. Ее совместная с С.Д. книга: Марианна Волкова, Сергей Довлатов. Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах. Нью-Йорк, «Слово — Word», 1988.

103

Следующее западное издание С.Д. на русском появилось в 1990 г.: Сергей Довлатов, Записные книжки, Нью-Йорк, «Слово — Word».

104

Речь идет о книге «Наши»: Ours. A Russian Family Album, Translated by Anne Frydman. New York, «Weidenfeld & Nicolson», 1989.

105

Джозеф Хеллер (род. в 1923 г.) — американский писатель.

106

Андрей Арьев. Не благодаря, а вопреки. — «Нева», 1988, № 10.

107

Михаил Юпп (Таранов), наст. имя Михаил Евсевьевич Смоткин (род. в 1938 г.) — художник, поэт, с 1980 г. в эмиграции.

108

Вениамин Александрович Каверин, наст. фамилия Зильбер (1902–1989) — писатель. Я был знаком с ним с 1964 г. и иногда писал о его книгах.

109

После перелета из Нью-Йорка в Москву обнаружилось, что телевизор из багажа аэрофлотовского самолета исчез (и найден не был).

110

Анн (Энн) фридман (Anne Frydman) — преподавательница литературы в университете Джона Хопкинса, переводчица. Перевела на английский «Зону», «Компромисс», «Наши». О ней см. в эссе С.Д. «Переводные картинки» в настоящем издании.

111

Нина Бьюис (Antonina W. Bouis) перевела на английский «Чемодан» и «Иностранку».

Международный фонд Джорджа Сороса «Культурная инициатива».

113

Sudden Fiction International. 60 Short-short Stories, New York — London, «W.W. Norton & Company», 1989. В сборник включен рассказ С.Д. «Katja» («Катя»), превращенный в новеллу фрагмент из книги «Наши» (гл. XII).

114

Славомир Мрожек (род. в 1930 г.) — польский драматург. Ясунари Кавабата (1899–1972) — японский писатель. Генрих Белль (1917–1985) — немецкий писатель. Хорхе Луис Борхес (1899–1986) — аргентинский писатель. Габриэль Гарсиа Маркес (род. в 1928 г.) — колумбийский писатель. Итало Кальвино (1923–1985) — итальянский писатель, по-русски издавались его «Итальянские сказки» (1959), «На судне полно крабов» (1961), «Кот и полицейский» (1964) и др. Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940) — советский писатель. Бернард Маламуд (1914–1986) — американский писатель.

115

Переиначенное название романа А.А. Ананьева «Танки идут ромбом» (1959).

116

В «Неве» (1987, № 4) опубликована статья Геннадия Трифонова «Письма из подвала», в которой обширно цитируются письма С.Д. к разным людям. Разрешения на их публикацию ни автор, ни адресаты не давали. Явно инспирированная статья Трифонова задела С.Д. Извинения за нее со стороны журнала так и не последовало.

117

Георгий Андреевич Анджапаридзе (род. в 1943 г.) — директор московского издательства «Художественная литература». Ни одной книги С.Д. издательство не выпустило.

118

В начале 1989 г. создавался новый журнал «Искусство Ленинграда». Я хотел передать в него какие-то тексты С.Д., но не сделал этого, так как выход журнала затягивался: первый номер появился в июле. С 1992 г. вместо «Искусства Ленинграда» издается непериодический журнал «Арс».

119

Рассказ «Представление» опубликован в «Звезде» (1990, № 10). Без названия он включен в окончательную редакцию книги «Зона» — после письма от 11 июня 1982 г. С возвращенным названием рассказ вошел в сборник, подготовленный С.Д. к своему пятидесятилетию.

120

В «Нью-Йоркере» с 1980 по 1989 г. были опубликованы: «Юбилейный мальчик» (входит в «Компромисс»), «Чья-то смерть и другие заботы» («Компромисс»), «По прямой» (входит в «Зону»), «Мой старший брат» (входит в «Наши»), «Полковник говорит — люблю» («Наши»), «Дядя Арон» («Наши»), «Дядя Леопольд» («Наши»), «Отец» («Наши»), «Фотоальбом» (входит в «Чемодан», где называется «Поплиновая рубашка»), «Шоферские перчатки» («Чемодан»). 1–5 и 7 рассказы вошли в сборник, подготовленный С.Д. к своему пятидесятилетию.

121

Речь идет о книге «Наши», оцененной как «нон-фикшен», то есть основанной не на вымысле.

122

Янина Викентьевна Славошевская — наша ленинградская приятельница.

123

Статья Петра Вайля и Александра Гениса «Кванты истины». Опубликована в «Звезде» (1989, № 9). Воспоминания Валерия Попова о С.Д. см. в настоящем издании.

124

6 февраля 1989 г. погиб заведующий отделом критики «Звезды» Адольф Адольфович Урбан (род. в 1933 г.), давний знакомый С.Д.

125

Геннадий Философович Николаев (род. в 1932 г.) — писатель, в 1989–1992 гг. главный редактор «Звезды».

126

Нина Александровна Андреева (род. в 1938 г.) — автор нашумевшей статьи «Не могу поступиться принципами», ныне лидер ВКП(б). Сергей Юрьевич Андреев (род. в 1954 г.) — публицист. Борис Николаевич Никольский (род. в 1931 г.) — писатель, главный редактор «Невы».

127

Отец С.Д. приезжал в Ленинград на юбилей эстрадного училища, которым до эмиграции в 1980 г. руководил.

128

Иона Ионович Андронов (род. в 1934 г.) — многолетний советский корреспондент в США.

129

«Звезда» по договоренности с Ниной Николаевной Берберовой (1901–1993), писательницей, в 1922 г. эмигрировавшей, жившей в США, собиралась печатать ее книгу «Железная женщина». Неожиданно оказалось, что она уже набирается в журнале «Дружба народов». Я просил С.Д. выяснить у Берберовой, в чем тут дело.

130

Юнна Петровна Мориц (род. в 1938 г.) — поэт.

131

Вагрич Акопович Бахчанян (род. в 1937 г.) — художник, сатирик, с 1974 г. в эмиграции. О Науме Сагаловском см. в публикации писем к нему С.Д. в настоящем издании.

132

Книга вышла уже после смерти С.Д.: Сергей Довлатов. Филиал. Нью-Йорк, «Слово — Word», 1990.

133

Выходные данные перечисленных книг С.Д., опубликованных в США: The Invisible Book, Ann Arbor, «Ardis», 1978; The Compromise, New York, «Alfred A. Knopf, Publisher», 1983; The Zone. A Prizon Camp Guard's Story, New York, «Alfred A. Knopf, Publisher», 1985; Ours. A Russian Family Album, New York, «Weidenfeld & Nicolson», 1989; The Suitcase, New York, «Grove Weidenfeld», 1990; A Foreign Woman, New York, «Grove Weidenfeld». 1991.

Вольфганг Казак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Лондон, 1988. The Modem Encyclopedia of Russian and Soviet Literature. Vol. 5. Iowa City, 1981.

135

Курт Воннегут (род. в 1922 г.) — писатель, с ним С.Д. был знаком лично. Джерзи Косинский (Jerzy Nicodem Kosinski. 1933–1991). Ирвинг Хау (living Howe, 1920–1993) — историк английской и американской литератур, эссеист. Эдмунд Уилсон (Edmund Wilson, 1895–1972) — критик, литературовед, прозаик, драматург.

136

Георгий Николаевич Владимов (род. в 1931 г.) — прозаик, с 1983 г. в эмиграции. Виктор Платонович Некрасов (1911–1987) — прозаик, с 1974 г. в эмиграции. Илья Захарович Серман (род. в 1913 т.) — историк русской литературы XVKI в., с 1976 г. в эмиграции.

От премии С.Д. отказался, предпочтя ей публикации в «Нью-Йоркере» и издание по-английски книги «Наши». По условиям конкурса премия присуждалась неопубликованной вещи.

138

В персонажах «Заповедника» при желании можно узнать реальные прототипы. Вопрос о них в случае С.Д. очень непростой: отдельные черты своих знакомых, их характерные реплики автор передает в прозе так ярко и точно, что и весь облик героя в целом кажется «списанным с натуры».

139

См. примечание 1 к письму 5. Для *публикации* Валерий Грубин никаких писем Трифонову не давал.

140

Рассказ «Встретились, поговорили» — «Континент», № 58, 1988. В письме к С.Д. я сделал несколько замечаний по поводу этого рассказа. Реакция на них весьма характерна: по крайней мере в разговорах, С.Д. демонстрировал склонность скорее занизить, чем завысить оценку своих сочинений.

141

Петр Вайль, Александр Генис. 60-е. Мир советского человека. Ann Arbor, «Ardis», 1988.

142

Suzanne Ruta. Russia Without Tears. «The New York Times Book Review», April 30, 1989 (Сюзанна Рута. Россия без слез. «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», 30 апреля 1989. Перевод см.: «Звезда», 1994, № 3). На первой странице обозрения фотография С.Д. в Центральном парке Нью-Йорка, чуть ниже фотография Татьяны Никитичны Толстой (род. в 1951 г.) — прозаик, живет последние годы преимущественно в США.

143

Михаил Иосифович Веллер (род. в 1948 г.) — прозаик, живет в Эстонии. Примеры взяты из рассказа «Гуру», открывающего книгу Веллера «Разбиватель сердец» (Таллин, 1988). Автор утверждает, что книга была им наслана С.Д. и тот ее вовсе не покупал, форма «коя» в русском языке допустима, хотя в современной речи звучит несколько анахронистически. Старомодные обороты С.Д. использовал сугубо в ироническом контексте. В том числе тут же употребленное словечко «коя», к которому в письмах обращался еще несколько раз. Вообще всяческая старомодность была для С.Д. едва ли не синонимом претенциозности и вычурности.

144

Андреи Арьев. Театрализованный реализм (вступительная заметка к публикации «Филиала»). «Звезда», 1989, № 10. Ее текст был послан С.Д. до публикации.

145

Воспоминания Евгения Рейна о С.Д. см. в настоящем издании.

146

Вера Федоровна Панова (1905–1973) — прозаик, драматург. Мы с С.Д. в начале 1970-х проводили у нее много времени, исполняя платные обязанности чего-то среднего между «чтецами-декламаторами» и «литературными секретарями».

147

Воспоминания Владимира Уфлянда о С.Д. и эссе С.Д. о нем «Рыжий» см. в настоящем издании.

148

Эссе Иосифа Бродского «Путешествие в Стамбул».

149

Константин Маркович Азадовскии (род. в 1941 г.) — литературовед, переводчик.

150

Сергей Владимирович Дедюлин (род. в 1950 г.) — историк, журналист, с 1981 г. в эмиграции, в 1989 г. — сотрудник парижской газеты «Русская мысль». В «Литературном приложении» № 9 (1990, № 3822) к газете напечатан сокращенный вариант моего доклада на конференции в Дартмуте «Царское Село в русской поэтической традиции и «Царскосельская ода» Ахматовой».

151

В «Ленинградской правде» (1989, 28 сентября) помещен рассказ Н.Н. Берберовой о судьбе Тургеневской библиотеки в Париже с моей вступительной заметкой. Фотографии — вечера Берберовой в ленинградском Доме писателя, где она выступала.

152

Вероника Валентиновна Штейн — эмигрантская общественная деятельница, представительница американской правительственной организации, занимавшейся распространением книг.

153

Лев Троцкий. Сталин. Нью-Йорк, 1985.

154

Михаил Осипович Глазамицкий (1939–1995) — наш ленинградский приятель, директор Музея истории хлебопечения.

155

Григорий Давидович Поляк (род. в 1943 г.) — редактор, издатель, с 1973 г. в эмиграции. Редактор-издатель издательства «Серебряный век» в Нью-Йорке.

В альманахе «Васильевский остров» (Л., 1990) напечатаны рассказы С.Д. из сборника «Чемодан».

157

Виталий Алексеевич Коротич (род. в 1936 г.) — русско-украинский писатель, журналист, в 1989 г. — главный редактор журнала «Огонек».

Болгарские переводчики просили адрес С.Д. для заключения с ним договора на перевод его прозы.

Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений, т. IV, Париж, 1989.

160

Юрий Львович Гендлер (род. в 1936 г.) — юрист, журналист, с 1973 г. в эмиграции. В 1989 г. — заведующий Русской службой нью-йоркского отделения радио «Свобода».

161

Генрих Семенович Штейнберг (род. в 1934 г.) — вулканолог.

162

600 долларов — частично мой гонорар, полученный С.Д., частично деньги, предназначавшиеся Валерию Грубину и Борису Довлатову.

163

Мой родственник, ездивший в США.

164

Воспоминания Виктора Сосноры о С.Д. см. в настоящем издании.

165

Виктор Семенович Бакинский (1907–1990) — писатель, литературовед, умер 7 марта в Ленинграде.

166

Вадим Нечаев, наст. имя Вадим Викторович Бакинский (род. в 1937 г.) — прозаик, журналист, коллекционер живописи, сын В.С. Бакинского, с 1978 г. в эмиграции.

167

Израиль Моисеевич Меттер (род. в 1909 г.) — прозаик. См. письма к нему С.Д. в журнале «Юность» (1993, № 5) и в альманахе «Петрополь» (СПб., 1994, № 5).

168

Переиначенное начало известной песни Александра Вертинского «В бананово-лимонном Сингапуре…», входит в «Записные книжки» С.Д.

169

Sergej Dowlatov. Die Unseren, Ein Russisches Familienalbum. S. Fisher, 1990; Sergej Dovlatov. The Suitcase. «Grove Weidenfeld», 1990. Это издание вышло позже — через месяц после смерти С.Д.

170

Сергей Довлатов. Чемодан. М., «Московский рабочий», 1991; Сергей Довлатов. Зона. Компромисс. Заповедник. М., «ПИК», 1991.

171

Евгений Аронович Звягин (род. в 1944 г.) — прозаик.

172

Виктор Романович Ховин (1891–1943) — издатель, критик, с середины 1920-х в эмиграции.

173

Скрытая цитата из стихотворения Георгия Иванова «Что-то сбудется, что-то не сбудется…».

174

См. примечание 3 к письму 9.

175

Сергей Дедюлин «невозвращенцем» не является, наоборот, в 1981 г. он был практически выслан из СССР.

176

Игорь Павлович Смирнов — литературовед, с 1963 по 1979 г. работал в Пушкинском Доме, с 1982 г. — профессор университета в Констанце (Германия). Автор книг «Художественный смысл и эволюция поэтических систем» (1977), «На пути к теории литературы» (1987), «Бытие и творчество» (1990) и др. Живет в Мюнхене.

177

Мы были запойными читателями и попадали в зависимость от того, что читали *(англ.)*.

178

Виктор Борисович Кривулин (род. в 1944 г.) — поэт, эссеист, критик. Автор книг «Стихи» (тт. 1–2, 1988), «Обращение» (1990), «Концерт по заявкам» (1993) и др. Живет в С.-Петербурге.

179

Людмила Яковлевна Штерн (род. в 1935 г.) — журналист, прозаик, по образованию геолог, кандидат наук. В 1976 г. эмигрировала в США. Печатается в русской зарубежной периодике, американских журналах, петербургской «Звезде» и др. изданиях. Автор книги «Под знаком четырех» (1984) и др. Живет в Бостоне.

180

Евгений Борисович Рейн (род. в 1935 г.) — поэт, автор книг «Имена мостов» (1984), «Береговая полоса» (1989), «Темнота зеркал» (1991), «Непоправимый день» (1991), «Предсказание» (1994) и др. Живет в Москве.

181

Анатолий Генрихович Найман (род. в 1936 г.) — поэт и переводчик, автор книг «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989), «Стихотворения Анатолия Наймана» (1989) и др. Живет в Москве.

182

Сергей Евгеньевич Вольф (род. в 1935 г.) — прозаик и поэт, детский писатель, автор восемнадцати прозаических книг. Живет в С.-Петербурге.

183

Борис Борисович Рохлин (род. в 1942 г.) — прозаик, переводчик, закончил шведское отделение филологического факультета ЛГУ, печатался в «Гранях», «Звезде», автор книги «Превратные рассказы» (1995). Живет в Берлине.

184

Игорь Иосифович Смирнов-Охтин (род. в 1937 г.) — инженер-проектировщик, прозаик. Печатался в отечественных журналах и сборниках, автор романа «Кружится ветер» («Нева», 1994, №№ 10–12). Живет в С.-Петербурге.

185

Виктор Александрович Соснора (род. в 1936 г.) — поэт и прозаик, автор многих книг стихов и прозы. Живет в С.-Петербурге.

186

Владимир Иосифович Уфлянд (род. в 1937 г.) — поэт, автор книг стихов «Тексты» (1978), «Стихотворные тексты» (1993) и книги прозы «Подробная антиципация» (1990). Живет в С.-Петербурге.

187

Валерий Георгиевич Попов (род. в 1939 г.) — прозаик, автор многочисленных книг. Лауреат петербургской литературной премии имени Сергея Довлатова (1993 г.) за лучший рассказ года. Живет в С.-Петербурге.

188

Игорь Маркович Ефимов (род. в 1937 г.) — прозаик, эссеист, в 1978 г. эмигрировал в США. Автор книг «Смотрите, кто пришёл!» (1965), «Лаборантка» (1975), «Метаполитика» (1978), «Практическая метафизика» (1980), «Седьмая жена» (1990) и др. Живет в г. Тенафлай под Нью-Йорком.

189

Петр Львович Вайль (род. в 1949 г.) — эссеист, критик, автор книг (совместно с Александром Генисом) «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «Родная речь» (1990), «Американа» (1991). В 1977 г. эмигрировал в США. Живет в Нью-Йорке.

190

Александр Александрович Генис (род. в 1953 г.) — эссеист, критик, автор книг (совместно с Петром Вайлем) «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «Родная речь» (1990), «Американа» (1991), а также без соавтора изданной «Американской азбуки» (1994). В 1977 г. эмигрировал в США. Живет в Нью-Йорке.

191

Елена Григорьевна Скульская (род. в 1950 г.) — поэт, журналист, окончила историко-филологический факультет Тартуского университета, автор нескольких стихотворных книг. Живет в Таллинне.

192

В 1989 году.

193

Редактор газеты «Советская Эстония» получил из ЦК (а те — из КГБ) указание резко осудить на редколлегии рукопись романа «Зона» Сергея Довлатова. Указание исполнили в точности. С. Довлатов потерял работу. Вскоре в издательство «Ээсти раамат» поступил приказ уничтожить набор первой книги С. Довлатова… Оставаться в Таллинне было бессмысленно. Подробно об этом — в «Невидимой книге» Сергея Довлатова.

194

Экспертиза КГБ, которая должна была определить степень «антисоветскости» романа Сергея Довлатова «Зона».

195

В 1978 году Сергея Довлатова вынудили эмигрировать в США и наша переписка оборвалась.

196

Моя книга об отце «В пересчете на боль» вышла в Москве в 1991 г.

197

Нина Николаевна Аловерт (род. в 1935 г.) — театральный критик, журналист, фотограф, окончила исторический факультет ЛГУ, работала на кафедре истории Средних веков, зав. музеем Театра комедии, театральным фотографом в театрах им. В.Ф. Комиссаржевской и им. Ленсовета. В 1977 г. эмигрировала в США. Печатается в русской зарубежной периодике, а как балетный критик и фотограф — в англоязычных изданиях, в том числе в Британской энциклопедии. Автор многих статей в «Международном словаре балета» (Лондон) и книги «Барышников в России» (1984, на английском и немецком). Персональные выставки фотографий прошли в Нью-Йорке, Торонто, Петербурге и др. городах. Живет в Нью-Йорке

comments

Комментарии

1

«Для понта» привожу текст в переводе с английского — по вырезке из неизвестного мне издания:

> «Довлатов пишет с первозданной энергией: его персонажи обрисованы столь же ярко, как персонажи Достоевского; но они, черт возьми, намного смешнее… Непроизвольная громогласность довлатовских ниспровержений — опасна».
>
> *«Виллидж Войс».*

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

НАШИ

Русский семейный альбом

Перевод Энн Фридман

«Компромисс» Сергея Довлатова («свежий и смешной», по словам Курта Воннегута), а также его книга «Зона» принесли автору признание в литературных кругах Америки. Его произведения, опубликованные в «Нью-Йоркере» и других престижных периодических изданиях, сделали его одним из наиболее популярных русских писателей-эмигрантов. В книге «Наши» он прослеживает жизнь четырех поколений русской семьи — а с ней и всю современную советскую историю — через изображение семейства Довлатовых, начиная с дяди Арона, чьи политические взгляды колебались вместе с состоянием его здоровья; следом представлены: знаменитый двоюродный брат Борис, гордость семьи, он чувствовал себя счастливым лишь в конфликте с властями; патриаршего возраста дед Исаак; ужасно смешная история встречи рассказчика с женой; невероятные истории о родителях, двоюродных братьях, дядях, детях и даже любимой собаке. В русле традиций великих русских сатириков, проявляя непочтительность и иронию, характерную для его предыдущих произведений, Довлатов в «Наших» с присущей ему оригинальностью пишет групповой портрет своей семьи».